ISSN 0130 – 6545

5. 1986

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

ЙОЗЕФ ЧАПЕК. Картина из цикла «Огонь»

Цветные иллюстрации номера — работы чехословацких художников

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ

■

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

■

ИЗДАЕТСЯ С 1955 ГОДА
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ИЗВЕСТИЯ». МОСКВА

5 май 1986

Содержание

ДИМИТР КОРУДЖИЕВ — Рассказы *(Перевод с болгарского Ф. Гримберг, Н. Смирновой, И. Сумароковой, Т. Прокопьевой)* 3

Ф. Р. СКОТТ — Стихи разных лет *(Перевод с английского Романа Дубровкина)* 25

РОЖЕ ДОРСАНВИЛЬ — Умереть за Гаити, или Судьба святой Эстер и ее сподвижников *(Повесть. Перевод с французского М. Пастер и А. Ибрагимова)* 30

ЯСУСИ ИНОУЭ — Рассказы о любви *(Перевод с японского Б. Раскина)* 75

ГОР ВИДАЛ — 1876 *(Роман. Окончание. Перевод с английского А. Файнгара. Послесловие профессора Н. Н. Яковлева)* 102

Литературное наследие

МАРИЯ ПАВЛИКОВСКАЯ-ЯСНОЖЕВСКАЯ — Стихи *(Перевод с польского Натальи Астафьевой. Вступление В. Британишского)* 174

Публицистика

ГРЭМ ГРИН — Мое знакомство с генералом, или Как я оказался ко всему этому причастным *(Фрагменты книги. Окончание. Перевод с английского Д. Аграчева и И. Бернштейн. Послесловие Е. Гениевой)* 185

Советская литература за рубежом 207, 211

Культура и современность

Т. Лебедева — В чьих руках «микрофон Африки»? 208

Критика

Идеологическая борьба и литература

А. САРУХАНЯН — Ольстерский кризис в зеркале литературы 212

К 125-летию со дня рождения Рабиндраната Тагора

В. ИВБУЛИС — Великий созидатель 220

Трибуна переводчика

Л. ЧЕРКАССКИЙ — Начнем с заглавия... 225

Заметки писателя

Е. КНИПОВИЧ — Полет к свободе *(Вагнер Александра Блока)* 231

Наши интервью

А. Кувшинников — Омар Кабесас *(Никарагуа)*: Пусть люди узнают правду о революции 238

Среди книг

Издано в СССР

Г. Ратгауз — Герман Гессе — хранитель огня *(Герман Гессе. Паломничество в Страну Востока. Игра в бисер. Рассказы)* ✦ М. Гордышевская — Перед рассветом *(Пол Скотт. Жемчужина в короне)* ✦ В. Мазурик — Сиюминутное и вечность *(Человек и мир в японской культуре)* 240

Издано за рубежом

И. Краснов — Из поэтического наследия Джона Рида *(Джон Рид. Сборник стихов)* ✦ Алексей Григорьев — Буря в тихой заводи *(Мартин Вальзер. Прибой.)* ✦ Т. Мотылева — Шум и ярость на юге Франции *(Рене-Виктор Пий. Помпеи)* 245

Редакцию посетили...

В. Чурмантеев — Писатели из Таиланда 250

Из месяца в месяц 251

На 1-й и 4-й страницах обложки — работы чехословацких художников: ЙОЗЕФ МАЛЕЙОВСКИЙ «9 мая 1945» (рельеф), ЛЮДОВИТ ФУЛЛА «Без названия».

© «Иностранная литература», 1986

ДИМИТР КОРУДЖИЕВ

Рассказы

■

С болгарского

Склероз

Петрову первому пришла в голову эта идея. Оставалось четыре месяца до ухода на пенсию. Солнечное утро почему-то показалось ему воскресным. Может быть, потому, что в окно было видно, как мальчуган в белой рубашке, прижав к груди две порожние баночки из-под простокваши, переходит трамвайную линию на улице Графа Игнатьева. Петров внезапно ощутил позабытое прикосновение большой зеленоватой вазы — когда-то и он вот так же прижимал ее к груди; заслышал праздничный колокольный звон своего детства, шелест материнского платья.

— Интересно, что поделывает барышня Сарыкова? — сказал он вечером жене.— Кажется, она еще жива.

Жена проверяла контрольные по алгебре и как раз в тот самый момент с удовольствием выводила двойку в тетради ученика, относительно знаний которого не питала никаких иллюзий.

С того дня у Петрова появилась привычка разглядывать на улице малышей — их короткие штанишки, порванные сандалики, запачканные кулачки. Постепенно освобождаясь от всепоглощающих мыслей о служебных обязанностях, он с изумлением открывал чудесный, когда-то его собственный, но давно забытый мир. И все это сопровождалось смутным чувством вины, усиливавшимся каждый раз, когда увиденное невольно вызывало в памяти барышню Сарыкову — его первую учительницу.

Вспоминалось, как она стояла между партами, опершись на правую ногу, вспоминалось ее узкое лицо — гармонично венчавшее сухощавую фигуру, посмуглевшее под солнцем школьного двора, где она наблюдала за своими подопечными. В такие мгновения Петрову делалось грустно, и все-таки он почему-то чувствовал себя счастливым.

До ухода на пенсию оставалось три дня. Однажды вечером он отыскал в телефонном справочнике номер своего бывшего однокласс-

© Димитър Коруджиев, 1980, 1981
c/o Jusautor, Sofia

ДИМИТР КОРУДЖИЕВ — ДИМИТЪР КОРУДЖИЕВ (род. в 1941 г.)

Болгарский писатель, по образованию филолог. Автор сборников рассказов «Пройдет время» («Ще мине време», 1972), «Сад с дроздами» («Градината с косовете», 1984; премия Союза болгарских писателей), повести «Просветы в дожде» («Коридори в дъжда», 1974) и др.

Публикуемые рассказы взяты из сборников «Ночная улица» («Нощната улица». София, Български писател, 1975), «Невидимый мир» («Невидимият свят». София, Български писател, 1980), «Миг перед сумерками» («Мигът преди здрачаване», София, Профиздат, 1981).

Рассказы войдут в сборник произведений Д. Коруджиева «Невидимый мир», подготовленный к печати издательством «Радуга».

ника, которого последний раз встретил на улице случайно лет пять назад.

— Здравствуй, Жорж.— Одноклассник почти тотчас узнал его.— Рад тебя слышать.

— Извини за беспокойство,— сказал Петров.— Как дома?

Они долго расспрашивали друг друга о женах, замужних дочерях, внуках, долго, очень долго, прежде чем перейти наконец к сути разговора,— два пожилых, прекрасно воспитанных человека с мягкими голосами, готовых в любую минуту извиниться и распрощаться, произносящих вежливые, приятные слова: два человека, связанных чем-то глубинным, изначальным. И даже внешне это проявлялось в одинаковой приглаженности поредевших прядок, в одинаковой моложавости фигур, в тяжеловатых тонах и изящных формах старой мебели, заполнившей одинаковые трехкомнатные квартиры.

— У меня к тебе предложение.— Петров совершенно точно уловил момент, когда взаимная внимательность грозила превратиться в нечто прямо противоположное — во взаимную досаду и недовольство.— Помнишь нашу учительницу, барышню Сарыкову?

— Да,— неожиданно разволновавшись, отозвался одноклассник.

— Давайте соберемся — весь наш класс. В ее честь. Как-никак пятьдесят лет, полвека прошло... Пусть убедится, что ее дети стали настоящими мужчинами и могут себе позволить пригласить старую учительницу.

— Очень хорошо,— раздался в ответ тихий голос.— В общем-то давно бы следовало...

— Конечно,— подхватил Петров.— По крайней мере пять лет назад... И почему только мы не сделали этого?

— Не знаю... Вообще-то я часто думал о том, что нам нужно собраться, даже мечтал... Барышня Сарыкова... Помню, когда я вернулся из Италии, за два-три года появилась кое-какая клиентура, папа мне помог, вечная ему память, помнишь — хороший был врач, люди, наверное, думали, что и сын такой же. Вот тогда-то, тридцать лет назад, мне захотелось, чтобы мы все собрались, вместе с ней. Хотелось показать, что я уже чего-то достиг в жизни. Да и тебе, и остальным было чем похвалиться. Но тут война, бомбежки, потом армия... Пришлось отложить. А после стало казаться, что все это — излишние сантименты, дети подросли, забот прибавилось...

— Я всех предупрежу,— сказал Петров.— Отыщу всех. И ее. Значит, в следующую пятницу в семь вечера, у меня.

— Спасибо тебе... я договорюсь в больнице, чтобы меня заменили на дежурстве, и непременно буду.

Петров положил трубку и долго глядел в окно на темную стену соседнего дома. Ее вид почему-то усиливал это ощущение приобщенности к редкостному, полному взаимопониманию, к бесконечно успокоительной вежливости.

— Барышня Сарыкова!..— Голос жены прозвучал язвительно. Она стояла опершись на спинку стула и слышала весь разговор.— Барышня Сарыкова!..— повторила она, и Петров с неожиданным испугом понял, что, кажется, впервые сделал какой-то шаг, не посоветовавшись с женой.— Господин будущий пенсионер, которому раньше и в голову не приходило вспомнить о своей бывшей учительнице, сегодня вдруг расчувствовался,— продолжала она.— А тут растаял и другой кандидат в пенсионеры. И все твои одноклассники такие же, мне ли не знать! Трусы, «бывшие люди», щеголи в белых перчатках — да что бы со всеми вами было, если б отцы вам не оставили каждому по квартире и если бы вы не женились на таких, как я, порядочных девушках с хорошими профессиями, на женщинах, которые в семье за мужчин!

И вдруг она истерически разрыдалась. Петров в полной растерянности бросился в кухню за водой и валерьянкой.

— Трусы, трусы! — выкрикнула она, когда он вернулся в комнату, слезы на ее глазах высохли так же внезапно.— Притворяетесь этакими тонко чувствующими, а думаете только о себе. Кто бегал на родительские собрания, кто обувал-одевал детей, кто помог им с университетом? Ты, что ли?.. А теперь бог знает откуда извлекаете эту несчастную старую склеротичку, чтобы поиграть в воспоминания детства, доказать самим себе, что у вас в жизни что-то было. Какие вы благородные, как вы все помните!.. Почему ж вы раньше не собирались? Оправдываетесь, мямлите... А дело все в том, что теперь, перед пенсией, вы испугались, боитесь почувствовать себя брошенными, ненужными, хотите себя обмануть... Ищете опору... В ком? В несчастной старухе...

— Перестань говорить так о барышне Сарыковой.— В голосе Петрова послышалась странная твердость. Жена, вздрогнув, подняла голову и с удивлением взглянула на него. Она впервые видела его таким.

Петров надел пиджак и вышел, сильно хлопнув дверью. Он шел по улице расстроенный, даже не сознавая, что с непривычным упорством попытался защитить себя.

«Она не имеет права,— думал он о жене.— Такая добрая учительница... Почти святая... А что дети?.. Разве не на мои деньги?.. Не имеет права... Пенсия — и без того мне тяжко. Одноклассники...»

Он инстинктивно отскочил, увернувшись от водяной струи: мойщики улиц рассеянно направляли шланги то в одну, то в другую сторону, не обращая внимания на прохожих...

Так или иначе, Петров не отказался от задуманного. Каждый вечер он звонил кому-нибудь из бывших одноклассников, приглашал собраться в пятницу, а разговоры протекали примерно так же, как первый. Звонил он исключительно мужчинам, девочек-одноклассниц он почти не помнил, и почему-то с приближением часа, когда ему суждено было вновь увидеть свою учительницу, в глубине его существа пробуждались те далекие, прежние чувства, свойственные маленьким мальчикам, стесняющимся даже заговорить с девочкой. А может быть, его смущала собственная старость, может быть, причиной была жена, которая почти не общалась с ним в эти дни, молча сидела у края стола и что-то помечала в ученических тетрадках.

В среду Петров просмотрел список — среди восемнадцати мужчин оказалась и одна женщина. Он случайно встретил ее возле кооперативного дома, где жил их одноклассник... «Ваше лицо мне знакомо»,— слово за слово, и стало ясно, что они учились в одном классе, в классе барышни Сарыковой, и даже сидели друг за дружкой.

Просмотрев список, Петров решил, что теперь можно позвонить и самой учительнице. Все было готово к предстоящему торжеству. Он медленно набирал номер, указанный и в старых и в новых телефонных справочниках.

Листая их на протяжении стольких лет, он иногда замечал эти знакомые цифры, но обычно тут же кто-нибудь входил, отвлекал его каким-то вопросом... Вертелся диск, и номер терялся среди других номеров, такой же обезличенный, ненужный.

— Алло,— послышался немощный, старческий голос, и Петров вдруг осознал, что учительнице уже восемьдесят пять лет.

— Это барышня Сарыкова? — спросил он.

— Да,— отозвался голос, но Петров, делавший с большим опозданием одно открытие за другим, вспомнил, что у учительницы были две сестры, такие же старые девы. Если ничего не изменилось, то как узнать, которая из барышень сейчас у телефона? Он совершенно растерялся. Помнится, учительницу звали Светлой, но он так привык с детства называть ее «барышня Сарыкова», что ни за что на свете

не мог нарушить магию этих слов. И так странно это было — предполагать какую-то связь между голосом, который сейчас отвечал ему, и именем Светла.

Поэтому он сказал:

— Извините, я не ошибся? Мне нужна бывшая учительница начальной школы имени Неофита Рильского. Мы начали учиться как раз в конце войны. Первой мировой, естественно. Тогда еще в школах размещали госпитали, и нас переводили из одного здания в другое. Сначала мы были на улице Раковского, потом еще где-то в центре Софии, а закончили первый класс на улице Алабина...

— Да, это я.— Голос зазвучал бодрее.— Кто говорит?

— Барышня Сарыкова! — Петров страшно взволновался, не сознавая, какое это для него счастье, что жена на родительском собрании и не может все испортить своей иронией.— Это Петров. Георги Петров. Сын инженера Петрова.

— Помню, конечно. Худенький Жорко с третьей парты у окна. Хорошо, что ты позвонил.

— Как, вы помните? — Петров даже задохнулся.— Какое счастье! Знаете, я давно хотел...

— Ничего, ничего.— Учительница прервала его.— И другие звонят, вспоминают старую учительницу. Только это у меня и осталось. Сейчас вот ты позвонил...

— Я не только от своего имени.— Петров чувствовал себя почти первоклассником, таким смущенным и счастливым! — Мы, весь наш класс, хотим вас пригласить... В пятницу, у меня... Маленькое торжество в вашу честь. Посмотрите на нас, и мы извинимся перед вами за то, что так долго...

— Конечно, я буду. Не беспокойся.

— Симеон заедет за вами на такси. Без пятнадцати семь. Помните, Симеон Геров, отец у него погиб на войне, на той...

— Помню, помню, бедный мальчик. Значит, у него все в порядке...

— Да,— гордо ответил Петров.— Мать во всем себе отказывала, но дала ему образование. Учился в Чехии...

Он совсем забыл о том, как давно это было, и о том, что Симеону тоже скоро на пенсию.

— А он знает адрес?

— Разумеется! — воскликнул Петров.— Сколько раз мы к вам приходили с цветами!.. До свидания, до пятницы...

Он опустился на мягкую потертую кушетку возле телефонного столика, сколько он помнил себя, она всегда стояла здесь. Жена знала об этом, иной раз говорила, что, видно, кушетка и телефон были рядом с самого начала, когда в Софии насчитывалось не больше тысячи частных абонентов, с того 1908 года, когда был построен этот дом, а ее мужа еще и на свете не было. «1908» — эти цифры были выложены на полу вестибюля, каждый входящий ступал на них. Петров, как и другие старые жильцы, кто знает почему, берег эти цифры, но жены, дети, внуки и все остальные, по разным поводам приходившие в этот старомодный дом, давно не обращали на них внимания. Сейчас жены не было в доме, некому было нарушить его блаженное состояние ворчаньем. А то ведь она еще заявит, что его отец нарочно поставил кушетку у телефона, потому что, так же как и сын, после каждого более или менее волнующего разговора чувствовал потребность расслабиться. И добавит, что его отец нарочно приобрел эту сверхтяжелую мебель, чтобы нельзя было сдвинуть ее с места, чтобы они вместе (мебель и муж) с годами заглушали всякое стремление к переменам даже у такого жизнерадостного человека, как она...

Петров свыкся с подобными обвинениями, выслушивал их молча и считал несправедливыми. Но они обостряли в нем чувство не-

ловкости, которое так часто мучило его, и он стеснялся каждого своего жеста, каждого слова. Иногда он пытался сопротивляться: «Разве я мешал тебе сменить мебель?»

Это приводило ее в бешенство.

«Да, не мешал, не мешал, но и не помогал ничем!» — кричала она.

Но сейчас жены не было, она отсутствовала не только дома, но и в его сознании — вместе со всем тем неприятным, что она обычно говорила или могла наговорить. Петров погрузился в ласковое прошлое, оно прикасалось к нему детскими губами, слабыми пальчиками; таким он был — чистым, невинным существом; погрузился в плеск такой белоснежной сейчас, в его воспоминаниях, пенистой воды, превращавшей его содранные коленки в цветы — символ детства; потом радужные мыльные пузыри слились с нежной голубизной матросского костюмчика (носил ли он на самом деле такой костюмчик или только мечтал купить, если родится сын?..).

Жена вернулась поздно.

Два дня пролетели быстрее, чем он думал, и в какой-то момент он вдруг с огорчением понял, как, в сущности, давно живет и что одним из самых прочных его навыков стало ощущение бега времени и что нетерпеливое ожидание уже не может заставить его почувствовать, что время словно остановилось. Но это неприятное открытие скоро забылось.

К семи начали сходиться гости. Жена Петрова знала, что они не опоздают, ей была известна их точность, «старомодная точность»,— в виде исключения она восприняла от мужа это выражение. Несмотря на проявляемое ею недовольство, в глубине души она оставалась хорошо воспитанной женщиной, привязанной к своему мужу. И когда в три часа он пришел на кухню и попытался что-то приготовить с обычной своей неловкостью, внезапно ей стало страшно жаль его. Выставив его из кухни преувеличенно сердитым «ты ни на что не способен», она долго колдовала над сандвичами, кремом, кофе глясе и даже вышла из дома, чтобы купить кекс и печенье. Петров вынул из буфета оставшиеся еще от родителей сервизы. Вдвоем они нарезали кекс, разложили сандвичи, наполнили кремом маленькие хрустальные вазочки, и в начале седьмого все было готово. Одноклассники Петрова входили, целовали ей руку и рассаживались, все похожие на ее мужа — немного смущенные, с пожелтевшими и уже морщинистыми, но еще не совсем старческими лицами, в отглаженных рубашках и костюмах, которые они умели носить с каким-то особенным изяществом.

Разнося тарелочки с сандвичами, чашки и стаканы, Петрова на минуту почувствовала себя частицей этого общества, и ей стало приятно. Но потом вслушалась в беседу, в часто повторяющиеся «мама», «папа», «барышня Сарыкова», вгляделась в осторожные жесты, и ей снова показались эти люди фальшивыми, хотя и не сознающими своей фальши. Зазвонил телефон. Петров поднял трубку, лицо его внезапно побледнело, а жена наблюдала, как мужчины, с которыми он когда-то, пятьдесят лет назад, сидел в первом классе центральной софийской школы, замолчали и повернулись к нему.

«Милые неисправимые люди,— подумалось ей.— Взрослые дети, при любом испытании вспоминающие о «папе», «маме» или о своих старых первых учительницах — некрасивых барышнях, оставивших у своих питомцев впечатление, будто отказались от замужества специально, чтобы всю свою жизнь посвятить чужим детям».

Постепенно она успокоилась; заметила, что в комнате она единственный человек, чьи пальцы не стиснуты в смущении. «Они никогда не смогут действовать уверенно,— сказала она себе.— Неплохие люди, но их время прошло, и в этом есть своя логика...»

Волею судьбы целая группа таких людей оказалась сегодня в ее доме, и сейчас ее привычный к выводам и обобщениям учительский

ум словно отдавал себе запоздалый отчет в мелочности ее стычек с мужем, который не мог быть иным, не мог измениться, всегда оставался «одним из этих». Наконец-то, после тридцати лет совместной жизни, она была готова принять все его недостатки, понять причину их неисправимости и противопоставить в своем сознании его пугливости — его же чистоту. Теперь она понимала, что он и его одноклассники действительно трогательно любят все связанное с их детством и не возвращались ко всему этому так долго лишь по недостатку воли, энергии. Они не могут не любить свое детство, потому что только тогда чувствовали себя по-настоящему защищенными. Они всегда были какими-то неуверенными, робкими. В годы всеобщей бедности и невежества они выросли в квартирах врачей, инженеров и адвокатов — сыновей энергичных крестьян, учителей и офицеров, учившихся в России. И вышли они в жизнь из этих скромных апартаментов с чувством непонятного страха и обособленности, для того чтобы в Австрии, Швейцарии или Италии стать следующим поколением болгарских врачей, инженеров и адвокатов и вновь вернуться в свои полутемные гнезда. Пугали их и выскочки — разбогатевшие торговцы, фабриканты,— она помнила, как те наживали миллионы, разъезжали в собственных автомобилях и с пренебрежительным снисхождением поглядывали на «интеллигентов», а сами интеллигенты зарабатывали в своих конторах и кабинетах столько, что едва хватало на содержание семейства и одной прислуги, но старались не утратить чувства собственного достоинства и в своем кругу наградили скоробогачей обидным прозванием «парвеню». Революция мало что изменила в их характерах — совестливые, корректные, аполитичные, они стали работать в государственных учреждениях. Постепенно они успокоились, потекли годы до пенсии. Петрова слышала не раз, как ее муж привычно именовал интеллигенцию «основой нации», но число интеллигентов росло, интеллигенция менялась, а их становилось все меньше, и волосы их редели. И вот последние уходят на пенсию (некоторые из них сейчас здесь, перед ней), неисправимо мягкие, неисправимо сентиментальные — как всегда, именно в минуты жизненных испытаний. Все они когда-то женились на юных, намного моложе их самих, целомудренных девушках, только что окончивших гимназию, их смущает одежда и манера поведения молодежи, они неловки, испытывают чувство неудобства, когда надо попросить даже о самой незначительной услуге. Все в их характерах словно подчинено неискоренимой пугливости, но она не в состоянии презирать их — в том внимании, с каким они относятся к людям, в том извечном чувстве неловкости, переплетенном с желанием никого не стеснять, было для нее нечто привлекательное, нечто такое, что она хотела бы встречать почаще в жизни...

— Это Симеон.— Муж тихо положил трубку, и она вздрогнула.

У барышни Сарыковой никого не оказалось дома, а соседка сказала, что старые сестры ушли на прогулку.

Он показался ей бледным, внезапно осунувшимся. Петрова понимала, до какой степени он расстроен — организатор встречи, хозяин дома, сейчас он чувствовал себя виноватым в молчаливой растерянности своих одноклассников.

— Может, забыла,— предположил кто-то.— Она ведь уже немолода.

— Исключено,— возразил Петров.— В среду она вспомнила даже, на какой парте я сидел.

— Склероз,— констатировал один из врачей.— Типичный случай. Всплывают в памяти самые невероятные подробности юных лет, но не можешь вспомнить, что обещал вчера.

— Не будем обижаться на нее,— мягко подытожил кто-то.— Нас ожидает то же самое.

Петров с грустью оглядел их. Одна его нога онемела, пока он

говорил по телефону, и, шагнув к гостям, он испытал ощущение, словно потерял опору. Никогда уже не увидят они свою первую учительницу. Она забыла их.

Перевод Ф. ГРИМБЕРГ

Невидимый мир

Жду на остановке троллейбуса, напротив — Музыкальный театр. Поднимаю воротник плаща, постукиваю ногами. С неба сыплется какая-то морось — не снег, не дождь, ноздри полнятся студеным туманом.

Неприятно, до такой степени неприятно, что начинаю себя презирать. В голове пусто, мозг парализован внешними ощущениями. Неужели целые минуты жизни уходят на постукивание ногами? Что минуты, не под знаком ли плоской видимости тянутся все мои дни?

Стою потрясенный — осознавший собственную обыкновенность. С давних-давних пор, с самого начала ее накопления, я не высказал ни одной оригинальной мысли. Когда-то не хотел, а после уже не мог. Долгий процесс. Кто ты есть? Каждого настигает этот миг. Женщина говорит себе: «Я старуха» — и пробуждается от долгого сна. Потонуть, исчезнуть, скрыться под землей...

Гляжу вниз.

Поблизости от меня лежит листок нежной, причудливо удлиненной формы. Меня пронзает его чистота — никем не растоптанный, не забрызганный грязью. А вокруг прохожие, толчея людская... Озадаченный, окидываю глазами деревья, ближайшие и те, что подальше. На ветках дрожат последние листья. Но такого нет, ни одного такой странной формы...

Стоит задуматься — видел ли я вообще в нашем городе дерево с подобными листьями? Может быть, чистенький пришелец принесен сюда ветром? Что проку задавать себе такие вопросы — я никогда не оглядываюсь на деревья.

Снова всматриваюсь в листок, возмущенный собственным интересом к нему,— ропотом отзывается моя проектантская сухость. Отступаю назад, чтобы создать вокруг листка свободную зону: пусть кто-нибудь пройдет по нему и растопчет. Он на видном месте, на самом краю тротуара, на воображаемой линии, соединяющей троллейбусную остановку, где я стою, и трамвайную перед театром. По ней непрестанно бегают туда-сюда люди.

Изумление мое нарастает постепенно, вытесняет, затапливает все остальное. Через пятнадцать минут (пропущено три троллейбуса) мне кажется уже, что листок таит в себе загадку. Люди его обходят, перешагивают даже и ни разу не наступили на него. А обувь у всех такая грязная — краешка каблука довольно, чтобы его изувечить.

Чем дольше я смотрю на листок, тем сильнее притягивает меня его чистота. Непродуктивное воображение пытается ему подобрать в сравнение нечто нежное — девичье лицо или плод, нет, не то. Самое важное, что меня держит здесь, ускользает от определения.

Еще пятнадцать минут — листок по-прежнему невредим. Я начинаю пугаться, тосковать по своей обыкновенности, как по крепости, в которую можно укрыться. Ноги у меня коченеют. Падает внезапно ноябрьская тьма. Но поблизости фонарный столб, и поверхность листка блестит.

Подходят и отходят троллейбусы. Мне холодно, от голода сводит желудок. Несколько шагов — и я буду доставлен домой, в тепло. Сейчас это почему-то кажется невозможным, разве что когда-нибудь после. Прошел час, наверное, прежде чем я спросил себя: «А почему бы мне не нагнуться и не поднять его? Не исследовать? Кому какое дело до меня в этой слякоти?»

Люди все так же бегут и бегут с поднятыми воротниками.

Приняв решение, я без особой надобности перебрасываю портфель из руки в руку, но не двигаюсь с места. Впервые устанавливаю чисто практически несогласованность между повелениями своего мозга и движениями тела. Благоразумно сваливаю вину на продрогшие конечности. Надо бы согреться.

К моему удивлению, ноги задвигались не без охоты. Подпрыгиваю, как и раньше. Дую в ладони, слегка наклонившись влево: под мышкой придерживаю портфель. Затягиваю эти действия до бесконечности...

Ветром приподнимает дальний от меня край листка. Мне делается неловко, хочется на что-то отвлечься. Свободной рукой вынимаю из внутреннего кармана бумажник. Роюсь лихорадочно и бесполезно во всех отделениях, затем водворяю его обратно. Листок поднимается чуть не горизонтально. Ветер усиливается, возносит его в воздух, начинает кружить. Я каменею, увидев, что под ним скрывается целый мир тех же очертаний — нежных, продолговатых. В проем видны движущиеся фигурки, предметы... А люди вокруг меня упорно бегут к трамвайной остановке, обратно, и никто не наступает на невидимый мир. Не наступает, но и не замечает его, даже сейчас, когда он сам перед ними открылся.

При мысли о тонкой преграде, отделяющей меня от него, прикосновение грубой портфельной кожи делается невыносимым. Осторожно опускаю портфель под ноги.

Делаю шаг, другой, гипнотически притягиваемый проемом с контурами листка. Сам листок касается моего плеча, моего лица, волос — невыразимо приятно. Я медленно нагибаюсь, становлюсь коленями в тротуарную грязь. Позади меня раздается стук — наверное, падает непрочно поставленный портфель. Упираюсь в края руками, наклоняюсь еще и еще и вот, приникнув к проему глазами, разглядываю вблизи...

Закрываю собой электрический свет, но его и не нужно, у них там, внизу, собственное освещение. Странно — я не впадаю в панику, скрючился, и ничего. Рассматриваю домики и людей, которые снуют между ними. Домики такие разные, а люди такие крошечные, что мне трудно сориентироваться в хаосе этого малого мира. Тайно и не вполне осознанно начинаю мечтать о чем-то еще более необыкновенном, о новом чуде, как будто чудеса мне предстоят бесконечно. А вдруг они окажутся скучными, эти невидимые миры? Разве не возможно такое?

Прилепившись лицом к проему, дышу прямо в него. Человечки внизу не смущаются, не обращают внимания, двигаются и двигаются. Здесь, на границе обоих миров, никаких звуков от них не доносится — мне мешают привычные шумы вокруг. Но что это — едва уловимый стук? Не снизу ли он идет, не дверца ли это хлопает под порывами ветра? Весь напрягшись, ловлю этот знак, приобщающий меня к крохотному народцу. Его беспомощность меня беспокоит, я спрашиваю себя: а вдруг просочились туда дождевые капли — в тот миг, когда листок поднимался, а я еще не склонился? Следов наводнения не видно, и я радостно улыбаюсь. И тут же мысль о моем оскале, способном ужаснуть человечков, заставляет меня стиснуть губы. Напрасные опасения. Они не замечают, что я вишу над их головами. Стук удаляется...

В душе разрастается чувство, огромное и пустое, похожее на боязнь. Разочарования или встречи с непостижимым? Крохотные человечки продолжают суетиться, и мне никогда не узнать зачем. Прихлынувшая кровь тяжелит склоненную голову.

Первая различимая деталь одного из домов — что-то тоненькое и белое, то видимое, то нет, вопреки неподвижности. Почти не ух-

ватишь взглядом, глаза мои слезятся от напряжения. Рука, наверное, рука крошечной женщины, высунутая на улицу из окна.

Чувствую, как по телу разливается теплота.

Как давно не испытывал я такого одушевления, такой страсти! А что, если мне, обычному из обычных, явиться перед этими человечками пытливым духом, познавшим собственный мир и возжелавшим пробраться к ним, в неизведанное? (Я плотнее прижимаю к проему лицо, пытаясь его заткнуть — как бы не увидели снизу, что я разлегся в грязи и что много тут таких бегает вроде меня!) Не тянется ли из окошка нежная ручка тамошней Гретхен? Что знает она? Чего ожидает? Не моего ли сошествия? Я бы мог ее поразить и увлечь, я, не способный ничем поразить самую что ни на есть обычную женщину! Возносился ли я когда-нибудь столь высоко? Выше презренных различий —этих искусственных перегородок? Я способен питать влечение к существу стократ меня по размеру ничтожнее, не то что иной нации, расы или происхождения, а — поверить трудно — иного мира!

Пробую просунуть руку вовнутрь, но потом решаю: лучше влезть. Верчусь, примериваюсь, как бы проникнуть в проем, разгоряченный безумной надеждой. Чуда не происходит. Занимаю прежнее положение. Задыхаюсь. Рука исчезла, дома я не запомнил...

Потеряв ориентир (второй уже раз после стука дверцы), я возвращаюсь в былое состояние, подобно телу своему, принявшему прежнюю позу.

Что заставляет нас повернуть голову ни с того ни с сего? Какой-то мальчишка исчезает с моим портфелем в толпе. Не вскакиваю, не бросаюсь следом. Пусть его, я не против. В тот же миг замечаю, что листок кружится над моей головой. Охраняет меня. Спасает от неудобства, защищает от мимо идущих. Пока он здесь, никто не остановится, не посмеет крикнуть: «До каких же пор будет валяться на тротуаре эта пьянь?» На глаза набегают слезы, я шепчу: «Только он за меня... Только он...»

Но слезы мои недолги: развеселенный внезапной мыслью о собственной недосягаемости, я принимаюсь насвистывать веселый мотив. Меня подмывает дунуть вниз, чтоб свалить с ног нескольких человечков, пускай они посмеются. Вот еще, пристало ли мне их смешить, не лучше ли посмеяться самому? Грудь мою распирает мало-помалу гигантский хохот, смех богов — великодушный и всепрощающий. Я намерен повалять эту мелюзгу подо мной (то-то будет куча мала), порушить кое-какие домишки, устроить себе потеху. Я намерен повеселиться в полную силу!

(И не над каждым ли из миров подвешен еще один, высший, откуда выглядывает случайный бог — вон он устроился на карачках в грязи, а мимо шмыгают такие же, как и он?)

Я успеваю испустить первый клик, и сердце мое внезапно сжимается. Непонятно, что за причина. Вслушиваясь в себя все сосредоточеннее и заинтересованнее, улавливаю звон как бы миниатюрных заступов. Звук поднимается снизу, слабый-слабый, не случайно я говорю «вслушиваясь в себя» — во мне он отдается с удесятеренной силой, нагоняет напряженную тоску. Он не связан с практической целью, копают землю не для стройки, не для пашни, внизу совершается какой-то обряд. Такой звон предшествует символическим погребениям... Господи, чего там им погребать, этим жалким людишкам, кроме собственной скверны? Под моим смехом она бы расцвела веселым пороком, а так — что за радость мне наблюдать, как они снуют туда-сюда!

Я гневно выпрямляюсь, тяну руку к листку. В горсти его разотру, живым не выпущу!.. Он без усилия ускользает от меня. «Ты же видел,— кричу я ему,— как у меня унесли портфель, видел, как мы топчемся тут по лужам, дрызгаемся в грязи, зябнем! Таким, что ли, было

мне предстать перед вами? И ты, коли меня избрал, неужели не мог подождать, не мог их остановить? Вы, вы потушили порыв, который мог бы спасти меня от бесплодных усилий!»

Кричу, а сам понимаю — листок мне не верит. Удаляется кругами, вертится — насмешливо... Я утерял его благоволение, он не станет больше кружить над моей головой.

И кричать и просить — бесполезно.

Перевод Н. СМИРНОВОЙ

Пружинный матрас

Над площадью висела полуденная духота. В моей кабине клевал носом Стайко, шофер соседнего пикапа. А я уже заметил, что крутятся тут какие-то люди.

— Подплывают две рыбки,— сказал я Стайко.— Доставай карты и — ноль внимания.

За спиной Стайко в окне появились их головы. Им было неудобно мешать нашей игре. Этот номер с картами — один из лучших в нашей программе. Рыбки, видя, что мы играем, начинают волноваться. Им уже кажется, что шоферы нисколько в них не нуждаются и к тому же не догадываются, что они — клиенты. Какой-нибудь дурак вроде Стайко вполне б удовольствовался двумя-тремя левами, которые можно с них сорвать, но для меня это лишь начало, первая оттепель...

Рыбки задвигались, и я решил, что действие первое пора кончать. Я уронил карту на пол. Стайко наклонился, чтобы поднять ее, а когда выпрямился, взгляд его как бы случайно упал на окно.

— Вам чего? — грубо спросил он.

— Перевезти плиту в микрорайон «Надежда»,— ответил один из них.

Когда их двое, то начинает обычно тот, кто понахрапистей. И тут меня, сами понимаете, охватывает симпатия к другому. Поэтому я предоставил Стайко расправляться с человеком, который хочет перевезти плиту.

— Шестеряк,— выпалил он,— и хорош!

«Дурак,— подумал я,— вымогатель тупой». Меня всегда раздражала грубость. Сам я пользуюсь другим методом.

— Ладно,— тихо проговорил человек с плитой.

Стайко вылез из кабины.

— А выигрыш? — крикнул я ему вслед.

Он потоптался на месте — но делать нечего, вернулся и отсчитал мне пять левов. Это были мои деньги. Я их давал ему каждое утро, чтобы потом, при клиентах, он их отдавал, как будто я эти деньги выиграл у него в карты... Те двое молча на нас глядели. Момент был важный. Самый вид денег давал им понять, вокруг чего, собственно говоря, крутится наша работа. И потом, ясно ведь: люди, привыкшие так легко выигрывать и проигрывать деньги, не будут работать задаром. Второго клиента пригласил в кабину я. Это был молодой парень (лет двадцати пяти, а может, и того меньше) с интеллигентной внешностью. Очень хорошо воспитанный парень. Я заметил, что он, когда разговаривает, смущается.

— Что будете перевозить?

— Пружинный матрас и тюфяк, больше ничего,— сказал он.— От зоосада к Русскому памятнику.

И потом вдруг как-то совсем неуклюже добавил:

— Я дам вам пятерку.

Меня передернуло: боясь, что откажут из-за маленького расстояния, мой клиент заговорил вдруг совершенно несвойственным ему тоном и поспешил предложить мне большую сумму. Меня это очень

задело. «Пятерку-то, мой мальчик, я возьму,— хотелось мне сказать,— но ты бы лучше дал ее как-нибудь незаметно, немножко стыдясь, что ли. А деньги я сам заработаю, не беспокойся. И унижать меня не надо: я не грубиян».

Мы поехали. Я уговаривал себя поскорее успокоиться и быть с этим пареньком полюбезнее. Вообще-то, по сути дела, задачу он мне задал трудную. Ведь если предлагают пятерку, надо постараться заработать больше. И намного. Притом на таком коротком маршруте. С чего ж начать? Если я буду ему объяснять, что считаю себя культурным человеком, не таким, как другие шоферы, это прозвучит фальшиво. Парень меня относит к определенной категории людей. Ну и пусть. Но я постепенно дам ему убедиться, что это лишь видимость и что за грубой оболочкой скрывается кое-что другое, не совсем понятное, но хорошее.

Мимо нас пронеслась «шкода», плотно набитая пожилыми крестьянками. В такую жару они повязались черными платками!

— Видишь как,— сказал я парню,— приезжают деревенские и пристраиваются, а нам, софийцам, приходится тесниться.

Парень что-то промычал. Чувствовалось, что ему явно не по себе. Он и угодить мне хотел, и потому соглашался со мной, и мешало ему что-то. Этому щедрому юноше сердце не позволяло согласиться с такой мыслью. Ну и хорошо. Теперь все определилось: я обездолен, а он в порядке.

— Ты женат?— спросил я его.— Или с родителями живешь?

— Женат. Мы одни живем, напротив зоосада,— стесняясь, сказал он.

Я многозначительно промолчал и взглянул на него в зеркальце. По правде говоря, я немножко смутился: не каждый день все-таки встретишь парнишку двадцати или двадцати с небольшим лет, имеющего собственную квартиру. Момент, однако, был подходящий. И я его не упустил.

— А я вот разменял пятый десяток, а все еще с детьми толкусь в тесноте,— сказал я и добавил с горечью: — Трое у меня.

Конечно, это было вранье. Перед клиентом количество моих детей, так же как и моих разводов, то возрастает, то уменьшается. Есть вещи, которые от меня не зависят. Сейчас это было слово «трое», которое само выпрыгнуло изо рта. Почему-то я решил, что именно это число тронет парня больше, чем любое другое. Вообще-то я был прав. Двое детей — нормально, четверо — слишком много, это уж прямотаки безнадежное число. Любой скажет: «Как поможешь тому, кто сам себя гробит?» Я был уверен, что уже взвинтил цену выше пяти левов. Молодой человек должен почувствовать, что просто обязан внести свою лепту и помочь мне управиться наконец с этими тремя детьми. Если он скажет: «Берите, берите, не стесняйтесь, ведь у вас трое детей», я не удивлюсь.

Зоосад приближался. Я понимал, что пора исправить этому парню настроение, ведь он теперь чувствует себя несчастным из-за того, что имеет собственную квартиру. А людей нельзя заставлять долго чувствовать себя несчастными, потому что это кончается обычно тем, что они начинают тебя ненавидеть.

— Ты где родился? — спросил я его.

— Здесь, в Софии, неподалеку от Докторского памятника[1].

— Самый аристократический квартал! — с нескрываемым восторгом воскликнул я.

Парень улыбнулся (кто ж хмурится на похвалу?) и показал мне, куда подъехать. Я очень плавно остановил машину и молниеносно распахнул дверцу. Он как-то нерешительно вылез, а вылезая, нагнулся; рубашка на нем натянулась, и я увидел, какие костлявые у него

[1] Памятник русским врачам, сестрам и братьям милосердия, павшим в войну 1877 — 1878 гг.

плечи. Люди с таким телосложением обычно не верят в свои силы. Я тут же выскочил из кабины.

— Пойду помогу тебе,— сказал я.

— Зачем?.. Спасибо...— мямлил паренек, но я видел, что он обрадовался. Ему было совестно: он не знал, входит ли в обязанности шофера носить вещи. Я понял, что заработал по крайней мере еще два лева. Но слишком уж легко это получилось, поэтому настроение у меня испортилось. Ведь ничего не приходилось делать, хватало обыкновенной наблюдательности, на которую способен даже Стайко.

Парень жил на первом этаже. Я взвалил матрас на плечи и, перед тем как выйти, окинул взглядом его однокомнатную квартиру. Этот взгляд был так хорошо рассчитан по продолжительности, силе и глубине, что я сам восхитился. Мой взгляд совершенно ясно говорил о том, что меня квартира интересует только как шофера, случайно оказавшего услугу, но что мне все ж любопытно посмотреть, в какой обстановке живет клиент, который успел произвести приятное впечатление своей внешностью и поведением...

Русский памятник приближался. Парень указал на улицу, начинавшуюся от площади.

— Тот дом... желтый...

Наступало время одного из моих лучших номеров. Это такая была великолепная штука, что, когда про нее рассказываешь, все говорят: «Ну, ты даешь».

Резко сворачиваю. Оказалось, парень разбирается в знаках, потому что он вдруг повернулся и сказал с испугом:

— Мы здесь не проедем.

— Не бойся,— ответил я, и лицо у меня стало строгое, решительное.— Иначе нам придется встать на другой стороне, а я привык подвозить клиентов прямо к дверям.

К несчастью, в этот момент милиционер расправлялся с каким-то водителем. Он просунул голову в окно его колымаги и поэтому ничего вокруг не видел. Я мог бы незаметно проскользнуть, но молил бога, чтобы он увидел мое нарушение. Я слегка притормозил, обругал свою машину, и только тогда милиционер наконец обернулся.

— Эх, чтоб ему провалиться,— злобно сказал я.— Мы же почти проскочили!

— Знака не видишь? — спросил милиционер.

— Вижу, товарищ старшина, но я привез вещи этого парня — пружинный матрас и тюфячок. Вот, собственно, и все... Но их надо разгрузить возле его дома. Эх, работаешь, стараешься, а тебя все ругают.

— Документы давай,— сказал милиционер.

Парень молчал и испуганно глядел на милиционера. Он очень боялся, как бы я не пострадал из-за его несчастного матраса. Я нарочно медлил с документами. Я тянул время, которое с каждой секундой этой неприятной сцены поднималось в цене: ведь все это мне приходится переносить из-за него. И долг его соответственно увеличивается. Ну, а милиционера я сразу оценил. Я с ходу понял, что на эту ситуацию он посмотрит по-человечески.

— Ладно, поезжайте обратно,— сказал наконец милиционер.

Я описал круг и выехал на площадь.

— Все сделаю, любой штраф заплачу, а тебя подвезу к самому дому,— сказал я парню.

Тот что-то промычал, посмотрел на меня с явной симпатией и смущенно улыбнулся. Так улыбаются люди, когда им начинает казаться, что они встретили настоящего человека.

Я очень хорошо знал, что два переулка, пересекающих его улицу, закрыты из-за какой-то стройки. Я подъехал к одному, потом к другому, выругался, повернул обратно. Объезд, который я делал, чтобы подвезти его к дому, придал ситуации еще большую значительность.

Перевозка матраса обретала новый смысл. Теперь все выглядело так, будто я работаю только потому, что парень мне симпатичен и во что бы то ни стало хочу все для него сделать.

— Это матрас для моей жены,— сказал парень.— Я привез ее вчера из родильного дома сюда, к ее родителям, а спать ей тут негде. Пока не подрастет ребенок, она будет жить здесь, а родители будут помогать ей. Я музыкант, много разъезжаю, и мне бы пришлось часто оставлять ее одну с ребенком...

Я слушал его прямо-таки с удовольствием. Он всеми силами старался мне угодить. Он думал, что я обрадуюсь и успокоюсь, узнав, что он только одного ребенка должен содержать, а сообщая, какая у него профессия, он тем самым давал мне понять, что в состоянии хорошо заплатить — только попроси, не стесняйся... Умный парень.

Осталось, как говорится, положить последний камень. Ситуация так и требовала какой-нибудь истории, которая бы косвенным образом показала, что я очень человечный, очень мужественный, что я готов пострадать, лишь бы помочь тем, кто этого заслуживает.

У меня в запасе имелось несколько таких историй. Я выбрал историю о двух братьях, которые везли своего мертвого отца: парень явно был из тех, кого подобные вещи могут растрогать. Весь рассказ занял несколько минут: я заранее рассчитал время таким образом, чтобы конец совпал с остановкой перед нужным домом. В двух словах я описал этих братьев, рассказал, как они подошли и попросили, чтобы кто-нибудь довез их отца до Ботевграда. Они забрали его, уже остывшего, из одной софийской больницы. Никто не соглашался. Наконец я беру отца к себе в кабину, сажаю и братьев, хотя возить в кабине троих запрещено. И вот мы едем. По дороге меня ругают всякие бессердечные типы. Я тоже ругаюсь, обливаюсь потом, теряю сознание от усталости, потому что накануне проработал всю ночь. Но все-таки в конце концов мы добираемся до Ботевграда.

И младенец понял бы, что я делал это только потому, что у меня большое сердце. Когда я рассказывал эту историю, лицо у меня было такое, что парень наверняка подумал: «И такой человек живет в тесноте, да еще с детьми!»

Мне не хватило всего нескольких секунд. Одну или две последние фразы я договорил, уже подъехав к дому. Потом я поспешно выскочил из кабины, чтобы парень убедился: в эту минуту для меня важнее всего на свете матрас. Я поднял его и понес в дом. Меня встретила жена этого парня и родители жены. Они показали мне, где умыться, поднесли рюмочку. Все было по-человечески. В общем, получилось так, как я люблю, со взаимным уважением. Потом, когда мы вышли, парень смущенно сунул мне пятнадцать левов и сказал:

— Возьмите, возьмите, у вас трое детей, и ехать было трудно...

Он боялся, как бы я не обиделся. Я развеселился. Вот уже действительно фантастика: пятнадцать левов за то, чтобы перевезти матрас от зоосада к Русскому памятнику. Я не сдержался и потер себе подбородок от удовольствия. Потом, чтобы заранее успокоить парня (я знал, что через час или два он подумает, что слишком много мне дал), я сказал:

— А знаешь, если б ты нарвался на этих хапуг-носильщиков, они б с тебя сорвали самое меньшее двадцать левов.

Перевод И. СУМАРОКОВОЙ

Подмена

Мы звоним, отворяет он. Встречает нас ослепительной улыбкой. Такая яркая белизна зубов подавляет, внушая мысль о его превосходстве над людьми, с которыми он вступает в контакт. Интеллектуал и вместе с тем спортсмен.

Принятый у моей супруги плащ устраивается на вешалке. Почему мы ходим, почему не прекратим эти встречи? Слишком давно знакомы, может быть потому... А он почему терпит нас, людей, от которых никакой пользы? Неведомо.

Столик в гостиной заставлен тарелками, бокалами, завален вилками и ножами, возле него женщина и ребенок, совершенно незнакомые. Я несколько удивлен: нас не предупредили, что будут другие гости, и куда же делось собственное его семейство? Его жена и сынишка всегда встречали нас у дверей. Не успели мы отрекомендоваться, как неизвестный мальчик вскакивает, бросается к нам, начинает нас дергать и тормошить; женщина (в их лицах большое сходство) поднимается и говорит как ни в чем не бывало: «Наконец-то, мы уже заждались!» Взглядываю на приятеля, лицо у него настороженно-торжественное, а улыбка не изменилась.

Не в силах слова сказать, мы позволяем отвести себя к столику, опускаемся на диван. Мать и сын нас откуда-то знают, если держатся так, а мы их забыли. Или они обознались? Скованные неловкостью, мы стесняем и их радость. Жена моя виновато подает малышу шоколад, предназначенный сыну моего приятеля. Она глядит на меня беспомощно. Но я не фокусник, я не прячу вторую шоколадку в отвороте брюк. Конечно, сын хозяина может появиться с минуты на минуту, он примется нас тормошить в свой черед, а мы, краснея, станем бормотать извинения.

Незнакомка ставит перед нами тарелки с закуской, мой приятель наполняет бокалы, мальчик разглядывает шоколад. Я шепотом обмениваюсь с женой несколькими словами. Не припомнит ли она, откуда мы знаем мать и ребенка, я их вроде бы никогда не видал. Не слушая меня, нервничая, она повторяет буквально то же. В следующий миг мальчик называет меня по имени. Все ли еще я хожу на охоту со своим старым ружьем? Немею от изумления: на охоту я вообще не хожу, и ружья у меня нет, зато есть такой ребенок, которому я рассказываю охотничьи байки: один-единственный ребенок, сын этого вот моего друга. Вероятно — я с трудом прихожу в себя,— мальчики играют вместе. Почему бы им не пообсуждать мои выдумки? Успокоившись, я говорю: «Да, частенько похаживаю», рассказываю даже, как во время последней охоты я выстрелил вверх, да так прямо, что пуля вернулась обратно в ствол ружья. «Ты его, братец, недооцениваешь,— вмешивается мой друг.— Я ведь тоже охотник. И он не вчера родился». Мальчик глядит на меня с насмешкой. Я смущаюсь: вчера, думаю ни с того ни с сего, что было вчера... Наконец киваю и даже глажу мальчика по голове.

(Припоминаю — так протекали и разговоры с сыном моего друга: я сочинительствую неумело, приятель меня иронически прерывает, в глазах сына тоже насмешка. Гнев отца провоцирует это ехидство в мальчике, обычно незлобивом, характером в мать, которую мы с женой искренне любим. Через минуту ребенок смотрит на меня с прежним любопытством, и мне приходится снова что-то выдумывать.)

Все повторяется. Незнакомый мальчик, быстро забыв про охоту, добродушно спрашивает, скоро ли я выполню свое обещание сводить его в цирк. И снова я в замешательстве.

Я и вправду давал такое обещание... сыну моего приятеля.

На помощь приходит проверенный уже логический ход — один ребенок похвастался перед другим: «А я в цирк пойду, хочешь попрошу, чтоб и тебя взяли?» Я улыбаюсь мальчику. «Завтра же схожу за билетами, куплю для всех троих». «Для троих?!» — насмешливо восклицает мой приятель. Странная реакция на совсем обычную фразу. Он обращается к моей жене: «Он что, и тебя водит на детские представления?» Она неловко смеется, не понимает, о чем мы. Я тоже не понимаю его насмешки, она мне кажется неудачной, замечаю, что и мальчику неприятно. И он и незнакомка мне симпатичны. Я бы

сказал даже, что присутствие их создает особую атмосферу, напоминающую лучшие часы, проведенные с хозяевами этого дома.

Женщины наконец затевают разговор. Кажется, нашли общий язык. Моя жена хвалит вкусный салат, поданный на закуску. Но почему же другая гостья отвечает: «Я так его быстро приготовила»? Взглядываю на свою супругу, она на меня.

Перекресток улиц Раковского и Дондукова — вот где мы встретили три дня назад моего приятеля с семейством и получили приглашение, которое привело нас сюда. Жена его напоследок сказала: «Так приятно будет приготовить ужин для близких людей». Вероятно, она занята сегодня и позвала пораньше приятельницу, чтобы успеть все приготовить. А может быть, и так: незнакомка — чья-то кузина, ее или его. Почти убежденный в их родстве, я изрекаю: «Вы, наверное, кузи...» Фразу докончить не удается. В тот же, абсолютно в тот же миг супруга моя произносит: «А где же?..» Слова наши настигают друг друга, переплетаются, сливаясь в бессмыслицу, точно скользнула ящерица неуловимым зигзагом — «кузиже...»; мальчик раньше всех, а за ним взрослые искренне смеются. Обескураженные, мы отказываемся от повторных вопросов. И стоит ли беспокоиться? Семья хозяина явится в свое время, вот и все.

Мы покончили с закуской, незнакомка встает и уходит в кухню. Приносит оттуда прозрачный запотевший сосуд. В тарелках у нас появляются шницели, в бокалах — вино. Не очень, однако, тактично со стороны нашего друга. Он все еще не извинился за значительное опоздание жены. Или даже за возможное отсутствие — при виде шницелей мне и такое показалось вероятным. А ведь мы бы поняли. Жена его такая милая, что могла и опоздать и вообще не прийти, только если на то были особые причины.

Моя супруга возобновляет разговор с незнакомкой, вовлекаясь в него искреннее, чем прежде. Это меня почему-то обижает. Незнакомка, спору нет, симпатична, но я-то не успокаиваюсь, я-то ведь начеку. Как она может, моя жена, болтать про пустяки, про готовку, не выказывая уже недоумения по поводу проявляемой к нам бестактности? Или решила, что приятель мой по рассеянности забыл объясниться, быть может уверенный, что все уже нам сказал?

Он отделывается односложными словами, пока мы едим; взглядываю на него и, как всегда, убеждаюсь — он ничего не забывает. Внезапно, довольная возможностью наверстать упущенное, незнакомка мне улыбается: «Надо же, чуть не забыла... Я нашла тебе хорошего обойного мастера». Стук выроненной вилки догоняет ее слова. Улавливаю краешком глаза неподвижность моей жены, ее замешательство. Мальчик спасает положение — опрокидывает на стол бокал швепса, мать убегает за тряпкой. Я поражен: говорит мне «ты», а такая на вид приятная и разумная, и еще: откуда она знает про наши обои? Ладно, говорю себе, кузина, был при ней разговор, а может, поинтересовалась сама, какое у нас житье-бытье, какие заботы,— воспитанный человек заранее готовит темы беседы. Да, но воспитанный человек не «тыкает» с ходу. Все. Конец моему разумению. Капканчик щелкает. Моя жена, по-прежнему недвижная, смотрит вниз. Я не вижу ее глаз, и это меня приводит в бешенство. Того гляди, закричу: «Зачем мы позволяем себя морочить?» Странно, она приходит в себя сама.

Приятель мой спокойно приканчивает шницель. Берет салфетку, вытирает руки. Наконец изрекает: «Что ж, жена моя всегда потчует недурно. Не правда ли?» И показывает на незнакомку.

Прежде чем эти слова стали фактом, то есть прежде чем я поверил в возможность их произнесения, слышится ее шутливый протест: «Что ты говоришь, наши друзья подумают, что мы сами себя хвалим...»

«Всегда потчует недурно». Что верно, то верно, потчует недурно. Но ее здесь нет! Моя жена — свидетельница. Спросить, что ли? Почему я ничего не выясняю? Чтобы их не обидеть? Чтобы не сказали, что я сумасшедший? Мое молчание — вот настоящее безумие. Ее здесь нет, три дня назад я видел ее в последний раз... Вскрикиваю, коротко и пискливо. Над моими бровями, подрагивая, устраивается рука. «Тебе плохо?» Незнакомка снова кидается в кухню, на этот раз за водой. «Что с ним? — хнычет мальчик.— Кто меня поведет в цирк?» Приятель, отдуваясь, вопрошает вернувшуюся незнакомку, не подсунули ли ей несвежее мясо. Удивленный его заботой, я сам себе задаю вопрос: к чему этот припадочный писк, к чему я пугаю всех, если атмосфера в доме та же, неизменная и даже лучше обычной. Конечно же, из ладони моей жены поступают импульсы страха, ее непривычной растерянности, что вынуждает меня признаться в кощунстве этой мысли. От такой ладони можно потерять сознание и взаправду, надо отсюда выбраться, надо уйти. Но припадок не прекращается. Глотаю воду, благодарю, устраиваюсь в прежней позе. Незнакомка смотрит на меня участливо, приятель, положив ей руку на плечо, говорит тихонько: «Может, сыграем в нарды, чтобы он рассеялся?» Мне становится ясно, что разгадки не будет — я не потребую объяснений, чтобы не стряслась катастрофа.

Мальчик снова спрашивает мать, поведу ли я его в цирк, она вспыхивает от неловкости и отправляет его спать. Малыш хватает меня за руку и декламирует: «Мили-тили, семерка крокодилья!» Вот как! Прощальный пароль, придуманный мною совместно с сыном моего приятеля! Машинально я наклоняюсь, целую мальчика в лоб — так я делал и раньше. Никакой разницы. Бездетным ее и не заметить. Оцепенело гляжу, как мальчик пересекает гостиную, машет мне на прощанье рукой. «Какой славный!» — восклицает моя жена.

Глупая манера поведения, которой она прикрывает свое состояние, снова приводит меня в бешенство. Смогу ли я с ней жить дальше? Как она не поймет, что страшно не что иное, а эта легкость подмены — так может исчезнуть всякий, час-другой — и свыкнешься, благо, тебя баюкает прежняя атмосфера.

Раз уж случилось что-то — не лишним будет хотя бы вникнуть в подробности. В какие? На ум приходит одна-единственная: надо вырвать из уст моего приятеля имя незнакомки, узнать, совпадает ли оно с именем его жены. Указываю на нее глазами... Но как сказать: «Назови мне ее по имени», как его подманить? Приятель поглядывает на меня обеспокоенно и посылает незнакомку за валидолом. Подталкивает меня грубовато, чтоб я прилег. Знаю, он не любит больных, заботливость его на моих глазах постепенно переходит в злость. Незнакомка показывается из кухни, в протянутой руке — таблетки и новый стакан воды. Приближается, добрая и участливая, я же чувствую, как меня охватывает страх — не перед безумием, нет, совсем беспричинный страх за свою жизнь. «У меня давление такое же низкое, как у тебя,— говорит женщина.— Вчера мне стало плохо во время уборки, а ему все шуточки, он не верит... Не знает, что такое болезнь».

Это она про моего приятеля. Страх нарастает, теперь я осознаю причину, она довольно странная: факт, что у нас одинаковое давление.

Надо прекратить нарастание страха. Пускай они больше не говорят, пускай ничего не делают. Единственный шанс — сбить их с толку и, улучив удобный момент, исчезнуть. Вскакиваю, локтем сбиваю со столика стакан, руки вздымаю кверху и — готово — топчусь по ковру: «Музыку, дружище! Ритмические движения спасают!» Все глядят на меня не двигаясь, будто в столбняке. Приятель встает, пробирается к магнитофону, нажимает кнопку. На место не возвращается, устраивается на табуретке — чтобы быть от меня подальше. Ли-

кую. Дикий крик наполняет комнату. Неумелость придает моим движениям ужасающую энергичность.

Мое тело, мои движения, моя энергия.

Зверски усталый, иду наконец к магнитофону и тоже нажимаю на кнопку. Крик обрывается. Сдираю с себя пиджак, швыряю на пол. Все молчат. Никогда я не чувствовал себя таким могучим, таким счастливым. Мой страх меня сотворил.

Возвращаюсь к столу за рюмкой. Не нахожу своей, хватаю рюмку приятеля. «Выпьем,— говорю им,— за могущество лжи!» Сам не знаю, что я хотел сказать. Рассказываю затем низкопробную историю, возможную только в воображении: Стамбул, сводницы и проститутки, грязные конурки, замызганные матрасы, тараканы. Размахиваю руками, говорю громко, делая вид, что не замечаю, как незнакомка указывает пальцем на спальню. Боится, как бы не услышал ребенок.

Ладно, никто не отзывается, значит, вовсе не важно, завершу ли я свой рассказ. Могу говорить хоть до утра. Могу прерваться хоть на полуфразе и уйти отсюда. Так и делаю. Спотыкаюсь на трудном слове и направляюсь к двери. Сила моя безгранична. Вот я уже в прихожей. На руке моей виснет тяжесть. Собственная супруга, про которую я совершенно забыл. Она что-то говорит, надо же, очень странно. Не верил я, что кто-то из них произнесет хоть слово, кто-то осмелится... Не отвечать бы, но она настаивает, слышу: «Надо вызвать «скорую помощь», если тебе плохо...» Незнакомка накидывает на меня пиджак, приятель добавляет: «Нервный срыв...» Обменивается замечаниями с моей супругой... Не слушать, не слушать их — я еще не спасен. Их унижающие заботы растапливают мое могущество, оно держало меня, теперь плечи у меня опускаются, сникает тело. Надеваю пиджак, подтягиваю галстучный узел. «Мне уже лучше, дорогая». Все молчат, смотрят на меня и молчат. «Я так рада»,— спохватывается незнакомка, и я в который раз замечаю, как она симпатична. Друг мой суетится, распахивает дверь, провожает до лифта. Незнакомка идет за нами. Они советуют моей супруге взять такси.

Первая мысль в деревянной клетке — «я спасен», следующая — «мы узаконили случившееся». Мы использованы, мы разыграны, мы виновны. На улице произношу громко: «Мы использованы, мы разыграны, мы виновны»,— чтобы прочувствовать свою догадку. Супруга молча меня хватает под руку. Старается стереть воспоминания о моих буйствах. Я начинаю дрожать. «Неужто и вправду мы потеряли дорогу друг к другу?» Двигаюсь вспять, может еще успею, проговариваю еще раз: «Мы узаконили факт». «Какой факт?» — спрашивает она. Следит за мной, а не за моими словами. За моими словами, а не за их смыслом. «Какой факт?» Что, если вопрос ее задан верно? Если не существует ничего, кроме него?

Если никто из них даже не подозревает...

«Свободное такси»,— произносит супруга, вскидывая руку. И я внезапно понимаю, что голос у нее подменен.

Перевод Н. СМИРНОВОЙ

Принуждение

Бухгалтер Павлов возвращался домой со своей субботней прогулки. Легко и вроде бы непринужденно он шел по деревушке, чьи обитатели давно привыкли к виду туристов, толпами поднимавшихся в горы или спускавшихся по тропинкам вниз. Местные мужчины пили пиво, их взгляды рассеянно блуждали по кучам садового мусора. Женщины развешивали выстиранное белье. Лениво-апатичные, люди теряли индивидуальность; однообразие их поз и скупость движений вызывали у Павлова такое ощущение, будто он ступает по мягкому ковру с монотонным узором. Ему хотелось, не причинив никому беспокойства, досыта насладиться привычными и дорогими ему картинами — потому он и отправился в это небольшое путешествие.

— Добрый день,— неожиданно поздоровался с ним стоявший у забора человек в жилетке.

Лицо бухгалтера просветлело, он с благодарностью посмотрел на него и ответил:

— Добрый день.

Вот и все, что произошло. Но, продолжая свой путь, Павлов уже смелее поглядывал на дворы. Он почувствовал себя так, словно поздоровался со всем, что его окружало: с мужчинами в подтяжках и детьми, державшими в руках хлеб с маслом, с кустами, фруктовыми деревьями и низенькими домиками. Ведь он и в самом деле никого не беспокоит. Люди здесь давно привыкли время от времени перекинуться парой слов с многочисленными туристами... Но Павлов понял это как особое к себе расположение.

За поворотом у самой дороги он увидел раскидистое черешневое дерево. Ему захотелось попробовать ягод. Он подошел поближе, восхищенный небрежной и беспорядочной красотой черешни, столь щедро предлагавшей всем свои плоды, и уже собирался протянуть руку, как вдруг краем глаза заметил группу ребятишек. Они приближались к дереву, не отрывая от него взгляда, поплевывали себе на ладони и потирали руки. Павлов без сожаления отошел от черешни, пропало и желание попробовать ягод. Может быть, останется в памяти мальчишек сладкий миг предвкушения — а вместе с ним дерево и спина человека, и расплывчатая тень Павлова когда-нибудь мелькнет в их воспоминаниях, подобно тому как на снимках, сделанных в далеких городах, всегда мелькают смутные силуэты незнакомых людей...

Павлов уже давно привык отступать. Он отступал, чтобы не разрушить, отступал, чтобы самому не быть уничтоженным. Одно было неотделимо от другого. Вчера утром начальник планового отдела, оскалив в усмешке зубы, сказал ему: «Павлов, всем известно, что как мужчина ты не на многое способен, но если хочешь, я могу тебе помочь». Сейчас, отдаляясь от черешни, которую он оставил детям, Павлов испытывал чувство, будто он вновь безмолвно отступает и перед начальником планового отдела. Но до каких пор можно это терпеть?

Он вышел на широкое шоссе, по которому ходили автобусы до города. Деревушка осталась позади. Что готовили ему следующие несколько километров? Он видел высокие здания из стекла и бетона, стоявшие на большом расстоянии друг от друга,— это были научные институты, построенные с учетом самых современных требований; за чертой города, в тишине, с множеством окон и обилием света, но такие пустые и холодные в выходной день. Неожиданно Павлов почувствовал усталость. До остановки было далековато, да и автобусы ходили редко. Он сошел с дороги, присел на большой камень, огляделся вокруг. И увидел, как со стороны гор едет такси. Павлов поднялся, но, как недавно под черешней, краем глаза заметил какую-то фигуру, только на этот раз значительно дальше — у одного из зданий, которое попадало в поле его зрения. Неведомая сила заставила его повернуть голову и посмотреть в ту сторону. Он готов был поклясться, что там женщина, которой тоже нужно такси, к тому же беременная женщина.

Такси медленно проехало мимо. Шофер посмотрел на Павлова, но тот не поднял руки, а только проводил машину взглядом и с удивлением обнаружил, что женщина и не собиралась голосовать. Через минуту все вокруг опустело, но Павлов и на этот раз не огорчился. Он легко шагал по дороге, придерживая перекинутую через плечо маленькую сумку. Голые пустыри сменялись стеклянными зданиями. Их вид смутно напоминал машинистку с холодными глазами, которая ненавидела Павлова, и он всегда старался отойти подальше, как только она принималась судачить об их коллегах. Павлов знал, что несколько дней назад машинистка остановила в коридоре юри-

ста Томанову, дважды разведенную женщину, и завела разговор о ее нравственности, прикрывая свои собственные мысли именем бухгалтера: «Ты знаешь, Павлов говорил о тебе, что...» С тех пор Томанова тоже невзлюбила его, а машинистка стала относиться к нему еще хуже, чем раньше, справедливо полагая, что ему уже известно об этом разговоре... И снова хотелось спросить себя: «До каких пор можно это терпеть?»

Постепенно Павлов перестал замечать, куда идет.

Шаги становятся все медленнее, фигура — все сутулее, сумка на плече — все тяжелее, и это уже не сумка, а рваный мешок... Исчезает куда-то бухгалтер Павлов, исчезают шоссе и высокие здания. Пробудившийся после долгого сна гном с белой бородой, в шапке с кисточкой и в громадных башмаках с загнутыми носами тяжело ступает по раскисшей от вечной сырости земле. Стая ни на минуту не смолкающих ворон с карканьем кружится над его головой. Густые испарения поднимаются над лесом, над поляной, по которой он идет. Все вокруг становится неясным и расплывчатым: деревья, облака. В пробивающемся сквозь птичий гомон молчании — мрачная и торжественная таинственность. Согнувшись под тяжелой ношей, гном потихоньку приближается к лесу, где разыгрывается извечная драма — где борются добрые и злые силы.

— Эй, приятель! — послышался чей-то голос.

Павлов обернулся, словно во сне увидел остановившийся рядом автобус и людей, которые с сочувствием смотрели на него сквозь стекла.

— Что с тобой? Ты еле плетешься,— сказал тот же голос.— Давай садись, хоть здесь и нет остановки.

Только теперь Павлов выпрямился, поправил сумку на плече и заметил водителя, высунувшегося из окна.

— Я вам очень, очень, очень благодарен,— сказал Павлов, сел в автобус и занял место на заднем сиденье.

Он все еще не мог прийти в себя. Гном уходил куда-то в сказку, не сознавая того, ведь он был сказочным существом,— но именно там, он знал это, его ожидало что-то важное.

«Сказочное и важное»,— сказал себе Павлов.

Потом повторил:

«Сказочное и важное... Таким все должно быть».

Но не смог вспомнить ничего, что было бы таким.

В памяти проплыла вереница приятных, но вроде бы незначительных эпизодов из его жизни. Потом вспомнились и другие случаи, когда его пытались облить грязью — он не хотел к ней прикасаться, чтобы не разносить ее дальше. Да... Вся его жизнь — только тончайшее сплетение маленьких радостей и мелких огорчений, и ничего значительного.

Настроение немного испортилось. Все же, как зачарованный, он повторил про себя:

«Сказочное и важное...»

В следующую минуту Павлов уже ни о чем не думал, он перестал замечать, что происходит за окнами автобуса. Как и все остальные пассажиры, он сидел уставившись вперед. Их затылки, грязная дорожка в проходе между сиденьями, полая металлическая перекладина возле передней двери — все это не проникало в его сознание. Такое состояние отрешенности в дороге испытывают многие люди, но у Павлова оно было по другой причине — ведь сейчас он чувствовал себя частью маленького коллектива и, сидя рядом с этими людьми, даже в мыслях старался ничем от них не отличаться.

Но когда в центре города он вышел из автобуса, вдруг без всякой причины ему вспомнились слова, которые часто повторяла его жена:

«Ты никогда не сможешь, ты всегда будешь вести себя так, будто это не ты, а какой-нибудь самый заурядный человек».

«Что значит «не сможешь»?»

«Ведь только я по-настоящему знаю тебя».

Жена не слушала его, она смотрела на него невидящим взглядом, а в ее голосе звучали любовь и горечь.

Павлов шел к своему дому мимо звенящих трамваев, черно-серых зданий, знакомых витрин, табличек с именами врачей, дантистов и парикмахеров — некоторых из этих людей, наверное, уже не было в живых, а таблички все еще висели на стенах домов. Павлов любил эту привычно-обыденную атмосферу вечернего города, когда на темнеющем небе вырисовывалась наслоившаяся за день усталость, а из невидимых недр веяло дыханием пыльной, душной книжности.

Но он любил и те минуты, когда сгорбленный гном шел под пронзительные крики птиц, неся свой полный подарков мешок. Правда, сейчас, видя на каждом шагу свое отражение в витринах, он считал эти мечты наивными. Может быть, несовместимые влечения владели его душой? Павлов не думал об этом. Полуосознанно он впитывал очередное удовольствие.

Но прежде чем переступить порог дома, он должен был пережить еще что-то. Еще? А были ли у него на самом деле какие-то переживания? Когда он начинал размышлять о мелких эпизодах из своей в общем-то безбурной жизни, ему всегда казалось, что она наполнена детскими, бесполезными, никому не нужными переживаниями. Тогда он говорил себе, что наивны не только отдельные моменты, но и вся его жизнь в целом.

Павлов уже видел застекленную дверь своего дома, предвкушал, как войдет в свою маленькую квартирку... Снова напомнила о себе неизжитая и странная привычка, снова в сознании промелькнуло одно из немногих известных ему французских слов — «лонтан», означавшее что-то далекое. Слово расстелилось светлой дорожкой на его пути к подъезду, и он зашагал, охваченный скрытой радостью возвращения. И вдруг он увидел директора Топалова.

Директор шел ему навстречу, разгребая воздух широкими взмахами рук. Люди инстинктивно шарахались в стороны, так что пальцы Топалова едва касалась их одежды. Так же как они, Павлов всегда стремился избегать любого соприкосновения с директором и, как только замечал его в коридоре, тут же скрывался за первой попавшейся дверью. Такая реакция не зависела от воли Павлова, она возникла после совместной командировки, когда случай свел их в одном гостиничном номере. В тот день Павлов рано лег спать — около половины десятого. Топалов вернулся поздно ночью. Наполнив комнату винными парами (он пил где-то с местными работниками), директор зажег все лампы, в том числе и маленький ночник Павлова, и стал раздеваться. Накрывшись с головой одеялом, бухгалтер притворялся спящим и старался мысленно как можно скорее отдалиться от Топалова. Директор продолжал вести себя так, будто он один в комнате. Он сделал стойку на руках, потом уставился в зеркало, разглядывая свою волосатую грудь. С грохотом распахнул окно, и небрежно махнул рукой, презрительно вглядываясь в ночной город. Потом забормотал: «Город... ничтожества... провинция... я приехал... да я их... его жена... еще посмотрим...»

Павлов пошевелился и по недоуменному взгляду директора понял, что тот вообще забыл о его существовании...

Сейчас Павлов в отчаянии озирался по сторонам. Вдруг в десяти метрах от себя он увидел двух своих коллег из планового отдела — Петрова и Теневу. У обоих были семьи, дети, но с некоторых пор их связывало взаимное и недозволенное чувство. Они держались за руки, смотрели друг другу в глаза и, так же как Топалов, ничего не замечали вокруг себя. Но в их отрешенности было и что-то величест-

венное, потому что от нее веяло добровольно взятым на себя риском и на мгновение завоеванной свободой. Они должны были пройти мимо — влюбленные и директор, так и не заметив друг друга. Но если случайно... Павлов вдруг уловил следы ушедшей молодости на их лицах, старомодный покрой одежды, уловил и что-то жалкое в этих двух стареющих людях, мимо которых проходили, обнявшись, молодые пары. Он представил, как под взглядом Топалова они разнимают руки, а потом замечают и его, Павлова, и восторг сменяется страхом и ужасным чувством уязвимости. Рано или поздно это случится, но только не на его глазах!

Бухгалтер решительно направился к Топалову.

— Товарищ директор! — Павлов впервые произнес эти слова не в стенах предприятия, а посреди людской толчеи на центральной софийской улице.

Топалов остановился и посмотрел на него так, как когда-то в гостинице. Последовало минутное молчание.

— А-а, это вы... да, да... как ваша бухгалтерия? — все же спросил директор.

— Спасибо, все в порядке,— ответил Павлов.

Топалов нервно передернул плечами, не скрывая своего удивления, что его остановили без всякой причины. Пара прошла мимо них.

— Ну хорошо, товарищ...— директор замолчал.

И вдруг, не прощаясь, пошел прочь.

Павлов медленно преодолел последние метры до подъезда, медленно стал подниматься по лестнице. Хорошо проведенный субботний день теперь уже напоминал высокую стену, разделенную надвое трещиной, из которой сыплется штукатурка. Только что случившееся сливалось с той давней сценой в гостинице, и Павлов смутно догадывался, что он уже давно обманывает себя и что его правильно построенная жизнь — иллюзия.

Он боялся, как бы это унижение не отразилось на его отношении к Петрову и Теневой — случайной причине его поступка. Раньше ему никогда не приходило в голову, что подобное совпадение неизбежно, что когда-то оно произойдет — встреть он Топалова у черешни, он, возможно, и тогда бы пошел на унижение, лишь бы сберечь радость детям. Но тогда изменилось бы его отношение к мальчишкам... Больно было думать обо всем этом.

На площадке перед дверью своей квартиры Павлов вдруг замер. Вдалеке шагал гном...

На этот раз он был совсем рядом с лесом. Почему так сильно стучит сердце? Он в самом деле у леса или кто-то рассказывает ему о летящих оттуда со зловещим карканьем птицах? Огромные башмаки с загнутыми носами утопают в кустах, и в слабо струящемся свете гном видит, как их кончики — один за другим — появляются где-то поодаль. «Кха-кха» — на верхушке дерева кашляет простуженная белочка. Ее изможденное тело отрывается от ствола и мягко падает на влажную землю. У корней дерева тотчас же образуется маленькое облачко, оно постепенно сгущается и превращается в миниатюрную фею. Прозрачные ножки феи плывут над землей, она встречается взглядом с гномом. Потом склоняется над упавшей белкой, прикасается к ней краем своей накидки. Белочка медленно поднимается. Не в силах сдержаться, гном протягивает руки, берет ее, с трудом сажает на самую нижнюю ветку. Вдруг фея заговаривает, обращаясь к нему на «вы», ее голос подобен шелесту плавно падающего на землю листочка. «Вы думаете, только я видела то, что вы сделали? — говорит она.— Как это хорошо, что вы появились!» Она тает, сливается с деревом, а гному ее исчезновение не кажется чем-то необыкновенным. И снова — кусты, деревья, мерцающий свет... Гном застывает на месте, сердце замирает: на крошечной полянке черный косматый лесной великан заталкивает в податливую землю совсем ма-

ленькую, ростом меньше гнома, лошадку с буйной гривой. Великан беззвучно смеется, его смех страшен. Совсем неожиданно гнома охватывает нелепое возбуждение, похожее на приступ радости. Скрытый за могучим стволом дерева, он издает воинственный клич. Великан выпрямляется, лошадка выбирается из влажной земли и исчезает в кустах. Чудовище замечает гнома, вышедшего из своего укрытия. «Эй ты, выродок,— кричит великан,— что это ты там делаешь?» Гному хочется спрятаться, утонуть в непроходимых зарослях. Но неожиданно для самого себя он зловеще шипит: «Если ты еще раз назовешь меня так, я тебя убью!» Великан растерянно смотрит на него, потом поворачивается спиной, хватается за одну ветку, за другую, растворяется в зелени деревьев. «Замечательно! И как только у тебя хватило смелости?!» Над головой гнома сидит чудесная птица — белая, с длинным тельцем и красными глазками, в ее хвосте — одно-единственное перо...

— Что с тобой? — Это, кажется, голос жены.

Несколько секунд Павлов смотрит на нее невидящим взглядом. Он стоит, прислонившись к стене.

— Тебе плохо? Я услышала шаги, но ты не позвонил. Я решила выйти...

Жена испуганно подталкивала его вперед, пытаясь нащупать пульс. Еле передвигая ноги, Павлов прошел через прихожую и опустился на продавленный диван. Он не помнил, чтобы когда-либо раньше ему доводилось испытывать такую тоску. Никогда больше не появится гном в башмаках с загнутыми носами — в этом он был уверен. Наконец-то гном подарил ему себя. Но Павлов еще не знал, какая сила передалась ему. И не мог знать, что́ почувствует в те минуты, когда мир перестанет быть таким, каким он хотел его видеть.

Павлов поднял голову и заметил, что жена с тревогой наблюдает за ним.

— Теперь я знаю, что значит «смочь»,— прошептал он.— Я знаю, что ты хотела сказать. Я перестану жить в призрачном мире.

Жена поднесла руку к губам. Она боялась, что не сможет почувствовать того, что испытал ее муж в минуту, когда решился изменить свою жизнь.

— Для меня никто...— начала она, но не договорила.

Она подошла к нему и прижалась к его груди.

Перевод Т. ПРОКОПЬЕВОЙ

■

Ф. Р. СКОТТ

Стихи разных лет

Перевод с английского РОМАНА ДУБРОВКИНА

Серое утро

Шум дождя по камням, по земле,
В мутной мгле — по скале — гул бегущей воды,
Заунывного ветра угроза:
«Я на кручи туман первобытный наброшу!»
Колыханье берез в предрассветном лесу,
Я один это серое небо несу —
Непосильную, горькую ношу.

Сонет

Ты книгу мне вчера дала прочесть,
Всех более любимую тобою,
Дабы еще тесней с моей судьбою
Соединить свою,— ты знала, есть
Единство душ,— я поспешил подсесть
К огню и, не прислушиваясь к бою
Полночному, следил, как ворожбою
Переполнялся дом,— глухую весть
Ненастный ветер повторял за шторой,
А я увлекся сказкой, от которой
Не оторваться! — я читал, как вдруг
Заметка карандашная, простая,—
Тепло твоих благословенных рук! —
В огонь смотрел я, больше не читая.

Буржуазные похороны

Трамвайный заглушая гул,
Перед недвижным полисменом
Моторный катафалк рванул,
Грозя распятьем неизменным.

© F. R. Scott, 1981

ФРЭНСИС РЕДЖИНАЛЬД СКОТТ — FRANCIS REGINALD SCOTT (1899—1985)

Канадский поэт. Окончил исторический факультет Оксфордского университета и юридический факультет университета Мак-Гилл в Канаде. Был на дипломатической службе и преподавательской работе. Лауреат ряда литературных премий. Автор поэтических сборников «Увертюра» («Overture», 1945), «Игольное ушко» («The Eye of the Needle», 1957), «Автограф» («Signature», 1964) и др. Переводил франкоканадскую поэзию на английский язык.

Публикуемые стихи взяты из книги «Собрание стихотворений Ф. Р. Скотта» («The Collected Poems of F. R. Scott». Toronto, McClelland & Stewart, 1981).

Зловонье улиц, визг железа
Покойник счел бы подходящей
Надгробной мессой,— он при жизни
Не подобрал ключей к делам
Реальным и теперь на свалке
Окажется, как всякий хлам.
Он сам бы так решил, поверьте.

Что ж до распятья... этих акций
Он не держал, ничьей опеки
Не пожелав и после смерти.
Банкрот навеки.

Скалы Святого Лаврентия

На границе снегов — нежданное лето.
Эти граниты взирают на солнце в массивном молчанье,
Перекатывая неизреченные,
Арктические слова.
Неисписанный пергамент времен и событий.
На краю истории — край певчих озер,
Древний, как любовь, — древнее!
Простертый на долгие мили.

В этом предвкушении — жажда.
Он найдет свой язык,
Подберет нужный слог,
Прогремит гласными плодородья.

Язык плоти и роз

А пока довременные слова,
Междометия хижин,
Глаголы поселений,
Робкие вокабулы освоения,
Еще не втиснутые в синтаксис железных каркасов.

Первым младенческим криком был зверолов,
алчущий пушнины,
Потом золотоискатель, бродяга, получеловек, префикс.
Позже — грубый императив монополий,
Грохот машин, выкраивающих империи из людских
сокровищ.
Сегодня зоркий аэроплан гудит надо льдами,
Рождая в пустыне чувство соседства,
Соединяя звенья будущего над упраздненным полюсом.

Но глубже, отчетливей звуки в штреках и штольнях,
В палаточных городках, на стройках.
Здесь пишут неустанным грифелем каждодневной работы,
Пишут сейчас, сегодня —
Миллионы рук, способные обратить камни в цветы.

Испания, год 1937-й

Мы истекаем кровью вместе с ними,
В руинах города́, пылают школы,
Ребенок перед неподвижным трупом,
И юноши под дулами винтовок.

И Герника реальней, ощутимей, чем каждодневный хлеб.

Пусть наша ненависть и боль гонцами станут,
Пусть этот мир они разбудят — оглянитесь! —
Жестокость набожная, массовая бойня,
Поход крестовый, на крови сплотивший
Богатство, и религию, и класс,
Там свастика прикрылась золоченым
Распятьем, там за непричастьем — смерть.

И воскрешенный богоравный Лорка,
Неуязвимый для фашистских пуль.

Для них цвела весна, весна идей,
Ломающая лед тысячелетних зим,
На улицах, в полях — ростки надежды,
С веселым треском лопнувшие почки,
Цветы, что так и не взошли,
Свободомыслия растоптанные всходы.

И побежденные, вы победите.

Расставание

Такой я запомнил тебя навсегда: поезд тронулся,
И ты все стояла у дверей вокзала,
Одинокая в безвременной пустыне,
Словно дерево на мерзлой скале у Великих озер.
Миг спустя ты исчезла, я исчез, мы исчезли.
Неделимый монолит распался надвое,
Растаял, растекся бурлящими рукавами
По обрывам неодолимого водораздела.

Каждый из нас отыщет в конце концов свое море,
Покой глубин, потревоженных только луной,
Океан, омывающий преграды материков,
Затопляющий лиманы чужих земель.
Мы познаем приливы, познаем отливы,
Постигнем изначальное, целостное, вечное,
Нас вынесет из прибрежной тины на вольный простор,
События будут сменяться событиями, как волны,
И только мы останемся неизменными.

На поляне

Старея, мы словно уходим
От костра
И огня в себе не находим,
Как вчера.

Темной сыростью угрожая,
Дышит лес,
Всюду слышатся нам чужие
Голоса.

Не оробей, не вздрогни,
Иди к нему!
Но вот повернул с дороги
В лесную тьму,

Остановился устало,
И в темноте
Внезапно деревом стала
Ночная тень.

Джоанне

Умолкли птицы, по влажной земле иду,
Окутан плащом тумана и темноты,
Дрожащей рукой срываю цветы
В ее опустелом, ее городском саду.
Вокруг тишина, надтреснутой скорлупой
Рассыпалась жизнь: в измученном сердце — рак.
Природа — двусмысленный друг или все же враг?
Кажется блеклой, излишне жестокой, слепой.

Но нам завещали почтить этот горький итог
Букетами роз, гладиолусов и гвоздик —
Цветами была ее жизнь до краев полна.
Цветы — бесподобный, счастливый ее язык.
Вы слышите голос? Навек уходя, она
Возвращается в землю, как всякий другой цветок.

Колонка новостей

Женщина и ребенок
найдены вчера мертвыми
на Песчаном озере.

Скупое сообщение
в газете.
Потеряв работу,
она обратилась за помощью
к приходскому священнику.
Тот попросил ее
прийти
завтра.

Завтра не было.

Подробностей самоубийства не сообщалось.

Говорилось, однако,
что утопленница состояла на учете
у психиатра,
и потому никто не чувствовал себя
виновным.

Происшествие

Фургон из прачечной
Прогрохотал по холму
И врезался в мой любимый клен.
Происшествие, типичное для Северной Америки.
Из кабины выпало три банки пива
(Что само по себе улика),
Следом посыпались юбки, рубашки.
Залаяли собаки.
Словно одуванчики, усеяли мою лужайку дети.
На этой улице не принято здороваться.
Теперь, от волнения,
Мы почувствовали себя соседями.
Чужие, незнакомые люди
Обмениваются репликами.
Сердца теплеют.
Вскоре появляется полицейский —
Степенный, как водится в респектабельных кварталах,
Сосредоточенно заносит в блокнот фамилии, адреса.
Фургон берут на буксир.
Порядок восстановлен.
Бульвар словно осыпан крахмалом.

■

ДУБРОВКИН РОМАН МИХАЙЛОВИЧ (род. в 1953 г.)

Советский поэт-переводчик. В его переводах публиковались стихи Г. Гейне, Г. Ибсена, Т. Мура, Г. Лонгфелло, П. Ронсара, Ж. Дю Белле, С. Малларме («ИЛ», 1984, № 9); из канадской поэзии переводил Э. Пратта, Д. Лайвси, И. Лейтона и др.; составитель английского раздела антологии «Из современной канадской поэзии» (М., «Прогресс», 1981).

РОЖЕ ДОРСАНВИЛЬ

Умереть за Гаити, или Судьба святой Эстер и ее сподвижников

ПОВЕСТЬ

Перевод с французского М. ПАСТЕР и А. ИБРАГИМОВА

Несправедливости свойственно возрождаться снова и снова, и для борьбы против нее надо насаждать повсюду сады памяти.

1

Мария

Она стреляла, и грохот автоматных очередей оглушил ее, парализовал все чувства. Жили только глаза, неотрывно устремленные на два тела: одно — недвижно распростертое на асфальте, другое — конвульсивно бившее пятками по жалкому подобию газона, где сквозь замусоренную щебенку с трудом пробивалась худосочная щетина желтоватой травы, давно позабывшей, что такое смена времен года. Признаки жизни, все еще сохранявшиеся в этом большом теле, поколебали ее решимость, но она тут же стряхнула с себя оцепенение, и, преодолевая врожденное чувство сострадания, подняла автомат — этот жест завтра будет подробно описан в одной из газет — и методично прикончила обоих. Четыре короткие очереди, выпущенные с равными промежутками времени, прошили грудь, раскроили череп, неузнаваемо обезобразили лица, перебили шейные позвонки тем, кого еще мгновение назад звали Дезир Шеранфан и Шерилюс Сен-Марк, этим макутам [1] Бешеного Короля.

С первой же очереди волна неистовой паники прокатилась по Марсову полю, сметая месиво пешеходов и истошно гудящих автомобилей. Однако сердце города, питаемое мощными артериями четырех авеню и доброго десятка улиц, как ни в чем не бывало продолжало перегонять кровь. И потому на месте вызванного паникой мгновенного опустошения уже в следующий миг образовалось новое скопление пешеходов, велосипедистов, автомобилей. Вновь прибывающие никак не могли взять в толк,

© Éditions L'Harmattan, Paris, France, 1980

[1] Макуты, или тонтон-макуты,— тайная политическая полиция, созданная диктатором Франсуа Дювалье. *(Здесь и далее прим. перев.)*

РОЖЕ ДОРСАНВИЛЬ — ROGER DORSINVILLE (род. в 1911 г.)

Гаитянский писатель. После установления на его родине диктатуры Дювалье покинул страну и все эти годы живет в эмиграции. Автор романов, повестей, рассказов, стихов. На русском языке его рассказы печатались в альманахе «Африка» (1981); сборник произведений Р. Дорсанвиля, куда вошли и романы «Кимби» и «Человек в трех лицах», выпущен издательством «Художественная литература» (М., 1983).

Публикуемая в этом номере повесть впервые вышла в Париже в 1980 году («Mourir pour Haïti ou les croisés d'Esther». Paris, Éditions L'Harmattan),

отчего им навстречу несется перепуганная толпа, люди спрашивали друг у друга, что случилось, но тут же застывали, пригвожденные к месту четырьмя очередями, выпущенными с равными промежутками времени. У большинства захолонуло сердце, и они прошептали: «Попались!» Уже давно этот город уподобился ловушке, дверца которой в любой миг может захлопнуться, и частенько захлопывалась, бесшумно или с грохотом, и жертвой становились то один, то другой, а нынче вот попались они. Люди стояли, будто скованные параличом, их сердца бились глухими колокольными ударами, мысли метались, как обезумевшие крысы, руки и ноги обмякали. Они не смели шелохнуться, не смели даже думать, боясь влипнуть в еще более жуткую историю. Бежать? Поздно, осознали они с гнетущим чувством горечи. Счастливчики те, кто успел улизнуть сразу же. Угораздило ж их оказаться здесь, поблизости от источников смертельной опасности — дворца, казармы, полиции, генерального штаба; их вот-вот окружат, уже окружили! Малейший неверный шаг погубит одного, десятерых или всех скопом.

Не до каждого еще дошло, что случилось. Может, тонтон-макуты просто расправляются с какой-нибудь очередной жертвой? Их ведь хлебом не корми, только дай свести счеты. Однако четыре автоматные очереди подряд — это уж слишком. Никому и в голову прийти не могло, что на мушку взяты Шеранфан и Сен-Марк. А когда это станет наконец известно, когда все эти люди осознают, что находились всего в какой-то полусотне или сотне метров от места, где пристрелили двух ищеек, уткнувшихся сейчас мордами в щебенку и жухлую траву, то их нутро опалит жгучим пламенем, и кишечные спазмы еще долго будут мешать им говорить об увиденном. Лучше поскорее забыть.

Однако далеко не все пребывали в неведении. Те, что оказались ближе остальных к месту происшествия, буквально умирали от страха. «Бог мой, что натворила эта рехнувшаяся девица с карабином? Что они вообще позволяют себе, эти юнцы? Начитались Маркса, наслушались по радио Кастро. Может, их сбил с толку цитатник? Скверная история. А солнце, солнце-то все такое же, просто не верится!» Они даже не осмеливались взглянуть на труп Шеранфана. Вдруг это просто-напросто розыгрыш, сейчас он поднимется и сядет как ни в чем не бывало? Так думали адвокаты, чиновники, учителя, охранники — все, кто в этот час возвращался домой после восьмичасовой ночной смены или у кого только должен был начаться рабочий день. И все они, парализованные страхом, вытянулись в струнку перед двумя трупами: как быть, если они еще живы и шевельнутся?

Приглушенный стон вырвался наконец из глубин объятых паникой душ, даже не стон, а надсадный вопль, плач над любезными сердцу сынами, плач, многократно усиленный эхом в гигантском, лишенном купола нефе, плач, извергнутый тысячей стиснутых отчаяньем глоток. На самом же деле то был заупокойный плач над собственным телом — только бы удалось магией массовой скорби улестить псов Солнца; возникнув стихийно, он, этот плач, захватил и увлек всех, кому мнилось, что только так и можно выказать свою непричастность, отречение от самоочевидного. Они предали ее, единственную из всех сохранявшую спокойствие и невозмутимость (смотрите, смотрите, какое хладнокровие, сразу видно — безжалостная убийца!). Да, она единственная среди них, кого не коснулся страх, но они не желали признать это вслух, потом в своих газетах они назовут ее чудовищем без бога в душе, чудовищем, не способным пролить слезу. А сами взывали к богу долгим, на одной ноте скулежом больного пса. Возможно, окажись среди них запевала, они бы с его легкой руки грянули сейчас «славу» Бешеному Королю, или патриотический марш, или национальный гимн, но это ведь могли принять за надругательство или даже бунт. Толпа рассудила правильно, сделала верный выбор — выбрала гнусность, обошлась без запевалы. Вожаки вообще нужны лишь для того, чтобы вести к цели самым кратким и прямым путем. Толпа же выбрала извилистую дорожку — скулеж больного пса — и тем самым явила свою солидарность с псами из своры Бешеного Короля.

За рулем собственного «форда» сидела пышная дамочка, вся в драгоценностях, в этот неурочный час напудренная и нарумяненная вроде ночной шлюхи, но она была не уличной проституткой, а любовницей министра, к тому же не простого министра, а министра-священнослужителя, то есть любовницей почти самого господа бога; она только что окончила свою трапезу — съела заливную свинину, пресные крекеры, толстый ломоть ветчины, нашпигованной пряностями, выпила кофе со сливками. Не она ли, красотка из пролетарских низов, еще недавно почитала за лучшее

лакомство сандвичи с треской за десять сантимов, а по вечерам — густой, жирный шоколад марки «Жереми», которым заглушала голод? И вот сейчас она вновь оказалась в опасной близости от конца, верней, от того, с чего начинала,— дешевых сандвичей. И все из-за этой ненормальной! А вдруг подобные ей одержат верх и с помощью автоматов наведут свои порядки? Дамочка монотонно, гнусавым фальцетом повторяла самое бранное слово из своего лексикона: «Шлюха! Шлюха!» Она выкрикивала: «Шлюха!», она пела: «Шлюха-шлюха!», только так ей удавалось держать на расстоянии вытянутой руки собственную смерть, которая — да, да! она ощущала это! — уже копошилась в ее нутре. А как иначе — если им удалось кокнуть самого Шеранфана? «И занесла меня нелегкая сюда! Почему я не поехала, как обычно, по другой улице? Зачем вышла из дому так рано?» Она заклинала рок и в то же время не желала признавать его власть над собой, ибо это признание означало бы смирение с близостью смерти, то есть отказ от всяких надежд, от борьбы, от попытки отразить неминуемый удар; в последний наш миг сопротивление бесполезно, все равно придется подчиниться ране или смерти — какая разница чему? Она скулила, только б оттянуть время, только б переадресовать смерть, тыча пальцем в преступницу: вот, мол, она, а не я, она предназначена на заклание. Дамочка не осмеливалась выскочить из машины и прикончить ту, другую, а ведь она, как все любовницы министров, имела при себе оружие — малышку кольт тридцать восьмого калибра, вполне современный, умещающийся в вечерней сумочке, но разве вытащишь его сейчас? Здесь ведь не стрельбище, где под предлогом тренировки развлекаются макуты обоих полов. Здесь уместен лишь голос автомата, такой уверенный и красноречивый. Попробуй достань кольт, тебя тотчас пришьет эта чертова девица, а если не она, то почти наверняка макуты, которые будут метить в любую движущуюся цель; нет человека, который бы не знал этого, и потому все застыли на месте.

Стараясь вырваться из плотного кольца причитаний, девушка с автоматом сделала шаг: видимо, хотела спуститься с насыпи, где она была слишком приметна. Ей следовало бы добраться до угла, совсем рядом, и она именно так и поступила бы, будь у нее еще силы сделать выбор; там высилось дерево, суровое, крепкое, надежное, внушающее доверие, как некий священный долг. И в этот миг она встретилась глазами с растерянным, вопрошающим взглядом того, кого называла «простачком Альдо». Это было совсем недавно, еще вчера, еще нынче утром, всего час назад, в те мгновения, когда существуют только «ты и я». Это было, хотя она не раз внушала себе: «Я не люблю его», хотя она убеждала себя, что у нее есть святое дело, ради которого она живет, хотя утверждала: «Я погибну одна», когда соглашалась на это задание, лишившее ее завтрашнего дня.

Они долго обсуждали план операции, прикидывали и так и эдак. Нужно ли прикрывать ее, Марию, а потом помочь ей бежать? Ответ был неумолим: в любом другом месте все это имело бы смысл, но только не здесь — в двухстах метрах от дворца, казарм, от всего этого скопления оружия, боеприпасов, убийц; не здесь, где вечные заторы. И в то же время больше нигде не удалось бы разом прихлопнуть двух ищеек; здесь, и только здесь, они чувствовали себя в безопасности, в состоянии эйфории вываливаясь безоружными из кафе, где после утреннего патрулирования заправлялись яичницей с беконом, блинчиками, черным кофе и апельсиновым соком. Рассчитывать на то, что ей одной удастся улизнуть, тоже не приходилось,— уличные пробки не давали возможности подогнать автомобиль поближе. Пешком, с оружием в руках? Она неизбежно станет живой мишенью, по которой невозможно промахнуться. А если попытаться бежать, бросив оружие, смешавшись с толпой, будто она — одна из множества женщин, охваченных паникой, добраться до такси, которое заранее наймет Шарли? Тогда пришлось бы бросить оружие сразу же после выстрела, чуть ли не в момент выстрела, рискуя промахнуться. Нужно было решиться поставить на кон свою жизнь, без расчета на чью-либо помощь, уповая лишь на чудо. На чудо надеялся и Шарли, поджидавший ее на углу.

Поскольку шансы вернуться с такого задания равнялись нулю, ей потребовалось несколько месяцев, чтобы отринуть все, чем она дорожила, порвать все былые связи. Она сделала это шумно, шокируя семью и друзей. Только б уберечь их от мести макутов, как будто макутам ведома логика, уж она-то знала, как у них ее мало, им доступна только примитивная логика власти. Тогда она и стала любовницей Альдо, добившись тем самым чтоб от нее отреклась семья. Она сняла отдельную квартиру, «холостяцкое гнездышко» — пусть думают о ней что хотят. Она тщательно порвала

все семейные узы. «Вы только поглядите на нее с этим субчиком, невесть откуда взявшимся, с этим метеком[1], выскочкой, богачом, который попросту купил ее, как покупают шлюх. И для этого мы пестовали ее? Все началось с эколь нормаль[2], а лицей довершил дело. Учение в светской школе к добру не приводит».

Она выбрала Альдо не для того, чтобы в конце концов принести его в жертву, хотя не могла не знать, что все-таки принесет, что ему несдобровать после удара, нанесенного власти. Но разве она сама не возложена на тот же самый жертвенник? А когда осознаешь, что ты — жертва, обреченная на смерть, то привередничать не приходится и тогда начинаешь воспринимать власть как нечто фатальное. Некоторая доля разумного эгоизма необходима для психологического равновесия. А значит, зачем ждать молча, в безысходном одиночестве смиряясь с тем, что угасает энтузиазм; ждать в монашеском аскетизме сходя с ума от всяческих фантазий и видений, и в конце концов превратиться в безумицу, которая ничего уже не сможет добиться и потерпит неудачу в любом начинании. Никогда она не бывала более счастливой, чем с Альдо, более спокойной; вся ее жизнь буквально перевернулась (и даже не надо принимать пилюли, ведь она все равно умрет раньше). Из всех возможных претендентов она выбрала именно его: человека не своего круга, не из числа знакомых или друзей, короче, такого, которого, как ей казалось, она никогда не сможет полюбить,— богатого иностранца, далекого от всего, что составляло ее жизнь, от маленького двора на улице Сезар, где она родилась, где была перевязана ее пуповина, где прошло ее детство между карликовым вишневым деревцем и веревкой для отбеленного и подсиненного белья. Она выбрала Альдо, как выбирают исполнителя на какую-нибудь роль, для себя же она выбрала двойную жизнь: с одной стороны, полную тревог и волнений, спрессованную в одну тайну, устремленную к одному всесокрушающему взрыву; с другой — безрассудную, исполненную плотских утех, танцев, кутежей и всего, что бывает между мужчиной и женщиной.

И тем не менее, глядя с одного тротуара на другой — вернее было бы сказать, из одного мира в другой,— она могла признаться (а для чего еще нужна свобода, тем более купленная столь дорогой ценой, как не для того, чтоб наконец безмолвно признаться?): «Твой приход преобразил утро, льдина дала трещину, но ты одолел разлом. Последовало скольжение, толчок, а я ждала тебя, как тихая гавань ждет корабля».

С одного тротуара к другому летит вопрошающий взгляд Альдо: «Что ты натворила?» Ее же глаза говорили на языке огня, языке молний, вспарывающих небо, и это был не ответ — всего лишь обрывочные воспоминания.

«Уходи!» — крикнула она, но даже не разомкнула губ, объятая внезапным ужасом, как лисица, прихлопнутая капканом, и этим капканом было все то сокровенное, тайное, что нельзя выставлять напоказ. Или она хотела, чтоб ее смерть исполнилась трагического и торжественного смысла?

Больше она не сделает ни шагу. Неужели Альдо не понимает этого? Время втиснулось в один-единственный миг, а пространство — в один кадр, вобравший в себя всю улицу Капуа, протянувшуюся вдоль оград чахлых садов, фасадов домов, пепельно-серых, ибо жадное солнце давным-давно обглодало все яркие краски.

У нее под ногами лежала длинная насыпь — некое подобие высокой плотины вдоль Марсова поля, а позади, там, куда она не смела оглянуться, липло к ее спине пустынное пространство: гектары газонов, изгороди, асфальтовые авеню, залитые цементом аллеи, деревья, киоски, прохожие и автомобили, застывшие во времени,— подходящая тема для примитивистских полотен Дюффо или Кастро Базиля, лишь им удалось бы воспроизвести всю неприглядность изъеденных страхом лиц. И только уличный разносчик, недвижно замерший со своим трехколесным лотком, посмел высказать вслух неистовую, подлую, низкую мысль, которая преследовала каждого из мужчин, угодивших в то утро в ловушку: «До чего ж ты красива!..» Будто красота сама по себе дает право на всеобщее обозрение.

На ней были короткие брюки из зеленоватого сукна, схваченные манжетой под коленом, икры обтягивали чулки, казавшиеся прозрачными, на самом же деле того розовато-кремового цвета, который девчонки называют «телесным» и который так любят негритянки (она и все члены ее группы терпеть не могли слов, которыми так легко задурить голову). Ее коротко стриженную голову прикрывала шляпка с острой тульей вроде тирольских, но без задорного перышка и яркой ленты. Она носила со-

[1] Метек — в данном случае чужак, чужеземец.
[2] Здесь: средняя школа.

всем короткую стрижку, потому что терпеть не могла укладывать волосы щипцами, и голова ее походила на подстриженный газон. Друзья, когда видели ее без шляпки, называли ее «африканочкой», Альдо же называл ее «девочкой-мальчиком», хотя всем прочим — округлостью грудей, гладкостью икр и плавными очертаниями похожих на две амфоры бедер — она отнюдь не напоминала юношу. В правой руке — большая полотняная сумка, расшитая яркими тюльпанами, она держала ее так крепко, словно собиралась убежать, умчаться отсюда, словно спасение еще было возможно. Эта сумка временами бывала такой тяжелой, особенно когда в нее укладывали пропагандистские брошюры или оружие, как, например, сегодня.

Она мельком взглянула на часы. Две минуты. Прошло всего две минуты. До чего ж это много — две минуты одиночества. С ней такое случалось и прежде, но никогда еще время не тянулось так мучительно, и никогда одиночество не казалось столь безысходным, как в этот день, которому не суждено перейти в завтра и из которого нет и не будет возврата.

Тем не менее даже в сей миг высочайшего напряжения забил рожденный инстинктом самосохранения слабый родничок — некое подобие радости: все сложилось удачно, автомат не подвел. Теперь можно, отбросив всяческий страх, идти до конца, как она уже тысячи раз проигрывала в воображении. Подобно всем подпольщикам, она не ведала иного страха, кроме страха перед пытками. Никому не дано заранее знать, достанет ли сил вынести нескончаемую агонию истерзанной плоти, униженной, разлагающейся, залитой кровью. «Лучше убить себя»,— говорила она. Но ей не хотелось травиться цианистым калием, пусть что-нибудь другое. «Ты говоришь так,— однажды безжалостно пошутил Серж,— словно тебе предстоит сделать выбор между двумя туристическими маршрутами или двумя шоколадными конфетами. А ведь мы здесь не для того, чтобы играть в детские игры». Серж, их руководитель, держался опытным профессионалом. Но в тот раз, когда она заговорила о самоубийстве, он потерял выдержку и буквально неистовствовал, ибо одна мысль о неизбежной гибели этой девушки лишала его рассудка. Ему казалось, что в своей работе они уподобляются кротам, пролагающим ходы глубоко под землей. И вот эта девушка, всегда такая подтянутая, собранная, исполнительная, стала для него одновременно матерью, и сестрой, и дочерью. «Цианистый калий или ничего!» — отрезал он, надеясь на то, что она выберет «ничего» и откажется, тогда пошлют кого-нибудь другого, кто менее дорог ему. Но она согласилась. Им не удалось найти цианистый калий, и пришлось вернуться к первоначальному варианту, ведь все равно ни о каком спасении не могло быть и речи. «Я оставлю одну пулю для себя,— сказала она.— Только не стреляйте сами, моя черепушка не настолько прочна, как вы думаете». Серж, он разрабатывал всю операцию, побледнел, затрясся, как в лихорадке. Ну что за девчонка! И откуда у нее этот дар превращать их всех, и себя в том числе, в этаких озорников, затеявших опасную игру? Это мешало им воспринимать себя всерьез. И вместе с тем ее присутствие шло им на пользу. Что станется с ними, когда ее уже не будет? Она понимала, как им нужна, но никогда не говорила об этом. Их переловят одного за другим, истребят, но, разумеется, не потому, что ее уже не будет. Она знала, что все они обречены, отчасти поэтому и вызвалась выполнить задание, с которого ей не суждено вернуться,— лучше уж погибнуть под открытым небом, в потоках солнечного света, нежели отдать свое тело на растерзание псам в тюремных застенках. Любой заговор теряет свою значимость, если не устремлен к достижению цели, никакая подпольная группа не сможет сохранить жизнеспособность, если не будет постоянно расширяться, расти. Но их было всего пятнадцать — застывшее в своей завершенности, окаменелое ядро. Ни сообщников, ни замены, ни преемников. Общественные прослойки, объединенные ненавистью к ним и страхом, покоились на чем-то студнеобразном, зыбком, лишенном остова. Все они были свободны от каких бы то ни было привязанностей. Или целиком предались смирению, отречению и страху («Только не трогайте нас, только не трогайте»). Стоило ненароком задеть плечо мужчины, как тот съеживался и трепетал, а если плечо женщины — она зажмуривалась и готова была крикнуть: «Делайте со мной что хотите!» (Так говорил Серж.) Палачи расправляются со своими жертвами под открытым небом или в тюремных застенках, нескончаемой вереницей тянутся за ними имена замученных и убитых, но ни один живой не осмеливается предъявить свой счет этим палачам, ни один. Жалкие слюнтяи и трусы, маскирующие свой страх напускными кривыми улыбочками, намертво прилипшими к их лицам. Неоткуда ждать ни помощи, ни поддержки. И даже будь подпольщиков не

пятнадцать, а сто — все равно ничего бы не переменилось. Группа Сержа затеяла эту операцию как вызов беспомощности и отчаянию. Подпольщики полны были решимости взорвать общее безмолвие, хотя бы нанести удар по не знающей пощады службе безопасности.

История обычно искажает истину: героиня изображается этаким прекрасным бутоном, распустившимся на слабом стебельке. И как правило, умалчивается, что корни цветка питаются простым в своем величии перегноем. Отчего же эта девушка пошла на смерть — из одного только презрения к перегною истории? Скулеж толпы не удивил ее — ни злобное, повторяемое нараспев «шлюха», ни грязный выкрик какого-то недоноска с тротуара. Теперь она жалела, что заставила Сержа столько ворчать, будто не была уверена заранее, что у нее не будет шансов на спасение. Не ошиблась ли она, рассчитывая на слепую ярость солдатни, хмелеющей от собственных выстрелов? Вот она стоит перед ними, одинокая и беззащитная, на открытом возвышении. Достаточно одного выстрела из оружия пусть даже самого малого калибра, например двадцать второго, достаточно одной пули в локоть или в нервное сплетение — и она окажется бессильной противостоять их рукам, их пыточным электродам, они будут глазеть на нее, нагую, будут похабно потешаться над ее слабостью, испытывать сладострастное наслаждение от одного вида ее истерзанного и поруганного тела. С отчаянной яростью она отшвырнула сумку, достала из правого кармана свой кольт тридцать восьмого калибра с укороченным дулом, у нее была заготовлена всего одна-единственная пуля — надпиленная и зазубренная. «Дуло в рот,— сказала она как-то Сержу,— и голова вдребезги».

Странно, но теперь ей казалось абсурдным стрелять в самое себя. Она, воительница, пасионария, вооруженная и кольтом и автоматом, не убьет себя, как обанкротившийся банкир или продувшийся в пух и прах картежник. Она будет драться до последнего вздоха и уложит на месте по меньшей мере еще двух макутов.

А между тем площадь и прилегающие к ней улицы содрогались под перекрестным шквалом полицейских свистков, а откуда-то издалека доносился пронзительный вой сирен.

— Скорей! — заорал Альдо и попытался открыть дверцу своего автомобиля, напрочь забыв, что она заперта на ключ. «Взгляни-ка на мой новый «феррари»,— еще недавно хвастался он, обещая веселые прогулки на бешеных скоростях по окрестностям столицы или просто беспечные вылазки в кафе-мороженое на приморском бульваре. Он обещал ей показать самые красивые пейзажи. Все это, однако, было не более чем пустые обещания — в такие места на «феррари» не добраться. И она возражала ему: «А не лучше ли на джипе?» Альдо притворно сердился. Это в стиле Альдо — никогда всерьез не сердиться на ее подначки. Она улыбнулась при этом воспоминании («Мой Альдо совсем сумасшедший»), но улыбка так и не показалась на ее губах. Сирены приближались.

— Скорей! — опять крикнул Альдо. В ответ она прикинула глазами, куда упадет ее тело, когда выстрел собьет его с узкой насыпи, такой открытой и незащищенной, и ее охватило смутное сожаление, что для этого места так и не нашлось достойного урбаниста, вроде Жантона, который смог бы украсить его, как, скажем, Петионвилль[1]. Или хотя бы такого, как Вильжуан, который распланировал Марсово поле, где газоны перемежаются памятниками в честь негров, убивавших белых, и негров, чьи руки обагрены кровью негров. Король Кристоф, Дессалин[2]... У них хватало негров — убийц негров и до Бешеного Короля. «Истинный герой великодушен». Вот почему надо стремиться, чтобы подпольщики стали человечнее, менее механистичными, менее самоуверенными, стали добрее и душевно щедрее — как благостен и щедр хлеб. «Даже в тот миг, когда суровая справедливость вынудила меня безжалостно разрядить автомат в двух псов, даже тогда я ощущала, как внутри меня крошится упругий мякиш доброты, подобно тому как под пальмами рассыпается свежеиспеченная слойка».

Никто, даже Вильжуан, не вводил в план города эту насыпь, никто нарочно не обрамлял газоны, памятники, скамьи, павильоны Марсова поля этим подобием плотины. Кое-где ее приспособили под стоянки для автомобилей — перед кинотеатрами и кафе, но горожане по ней не ходили. Для этой насыпи не было даже названия, урбанисты не придумали слова, в котором отразилось бы ее назначение в городском пейзаже. Некогда здесь пролегали трамвайные пути — в те далекие времена, когда по Порт-о-

[1] Курортный городок близ гаитянской столицы Порт-о-Пренс.

[2] Анри Кристоф и Жан-Жак Дессалин — императоры Гаити после освобождения страны в 1804 году от французского владычества.

Пренсу еще бегали трамвайные вагончики, звонкие и лязгающие на поворотах, сопровождаемые кондукторами в униформе с медными пуговицами и в фуражках с золоченой кокардой. Потом пришли американцы — старики еще помнят те времена — и завладели трамваем и железной дорогой, этим баснословным источником доходов, наложили лапу на все, что искони было твоим. Янки обращаются с нашей страной, как с девкой в постели, говорил Серж. Не станут же они продавать отслужившие лет двадцать, но еще вполне надежные вагоны и локомотивы, зато охотно всучат автомобили и горючее, потому что для них перво-наперво — зашибить деньгу. Вот они и загоняют нам все, что быстро выходит из строя, ломается, рассыпается в прах, обращается в дым. Все, что они продают нам сегодня, уже не вписывается в сверкающий завтрашний день. Вот почему они и дают нам кредиты на постройку дорог, спроектированных без учета особенностей грунта и без надлежащей основы. Для этих дорог доставляют асфальт из Маракаибо, что в Венесуэле, и настилают его тонким слоем прямо на пыль. Вот почему наши дороги ни к черту не годны, и автомобили разбиваются на них в лепешку. Альдо называл янки «окороками», а Серж презрительно — «толстомордыми», что, в сущности, одно и то же. Постоянно приходится закупать покрышки и запасные части, ублажая американский капитал, тех, кого почтительно именуют «холдерами», то бишь держателями акций. Нас с малолетства приучают к благоговению перед мифическими «холдерами», и нам, несмышленышам, кажется, будто они — сказочные гранитные великаны по восемь футов росту, с высеченными на лбу или на спине именами. А когда мы вырастаем, то с удивлением узнаем, что эти самые «холдеры» всего лишь обыкновенные директора журналов, актеры кино, милые дамочки, обожженные нашим солнцем туристы с кинокамерами. Их вполне устраивает наша маленькая страна, на ухабистых дорогах которой разбивается в год по десять тысяч автомобилей. Они с восхищением называют нас good risks [1], лишь бы мы не затевали разговоров об отсрочке платежей; им удалось склонить свое собственное правительство к тому, чтобы оно дало им гарантии против наших трудностей, то есть уберегало бы от всяческого риска в нашей стране (где же свобода частной инициативы?), и правительство США страхует своих граждан за наш собственный счет. Взяв на себя такого рода обязательства, американское правительство не шутит, оно крепко держит нас за воротник во имя отца, сына и матери божьей. Наемные псы Солнца изгаляются как могут. Их следовало бы убить — и в один прекрасный день, может быть, убьют и псов, и само Солнце. На этих-то подлецов и следовало бы обрушить сокрушительный бомбовый удар. Оставшиеся в живых белые, желтые и черные переделают мир, но подлецы сплачиваются, чтобы спасти свою шкуру, а мы не только не в состоянии пригасить такие американские Солнца, как Айк[2], Джонсон, Никсон, но даже не в состоянии прикончить Бешеного Короля, укрывшегося за броней американских танков, мы довольствуемся тем, что убиваем мелких шавок.

У нее из-под ног убегала вдаль прямая цементная дорожка, назначение которой было непонятно тем, кто ничего не знал о пролегавших здесь некогда трамвайных путях. По обе ее стороны, на склонах насыпи, не было ничего — ни травы, ни цветов, один только мелкий гравий, сквозь который местами пробивались пучки пыльной травы. Она вспомнила детство, проведенное на Нижней Лалю, свой ежедневный маршрут в школу, расположенную вблизи от бывшего трамвайного кольца, за трибунами, перед окнами клуба буржуа Порт-о-Пренса; там тоже земля была усыпана мелким гравием, и он закатывался на асфальт; мальчишки постоянно пуляли камушками в девочек — и было больно, и еще было больно ногам, когда случайно наступишь на окатыш,— верный признак того, что подошвы сандалий износились; в таких случаях девочки обычно говорили дома: «Мамочка, мои туфли истрепались, я их ношу уже целый год»; а матери отвечали: «Смотри внимательней под ноги и не ступай по камням»; такие разговоры продолжались до тех пор, пока не становилось очевидным, что дырявые дочкины сандалии подрывают семейный престиж. Она отлично помнила времена, когда ходила, вечно потупясь, и вовсе не потому, что робела перед мальчишками, как самонадеянно думали эти простачки, а потому, что старалась прилежно обходить камни. Был тогда один мальчик, близорукий очкарик, который ни черта не видел дальше собственного носа, впрочем, ему и не надо было ничего видеть, потому что он влюблялся во всех девочек подряд — и в хорошеньких и в дурнушек; он

[1] Отчаянные люди, лихачи *(англ.)*.
[2] Президент США Дуайт Эйзенхауэр.

обожал называть девчонок именами кинозвезд; и вот однажды, проходя мимо торопливым шагом и метнув в нее быстрый взгляд из-за круглых очков, он бросил вроде бы невзначай: «Мария Дальбайсин...» — так звали красавицу актрису, каштановые кудри у которой обрамляли покрытые трагической бледностью щеки. И вот теперь, на том самом месте, где с уст наивного очкарика сорвалось «Мария Дальбайсин», она сегодня вспорола чистое, прозрачное покрывало раннего утра автоматными очередями и укокошила двух бешеных псов. Мария Дальбайсин — ее подпольная кличка. Пятнадцать человек группы знали ее под этим именем. Но не Альдо.

Сирена приближалась. Не самое ли время появиться некоему градостроителю, великолепному знатоку своего дела, пророку и провидцу, который насадил бы здесь пышные заросли гортензий — идеальное место для падения удлиненного лепестка? Она представлялась себе этим планирующим лепестком.

Альдо метнулся к ней — единственный движущийся объект в оцепенелом пространстве. Так порой на экране мы видим застылый, окоченевший пейзаж, пересекаемый то ли медведем, то ли раненым охотником, то ли медленной похоронной процессией. Кто же это? Это был Альдо, осмелившийся разрушить напряженную условность панорамы, куда уже врывались вооруженные до зубов макуты в голубых мундирах.

Альдо кинулся к ней, и она увидела его взгляд — готовый вобрать ее в себя, перемахнувший через барьер показных приличий; он стал непохож на самого себя: лицо обтянулось от лихорадочного возбуждения, глаза горели, даже форма черепа изменилась, будто он надел или, наоборот, скинул с себя обычную маску. На бледном треугольнике лица сверкнуло в нервическом оскале полукружье зубов. «Так вот каков Альдо в миг нашей смерти!» Он показался ей до того беззащитным, хрупким и в то же время могучим, что она всхлипнула.

— Нет! — выкрикнул Альдо, вскидывая правую руку. Неужели этот безбожник взывал к небесам?

Он выхватил из рук девушки автомат, но не успел повернуться, как был отброшен внезапным ураганным залпом. «Пора!» — скомандовала она себе и уверенно прикусила зубами дуло пистолета.

Ей, ушедшей в безмолвие, так и не суждено было узнать, что тело ее, смятое злобной очередью, прибило вплотную к Альдо и оба они, став единой мишенью для беглого огня, слились в смертном объятье.

— Перестаньте! Хватит! — заорала министрова шлюха. Этим невольно проявленным состраданием она заслужила себе прощение — отныне она не шлюха, а жена.

Распахнув дверцу своего автомобиля, обезумевшим, растерянным взглядом уставилась она на кровавое месиво, сотрясаемое автоматными очередями.

— Перестаньте! Бога ради, перестаньте! — вопила женщина. Однако любовь к богу неведома огнестрельному оружию. Выкрикнув последний раз мольбу о сострадании, жена священника уронила голову на руль и забилась в беззвучных рыданиях. Она даже не заметила, что уперлась лбом в центр рулевого колеса и над зловещехриплым лаем автоматных очередей взлетел высокий, нестерпимо монотонный и исполненный трагизма сигнал.

— Заткните ей глотку! — рявкнул офицер, и макут в голубом навел дуло автомата на рыдающую женшину. Офицер едва успел поддать ствол его автомата кверху. Он проделал это будто играючи — тем не менее длинная автоматная очередь процарапала крышу «форда» — так, мол, ему и надо, этому боженьке в небе! Жена священника удивленно подняла голову, и сигнал замолк.

Макут с офицером, весьма довольные друг другом, весело заржали.

Шефом издан декрет: оба трупа оставить нетронутыми для всеобщего обозрения. По радио объявили, что всех учащихся школ надлежит провести мимо этих тел, дабы впредь никому не повадно было идти по стопам агентов международного коммунизма. Мероприятие начнется в одиннадцать часов дня. Первыми пойдут учащиеся младших классов, затем старших, и те и другие, естественно, в сопровождении учителей. С полудня — служащие государственных учреждений во главе со своим начальством.

Немногим позже был объявлен новый декрет — об организации похорон павших на поле чести Дезире Шеранфана и Шерилюса Сен-Марка. А также объявлялся общенациональный траур: магазины, учреждения и школы закрывались. Всем прицепить траурные черные ленточки.

2

Альдо

В течение недели миф об Альдо просачивался во все дома — сквозь потолки и стены, паркетные полы, из подвалов. Бог свидетель, в этой стране все живут мифами, каждый прячет свое истинное обличье под размалеванной личиной, так что не сразу разберешь, каков на самом деле тот или иной человек, особенно если он маскируется профессионально; случается, люди столь успешно вживаются в образ своего двойника, этот искусственно созданный ими же самими образ, что начисто забывают свое подлинное лицо. Если человек молчит, это не значит, что ему нечего сказать; не следует упрощать вещи, безмолвие таит в себе мистическую подоплеку. Немало политиканов с помощью молчания сделали головокружительную карьеру. Конечно, не обошлось без умения соответствующим образом держаться и многозначительно улыбаться, но — главное — молча. Иные депутаты парламента благодаря молчанию, и только молчанию, успешно одолели пять выборных сроков и не расставались со своим депутатским креслом по двадцать лет кряду. «Он готовится нанести оппозиции сокрушительный удар»,— уважительно говорит публика о таких молчунах. И каждый делает вид, будто верит этому, внося тем самым и свою лепту в создание мифического персонажа.

Разум у нас не в почете. Может быть, потому, что наша страна — остров, куда не заезжают люди интеллигентные, с идеями, только «холдеры», туристы или священнослужители. А может, потому, что наш народ оторвался от своих африканских корней, а к новой истине так и не приобщился. Или оттого, что слова в отрыве от вещей утратили свой изначальный смысл, ибо забыт наш первичный язык, вот слова и стали не более чем простыми игрушками для младенчески бессильного разума, не способного к аналитически конкретному видению мира и людей. Никогда еще и нигде, ни в одном обществе, пусть даже вымышленном, вроде страны Алисы [1], не процветала столь пышно простодушная вера в чудо, в легенду, миф. Вот почему Альдо, этот плейбой, погибший с оружием в руках, словно бы взорвал изнутри логику допустимого. Первым забило тревогу правительство: «Кто такой Альдо?» У этого человека оказались в наличии паспорт и въездная виза, но не было свидетельства о рождении и сертификата о натурализации. При заключении сделки на приобретение недвижимости фигурировало удостоверение личности Альдо, но при расследовании выяснилось, что судья заверил акт, сняв копию с довольно неразборчивого подлинника. Один из свидетелей, подписавшихся под актом, был мертв, другому сунули сотню гурдов [2], и он готов был подмахнуть что угодно не глядя. Обычная история, но в том, что касается Альдо, все казалось сомнительным, ведь речь шла о человеке, явно законспирированном. Свидетеля отстранили от должности, затем без всяких на то причин хладнокровно убили в кафе одного из сыновей судьи. Другой его сын, журналист, известный как ярый поборник режима, принялся с удвоенной энергией восхвалять существующие порядки и разжигать читательские страсти: «Кто такой этот загадочный Альдо?»

— Подать немедля! — вопил в своем дворце серый от ярости Бешеный Король.— Подать немедля все сведения о нем: настоящее имя, чем он занимался, откуда родом, что собирался делать у нас, черт бы его побрал!

Многократно усиленное эхом повеление «Подать немедля!» докатилось из дворца до министерских кабинетов, до канцелярий, и по всей стране было схвачено и зажато в немилосердные тиски не менее сотни ни в чем не повинных бедолаг. Некоторые из них погибли, например, кухарка Альдо; правда, она скончалась еще до начала пыток, просто с перепугу; умер и посыльный Альдо — не выдержал пинков кованых ботинок, зуботычин и подвешивания за пальцы ног; отдали богу душу шофер и двое служащих из принадлежавшей Альдо фирмы по продаже вин, ликеров и сигар. Они не вынесли пыток водой и электрическим током и маленьких пороховых взрывов в прямой кишке. Без вести пропал автомеханик, чьими услугами регулярно пользовался Альдо.

---

[1] Имеется в виду повесть английского писателя Льюиса Кэрролла «Алиса в стране чудес».

[2] Гурд — денежная единица Гаити.

Это еще не все. Помощник министра внутренних дел, некий Шармэн, в недавнем прошлом жалкий голодранец, озлобившийся на весь белый свет, большой охотник до женщин, арестовал одну даму, из числа знакомых Альдо, на самом деле это был просто повод свести с ней счеты; невысокая, изящная, с изысканными манерами дама и ее муж, такой же, как она, невысокий, изящный и светлокожий, занимали довольно видное положение в обществе. Они были благородные мулаты из Жереми и, как поговаривали в кварталах знати, недолюбливали выскочек вроде Шармэна из Порт-о-Пренса. Палач тщетно добивался расположения дамы, она пренебрежительно отвергла его притязания. И вот теперь он решил взять реванш, поквитаться с ней за Альдо, если, конечно, она и впрямь была близка с ним. А почему бы и нет? Альдо в избытке обладал всем тем, чего был лишен палач, костюмы и галантные манеры которого не могли притушить плутоватого взгляда и бьющей через край вульгарности.

Шармэн сдернул с женщины одежду и, голую, собственноручно отхлестал кнутом. После этого с тонкой иронической улыбкой он стал допрашивать ее, время от времени слегка охаживая хлыстом из бычьих жил по обнаженным грудям и животу. Он грязно надругался над ней, вынуждая признаться в связи с Альдо. Но она, избитая до крови, молчала. Ей, бедной, нечего было сказать о человеке, которого она почти не знала.

Когда расследование зашло в тупик, обратились за помощью к ФБР, ЦРУ и доминиканской жандармерии, которые не смогли добавить ничего существенного; правда, доминиканцы высказали предположение, что Альдо является их соотечественником, ибо он родился и некоторое время жил в Доминиканской Республике. Затем обратились за помощью к Венесуэле: среди бумаг Альдо неожиданно обнаружился диплом горного инженера, выданный венесуэльским университетом. Из университета ответили, что некий Альдо Сан-Хуан числился в их списках как гаитянский гражданин и что однажды во время учебы он совершил поездку из доминиканского города Сантьяго-де-Макорис в Каракас. И это все, что о нем известно. Столь скудные сведения, не проливающие никакого света на тайну, невольно наводили на мысль о международном заговоре. Следовало действовать крайне осторожно, и это немного притупило маниакальное рвение палачей — кость могла оказаться им не по зубам; к тому же не было уверенности, что эта кость не обросла американским или доминиканским мясом. На всякий случай было решено пришпилить к имени Альдо ярлык «ФБР»: в яростном ослеплении властям доставляло удовольствие иногда считать себя приверженцами антиамериканизма или, напротив, беззащитными жертвами звездно-полосатого каймана.

Шумиха, поднятая вокруг Альдо, пошла на пользу пятнадцати подпольщикам: на какое-то время все словно позабыли о Марии Дальбайсин; эта же шумиха помогла и семье девушки. Ее отец, тетки, родные и двоюродные братья, прочая родня в первый же день, удивленные тем, что их еще не прихлопнули, закупили место на полосах ежедневных газет и публично отреклись от Марии, они клялись в верности безумному «отцу нации». И ни у кого от этого не открылась рвота, в том числе и у «отца нации», привычного к подобным тошнотворным воскурениям. Что же до пяти миллионов сынов и дочерей, то они давно свыклись с подобными изъявлениями любви к «отцу», который почти не показывался на людях, и каждый из них тоже заготовил на всякий случай изъявления преданности и послушания.

В конце концов Альдо приписали доминиканское происхождение. Его связь с заграницей была очевидна. До получения гаитянского паспорта молодой человек жил по доминиканскому, в котором, так же как в венесуэльском дипломе, значилось, что по национальности он гаитянин, а после испанского имени Сан-Хуан, что звучало вполне по-гаитянски, мелкими буквами было приписано то же самое имя, но во французском варианте — Сен-Жан, что, впрочем, тоже звучало вполне по-гаитянски, ибо на Гаити немало мужчин носит такое имя, особенно в среде чернокожей буржуазии, благочестивой и робкой, к примеру адвокатов и учителей. Один из Сен-Жанов стал финансовым инспектором, другой, его старший брат, директором лицея; это ли не крупная удача? Но между этими людьми и Альдо не было, да и не могло быть ничего общего. Он — богатый, независимый метек, без определенного рода занятий светский жуир, обольститель женщин, коммерсант, занимающийся продажей алкогольных напитков, владеющий французским языком настолько хорошо и в то же время настолько плохо, что предпочитал пользоваться испанским даже в простейших случаях: ¡Hombre que va! ¡Bueno, adiós! ¡Que le pase bien![1]

[1] Что поделаешь! Хорошо, прощай! Пусть все будет в порядке! *(исп.).*

Служба уголовного розыска на всякий случай поворошила некоторых из Сен-Жанов, но без особого рвения, будучи заранее уверенной, что эта затея провалится с треском; и действительно, среди допрашиваемых оказались люди, настолько неосведомленные, что не помог бы даже и детектор лжи. К примеру, финансовый инспектор, взятый не столько по подозрению в родственных связях с Альдо, сколько по воле случая: его контора оказалась рядом с полицейским участком, и он просто подвернулся под горячую руку. Потом у него, кстати, просили прощения.

— Кто? Альдо? — удивился инспектор.— Да, я знал его в лицо, но не более того. Изредка видел на улицах города, как и все. Кто он такой? Обыкновенный прожигатель жизни. Сен-Жан? Он? Но ведь он испанец, или доминиканец, или венесуэлец, не знаю, кто именно. Во всяком случае, латиноамериканец. Сен-Жан? Невероятно!..

Вопросы полицейских все-таки заставили инспектора порыться в памяти и припомнить полузабытые подробности исчезновения его отца. Однако вслух он произнес:

— Он даже не говорит по-французски. Однажды я слышал, как он выступал по радио.

— По-французски он, может, и не говорит, зато его креольский безупречен, почти без акцента.

— Да?

Инспектор долго еще будет рассказывать об этом допросе в узком семейном кругу, но директор лицея ничего ему не скажет, ни слова о том, что знает.

Это было лет сорок тому назад. Сен-Жан-отец, закрыв свой небольшой заводик по производству газированных напитков (шестьсот бутылок в день), сказал приятелю:

— Все. Я отчаливаю. Семья не будет ни в чем нуждаться после моего отъезда. Жена неплохо шьет и уже сейчас в состоянии прокормить себя и детей. Я продал остатки сырья и расплатился с долгами за дом. Им не придется нанимать жилье, а это уже кое-что. К тому времени, когда дому понадобится капитальный ремонт, дети станут взрослыми.

— Взрослыми? Но ведь твоему старшему всего семь.

— Я уезжаю навсегда. Не для того, чтобы подработать деньги на стороне, вернуться и пустить их по ветру. Забирать свое семейство с собой я тоже не намерен. Не желаю обременять себя ничем. Главное — знать, чего ты хочешь.

— Но никто никогда так не поступал.

— Значит, я буду первым.

— Но у тебя же здесь есть занятие.

— У меня было собственное дело. Это разные вещи. И мое дело вот-вот лопнет. Послушай, что такое газировка? Обыкновенная вода, которую немного подсластили, добавили в нее красителя, капельку ароматизаторов. Казалось бы, чего проще? Самый большой расход — на углекислый газ, бутылки, этикетки; но есть один секрет, одна занятная штучка, благодаря которой покрываются все расходы да еще и остается приличная прибыль. Ни один заводик по производству газированных напитков не обходится без нее — это сахарин.

— Сахарин?

— Он в сотни раз слаще сахара. Два грамма сахарина заменяют пятьсот граммов тростникового сахара. Он хоть и дороже, но в сто раз выгодней. Таким образом покрываются расходы на газ, этикетки, бутылки и эссенции.

— Ага, значит, сахарин. Теперь я понимаю.

— Понимаешь, почему санитарная служба, контролируемая американцами, подняла шумиху: сахарин, мол, угрожает общественному здоровью? На сахарин накладывают запрет, постановление уже готово. Всем промышленным потребителям сахаристых веществ отныне придется использовать только сахар американской компании «Хаско». И ничего с этим не поделаешь, таков закон оккупации, мы должны подчиняться. Весь тростник с наших плантаций должен пройти через заводы «Хаско». Вся страна станет одной большой плантацией на потребу этой компании. Поэтому я и отчаливаю. Мне предложили должность старшего мастера в «Хаско», но я отказался. Буду старшим мастером, но только в другом месте. Там тоже делают газированные напитки и ром.

— Не каждый может уехать.

— Тем лучше. Должен же кто-то оставаться здесь, для подсобных работ.

— А твои дети?

— Не хочу заглядывать дальше сегодняшнего дня. Детям лучше не иметь никакого отца, чем отца-пораженца. Надеюсь, они смогут постоять за себя.

— Но сейчас они нуждаются в тебе.

— Заблуждение — думать, будто в этой жизни кто-то вообще в ком-то нуждается. Мы — ладно, люди пропащие, с беспочвенными претензиями, но наши дети должны жить иначе.

Он уехал, а его сыновья остались. Прошли годы, и они превратились в пузатых плешивцев, вечно снедаемых тайным недовольством, которое, кстати, было абсолютно чуждо их матери — женщине незаурядной; ни один из них не стал борцом; напротив, они всегда со всем были согласны и потому преуспели в жизни. Сен-Жаны владели тремя или четырьмя домами на одной улице. Не то чтобы роскошными, но вполне приличными по сравнению с соседними — крыши как-никак цинковые и стены из камня. Внаем эти дома никогда не сдавались.

Потом однажды ночью явился Альдо. Проскользнул, как визитная карточка, в щель меж створками запертых дверей. Этот заядлый автомобилист пришел пешком.

— Вы и впрямь очаровательные люди,— сказал он директору лицея.— Необычайные люди. Живете, пробиваете себе дорогу, продвигаетесь вперед, и все благодаря швейной машинке вашей матери. Старик предсказывал, что именно так и будет, не зря он говорил: «Не желаю знать, как они там живут, не желаю писать им, но я не сомневаюсь, что она сделает что-нибудь путное из моих чертовых детей». «Что-нибудь путное,— твердил он.— А вы представляете себе, что значит «сделать что-нибудь путное» в нашей проклятой нищей стране? Лучше б она выучила их убивать людей». Я вам передаю слова отца, как слышал их собственными ушами. Потом он сказал: «Каждый выбирает дело себе по силенкам». Сам-то он убивал людей. Это я точно вам говорю. Он ведь так и не женился на моей матери, вы знаете. Говорил: «Не осуждай меня, но у меня уже есть одна жена. И хоть я не намерен туда возвращаться, бог свидетель, стать двоеженцем было бы аморально». Да, так именно и сказал: «...было бы аморально». И при этом смеялся, ибо никогда ни в какую мораль не верил. Единственное правило, которому он следовал неукоснительно: не посягай на имущество бедняков. «Это и есть моя мораль,— говорил он.— Что же до всего остального...» После многих лет упорного труда, отказывая себе во всем, он обзавелся тремя фабриками: сладких turrones[1], газированных напитков и крепких напитков. И всякий раз он продавал свои предприятия, когда они бывали на грани краха, хотя со стороны казалось, будто все еще в полном порядке, дело процветает, но люди злословили насчет maldito haitiano que vino sin nada y ahora...[2] А он знай себе посмеивался, заламывал двойную цену, и ему эту цену давали. «Идиоты,— говорил он,— «проклятый гаитянин» облапошивает их, а они позволяют...» Три раза он начинал с нуля, три раза продавал, три раза наблюдал, как проданные им предприятия вылетают в трубу, и люди говорили: «El maldito haitiano nos embrujó...»[3]. Отец смеялся; они никогда его не любили, но он оставался среди них.

— Зачем?

— Я говорил ему, бывало: «Почему бы тебе не построить фабрику там?» Он отлично понимал, что я имею в виду Гаити, и обычно отвечал: «Это сделаешь ты». Думаю, временами его грызла совесть за то, что он бросил вас и не подает никаких признаков жизни. Может быть, он и подумывал о возвращении, но не решался, боялся, что вы его не примете. Но я-то знаю, что вы его полюбили бы и приняли, даже если б он вернулся с пустыми руками. Ведь здесь, на Гаити, принимают не во имя любви, не из-за привязанности, не в соответствии с принципами и убеждениями, не во имя господа бога, а просто так — принимают, и все. Но он был не такой человек. Он был прям, честен и готов был расплачиваться за свои безрассудства. Вы понимаете?

Ко времени побоища, устроенного Трухильо[4], когда убитых гаитян насчитывалось двадцать шесть тысяч, раненых — двенадцать тысяч, а сто тысяч обобрали до нитки

[1] Жареный миндаль в меде и сахаре *(исп.)*.

[2] Проклятого гаитянина, который появился здесь нищим, а теперь... *(исп.)*.

[3] Проклятый гаитянин нас околдовал *(исп.)*.

[4] В 1937 году по приказу диктатора Доминиканской Республики Рафаэля Леонидаса Трухильо были расстреляны тысячи гаитян, перешедших доминиканскую границу в поисках работы.

и изгнали из страны, так вот, к тому времени он уже двадцать лет жил в Доминиканской Республике. Его не тронули, потому что он не вкалывал на полях, а как-никак служил старшим мастером на заводе, будто исконный доминиканец, и свободно, без малейшей запинки, говорил по-испански. Тем гаитянам, кто уцелел, он говорил, что убийства прекратились, что американские заводы находятся под особой охраной. Тем же, кто чувствовал себя подавленным и потерянным, он говорил: «Доминиканцы нам не враги, тем более — простой народ. Бедняки — дурачье, никак не возьмут в толк, что и у них и у нас один общий враг — Трухильо». Гаитяне отказывались его понимать. Они на собственной шкуре испытали злобу доминиканцев, бывшие друзья и соседи предавали их, руки доминиканцев тянулись, чтобы заграбастать их добро. «Это понятно,— отвечал отец.— Чего ждать от народа, которым дурно управляют?»

Однако с двумя убийцами он расплатился собственноручно. И сделал это так, что никто и не подкопался бы. Эти два негодяя не только убивали, но и грабили, и насиловали, да еще куражились и похвалялись на каждом шагу. «Lo materemo todo»[1],— грозили они. Тогда отец и расправился с ними. «Чтоб другим неповадно было,— сказал он мне.— Sino que va, nos matearán todos de verdad»[2]. И сделал он это с легким сердцем, один только я знал, как именно: он отравил их питьем из одной бутылки.

Гаитянам никогда не жилось там легко. Все эти сезонники, которые так и не могли вернуться домой, по сути, лили воду на мельницу американского сахарного бума. Доминиканцам от них мало было проку, им, естественно, хотелось демократического развития. Но с американским капиталом шутки плохи — ему вынь да положь. Вот где причина столь интенсивного ввоза гаитянской рабочей силы в Доминиканскую Республику, да и на Кубу тоже в свое время; это была, если угодно, своего рода торговля чернокожими, налаженная американцами. А вы здесь так и не разобрались, что к чему. Отец говорил, что умение закрывать глаза на очевидное — это специфическая особенность гаитян; этакое нежелание ничего понимать.

Но в конце концов и гаитяне в долгу не остались. Они довольно быстро научились давать отпор. Уже через несколько месяцев или лет они дрались — кто кулаками, кто мачете,— и в обиду себя не давали. Однако кое-чему они так никогда и не научились, и это приводило отца в отчаяние. Они не научились объединяться в борьбе. Не было у них ни профсоюзов, ни инициативных групп, ни кооперативов, ни газет — ровным счетом ничего, что было бы создано гаитянами для гаитян; а ведь это весьма существенно — их были тысячи и тысячи. Они предпочли примкнуть к организациям и группировкам, для которых их интересы были второстепенными. Они словно бы уверенней себя чувствовали в доминиканских профсоюзах. А ведь проблемы гаитян на чужбине весьма специфичны. Доминиканцы же, в том числе и профсоюзы, наживаясь на них, относились к ним так, будто те — члены касты неприкасаемых. Отец возмущался: «Cabrones! [3]— говорил он.— Экие cobardes! [4] Пригодны разве что для ритуальных плясок». Даже когда Трухильо был у власти, им следовало бы сплотиться, а уж после него — тем более. Но они этого не сделали.

Вы, наверное, уже подметили, что отец все чаще и чаще называл гаитян «они», «проклятые гаитяне», а о своей бывшей родине говорил: «их страна». Ему было стыдно перед доминиканцами за своих сограждан, за их неспособность к организованному сопротивлению. Пожалуй, он решился бы украсть деньги суеверных доминиканцев из их святилища, хумфора. Он не понимал, что гаитяне просто-напросто не желают взглянуть правде в глаза, что в колдовстве и безумных шаманских плясках они ищут убежища от реальной жизни. «Мерзавцы! — говорил он.— Un pueblo maldito desde siempre»[5].

Вы мне не верите, да? Возможно, я и сам не поверил бы, если б мне кто-то посторонний рассказал историю жизни моего отца. И возможно, на вашем месте я бы тоже не поверил, что я — ваш брат. Но вы-то, старший из братьев, хорошо знаете, что однажды, вам тогда было семь лет, ваш отец исчез, и через несколько дней вы услышали, что он в Доминиканской Республике,— мысль об этом, должно быть, отравила все ваше детство. «Где это — Доминиканская Республика? Что там делает папа? Может, он умер?» Все ваше семейство и все ваше окружение наверняка были шо-

[1] Мы изведем их всех *(искаж. исп.)*.
[2] Пока они и впрямь нас не перебили *(искаж. исп.)*.
[3] Козлы *(исп.)*.
[4] Трусы *(исп.)*.
[5] Навеки проклятый народ *(исп.)*.

кированы его поступком. Уважающий себя горожанин не удирает вот так к доминиканцам. Другое дело — люди с городских окраин, но только не глава почтенного семейства, чьи сыновья могут стать адвокатами.

С какой стороны ни посмотри, все это не главное. Главное другое — то, что я называю исторической преемственностью, о которой вы, хоть и ученый человек, ровным счетом ничего не знаете. В итоге не имеет никакого значения тот факт, что некий горожанин Сен-Жан, хоть этот человек и связан с вами близким родством, однажды покинул родину. Взгляните шире — почему эмигрировали жители сельских мест? Сколько народу, по-вашему, уехало из Кайе, Порт-де-Пэ, Пти-Гоава, Жакмеля, Тибурона, Бухты Аино, Ируа? Сколько из Инша, Лас-Каобаса? Тысяча, десять тысяч, пятьдесят тысяч? Вы когда-нибудь задумывались над этим? Сто или двести тысяч? Думаете, я сошел с ума? Преувеличиваю? Не меньше пятисот тысяч! Да, между тысяча девятьсот двадцатым и тридцать третьим годами не меньше пятисот тысяч. Неконтролируемая рождаемость, эрозия почв, недостаточная ирригация, истребление лесов — вот к чему привела непредусмотрительность черных, а затем воцарилась химия с ее красителями, и пришел конец рубке кампешевых деревьев, и тут явились янки со своими законами, они прикрыли ваши заводики, а на Кубе, в Доминиканской Республике открыли свои гигантские сахарные комплексы, но рабочих рук там не хватало, вот и начали они сманивать туда людей с Гаити. Ваши маленькие земельные наделы не могли противостоять их напору и покатились, покатились из-под крестьянских ног, и так возникли американские латифундии. Сахар, сизаль, фрукты, индийский нард. Упадок в крестьянских хозяйствах, начавшийся с введением абсурдного гражданского права, слепо скопированного с французского, усугубился возникновением целой армии обездоленных, илотов, подыхающих с голоду, которых кое-кому хотелось бы истребить с помощью инсектицидов, прежде чем они заполонят Карибы и всю Латинскую Америку.

Однажды я, сын гаитянина, оказался вне закона на доминиканской земле, ибо никому не нужны негры. Негр, лишенный родины, для них все равно что вошь, которую следует раздавить. Таких, как я, там сотни тысяч, может быть пятьсот тысяч или миллион — кто сосчитает? И некому было защищать нас, вступиться за нас. Я был ничем. Я не мог стать чем-то, не имел права. И вдруг — словно гром с ясного неба — по инициативе Кастро пятьсот тысяч гаитян, проживающих на Кубе, объявлены полноправными гражданами Кубы, вот так — разом, без лишнего шума, без суеты, пятьсот тысяч бездомных бродяг обратились в пятьсот тысяч полноправных кубинцев. А вам здесь приходится влачить убогое существование под игом слабоумного диктатора, вам запрещено мыслить, даже вам лично, хоть вы и директор лицея. Я не говорю: мыслить правильно — вообще запрещено мыслить. Осознаете ли вы, какое чудо совершил Кастро, предоставив родину и будущее пятистам тысячам ваших соплеменников? Под силу ль вам осмыслить значение этого акта — гуманистическое, экономическое, революционное? Пятьсот тысяч нищих, голых и продрогших впервые изведали, что значит иметь крышу над головой. С тех пор как окончилось мое детство, я только и делал, что предъявлял фальшивые документы. Окажись я в пятьдесят девятом году на Кубе, я бы сегодня был уважаемым кубинским гражданином. Мысль об этом гложет меня постоянно. И вы тоже помните об этом, особенно когда вас заставляют порочить имя Кастро перед учениками; если б наш отец оказался на Кубе в пятьдесят девятом, он тоже стал бы уважаемым кубинским гражданином. Но он, увы, до сих пор живет в Доминиканской Республике, безродный, слепой старик, таков финал всей его жизни, осиянной одной мечтой — перебросить мост между враждующими народами. Я отказываюсь принять это. Почему, как вы думаете, он хотел сделать меня инженером? Чтобы я навел этот мост. Вот почему. Но ему не стоило утруждать себя. В вашей стране бессильна всякая инженерия, ибо вы дали власть над собой Буйнопомешанному, которого гордо титулуете Господином Пожизненным Президентом. Здесь, на Гаити, гаитянину живется еще хуже, чем у доминиканцев. Трухильо за три дня лишил жизни двадцать шесть тысяч человек, а сколько убито у нас по указке диктатора, сколько умерло от голода, болезней, от равнодушия к их бедам и горестям? Двести тысяч, директор? Вы это знаете не хуже моего — около миллиона. А сколько человек уехало, чтобы стать безродными илотами, вшами на Багамах, в США, в Канаде? Вши Америки. Сто тысяч, двести? Вы знаете не хуже моего — около миллиона. Еще два десятка лет — и никого в этой стране не останется, разве что несколько директоров лицеев, которые будут трусливо помалкивать. Останется несколько бывших

интеллектуалов, а ныне обыкновенных пройдох, забросивших книги ради торговли бюстгальтерами. Но им тоже суждено околеть от тоски, стыда, несварения желудка или молчания. К чести героев следует сказать, что молчание убивает кое-кого из них.

Альдо умолк, и директор лицея наконец произнес:

— Позвольте вас спросить, кто ж вы такой на самом деле?

Молодой человек иронически улыбнулся и невесело продолжил:

— Я Альдо, ваш кровный брат. Торговец виски, оружием, а при случае и наркотиками, в зависимости от того, на что спрос. Но мне на все плевать, даже на деньги. Я мог бы поднять вас на революцию, если б вы оказались способны на нее. Я прибыл сюда, одержимый идеей наведения моста. Но ваш народ поражен загадочным недугом: стадным невежеством и разобщенностью, словно в худшие времена средневековья. У меня нет ни грана почтения к невежеству, предрассудкам и смирению. Как я могу испытывать почтение к такому народу, хотя бы его история и внушала мне уважение? Может быть, следует перечитать эту историю? Может быть... Вы вправе обидеться на меня: ведь ваш народ — он и мой тоже, и меня должно задевать за живое, как и вас, его стремительное падение с исторических высот. Может быть, действительно следует заново изучить нашу историю в ее подлинном виде, чтоб отыскать разомкнувшееся звено в цепи, найти рецептуру для возрождения столь необходимых сейчас ненависти и героизма. Я очень люблю вас, Сен-Жаны. Меня тянет к вам, эту ностальгическую тоску я унаследовал от отца. И вот я приехал. Сначала я наблюдал за вашей жизнью издалека. Я пытался понять, отчего вы проникнуты неистребимым чувством собственного достоинства? Отчего вы так горделиво носите ваши головы? Слуги, лакеи, рабы! Вот уж поистине насмешка судьбы. Вам бы следовало сгорать от стыда и не отрывать глаз от земли, пока вы не поднимете на восстание. В вашем городе устраивают танцульки и ходят в кино, а должны были бы чистить оружие! В каждом доме тайком считают убитых, зверски замученных, но никто не смеет восстать в гневе и смести с лица земли этот проклятый дворец. Тот, кто сидит в этом дворце, на самом деле не что иное, как обыкновенный бумажный тигр, которого вы в своем воображении отлили в металле. Вы получили награду, я читал об этом: «Честь и заслуги!» Хороша честь! Нет другой чести, мой брат, нежели расправиться с монстром. Скажите, есть ли такое слово, которое подняло бы завтра ваших учеников и бросило их на газоны перед дворцом? Пусть погибнет сотня, зато остальные доберутся до фальшивого тигра. Но даже если б такое слово нашлось, вы не решитесь его произнести и будете правы, ибо на вас тотчас донесут. Каждый третий в этой стране — доносчик, черви страха источили вашу плоть. Даже собственной жене нельзя доверять в полной мере — она тоже может донести на вас, опасаясь за жизнь сына или дочери. Так вы и катитесь под откос — от маленькой подлости к великой, бездонной. Не безумны ли вы? Нас всех перебьют, учинят над нами физическую расправу, но ведь наша совесть, наши души, наша воля к свободе давно уже мертвы. Вы, я, ваши дочери, племянницы, вся молодежь, мы только и ждем своих могильщиков. Так будет продолжаться до тех пор, пока мы не воспрянем, чтоб умереть при свете дня. Пусть один раз, двадцать, сто мы будем обречены на поражение, но ведь когда-то же одержим победу! Я вам уже говорил: я — торговец оружием. Естественно, мой торговый партнер — правительство. Но от каждой проданной партии у меня кое-что остается. Я многим рискую. Достаточно малейшей промашки — и я погиб. Допустим, кто-то обнаружит мой тайник, и меня в тот же час расстреляют. Единственное, что меня до сих пор уберегало,— это полное отсутствие связей с заговорщиками или с тем, кто мог бы меня продать. Но мне известно два имени. Не спрашивайте откуда. Меня принимают за плейбоя или за шпионишку — меня это устраивает. Сейчас мне необходимо передать кое-что одному человеку, передать на словах. Его имя Серж. Скажите своему сыну Мишелю: пусть он сообщит Сержу, что Альдо хотел бы отдать имеющееся у него оружие. И еще скажите: если они намерены что-то предпринять, пусть не мешкают. Я узнал эти два имени, может так случиться, что эти имена станут известны и другим. Я говорю с вами, потому что вы против воли оказались причастны к этому делу — благодаря своему сыну Мишелю. Если его арестуют, то и вас всех ликвидируют. А сейчас от вас требуется только одно: передать мои слова, и, может быть, все обойдется. Всего несколько слов. Уж если вам суждено умереть, que va[1], директор, то какая разница — так или иначе. И если вы меня выдадите, вы все равно

[1] Что делать *(исп.)*.

умрете, que va? Да, директор, так или иначе мы все мертвы. Если вы на меня донесете...

Директор остановил Альдо жестом. Он не улыбался и не казался взволнованным. Многолетняя привычка к самоконтролю приучила его управлять своим лицом.

— Если б я решил донести на вас,— сказал он,— мне слишком многое пришлось бы объяснять, и я все равно не избежал бы огненной топки, которую вы разожгли.

— Не я, директор, не я, а ваш сын Мишель. Ради него я и пришел, а вовсе не ради того, чтобы сказать: «Приветствую вас, я — Альдо, ваш брат». Я пришел с тем, чтобы вложить оружие в руки Мишеля и Сержа, только ради этого я открыл вам, кто такой Альдо.

— Сколько у вас оружия?

— Шесть автоматов, тридцать пистолетов, патроны к ним и шесть ящиков гранат.

— Автоматы в разобранном виде?

— Разумеется.

— Упаковка размером с ящик для виски?

— Да.

— Хорошо. Приближаются наши ежегодные торжества, через несколько дней мы оформим у вас заказ на партию виски, в обычном порядке. Сбавьте цену, чтобы мое предпочтение вашей фирме выглядело правдоподобней. Ящики с оружием пометьте красной точкой, не заметной ни для кого, кроме меня. Накануне праздника инсценируйте поломку транспорта, чтобы доставить заказ уже в сумерках.

Альдо поднялся. Этот циник казался сейчас странно взволнованным, и, наверное, поэтому Сен-Жан-старший впервые поверил ему до конца. Он впился взглядом в лицо незнакомца, человека, который вырос рядом с его отцом. Ему хотелось задать тысячу вопросов, но Альдо обронил:

— Я ухожу, вы меня больше не увидите. Итак, жду заказа.

— Его оформит наш секретарь. Это будет самый обычный документ, и пошлем мы его не только вам, но и в другие фирмы.

— Я вижу, вы все обдумали,— улыбнулся Альдо.— Разумеется, никому ни слова...

— За кого вы меня принимаете, Альдо Сен-Жан?

Альдо вздрогнул, услышав это имя. Старик не без умысла назвал его так — будто пожал руку, но дальше этого он не пошел. Вставая, директор добавил:

— Никому, даже Мишелю. Я передам ему оружие, и все. Чем меньше он будет знать...

— Но вам придется сказать ему об одном человеке, который должен исчезнуть раньше, чем оружие попадет в ваши руки. Имя этого человека — Ломбар.

Директор удивился, испытал даже некоторое замешательство.

— Ломбар? Я знаю двух людей с таким именем. Который из них?

— Тот, который завтра выразит недоумение по поводу того, что вы так поздно не ложились спать. Он наверняка скажет, что случайно проходил мимо вашего дома. Я выдаю вам имя осведомителя, макута, который доносит обо всем, что делается в вашем лицее. Его зовут Симеон.

— Симеон? И его следует убрать? Но как?

— Вы только передайте мои слова своему сыну и ни о чем больше не беспокойтесь. Если ваша группа и ваш сын спасуют перед шпионом и не смогут... нейтрализовать его, то пусть лучше не участвуют в заговоре. Это не детская игра. А теперь выключите свет, уйдите к себе в комнату, а я пока побуду здесь один, в темноте. Там, наверху, в своей комнате, включите свет и не задергивайте штор, походите немного по комнате, сделайте вид, будто читаете, там знают, что вы иногда любите почитать перед сном, лежа в постели. Примерно через час выключите у себя свет и потихоньку спускайтесь сюда, чтобы запереть входную дверь. Меня к этому времени уже не будет. Прощайте, директор, мы больше никогда не увидимся.

Директор медленным шагом направился к выключателю, неуверенно нащупал его, и Альдо пожалел шестидесятилетнего старика, которому он причинил столько беспокойства. «Дело отнюдь не во мне,— мысленно произнес он.— Надо, чтобы боролись все». И повторил вслух:

— Надо, чтобы боролись все.

Директор, который в этот момент совладал с собой, молча протянул ему руку, а другой повернул выключатель. Альдо остался в темноте.

3

Виктор

Дверь бесшумно, без малейшего скрипа отворилась, и в дверной проем стал виден мрачноватый, длинный прямоугольник комнаты. «Кабинет»,— говорили они. Кабинет для всех. На полках вдоль стен рядами тянулись книги — детские, кулинарные, по юриспруденции, различные пособия; на стоящем в дальнем углу письменном столе, за которым малыши, ученики начальных классов, обычно делали уроки, валялось множество школьных учебников и тетрадок; в самой середине комнаты громоздился массивный, красного дерева, круглый стол, к его потемневшей от времени столешнице допускались только взрослые — выпускники лицея, отец, дядя и тетки, вечно писавшие свои нескончаемые кулинарные рецепты, молитвы, девятидневные обеты — тоже своего рода рецепты богословия. Комната почти всегда была залита потоком дневного света, проникающим с округлой веранды через широкое окно. Угрюмый, скрадывающий все очертания полумрак, который водворился здесь сегодня, был преисполнен зловещего смысла — казалось, семейство само себя погребло.

Он вошел молча, этот «поборник справедливости» (вот он, мол, я, тот, кто прочел слишком много романов, видел слишком много дрянных фильмов, я — Мандрен, Сартана, мафиозо, но, право же, я не причастен к этому сумрачному собору). Дверь у него за спиной неспешно затворилась, отчего сложился раскинувшийся по паркету веер света.

Семейный совет встретил его полукружьем смятенных лиц, венчавшим знаменитый круглый стол. Совет состоял из отца, дюжины хорошо одетых буржуа и двух высоких старух, впрочем, не совсем еще старух, просто высушенных временем старых дев без возраста, в длинных юбках и наглухо застегнутых блузах с тугими манжетами на тощих запястьях, этаких седых дщерей святой Марии, беспокойно перебирающих четки. В их ханжески поджатых губах таилась злоба, от него это не могло ускользнуть, ибо уж он-то знал всю подноготную своих сестер, видел насквозь их души — через кожу, по глазам и жестам. Любой другой мог бы ошибиться, приняв этих старух за некое подобие восточных ваз безвозвратно миновавшей эпохи. В центре восседал их старший брат — тучный будда, телеса которого ниспадали ступенями жировых складок от шеи к пояснице, чего уже не мог скрыть ни один портной; и ни одно туалетное мыло уже не могло заглушить затхлый дух прогорклого разлагающегося сала, против которого были бессильны любые дезодоранты. Увы, он уже никогда не похудеет. В ожирении было повинно не столько пагубное пристрастие к обильному столу, сколько нарушение функций желез внутренней секреции, фабриковавших столь неисчерпаемые запасы жира, что их не мог сжечь его организм — организм кожевника, коммерсанта-бюрократа, торговца обувью, кожами и шкурами; жировые запасы копились, душили его сердце; и вот уже руки, подобные обвисшим подушкам, и пальцы, уподобившиеся сочным колбаскам, не могут сомкнуться на животе, встретиться друг с другом над пупком. Ему предрекали, что дело кончится именно этим, как предрекают неминуемую смерть. Не без страха приближался он к роковому рубежу, но вот рубеж пройден, и он с придыханием похохатывает над злополучными предрекателями. Две тощие старые девы предпочитали не вступать с ним в споры, боясь, что он упадет замертво и тем самым нарушит хрупкое финансовое равновесие семейства, в котором оно пребывало, невзирая на двадцатилетнюю бережливость; они даже не смели спорить друг с другом, им приходилось совместно отражать натиск представителей младшего поколения — более или менее молодых, от сорока пяти до пятнадцати лет; каждая нисходящая ступень — очередной круг ада; «и стала земля царством дьявола...».

Одним из членов семейства Дюбюиссонов была и Эстер, та, чье мертвое тело лежало на цементной дорожке вокруг коротко стриженного газона, выпускница эколь нормаль: полуприкрытые прекрасные глаза, Мария Дальбайсин — Эстер Дюбюиссон. Святая Эстер. «Поборник справедливости» оплакивал ее невидимыми миру слезами. Эстер, чье нагое тело два дня и две ночи лежало на насыпи, все облепленное мухами и червями, а живущие поблизости люди не осмеливались закрыть окна и двери своих домов, боясь, что это будет расценено как проявление протеста или траура. Не в силах смотреть на это тело и переносить исходящий от него смрад, владельцы закусочных, кафе, отелей, ресторанов все же оставили свои заведения от-

крытыми, только б избежать лишних вопросов, приказов, преследования макутов, и никто не молился об усопшей, не окропил ее святой водой, не поставил над ней свечи. Семья отправилась — не он, «поборник справедливости», а только обе дщери Марии и один из дядей, полуразложившийся колченогий старикашка,— отправилась во имя господа бога к насыпи, чтобы присоединить свои плевки к плевкам других подлецов. И никогда еще две старые девы не были так близки к безумию; долго еще преследовал их вид обнаженного мужчины, который обнимал своими позеленевшими, изодранными, в запекшейся крови руками ее, их девочку, одну из Дюбюиссонов.

Они отреклись от нее в газетном объявлении и в списке подписавшихся четвертым поставили его, Виктора Дюбюиссона, имя, а также имена всех детей, включая и новорожденных младенцев, и имена престарелых членов семейства, и имена впавших в маразм старцев; таким образом подчеркивалась многочисленность семейного клана, этакого стада, толпы, сплотившейся в едином порыве отрицания-отречения-протеста-демонстрации любви к Бешеному Королю. Он, Виктор, ничего им не сказал — без умысла, разумеется, просто он не мог заставить их выслушать себя. Здесь не могло быть и речи о самоуважении, о любви к богу или истине. Ни одна газета не примет его опровержения, ни одна типография не согласится напечатать листовку, ни одна радиостанция не предоставит ему микрофон, хотя бы на пять секунд, чтобы он мог заявить: «Я этого не подписывал!» Тогда он сделал то единственное, что мог: заказал мессу на восьмой день траура; священник, согласившийся отслужить мессу, не назвал вслух имени Эстер Дюбюиссон; губы у него тряслись, он всего лишь отслужил заупокойную. «На большее я не способен,— сказал он.— Мне и этого не следовало делать, более того, я обязан донести на вас».

Вопреки его настояниям, Дюбюиссоны наотрез отказались от мессы, и тотчас прозвучал последний звонок в полицию: старые девы сообщили, что семейный совет принял решение отречься от Эстер, вычеркнуть ее имя из родословной, будто ее никогда и не существовало.

— Никогда не существовало? — удивился полицейский офицер.— Слишком поздно для Шеранфана. Однако, как говорится, лучше поздно, чем никогда.

Виктор возвратился с мессы, где он был совершенно один, словно под дулами автоматов, и где ему даже пришлось исполнять обязанности церковного служки, ибо отсутствовал мальчик из хора, который обычно помогал священнику, а священник так запинался и невнятно бубнил «Pater noster»[1], будто вставная челюсть застряла у него в глотке, и ни разу, даже вскользь, по-латыни не произнес имени Эстер-Марии. Но какое все это могло иметь значение сейчас? Он явился не для того, чтобы принять участие в семейном совете, а для того, чтобы высказать им в лицо, как это гнусно — такой ценой спасать свою шкуру и что нет ничего отвратительнее семей, священников, журналистов, исподличавшихся в неотступном стремлении любой ценой уберечь себя. Перекошенные рты, бегающие взгляды, дрожащие руки — есть ли что-нибудь омерзительней и непристойней этого? И еще он хотел им сказать, что необходима новая, качественно иная жизнь, с абсолютно иной системой образования... надо приучать к смерти, а не к жизни, потому что такая жизнь безобразна, и в конце концов лишь тот выигрывает в жизненной игре, кто смело делает ставку на смерть.

Дверь за его спиной вновь приоткрылась, но он не обернулся; он видел перед собой искаженные страхом лица, объятые панической дрожью, словно пронизанные электрическим током тела, до такой степени была велика их боязнь перед открытыми дверями, и это служило еще одним доказательством, может быть лишним, того, сколь отвратительно опасение за свою шкуру. Они готовы были грохнуться на колени перед открытой дверью, если бы в проеме мелькнул краешек полицейской формы, готовы были вымаливать прощение, лизать задницы. Даже молодые. И это в то время, когда их ровесники, скажем во Вьетнаме, на протяжении многих лет шли в бой с оружием в руках. За дверью никого не оказалось, никто не вошел. Просто сильный порыв ветра распахнул тяжелую дверную створку. Старики молча перекрестились, уверенные, что это блуждающий дух Эстер вошел сейчас в дом. Виктор, невольно подыгрывая им, пробормотал: «Святая Эстер... Святая Эстер...»

Он, безумец и поэт, ни разу не издававшийся, болтун-пустослов, как его называли, не дававший покоя друзьям бессонными праздничными ночами, паем которого в складчинах были слова, и вот он вдруг сделался дерзким, опасным героем, компрометирующим родню: на восьмой день после гибели Эстер он надел траурную повязку.

[1] Отче наш *(лат.)*.

Неписаные правила требовали от него отречения, как они требовали этого и от всех, чьи близкие бесследно пропадали, кому приходилось делать вид, будто все в порядке, будто все живы, а отсутствующие просто отправились в путешествие, одни или со всем семейством. Вдовы носили не по-вдовьи зеленые мини-платья и изображали беспечные улыбки на лицах. А по ночам рыдали в самой мрачной из комнат своих домов, и в этом была их подлинная трагедия. Впрочем, поистине трагичны не скрываемые от посторонних глаз рыдания, а попытка жить как ни в чем не бывало, прикидываясь, будто нет ни траура, ни скорби.

Скорее повинуясь потоку своих мыслей, нежели отвечая кому-то из присутствующих в этой мрачной комнате, он рассеянно обронил:

— Да, чтобы умереть, нужна смелость...— и как бы невзначай коснулся черной повязки.

Лишь в этот миг старые девы разглядели, что́ у него на рукаве, и на их лицах проступила странная смесь удивления и холодной враждебности.

— Вы сошли с ума! — сказали они.

И он тотчас ощутил на себе легкое дуновение смерти. «Вы»?.. (А чего, собственно, он ожидал? Разве он явился сюда не для того, чтобы отстоять свою несхожесть с ними, утвердить свое право смело умереть?) «Вы» — впервые от родных сестер, «единой с ним плоти и крови», как принято выражаться. Никогда еще до этого дня, когда между ними встал Бешеный Король, они не называли его на «вы». Страх перед повязкой взял свое, воздвиг неодолимую преграду, обозначил дистанцию между ними; отныне ничто не казалось невозможным.

Они непременно выскажут ему все — он это знал, как знал и то, что канонада их доводов будет обращена не столько против него, сколько против них самих,— чтобы в пылу этого сражения упорядочить и отточить свои аргументы, чтобы обосновать логику своего предательства. Вот они уже прочистили горло, но он их опередил:

— Достаточно! — сказал он.— Я знаю, что умру. Вы предадите меня и тем самым сбережете свои силы. Только вопрос: не слишком ли дорогой ценой? И надолго ли? Впрочем, это ваша забота.

Он уже раскаивался, что был столь многословен. Эстер в разговоре с ним выразила ту же мысль гораздо лаконичней. Она обожгла его стремительным взглядом пламенных глаз. Семья поручила ему встретиться с ней, чтобы выразить свое недовольство ее постыдно-легкомысленным поведением. Она же сказала: «Дядя Виктор, только не ты! — И добавила: — Я все равно умру, понимаешь?» Он не понял, но не осмелился уточнить. Потом он смотрел, как она, такая прямая, удаляется от него, ни разу не оглянувшись. Он запомнил, что в правой руке она несла большую полотняную сумку, расшитую тюльпанами. О, святая Эстер! Его взгляд сквозь набежавшие слезы шарил по правой стене в тщетной попытке отыскать фотографию Эстер; он помнил, эта фотография висела в нижнем ряду среди двух или трех десятков других, построившихся в тесные шеренги. Кто-то уже успел повернуть фото лицом к стене. Которая из двух злобных мегер сделала это, отдав Эстер стене и мраку? Которая из двух одним жестом сухощавой руки превратила живое лицо в прямоугольник красноватого потертого картона?

— А это? — прорычал он. Казалось, он вот-вот топнет ногой, сломает трость об пол, завопит от ярости. Но он едва слышно проговорил: — Ни слоновая кость, ни розовый лепесток не могут сравниться с ней красою Она была родником, легким ветерком, ароматным цветком и зрелым плодом, древом она была на воздушных корнях, ее пальцы касались струн незримых арф

Одна из старых дев возмущенно вскочила. Тугой пучок ее седоватых волос был схвачен высоким севильским гребнем. На скулах и дрожащей верхней губе проступили тяжелые капли пота. Нет, она не выкрикнула, а со скрежетом простонала:

— Вы ведете себя непристойно!

Старший брат сделал неопределенный жест жирными колбасками пальцев, словно призывая к миру. Он тоже пытался что-то сказать, но с непослушных, отяжелевших губ не сорвалось ни звука Его заплывшие жиром поросячьи глазки тускло мерцали. Другая сестра язвительно добавила:

— Какие там арфы? Надо бы сказать: красные шарманки.

— Она жила,— молвил поэт.— Она ЖИЛА! А вы, что знаете вы о жизни? — И, смерив их презрительным взглядом, заключил:— Две высохшие церковные крысы и надутая жаба!

Тот, кого он назвал жабой, никак не прореагировал — он был выше всяческих оскорблений. «Церковные крысы» дернулись всем телом и, покачиваясь, удалились из комнаты, брезгливо подобрав юбки, чтоб ненароком не коснуться подолом Виктора.

Он сказал: «Пошли вызывать полицию» — и беспомощно поискал взглядом, найдется ли кто-нибудь, на чью поддержку можно рассчитывать. Вот они сейчас перед ним, члены обширного семейства, по обе стороны будды — два опустевших стула; их сегодня собралось здесь человек двенадцать, почти все — его ровесники, одетые в будничные костюмы, не нарядные, но вполне солидные, как это принято среди почтенных людей; у них совсем простые имена: Феликс, Жюли, Мария, Ева, Люсьен, Люк,— имена, данные по святцам, как это тоже принято среди почтенных людей, уверенных в себе и в правильности своего выбора; в этом семействе не принято называть детей Аурелиус или Аксельом — то есть именами, восходящими к мифонимии; или Лисистрата, Антигона — как это делают грамотные в первом поколении. Здесь у всех простые имена — Пьер, Жан, Жак, Эдна, и все носят фамилию Дюбюиссон, или Дюфрен, или Дюшен (разве они сами не посмеивались над этими альянсами, над этим слиянием молодой поросли могучих семейных лесов?), по женской линии, естественно, фамилия утрачивалась. Однако далеко не все собрались нынче тут — господь свидетель, далеко не все, а только самые матерые, у каждого из них многочисленные чада: ученики школ, девочки, играющие в классики в Малой семинарии, и мальчики, гоняющие шары в Сент-Луи-де-Гонзаг (ведь главное что? главное — даже в самой малости не отступаться от семейных традиций). Все до единого мужчины Дюбюиссоны, равно как и их родственники, были воспитаны в духе антиклерикализма, а женщины, все до единой,— в духе богопочитания, девочек не отдавали в светские школы. «Только Эстер, видите ли, настаивала, кричала, вопила, требовала, чтоб ее поместили в обычный лицей для девушек, и вот, пожалуйста, смотрите, чем это кончилось». Воображение детей натыкалось на это неумолимое и многозначное «вот чем кончилось», больше им ничего не сказали — ни слова о беглом огне, автоматной очереди, вспоровшей полотнище неба и бесценную оболочку жизни.

Младшее поколение Дюбюиссонов на семейном совете было представлено пятнадцатилетним Робером, всегда тянувшимся к Эстер; сейчас он выглядел совершенно ошеломленным. Казалось, до него даже не в полной мере доходит происходящее, но вовсе не потому, что сие выше разумения этого вечного ученика начальной школы, а потому, что ключик от его рассудка был, увы, утерян. Его отрешенность от окружающего приняла столь чудовищные масштабы, что, будь у этих буржуа хоть крупица здравого смысла, они стали б лечить мальчика. Однако Дюбюиссоны воспринимали слово «психиатр» как некую непристойность, как вторжение в сферу самого интимного и сокровенного, как нечто похожее на экзгумацию, и вместо того, чтобы отвести беднягу к психиатру, сочли за лучшее оставить его при себе, не отпуская ни на шаг, он был единственным ребенком в семье, которого забрали из школы и держали на коротком поводке; так будет продолжаться до тех пор, пока он сам не распахнет окно в реальность и не заглянет в глаза своему страху.

Парнишка не обронил ни слова. Собственно говоря, ничего значительного не произнесли и остальные, кроме обеих теток, которые, судя по всему, заправляли здесь, не будучи типичными для своей среды тетушками — старыми девами, чей удел — уход за младенцами, извечное пребывание на ролях нянек, крестных матушек и воспитательниц, отнюдь нет, они были воплощением семейного престижа и благосостояния. Этот факт требует особого объяснения. Тетя Ивонн, потемневшая и сморщенная, как лоскут старой кожи, утратившей эластичность и блеск от того, что ею никто не пользуется, стала в свое время «дипломированным фармацевтом»; это выражение было исполнено многозначного смысла лишь до тех пор, пока фармацевтика не превратилась в достояние американизированных drug stores[1], а еще оставалась святилищем рецептур, ступок, весов и мензурок. Ивонн довольно долгое время возбуждала всеобщее любопытство, затем — восхищение, хотя те из мужчин, кто не имел приличного состояния или умения обращаться с женщинами, воздерживались, как это случается, от ухаживания за ней. В результате у Ивонн сложилась репутация женщины с неприятным, мужеподобным характером, к тому ж надутой, спесивой и ужасно холодной. «Ниже нуля»,— шутили мужчины. Что они понимали?! Люди заурядные находили удоволь-

[1] Имеются в виду американские аптеки, где продают не только лекарства, но и товары широкого спроса.

ствие в том, чтобы разбирать ее по косточкам, а затем навешивать ярлыки. Ничего не скажешь, они одержали победу, даже более значительную, чем сами ожидали. Женщину в ней растоптали, и вместо нее появилась самая обыкновенная ведьма.

Властной рукой удерживала она на пути суровой добродетели и самоотречения свою сестру Виржини, которая была двумя годами моложе ее. Виржини не приняла постриг, в последний момент отказалась от такого решения по благоразумному совету, вернее «по приказу», как она говорила позже, самой настоятельницы монастыря — та предпочитала видеть среди своей паствы невежественных крестьянок, обреченных на роль вечных прислужниц, нежели блистательную Дюбюиссон, постриг которой не мог не ставить под угрозу интересы некоего Плёрмеля, бретонского поставщика монахинь на Антильские острова. Об этой истории немало в свое время пошушукались, хотя ни о чем нельзя было судить наверняка. Что до Виржини, то она, надломленная и смирившаяся, пережила свой неудачный опыт и продолжала столь же самозабвенно, как и прежде, веровать в господа, ни в малой степени не приписав ему лицемерия его слуг. Однако в борьбе Эстер за право учиться в лицее она приняла сторону племянницы: «Так, и только так!» В первый и последний раз она осмелилась противостоять старшей сестре, во всем же прочем повиновалась ей, как повиновалась бы настоятельнице, если б пошла в монахини. Ивонн сделала ее своей помощницей и ассистенткой в аптеке, и ей, равно как и «дипломированному фармацевту», аптека была обязана своим процветанием.

Время шло, и аптеки в их традиционном виде уступали натиску американизированных лавочек, где среди прочего можно купить любое лекарство в готовом виде. У старых дев не было необходимости приспосабливаться к новшествам, и они, постепенно сдавая позиции, наконец закрыли свое заведение, лишив торговый центр города одной из его живописных достопримечательностей. Они целиком посвятили себя семье и дому: Ивонн, неколебимый лоцман, уверенно намечала курс, а Виржини, не прилагая никаких усилий, ни физических, ни умственных, чаще всего пребывая в состоянии отрешенности, покорно следовала этим курсом.

В присутствии пятнадцатилетнего мальчика, который, собственно, еще и не начинал жить, но которому уже грозила трагическая участь ввиду катастрофы, нависшей над семейством Дюбюиссонов, состоящим из чиновников и опытных специалистов, вплетающих нити времени в предначертанную им основу, но внезапно выбитых из колеи привычного распорядка, Виктор жалел не столько взрослых, успевших вкусить от всех доступных им радостей жизни: отпусков, путешествий, адюльтеров и прочих приятных пустяков,— все они приспособятся к новым временам,— сколько этого простодушного юнца, оказавшегося меж двух эпох, словно меж двух стульев. Общественный порядок, представляемый благонамеренными Дюбюиссонами, оказался неожиданно подорванным — и кем? — безжалостной ордой полотеров, вооруженных револьверами, маляров, штукатуров, каменщиков, водопроводчиков, которые с некоторых пор стали корчить из себя важных особ. Еще недавние жители предместий, они, подобно парашютному десанту, оккупировали центр города, поселились там вместе со своими семьями, прокладывая себе дорогу не локтями, а автоматными очередями, сея вокруг смерть и пустоту. Пятнадцатилетний парнишка, надежно изолированный от окружающих бед, представляющий всю жизнь вне семьи и дома этакой нереальной сказкой, вдруг ступил за порог двери, дерзко распахнутой Эстер, и очутился в царстве кошмара.

— Ваше публичное отречение непристойно и лишено смысла,— сказал Виктор.— Оно все равно не гарантирует вам безопасности. Что бы вы ни сделали, куда бы ни уехали — хоть в Америку, хоть на Багамы или в Африку, даже если вы добровольно отправитесь на тот свет,— вам все равно никуда не деться от Эстер.

— Не нам, а ей надо было это говорить. Раньше.

— Она сделала все возможное, чтоб отдалиться от вас и тем самым вас обезопасить. Но теперь уже ничего не изменишь: кости брошены, игра началась. Да, теперь дело уже не в Эстер.

— Как это — не в Эстер?

— Машина запущена; она будет дробить, перемалывать, крошить все, что в нее попадет. Теперь ее не остановить; она для того и создана, чтобы уничтожать, ни для чего другого. Тысячи людей были убиты по нелепой ошибке, их вина была гораздо менее доказуема, чем ваше родство с Эстер. Убиты без какого бы то ни было повода или предлога. Помните, например, Бенуа перед дворцом правосудия? Всех его близ-

ких стерли с лица земли, а ведь он вообще ни в чем не был виновен, кроме того, что случайно оказался похожим на какого-то убийцу. Одного только внешнего сходства было достаточно. Днем раньше, днем позже... вы, я... из-за Эстер или просто так... Вы понимаете меня? Вот почему я говорю: вы ведете себя непристойно. Покрыть себя несмываемым позором, да еще безо всякой надобности! Какой стыд!

Наступило молчание. Слова застревали в горле. Дела и впрямь хуже некуда. Они собрались здесь, хоть и пристыженные, но — ведь у них нет иного выхода! — с твердым намерением отречься от Эстер, надеясь хоть этой ценой купить себе право на дальнейшее существование. Однако их слабая надежда подвергнута сомнению, что ж получается — они напрасно маются в грязи?

— Так пусть мертвые герои «нашей» истории послужат хоть какой-то благой цели,— сказал дядя.— Вспомните о тех, кто, оказавшись на жизненных перепутьях перед необходимостью сделать выбор, предпочли позору вечную жизнь.

— Вечную жизнь? — иронически фыркнув, переспросил кто-то.

— Да, вечную жизнь в людских сердцах! — с нажимом произнес Виктор.— Их имена будут помнить, пока на земле останется хоть один живой человек, хоть один, кто чтит историю народа и его предания.

И не будут ли через двадцать лет ваши дети с гордостью говорить, что они — племянники Эстер? Так в чем же истинное достоинство Дюбюиссонов? Ведь даже Ивонн, которая столь дорожит своей и вашими жизнями, даже она войдет в историю не своим предательством, а, как все Дюбюиссоны, благодаря Эстер!

— Тетя Ивонн? А разве она сделала что-то плохое?

Все молча взглянули на мальчика, не зная, как ответить. Он был слишком юн, чтобы понять. Так и не дождавшись ответа, он выбежал из комнаты. Все казались потрясенными его словами и вскочили на ноги; все, кроме будды, который продолжал сидеть: поросячьи глазки закрыты, поросячье рыло едва заметно подрагивает, а жирные колбаски пальцев тщетно пытаются дотянуться до круглого стола, в который упирается необъятный живот.

Они, эти благонамеренные граждане, растерянно стояли, не зная, что предпринять, напряженно вслушиваясь в доносящийся с улицы шум. Они были разобщены, как бусины внезапно рассыпавшихся четок. Надо расходиться, больше им тут нечего делать. Тетки, очевидно, уже не вернутся, но даже если б они и вернулись, все равно. Виктор прав, теперь не удастся выработать какой бы то ни было акт публичного отречения. О чем писать в таком акте? «Мы, нижеподписавшиеся... пришли к решению, что... такая-то, позорно погибшая в такой-то день, никогда не рождалась на свет». Так, что ли? Пора уходить, сделать десяток шагов и оказаться на залитой солнцем улице, под прицелом взглядов прохожих, которые сгорают от любопытства: зачем, по какому поводу собралось четыре автомобиля на подъездной аллее к дому? «Что они затеяли, эти Дюбюиссоны? Уж не сошлись ли на поминальную молитву? Или решили облачиться в траур?» Из дома нельзя было выйти, минуя жандармов, которые уже восемь дней торчат на перекрестке в своем автомобиле. И чего им здесь надо? Не иначе как фотографируют всех, кто входит в дом. Но ведь сюда почти никто не приходит. Люди из их среды исчезают при малейших признаках опасности, избегая общения с теми, кто не в ладах с властями, кто прячет свою скорбь (открыто скорбеть никто не решится), держатся подальше от этого дома, от его обитателей.

В этот самый миг грянули кимвалы судьбы, будто исполняли Пятую бетховенскую. В соседней комнате пятнадцатилетний мальчик успел вырвать телефонную трубку из рук тети Ивонн, которая, закусив губу, уже в энный раз набирала номер полиции 9-9-9 (эвфемизм, придуманный англичанами, чтобы скрыть неприглядную реальность), и грохнул аппарат об пол. Собравшиеся встревоженно обернулись на звук и не услышали, как отворилась входная дверь. Они даже не сразу заметили стремительно распахнувшийся на полу веер света. А когда заметили, то веер уже наполовину был сложен. До них тотчас дошло, что случилось нечто из ряда вон выходящее. Они уже были не одни. В комнату тихо, как старый знакомый, успел войти человек в форме цвета хаки. Ни с кем не поздоровавшись, он запросто обратился к стоявшему спиной Виктору:

— На управляемых шарах...

Это были слова тридцатилетней давности, принадлежавшие сумасшедшему мулату, окончательно спившемуся, но сохранившему признаки приличного воспитания и говорившему по-французски, что само по себе немало — ведь можно либо всю жизнь

держаться на расстоянии от плебса, либо опуститься до его уровня, утратив всякое достоинство. Каждый день он обычно выходил из своего дома в верхней части города и шел привычным маршрутом по Лалю; переходил от группы к группе, от одного человека к другому, нашептывая на ухо слова, которые въелись в память всей окрестной детворе вроде навязчивой песенки: «На управляемых шарах...— И после небольшой паузы многозначительно добавлял: — Необходим запас горючего». В абсурдности этих слов таилась какая-то притягательная сила, нечто значительное и таинственное, и, наверное, поэтому безобидный старик из дальнего квартала казался ребятам не просто безымянным пьянчугой, а совершенно особенным сумасшедшим.

Сколько их осталось, уже немолодых теперь людей на Нижней Лалю, тех, кому были памятны с детства слова: «На управляемых шарах...»? Виктор резко обернулся и воскликнул:

— Майор!

О майоре говорили, будто он злобен, как змея, будто он крепко зашибает, не при исполнении служебных обязанностей, разумеется. Он родился и вырос в том же квартале, что и Дюбюиссоны,— правда, никогда не был им ровней. Не то чтобы какой-нибудь голодранец, но все-таки... Он был незаконнорожденным. Его мать, некогда студентка педагогического училища, но лишенная права преподавать, вынуждена была сначала устроиться работать на завод, потом — на маслобойню, закончить наконец курсы сиделок, и все для того, чтобы поставить на ноги своего сынка-мулата, не очень-то желанного и любимого, рожденного от мужчины, которого знали все. Майор уже отправил в тюрьму, в ссылку, а то и вовсе к праотцам добрую четверть своих родственников по отцовской линии, двоюродных братцев и сестриц, этих зазнаек и спесивцев, со временем он окончательно расправится со всем столь ненавистным ему семейством. Они платили бешеные деньги за выездные визы, но от них требовали еще каких-то бумаг, особых разрешений, кучи подписей и резолюций. И всякий раз они слышали одно и то же: «Извините, но вам придется подождать». Но сколько б они ни ждали, все напрасно. Майор не знал удержу в своей личной войне, которая лишь забавляла Буйнопомешанного. Затравленное, загнанное в угол семейство умоляло гонителя осчастливить их признанием родства и принятием их фамилии, но он отвечал, что ему плевать на них самих и на их предложение. Его приглашали в Депре, Кенскоф, Фюрси, но он отвечал: «Не желаю видеть эту мразь! С меня довольно того, что они постоянно глазеют на меня со дна каждого выпитого мною стакана!» Он видел их на дне своего стакана, и это будило в нем охотничий инстинкт. Майор стал настоящим убийцей. Но с Виктором — дело особое. Они вместе росли, вместе дрожали на экзаменах, боясь вопроса с подковыркой; детские воспоминания сплелись в некое подобие дружбы. Затем однокашник Виктора, как и многие другие, случайно пошел по армейской линии. Какое-то время он занимался шагистикой, пока не удостоился милостивого внимания самого Бешеного Короля.

— Почему не отвечаешь, Виктор? — спросил майор, покачивая указательным пальцем, словно предлагая принять участие в салонной игре.

— Во что играем? — спросил Виктор.

— Я задаю вопросы, а не отвечаю. Кажется, тебя хочет видеть судья. Мне так и сказали: «Он твой друг, вот и приведи его».

— В таком случае пошли быстрее.

— Зачем спешить?

— Признаюсь тебе как другу: я не хочу, чтобы племянник заметил мой уход.

— Почему? Он такой же вредина, как его двоюродная сестра?

— Вспомни каким ты сам был в пятнадцать лет.

— Э, не напоминай мне об этом, сагаї![1]

— А я, пока жив, буду помнить те времена, как твое нынешнее сагаї.

— Пошли! — почти грубо оборвал его майор. У самой двери он обернулся и сказал, не обращаясь ни к кому в отдельности: — Мальчишке скажите, чтоб держался потише.

Они вышли на улицу, которая казалась мертвой в безжалостном солнечном свете.

— Ну и стерва, эта ваша гетя! — ругнулся майор (странно, но Виктора покоробили эти слова).— Терпеть не могу буржуа! — добавил он.

Виктор промолчал. Удивительно майор — отнюдь не бедняк: два автомобиля в гараже, два холодильника на кухне, шесть радиоприемников, четыре телевизора, дом

[1] Вошедшее в язык гаитян испанское восклицание.

стоимостью в шестьдесят тысяч долларов и еще один дом — однако себя самого он к буржуа не причисляет. Стало быть, дело не в доме. Так в чем же? Может быть, в новом квартале, где обосновались нувориши, прихвостни диктатора? Что до буржуазных манер, то усвоить их — дело пустяковое. Фамилия? Всем фамилиям одна цена в этом продажном мире, и чихать он хотел на фамилию отца. Тогда что же? Женщины? Если б он захотел, то скупил бы разом всех креольских красоток вместе с потрохами и делал бы с ними все, что пожелает. И тем не менее у него были какие-то основания недолюбливать буржуа. До чего ж отвратителен и подл мир, если он породил такого гнусного пьяницу и убийцу!

— Куда вы меня ведете?

— Вы в самом деле хотите это знать?

— Все-таки я человек, майор.

— Зовите меня просто Фредерик. Я должен отвести вас во дворец.

— В тюрьму?

— Мне велено сдать вас дежурному. А там...

Они шагали по аллее к воротам. После недолгого колебания Виктор спросил:

— La ley de fuga [1], Фредерик?

— И не рассчитывай на мое пособничество, сам поступай, как сочтешь лучше.

— Хорошо. Когда ты достанешь наручники, чтоб надеть на меня, я оттолкну тебя и побегу. Только не во дворе, а там, на улице. Идет? И будь добр, огради моего племянника, если сможешь...

— Я стрелять не буду.

— Ведь ты обещал! — отозвался Виктор.

— Но я хочу, чтоб ты знал: я лично стрелять не буду.

Они приблизились к воротам. Виктор обернулся, окинул долгим взглядом дом Дюбюиссонов, похожий сейчас на поблекшую, увядшую и густо напудренную старую деву, застывшую в танцевальной позе под лучами резкого полуденного солнца. Ни на балконах, ни на верандах никого не было. Что ж, тем лучше.

— И последнее, Фредерик. Пусть меня унесут побыстрее, чтобы они не видели моего тела.

— Договорились, amigo [2]. Пошли.

Он извлек из кармана наручники. И разыгрался мгновенный, заранее обговоренный спектакль под названием «попытка к бегству». Удар. Майор поскользнулся и упал с громким криком: «Caraï!» Виктор был скошен наповал одновременно несколькими очередями.

Стоял пронзительный, сияющий полдень. Над домом Дюбюиссонов уже никогда не сгустятся сумерки, а если и сгустятся, то не проникнут сквозь наглухо задраенные окна и двери. В большой комнате — «кабинете» — несколько сильных, немолодых мужчин пытались удержать отчаянно брыкавшегося пятнадцатилетнего мальчишку. В конце концов им удалось совладать с ним. Покровы давно были сорваны, и в этот день Дюбюиссоны впервые в жизни увидели себя не в красивых одеждах, а в жалком и убогом обличье наготы.

4
Серж

Обитатели этого домика сходились во мнении, что он слишком гол, хотя в сущности это было не так. Они имели в виду отнюдь не монашески строгую обстановку: лишь самое необходимое — узкие раскладушки, простой стол, алюминиевая посуда (верх роскоши!) и соломенные стулья, грубоватые, но не очень-то прочные, сиденья у них протирались, даже не успев стать мягче и удобнее. «Слишком гол» означало, что домик стоит на отшибе, под большими деревьями, метрах в двухстах от ближайшего жилья. Они побаивались, что его уединенное положение очень уж бросается в глаза. Как только заметят, что дом обитаем, сразу заинтересуются, кто же его жильцы. Кто? Ага, Серж. На него выписаны счета за электричество и воду. Но любопытные захотят знать: кто такой этот Серж. Женат или холост? Чем занимается? Препода-

[1] Закон о попытке к бегству *(исп.)*.

[2] Дружище *(исп.)*.

ватель? А-а! Только что вернулся из Европы? Вот оно что. Кто же он, Серж? Плотник? Кого-кого, а плотников у нас навалом. И по берегам реки Артибонит, и на севере, и на западе, и на юге. Серж, однако, тщательно укрывался от чужого любопытства. Чересчур тщательно!

— По-моему, типичный,— говорил Чарльз; само собой, все называли его Шарли, коверкая имя на французский лад, и ему постоянно приходилось поправлять собеседника.

— В каком смысле типичный? — уточнял Серж; он находил, что Шарли злоупотребляет этим словом. Шарли жил за границей дольше, чем Серж и все остальные. Он покинул родину еще ребенком, и его представление о ней сложилось скорее по рассказам товарищей, слышанным на берегах той же Сены, нежели по собственным воспоминаниям; это представление было неполным, и теперь он называл «типичным» все, что сохранилось в его памяти с детских лет; их дом, торговец акассаном [1], молочник, крестьяне на рынке, некоторые из них одеты в латаное-перелатанное, похожее на лоскутное одеяло тряпье. Он, не колеблясь, называл «типичным» все, что следовало назвать «непривычным»; в его понятии эти два столь различных слова были равнозначны.

Дом стоял на скошенном фундаменте, на склоне холма, три его комнаты располагались в форме буквы «L» и вместе с пристроенной верандой образовывали более или менее правильный квадрат. (В самом деле типичный!) Существовал еще лишь один стиль, достаточно характерный для старых построек,— «анфилада из трех комнат без веранды».

— По-моему, в длинном доме нам было бы трудно все время держать одну комнату закрытой,— высказал свое мнение Шарли.— В таком, как наш, это куда легче.

Вместо ответа раздалось невнятное ворчание.

— Типично! — резюмировал Шарли.

— Что?

— Что вы бурчите.

Они поселились в этом доме вчетвером; изворачиваться так, чтобы видели только двоих, было и впрямь нелегко, нелегко было и придавать дому вид открытого. Уединенное, без соседей, расположение дома дополнялось увитой лианами, колючей изгородью (опять-таки типичной), окружавшей один из тех фруктовых садов, которыми в былые времена славился Петионвилль.

Сквозь приоткрытые, самую чуточку, окна обитатели дома упивались дивным ароматом. Прежде чем перебраться в этот пустынный уголок, все они жили на асфальтовых или мощеных улицах больших городов, где нет места садам. И сейчас их изумляло, даже сбивало с толку, что жизнь свелась к ожиданию, они оказались в каком-то взвешенном состоянии, в полном отрыве от всего окружающего.

— Странное дело,— сетовал Этьен.— Жить и в то же время не жить у себя на родине.

— Что ты называешь родиной? — спрашивал Серж, с его учительской тягой к точным формулировкам.— Твоя родина — весь мир!

— Ну и загнул!

Ему и Эдмону, замурованным в этих стенах, чудилось, что стоит выйти в сад — не тайком, поздним вечером, как обычно,— и на ладонь к ним тут же усядется чудо-птица, а если пошевелить пальцем, то яркой радугой полыхнет солнечный свет.

— Они у меня уже в печенках сидят, эти чертовы фантазеры, эти поэты,— жаловался Серж.

Он, разумеется, любил их всех, но постоянно ворчал, отчаянно стараясь ни к кому из них не прикипать сердцем.

Такие же отношения сложились у него (но это было уже вчера!) и с Эстер: он тревожился за нее, как за родную дочь, но жесткая логика борьбы заставляла его подавлять и эту привязанность. Их нежные, благородные отношения омрачены были горечью и отчаянием. Каждый раз, когда она уходила, его душили рыдания. Эту милую, славную девушку, свою ученицу, он сам, с открытыми глазами, послал на смерть. Это его доконало, и впредь он решил иметь дело лишь с твердокаменными профессиональными революционерами. Но где их отыскать, профессионалов?

— Чего ты хочешь? — как-то сказал ему Шарли.— Мы ведь даже не патриоты

[1] Крепкий алкогольный напиток.

в общепринятом понимании этого слова. Мы социалисты, любящие свою родину, но не знающие, как ее освободить.

— Воображаете себя выпускниками Сен-Сирского военного училища. В маренговых штанах и с цветком в стволе винтовки,— насмешливо фыркнул Серж.

Двое других молчали. Они явно были на стороне Шарли. Вот это парень, другого такого поискать, зубоскал, маленький солдат, барабанщик, Фанфан-Тюльпан, сорванец с картин Пульбо. «Во всей нашей истории,— говорили они,— нет такого, как Шарли».

Серж считает себя профессиональным революционером! Шарли прыснул. Не он ли — хорош профессионал — однажды ночью чуть не потерял голову только потому, что на другой стороне улицы, против их темного дома, бесшумно остановились два черных лимузина? Из одного вышел человек в форме и поиграл замком, навешенным на воротах. «Профессионал» готов был тут же открыть пальбу из автоматов. «Затем вступает в силу инструкция № 4: мы разбегаемся. Оружие, кроме пистолетов, оставляем на месте...»

Но вправду ли это начало атаки? Офицер оставил замок в покое, машины стояли безмолвные и темные. Эдмон подполз к ограде и, вернувшись, доложил, что в машинах двое пьяных офицеров со своими потаскушками.

— Почему они пожаловали именно сюда? Мало им других мест?

Судя по всему, эти двое возвращались с вечеринки или просто выкроили часок между дежурствами, так поступают они все, начиная с министров. Господа офицеры явно торопились. Замок они подергали просто так, на всякий случай. Если б удалось открыть ворота, они поставили бы вооруженного шофера прямо в саду. Сейчас же оба шофера — Эдмон определил их местонахождение по огонькам сигарет — торчали на перекрестке, дожидаясь, пока шефы получат желаемое удовольствие.

«Профессионал» не проронил ни слова. Будучи руководителем группы, он не позволил себе даже улыбки. Другие, однако, со смешанным чувством любви и досады, не преминули мысленно уколоть его: «Ай да профессионал!»

Серж был таким же профессиональным революционером, как они сами. Разница, если и была, заключалась в том, что он получил более долгую и тщательную подготовку, а его убеждения подкреплялись решимостью действовать в любых условиях, чувством ответственности и миссионерским рвением.

В длинном ряду открытых и тайных выступлений против Буйнопомешанного заняла свое место и деятельность Сержа; вдумчивый анализ подвел к мысли о необходимости сколотить в городах группы подпольщиков, которые не спасуют ни перед какими неожиданностями. «Спокойствие чересчур затянулось, пора разбудить дремлющих, тактические соображения требуют нащупать какое-то соединительное звено, начать хоть с чего-нибудь». Отсюда вытекала необходимость создавать все новые и новые группы для борьбы.

Теория рекомендовала вербовать одиночек в каждом квартале, чтобы те в свой черед продолжили бы вербовку в ожидании приказа и оружия. Приходилось, однако, прежде всего учитывать, что многие из подпольщиков возвратились в страну нелегально и открытое их появление чревато для них большой опасностью. Это в полной мере относилось к двоим членам группы. Серж преподавал в частной школе. Самый темнокожий и самый находчивый среди них, Шарли ходил в крестьянской одежде и выдавал себя за его слугу. Такое распределение ролей получилось само собой. Нечего было и думать о том, чтобы заставить Сержа с его светлой кожей и почти прямыми волосами прислуживать Шарли, бегать по рынкам с плетеной корзинкой в руке и торговаться по-креольски. Не прошло бы и недели, как охранка принялась бы наводить о нем справки, и сбить ее со следа было бы непросто. Установился естественный («национальный», по выражению Шарли) порядок вещей. Свою роль Шарли играл искусно, без малейшего пережима, не выходя за пределы того, что требовалось от слуги скромного учителя-холостяка.

В этой части города бытовали свои рутинные порядки, кое-какие продукты, к примеру, доставлялись без всякого заказа; по утрам торговцы приносили акассан в бутылях; молочники приводили коров, чтобы подоить их тут же, во дворе; зеленщики предлагали фрукты с лотков и овощи в корзинах. Всякий дом, где поселялись новые жильцы, привлекал к себе торговок. Шел тысяча девятьсот семидесятый год, люди уже высадились на Луне, а Петионвилль как был, так и оставался захолустным курортным городком, где многие проводили отпуск,— вчера еще деревня, нынче городок, разметавшийся по горным склонам, с безмятежным и размеренным ритмом жизни.

Здешние жители приметливы, и преподаватель, покупающий товары не в супермаркете, сразу стал бы объектом пересудов. Нарушение сложившихся обычаев навлекло бы подозрения торговцев. Квартальный комиссар и шеф местной полиции тотчас же занесли бы его имя в свои досье. «Странный субъект, живет одиноко, видимо, богат, но покупает продукты в простой лавчонке». Замок на дверях, тишина в доме уже сами по себе возбуждали недоверие властей. От их назойливого любопытства спасало только то, что дом ежедневно открывался для всех торговцев. Те делились впечатлениями: «Хозяин не очень-то болтлив, но человек он, видать, добрый. А этот Шарли — ох и чудила...» Их разговоры усыпляли бдительность высокопоставленных олухов. Но вообще-то нюх у этих шпиков превосходный.

Веритэ, шеф петионвилльских полицейских-макутов, сосредоточивал в своих руках достаточно большую власть, чтобы плевать на закон. Прозвище Веритэ[1] должно было означать: «ничто не укроется от моего внимания, уж я-то допытаюсь до истины». Человек весьма осторожный, он недоумевал, почему двое его коллег погибли так глупо, добро бы еще угодили в засаду, но попасть под пули в таком видном месте... Сам он, в отличие от них, никогда не терял бдительности. Какая вопиющая беспечность: совершать обход в один и тот же час, заходить по утрам в одно и то же кафе, да еще без своих шоферов.

Веритэ разбил весь Петионвилль на квадраты, но не на карте, как можно было бы ожидать, а в уме. Этот недоучка, бывший слесарь-сантехник, не получил даже элементарного технического образования, он был подмастерьем у опытного работяги, носил за ним сумку с инструментами, внимательно наблюдал за каждым его движением, подбирал и тщательно изучал изношенные детали. Освоив слесарное дело, он уже мог уверенно рассуждать о поплавках и сифонах.

В его голове хранилась уйма сведений о городских старожилах, которых он прекрасно изучил; тех, кто приехал недавно, еще предстояло изучить, а уж потом нацепить на них соответствующие ярлыки. Человек он был не злой, но строгий. Случалось, предостерегал какого-нибудь отца семейства: «Ваш сын завел дурные знакомства». Он хорошо знал этих сыновей, следил за ними с самого их рождения, еще с тех времен, когда прочищал засорившуюся канализацию в комфортабельных домах буржуа. Многие из отцов семейств уехали, кое-кто не без его подталкивания: он не терпел ни шантрапы, которая не может оплатить свои долги, ни гордецов, чьи дочери или супруги слишком высоко задирают носы либо ходят с насупленными бровями. Он быстро выпроваживал их не только из Петионвилля, кое-кого и из страны. Сыновья оставшихся стали факультетскими товарищами его сыновей, и те отплясывали с их дочерями новомодные, сменяющиеся каждый сезон танцы. Если после его предупреждения молодые люди не унимались, он наказывал их строго и примерно, так, чтобы не пришлось начинать заново. На его счету было не столь уж много жертв, похороненных на небольшом, известном только ему одному кладбище, без крестов над могилами. Тут он действовал в традициях своих предшественников, бравых сержантов, которые умели зычно командовать: «ать-два». Какой палач из ближайшего окружения Буйнопомешанного не применял по своему усмотрению la ley de fuga, не пытал и не расстреливал для острастки кого заблагорассудится!

До сих пор одинокий дом на улице Братьев возбуждал лишь легкое любопытство Веритэ. Отнюдь не беспокойство и уж тем более не тревогу. Зато самих его обитателей сильно заботило впечатление, которое их дом производил своим безмолвием и сходством со склепом, исключая ранние утренние часы, когда его осаждали торговцы. После долгих и мучительных размышлений подпольщики пришли к выводу, что он может служить надежным укрытием лишь на несколько недель, а затем надо переехать в большой город. «Где лучше всего затеряться, как не в большом городе?» Этот довод представлялся им вполне убедительным, хотя Порт-о-Пренс лишь с натяжкой можно назвать большим городом. В его разбросанных кварталах, где жизнь текла на провинциальный лад, всякий приезжий рисковал попасть на заметку еще скорее, чем в Петионвилле с тенистыми садами за живой изгородью.

Вероятно, в наибольшей безопасности товарищи чувствовали бы себя, если б им удалось обосноваться в большом буржуазном доме. Но для этого они были слишком малочисленны. Не жирно ли — восемь комнат на одного преподавателя и его слугу!

Они вели теоретические дебаты о будущем, о борьбе против диктатуры. И мечтали вслух: «Эта должна быть последней. Погибнем все, но не допустим ее реставра-

[1] Vérité — истина *(франц.)*.

ции!» В ожидании решительного часа они принялись с чрезвычайной осторожностью налаживать контакты. За один год трижды сменили жилье и сами удивлялись, каким образом им удалось довести численность группы до пятнадцати. Четверо скрывались в подполье, остальные жили как все простые смертные, с той лишь разницей, что на них лежало бремя конспирации и им приходилось собираться на совещания под предлогом «танцулек». Это словечко принадлежало Эстер, и еще она любила повторять: «Не говорят, а поют...» Собрания она закодировала словом «танцульки», а места встреч — «первая, вторая и третья дискотека». «Третьей дискотекой» уже давно называли классную комнату лицея, под самым носом у старого Сен-Жана.

«Завтра будут танцы». Серж разрешал употреблять эту фразу даже в письмах, «лишь бы не в страстной четверг».

Гибель Эстер и возможные последствия этой гибели не могли не тревожить обитателей дома. «Уехать, немедленно уехать». Это был скорее инстинктивный импульс, чем выношенное решение, но подвести под него разумное обоснование было не столь уж сложно. «Трудно, конечно, предположить, чтобы кто-нибудь мог видеть, как Эстер выходила из такси или грузовичка, тем более опознать ее на этой улице, но в конце концов все бывает».

«Хорошо, переедем, но куда?» Тюрго, Буа-Верна? Слишком близко к обычному маршруту Бешеного Короля, на пути в его новую резиденцию в Депре. Лалю? Чересчур людное место, к тому же там нет больших домов с просторными дворами. Буа-Патат, Буа-Шульц? Мелкие буржуа трусливы и подозрительны: они сразу же донесут в полицию. Пост-Маршан? Морн-а-Тюф? Здесь живут слишком тесно и скученно, дома лепятся один к другому и царит страх перед макутами. Оставалось подыскать себе жилье на Гран-рю, торговой улице, где нижние этажи домов занимают магазины и лавочки. Верхние, каменные, наглухо закрыты, прохожие даже не поднимают на них глаза, будто бы их нет вовсе.

Веритэ между тем был в сильном волнении. Ему передали слова шефа о покушении: «С Веритэ такого никогда бы не случилось». (Что мог знать шеф? Может быть, он только прикидывается хорошо осведомленным и повторил то, что утверждает сам Веритэ? Не вернулось ли к нему, на красивой фарфоровой тарелке, блюдо, состряпанное им же самим?) «Такого никогда бы не случилось с Веритэ». Шеф бросил эту фразу на экстренном совещании кабинета министров, которое созвал отнюдь не для того, чтобы «посоветоваться», а просто чтобы излить свою ярость.

Перед началом заседания у самого входа в зал дежурный макут обыскал министра торговли. Министр уже передал свое личное оружие офицеру охраны, который с извинениями легко пробежал пальцами по всей его одежде. Вторичный обыск был неожиданным для министра нововведением. Он подчинился действиям макута с тем большей досадой, что тот грубо тряс его да еще заскорузлыми ручищами неграмотного солдафона переворошил все бумаги в портфеле.

За министром торговли последовали другие министры, испуганные или возмущенные, в зависимости от темперамента. У одного из них из-под фетровой шляпы, смятой руками макута, выбивались растрепанные пряди. Министр торговли — он получил степень доктора в Сорбонне — был крайне щепетилен, носил высокие пристежные воротнички и запонки, женат был на белой. Он весь напыжился, готовый в раздражении ступить даже на путь протеста. И когда в зал вслед за телохранителем вошел президент, министр после обычных низких поклонов, курбетов и почтительных приветствий осмелился попросить слова и выразить свое недовольство.

Диктатор принялся бесноваться. В его бесновании было что-то размеренно-методичное, именно поэтому некоторые говорили: «Не такой уж он и помешанный. В его буйстве есть своя система...» Впервые на памяти министра, согнувшегося в три погибели, с виду бесстрастный, но с закушенными до крови губами и с яро сверкающими за стеклами очков глазами ФД[1] направился прямо к нему и закатил одну за другой три оплеухи.

— Если я еще здесь, то благодаря им, а не вам,— пропел он козлетоном.— Они умирают под пулями бунтовщиков, не вы. Человек, который побеспокоил вашу особу у моих дверей, получит от меня награду.

Он послал адъютанта за макутом и тут же отсчитал ему двести гурдов. К это-

[1] ФД — инициалы Франсуа Дювалье, диктатора Гаити, а также сокращение от Fou Délirant — Буйнопомешанный *(франц.)*.

му, очевидно, сводилось его представление о награде. Впрочем, оно стоило любого другого.

— А теперь проваливайте, господин министр,— сказал он.

Министр сжал губы, побледнел, что бывает с неграми, даже с мулатами, чрезвычайно редко. На обеих его щеках пылали отпечатки перстня в виде черепа, эмблемы отца отечества. Министр пролепетал просьбу об отставке; но диктатор разразился проклятиями.

— Ишь чего захотел! Когда ты мне станешь не нужен, я сам вышвырну тебя под зад коленом.

Успокоенный, что сохранил свой пост, министр, так и не распрямляя спины, пятясь, удалился. У самого выхода он пожал руку макуту. После его ухода ФД обратился с речью к другим министрам, которых отхлестал по щекам точно так же, как и ушедшего. Расплывшись в угодливых улыбках, они в полном замешательстве слушали, как ФД восхваляет макутов, называя их, с характерным для него передергиванием, своими волонтерами.

— Ну и болван, этот чертов министр! — выругался он. Остальные министры, которым дали почувствовать их превосходство, глухо захохотали.— Волонтеры — надежный бастион, защищающий не только меня, но и вас. На кого мне и рассчитывать, как не на них. Посмотрите на этого человека.— Он ткнул пальцем в начальника личной охраны, безродного, невежественного служаку, вознесенного его волей на один уровень с сильными мира сего.— Лишь он и другие волонтеры спасают вас от неминуемой смерти. Мои волонтеры,— продолжал он,— утратили не только всякий страх, но и осторожность. И вот к чему это привело...

Тут-то шеф и упомянул Веритэ, присовокупив, что тот не уступает другим в отваге, но более осмотрителен.

Этого оказалось достаточно. Далее он заговорил на тему, близкую к предыдущей, спросив: «Как поступили с Дюбюиссонами?» Ему доложили, что Виктор убит, остальные повержены на колени. Затем он обратился к заместителю министра внутренних дел Шармэну с вопросом, что нового удалось выяснить о «доминиканце». Шармэн — тот самый, что изнасиловал женщину во время допроса, убийца, который завел отдельное кладбище для своих жертв,— ответил, чтобы хоть что-нибудь сказать, что «идет по следам Сен-Жанов».

Буйнопомешанный поднял глаза и уронил:

— Да?

В его зрачках блеснул странный луч интереса, веки дрогнули. Только они и оставались еще живыми в этом полутрупе. От Шармэна не укрылась эта вспышка заинтересованности. Отдать на растерзание респектабельную семью, живущую тихо и мирно, в отдалении от всех, ни от чего не отрекающуюся, но и ничего не предлагающую,— какая великолепная идея! Назвав имя Сен-Жанов, он только пустил пробный шар. Интерес, проявленный диктатором, предоставлял ему все необходимые полномочия.

Шармэн был отнюдь не единственным наблюдательным человеком на совещании. Когда на следующее утро в предвкушении приятной потехи заместитель министра нагрянул в лицей во главе целого эскадрона, ни директора, ни его жены, ни младших детей не оказалось на месте, «а все старшие за границей, кроме адвоката месье Мишеля, который редко здесь ночует»,— услужливо доложил дворовый мальчишка, получив соответствующее поощрение.

Из троих остальных глав семейств, которые жили по углам большого квадрата в буржуазном квартале от Лалю до Буа-Верна, двое уехали за границу на продолжительное время. Схватили их коллег, дантиста и адвоката, которым они передали свои кабинеты и клиентуру, и стали выпытывать у них адреса Сен-Жанов, что, разумеется, не оправдывало столь большой затраты усилий, если бы заодно они не хотели выяснить и намерения уехавших. Бедняги, разумеется, ничего не знали, и это доставило им немало неприятных переживаний.

Что до Сен-Жана — сотрудника министерства финансов,— то его дом оказался запертым, ключ торчал прямо в замочной скважине; холодильник и кухонный шкаф были набиты провизией, на столе и сервировочном столике, что приткнулся рядом,— неубранные остатки вчерашнего обеда. Но вся семья — муж, жена и дети бесследно растворились в ночной темноте.

В тот же день посольства Мексики и Бразилии уведомили министерство иностранных дел о предоставлении политического убежища директору лицея и его брату со всеми членами их семейств. Кто-то успел предостеречь Сен-Жанов, и Шармэн рвал и метал от ярости. «Среди нас завелся Иуда! Ведь о предстоящей операции было известно только узкому кругу людей». Он так и не дознался, кто именно оставил его в дураках.

Обстоятельства обрекали Сен-Жанов и Дюбюиссонов на совместный траур. В этом было нечто фатальное. После того как бумажный тигр обратился в железного, с каждым днем становилось все труднее уничтожить или хотя бы обезвредить его.

Цепь событий, которую трудно восстановить, не потому, что она нелогична, скорее наоборот, свела Мишеля Сен-Жана, пятнадцатого подпольщика, с пятнадцатилетним Робером Дюбюиссоном, который стал шестнадцатым подпольщиком; в то же самое время в группу загадочным путем просочился некий Салими, молодой красавчик, а по сути своей — гаденыш, шпик, ищейка Буйнопомешанного.

Подпольщики группы Сержа уже успели перебраться из Петионвилля, но не на Гран-рю, а на другую улицу поблизости, где сдавались верхние этажи, нижние же занимали сирийско-ливанские коммерсанты. Разница с Гран-рю была весьма ощутимая — «то, да не то». Там даже не замечали верхних этажей, а если и замечали, не знали, семьи каких иммигрантов в них живут, лишь по праздникам, когда балконы украшались расшитыми цветами руанскими полотнищами, ажурными покрывалами и ближневосточными коврами, можно было заметить, что они обитаемы.

Верхний этаж дома, где обосновалась группа Сержа, хорошо просматривался с перекрестка, но подпольщики решили пренебречь этим, памятуя о знаменитом письме из рассказа Эдгара По[1]: то, что лежит открыто, обычно ускользает от внимания. Жили они там втроем, затем вчетвером. Еще более замкнуто, чем в Петионвилле, зато чаще виделись с товарищами. Те приносили с собой книги, вели приятные беседы, иногда их сопровождали любопытствующие студенты; все это могло бы вызвать подозрение, если б не вполне добропорядочный фасад дома, с открытым нижним этажом, где в свободные дни отплясывали до упаду далекие от политики парни и девушки, между тем как в своей комнате подпольщики буквально задыхались от духоты, несмотря на два вентилятора (жили они далеко от горы, а ведь Порт-о-Пренс — это раскаленный очаг на берегу моря). Риск был непомерно велик, но хорошее прикрытие позволяло им собираться для дискуссий чуть ли не каждый божий день, понятно, не всем пятнадцати сразу, а группками, хотя кое-кто и выражал желание встретиться в полном составе, на что Серж цедил: «Зачем? Чтобы могли нас пересчитать по головам? Товарищи, живущие в этом доме, видятся с членами всей группы, этого достаточно. Есть старинное правило: подпольщики должны быть разбиты на группы по четверо, и ни одна четверка не должна знать другую».

Серж был прав. Семнадцатый член организации, тот, что их предал и продал, тщетно дожидался дня, когда сможет «пересчитать всех по головам». Он видел только тех, кто постоянно жил в доме, и гостей — пылких молодых людей, которых он не мог опознать: появлялись они всегда поодиночке, а если сталкивались на улице, то делали вид, будто незнакомы. Такова была строгая инструкция. И Салими говорил тем, кто его купил: «Погодите немного, должны же они собраться все вместе». Среди тех, кто требовал общего собрания, был и он. Но Серж каждый раз сухо и даже грубо отрезал: «Нет».

Наконец, не выдержав, Буйнопомешанный приказал «схватить их». Он любил точные, емкие слова, готовые, самодовлеющие формулы, исключающие всякое сомнение. Он с удовольствием повторил бы вслед за американцами: «Search and destroy»[2], но его солдафоны не знали английского, ему пришлось довольствоваться аналогичной креольской фразой, достаточно, впрочем, выразительной, решительной и завершенной. Этот бывший врач действовал не как ученый муж, измышляющий новые способы истребления, а скорее как террорист, одержимый желанием примерно покарать своих противников. Вот почему на пятнадцатый день был отдан приказ, и в ту же ночь, стараясь действовать без шума («Тише, черт бы вас драл, тише!»), полицейские в штатском выдворили всех жильцов из соседних домов черным ходом («Только не

[1] Имеется в виду рассказ Э. По «Похищенное письмо».

[2] Найти и уничтожить *(англ.)*.

через парадный подъезд, черт бы вас драл!»), и на рассвете, прежде чем кто-либо успел выйти на улицу, по дому, где жили подпольщики, хлестнули автоматные очереди. За первым залпом, как предупреждал Серж, последовал второй; в бой вступили базуки.

Никто из семерых подпольщиков, что скрывались в доме, среди них и Робер Дюбюиссон, не спасся. Полиция предполагала вначале, что с ними и Мишель Сен-Жан, поскольку все его вещи лежали нетронутыми на верхнем этаже дома, где он поселился, после того как его родители укрылись в посольстве. «Месье редко ночует дома»,— твердил его слуга в ответ на все расспросы.

Полиция потеряла Мишеля из виду. Он мог бы найти прибежище в каком-нибудь посольстве, но не сделал этого. Мог бы попытаться бежать за границу. Но мелкие буржуа не умеют вступать в тайные контакты, не умеют выворачиваться из трудных положений. Без чьей-либо подсказки Мишель был беспомощен. Несколько дней он проторчал у любовницы, но она стала проявлять опасные признаки колебания. Он ушел от нее с намерением уехать в деревню, но там его никто не ждал: ни друзья, ни враги. Обратиться за помощью было не к кому. Установить связь с какой-нибудь сельской ячейкой тоже было невозможно — ключ к этому замку унес с собой Серж. В конце концов Мишель вынужден был обратиться к приходскому кюре с просьбой передать псам Буйнопомешанного, что он сдается добровольно, если ему гарантируют открытый судебный процесс.

— Чистейшее безумие,— замахал руками священник.— Можно ли доверять обязательству этих людей? Да стоит мне только заикнуться об этом, как они привезут свои пушки и снесут с лица земли мой приход. Я могу только приютить вас тут до тех пор, пока вы не укроетесь в каком-нибудь посольстве.

Мишель отказался от этого предложения. Но священник настаивал:

— Только посольство может хлопотать о судебном процессе для вас.

Молодой человек вынужден был согласиться с кюре, и тот предложил ему обратиться в чилийское посольство — это было до Пиночета. Через три дня его передали чилийцам. Но ФД заявил, что он «не предоставит трибуну международному коммунизму». «Дайте ему и его семье выездные визы,— сказал он,— избавьте меня от этой мерзкой публики».

Мишель подождал, пока родные разъедутся — кто в Мексику, кто в Бразилию,— но сам отказался выехать в Чили, упорно требуя судебного процесса. Посол, считая, что тут затронута его личная честь, тщетно умолял юношу согласиться на выезд. «Меня можно увезти только против моей воли, усыпив, например»,— твердил Мишель.

На помощь чилийскому посольству пришло перуанское, оно приняло человека, который сам добивался, чтобы его принесли в жертву. ФД — к тому времени ему надоело внимание мировой общественности — решил наконец: «Хорошо, процесс так процесс,— и приказал подручным: — Устройте ему суд, пусть он получит свою дюжину пуль по судебному приговору» (еще одна из тех формул, которые подменяют собой анализ, логику, воображение).

Министр иностранных дел известил перуанского посла о согласии удовлетворить ходатайство при условии, что ни одна дружественная держава не будет вмешиваться в судебную процедуру.

Посол Перу ответил, что это само собой разумеется, единственное пожелание его правительства — чтобы была соблюдена законность. На что министр высокомерно возразил:

— Вы считаете, у нас царит беззаконие?

Держа свои мысли при себе, посол без тени улыбки ответил:

— Ваша логика мне понятна. Я хотел сказать, что моя страна может передать человека, доверившегося ее покровительству, лишь правосудию, которое будет придерживаться общепринятых правовых норм.

— Во всяком случае,— позднее предостерег посол Мишеля,— я надеюсь, ты не питаешь никаких иллюзий? Дело зашло слишком далеко. Быть может, мы сумеем избавить тебя от пыток, но расстрела тебе не миновать, и, уж конечно, ты не получишь никакой трибуны.

— Сам по себе процесс, мое осуждение и казнь можно приравнять к выступлению с трибуны. Надо поднять шум, возбудить возмущение действиями режима.

— Шум? Кто обратит на него внимание?

— Убийство под прикрытием законности неминуемо привлечет к себе всеобщее внимание.

— Ну и что? Убийства под прикрытием законности происходят по всей этой проклятой Южной Америке. Кого это волнует? Протестуют только люди цивилизованные. Вспомни процесс над супругами Розенберг. В наших странах такие убийства совершаются во множестве. Твои намерения бессмысленны.

— Бессмысленны, господин посол? Вы считаете, что Эстер Дюбюиссон погибла напрасно?

— ¡Pobre! ¡Pobre! [1]— вздохнул посол.— Я видел, как она лежала на насыпи. Pobre joven. ¡Que malditos! [2] (Он погрузился в раздумье.)

— Ее гибель на виду у всех способствовала обличению режима. Суд же надо мной заклеймит его позором.

— ¡Pobre! ¡Pobre! — На этот раз посол имел в виду Мишеля.— Но ведь она погибла не зря — унесла с собой двух псов.

Мишель стоял на своем:

— Важно разоблачать режим.

— Важно делать это с наибольшим эффектом. Ты делаешь все, чтобы умереть, вместо того чтобы убивать врагов. Как ты можешь идти на смерть, зная, что жив этот Салими. Судебный приговор придает казни видимость законности, нет ничего хуже. Умереть просто так, без всякой пользы — не лучше ли последовать примеру Эстер, прихватив с собой на тот свет Салими? Революция может успешно развиваться, лишь карая предателей,— такова ее внутренняя логика, подтверждаемая практикой. На ее пути и без того достаточно преград: алчность, злоба, утомление, овладевающее даже лучшими бойцами. Подпольная деятельность накладывает особый отпечаток на душевный склад человека. Ранимость и подозрительность так же вредны, как сумасбродство, навязчивые идеи, мучительный страх и потребность в каком-нибудь выплеске; все это может привести к непоправимым глупостям.

Единственно правильное решение — действовать. Всякая подпольная организация, чересчур долго отрабатывающая свои планы,— больной организм: ее руководитель должен знать, от кого и как надо избавиться. Что до тебя, то твоя смерть не принесет ни малейшей пользы. Я передам тебя этим людям с глубоким сожалением. И это называется бороться! Так умирают лишь пустые мечтатели. Уж лучше б сегодня вечером ты взял автомат и отправился на улочку Кретьен, где живет Салими. Всего вероятнее, его охраняют. Ну и что? Умирать так с музыкой! Может быть, ты и промажешь, но хоть напугаешь этих псов. Так подобает действовать борцам за народное дело. Главное — определить врага и нужный момент, как поступила она...

— Она?

— Эстер,— сказал посол,— твоя Эстер.

Он помолчал, словно стараясь заглянуть в будущее.

— Там, где она погибла,— тихо продолжал он,— будут посажены цветы. Если эта страна еще не окончательно свихнулась, если она заслуживает лучшей участи, она насадит повсюду цветы, воздвигнет памятники в честь павших героев. Несправедливости свойственно возрождаться снова и снова, и для борьбы против нее надо насаждать повсюду сады памяти.

— Сад в память Эстер?

— Да. С круглым бассейном, с играющей, как бы живой струей фонтана, тюльпанами вокруг.

— Господин посол!..

Но посол его не слушал, продолжая размышлять вслух:

— Больше я не буду здесь служить. Меня либо отправят в Европу, либо я подам в отставку. Не могу больше жить в странах, где убивают лучших людей, прежде всего борющуюся молодежь. Не хочу больше.

— Где бы вы ни были, я буду посылать вам цветы.

— Что? Что ты сказал? — переспросил посол. «¡Pobre! ¡Pobre! Ты уже никому не сможешь посылать цветы»,— подумал он, затем вслух произнес: — Считай, что я их получил. Благодарю.

— Тюльпаны Эстер. С прямыми и высокими стеблями. Такие же, как были вышиты на ее полотняной сумке. Прямые и высокие, как она. Господин посол?

---

[1] Бедная *(исп.)*.

[2] Бедная девушка! Проклятые! *(исп.)*.

— Да?

— Я умру не напрасно. Только пришлите на процесс хоть одного из ваших корреспондентов.

— Обязательно. Даже если это будет стоить мне места. С меня уже достаточно.

5

Мишель

Это был, как и следовало ожидать, необычный судебный процесс. Режим редко утруждал себя соблюдением юридических процедур, но в этом случае ему пришлось посчитаться с принятыми дипломатическими обязательствами; правда, лишь некоторые педанты из министерства иностранных дел настаивали на их выполнении, исходя не столько из требований международного права, такая монета не имела здесь хождения, сколько повинуясь чистой необходимости; латиноамериканцы с большой щепетильностью относятся к вопросу о предоставлении политического убежища, и отказ послу в его просьбе мог привести к общему возмущению, а Дядюшка Сэм не всегда решался игнорировать точку зрения своих латиноамериканских племянников и в этом случае мог отозвать своего посла для «временных консультаций». К тому же Дядюшка был грубоват и вместе с отзывом посла имел обыкновение приостанавливать финансовую помощь.

«Плевать я хотел на их помощь!» — заявил Бешеный Король, но это была лишь бравада. Когда в одно из своих посещений министерства иностранных дел посол Соединенных Штатов как бы вскользь упомянул, что «в зависимости от обстоятельств» он может уехать, министр долго настаивал и молил, молил и настаивал, чтобы тот высказался яснее.

— Но я же не могу вмешиваться в ваши юридические дела,— запротестовал посол. Он был весьма доволен тем, как ловко ввернул слово «юридические».

Министр не стал употреблять никаких сильных выражений, вроде «Плевать я хотел...», а лишь ограничился репликой:

— Дело, стало быть, только в этом?

«Проклятый негр! Вот уж кто не Талейран!» — мысленно выругался посол. Впрочем, и сам он был отнюдь не Талейраном, а крупным свиноторговцем из Чикаго, который получил посольскую синекуру в награду за финансовую поддержку, оказанную своей партии во время избирательной кампании. Это не мешало ему сожалеть о недостатке утонченности в дипломатических переговорах. Талейран, конечно, ни за что не позволил бы себе подобного бестактного полувопроса, ответить на который можно лишь тяжелым молчанием, плотно стиснув губы в знак порицания. А как было бы приятно с улыбкой на устах пофехтовать с Талейраном на дипломатических рапирах!

— Хорошо сказано! — позднее похвалил его политический советник, ментор и подлинный мозговой центр посольства.— Просто превосходно! Мы позаботимся о том, чтобы ваши слова стали известны всем латинцам, они будут довольны. Хотя... между нами...

Они переглянулись, воздержавшись не только от смеха, но даже и от улыбки. К чести молодого ментора надо сказать, что больше он не произнес ни слова; уж он-то был на пути в Талейраны, с той, правда, оговоркой, что для того, чтобы стать Талейраном, надо вращаться среди равных себе по уму и хитрости, по возможности в чрезвычайных обстоятельствах. Здесь же все давалось слишком легко: звон бокалов заглушал эхо далеких выстрелов. Каждый день они с послом проводили по часу вместе, и под предлогом изучения протокольных тонкостей и ассортимента вин советник выполнял свою непосредственную обязанность — советовал. «Если вы, к несчастью, допустили оплошность, не показывайте, что сами ее заметили, и не извиняйтесь — спокойно продолжайте беседу... Если, к несчастью, вы капнете на скатерть красное вино тут же уроните и две капли белого». Посол не задавал неуместных вопросов, вроде «А если оплошность совершит кто-нибудь другой...» или «А если прольется белое вино...» Ученик он был понятливый, сразу же улавливал малейшую иронию не только в словах, но и во взгляде; кожа у него была куда менее толстая, чем у его

свиней. С трех уроков по истории дипломатии он увлекся личностью Талейрана, чей литографический портрет украшал его кабинет в полной симметрии с портретом милейшего Никсона.

Вмешательство извне, безусловно, повлияло на исход дела, и макуты бесились. На их пути стоит какой-то Сен-Жан, а они не могут с ним «посостязаться», на их языке это означало «убрать». Ничтожный адвокатишка, смутьян-заговорщик, и еще смеет диктовать им свои условия! — такое не укладывалось в голове. Пусть только он им достанется! И Буйнопомешанный обещал, как обещают детям игрушку: они его получат! Он сам лично придет к ним, чтобы не упустить момента, когда этот негодяй наложит полные штаны. «Но вы понимаете... нам приходится учитывать мнение международной общественности... этот посол...»

— Отдайте и его нам. Мы сработаем так чисто, что даже ФБР не подкопается. Он попадет в автомобильную катастрофу или нахлебается водички.

Между тем перуанский посол с философской неторопливостью укладывал свои чемоданы. Из его страны прибыли два корреспондента, и оба быстро завоевали популярность: один, настоящий красавчик, пользовался успехом среди девиц, особенно у школьниц, находивших его похожим на одного из богов инков — откровенно говоря, довольно-таки безобразных; другой, превосходный фотограф, прославился среди художников галереи Брошетт, снимая слайды с их картин. И первый и второй отличались крайним простодушием. Перуанское правительство, обеспокоенное чрезмерной активностью посла, прислало журналистов не слишком-то деятельных — совершенно аполитичного судебного репортера и смуглого индейца, питавшего слабость к ярким краскам.

Индейцу поручено было сделать портрет судьи в низко, на самые уши надвинутой шапочке, эта шапочка вместе с очками, увеличительные линзы которых посылали в зал грозные отблески, делала его обезьянью мордочку почти неразличимой, одного взгляда на его кроваво-пурпурную мантию было достаточно, чтобы в исходе суда не оставалось и малейших сомнений. Этот обвинительный акт простосердечный индеец зафиксировал чуть ли не в первый же день. Но когда кроваво-пурпурное фото появилось в перуанском журнале, оно уже не обличало закоренелого негодяя, а предваряло некролог, ибо судья умер в самом начале процесса.

Стоило мэтру Сен-Жану заявить: «Господин судья, я всегда знал вас как честного человека» — и участь судьи была предрешена.

Это произошло еще во время их первых стычек, когда судья пытался напялить намордник на обвиняемого, памятуя о предупреждении шефа, что тот «не предоставит трибуну международному коммунизму». Судья упорно навязывал Мишелю, в его же собственных, как он говорил, интересах, официального защитника.

— Кто возьмет на себя роль моего адвоката в этом зале, где я защищал других? — рассмеялся Мишель.

— Мой долг... закон...— бормотал судья.

Вот тогда-то Мишель и бросил фразу: «Я знал вас как честного человека» — и выговорил себе право защищаться самому. Буйнопомешанный не простил этого судье. Макуты устроили зловещее подобие серенады под его окнами, стреляя холостыми патронами, а Шармэн сугубо по-дружески предупредил судью, что ему следует подумать о своих дочерях, «ведь они у вас красоточки!» Сердце маленького судьи не выдержало такого испытания.

Ему нашли преемника, склонного забыть все, чему его учили на факультете: и законы, и процессуальные формальности. Это был мужлан из глухой провинции, бывший землемер, мировой судья, затем председатель суда присяжных, и, как таковой, он добрых два десятка лет соблюдал интересы феодальных землевладельцев и был даже охранителем, вернее, хранителем их семейных кладбищ. А вообще — человек без идей, круглый невежда и пройдоха с тягой к узаконенному насилию.

На одном из праздничных сборищ провинциал судья выступил с речью о знамени и свободе. Текст речи он за свой счет опубликовал в Порт-о-Пренсе, где над ней долго потом потешались. Сочинителям подобных брошюр случается, хоть и не так часто, судить адвокатов. Мишель не устоял перед соблазном и в нарушение всех судебных правил процитировал этот опус.

— Заставьте замолчать осужденного! — прорычал судья.

«Осужденного»? Присутствующие на суде адвокаты ошеломленно переглянулись. Даже макуты, способные понять происходящее, нашли, что кофе сварен слишком уж

крепкий. Перуанцы не сразу сообразили, что к чему, но когда сообразили, один принялся лихорадочно строчить в блокноте, другой защелкал камерой, заряженной на этот раз черно-белой пленкой, снимая судей и присяжных.

Последние мирно подремывали. Еще в самом начале судебного разбирательства Мишель решил не отводить никого из них. «Какой смысл, господин судья?» Тут, пожалуй, уместно заметить, что, хотя обвиняемый не слишком-то воодушевлял судью, он все-таки облагородил его манеру выражаться.

Во время чтения обвинительного акта, когда секретарь отбубнил слова «группа преступников», Мишель обернулся к публике и прервал его возгласом: «Господин судья, надо бы уточнить: преступники — это те, что сидят здесь, в зале». И он показал на ряды вооруженных макутов — настоящие макуты, как известно, скорее расстанутся с одеждой, чем с оружием.

— Преступники, которые даже не прячутся, господин магистрат,— добавил он.— Думаю, еще никогда ни одного человека не судили перед его палачами.

Прокурор, который молчал до сих пор, объяснил, что зал суда открыт для всех желающих, естественно, что друзья погибших хотят видеть одного из их убийц.

— Не убийц, а подозреваемых в убийстве, господин комиссар.

— Что?

— Подозреваемых в убийстве, обвиняемых, с вашего позволения. До вынесения вердикта вы обязаны придерживаться презумпции невиновности. Я требую, чтобы секретарь внес соответствующую поправку в протокол.

Такого не видели в суде еще со времен... да, со времен Жака Румена [1].

Но Мишель вдруг поймал себя на мысли, что держится как на театральных подмостках, явно переигрывает и даже забавляется происходящим; и он усомнился, правильно ли поступает, такова ли должна быть линия его поведения, может быть, лучший аргумент в его пользу — молчание. А может быть, в этом необычном поединке, где он заранее обречен на поражение, разумнее всего играть свободно, вонзая бандерильи в толстые шкуры своих врагов? Спровоцировать их на чудовищную ошибку, которая наделает много шума, чтобы они постарались заткнуть ему рот, прикончить его не в своих застенках, а прямо здесь, в святилище Фемиды,— как это было с Жаком Руменом, хозяином росы? Услышав, что судья велел протоколисту: «Поправьте: «подозреваемый в убийстве»,— он отметил про себя нежданную победу.

И все же проблема не утратила своей остроты: да, победа, но что это за победа? В одном, по крайности, посол прав. Куда лучше было бы метнуть в зал дюжину гранат и отправить на тот свет полсотни этих псов. Полсотней меньше на шее у народа! У борьбы есть лишь одно законное моральное оправдание — действие, успешное действие. Отдаться в руки врагов, не попробовав прибегнуть к действию,— грубая, возможно даже преступная, ошибка.

На другой день судья очистил зал от макутов и журналистов. «Учитывая сложившиеся обстоятельства, после соответствующего обсуждения... назначается закрытое заседание...» Мишель даже подскочил: «С кем оно проводилось, это обсуждение? Мнение защиты не запрашивалось, ведь я сам представляю защиту». Но зал опустел, и он вынужден был сесть. Судья привел к присяге о неразглашении тайны оставшихся: секретаря и охранников.

— Не мешало бы осведомиться и о моем мнении, мнении защиты! — вскричал Мишель.

— Заставьте его замолчать! — приказал судья.

— Как представитель защиты...— начал было Мишель, но мучительная судорога свела его тело; он согнулся, скорчился, не в силах пошевелить ни рукой, ни ногой; рот его так и остался раскрытым, округлившиеся глаза налились болью и отчаянием.

В зал его ввели в наручниках и ножных кандалах. Наручники сняли, но кандалы оставили; к ним был подсоединен электрогенератор, которым манипулировал издали человек в слишком хорошо сшитой форме и со слишком искусными пальцами, чтобы быть простым охранником.

— Обвиняемый нездоров? — спросил судья без тени улыбки.— Мы не были поставлены в известность о том, что он подвержен эпилептическим припадкам. Нет ли здесь врача?

---

[1] Жак Румен (1907—1944)— основатель Компартии Гаити, руководитель борьбы против американской оккупации, выдающийся писатель, автор известного советским читателям романа «Хозяева росы» (опубликован в «ИЛ», 1956, № 1).

Тут же появился врач в мундире. Он помог Мишелю подняться и надел ему на голову наушники с планками-электродами.

— Понял? — тихо сказал он Мишелю.— Тебе не позволят больше сказать ни словечка. У тебя нет выбора. Достаточно включить ток, и ты либо рехнешься, либо подохнешь — одно стоит другого.

Мишель с трудом понимал, что ему говорят, с трудом сознавал, где он и что с ним. Грубая сила скрутила его. В нем было подавлено почти все человеческое. Он перестал ощущать себя как личность, будто впал в младенчество, сохранив способность чувствовать, но не понимать.

Врач посмотрел на судью.

— Обвиняемый достаточно здоров, чтобы продолжать заседание?

— Да,— подтвердил врач, отходя прочь.

До присяжных так ничего и не дошло. Совершенно невежественные, безучастные — какое им дело до всего этого? Их беспокоило только, чтобы процесс кончился как можно скорее, чтобы они вынесли вердикт и разошлись по домам — ничуть не богаче, чем были (их услуги не оплачивались), ничуть не радостнее (ненависти они не питали), лишь избавленные на какой-то срок от гнетущего страха.

Прокурор, по всей видимости, понял не больше, чем присяжные, но здесь (в этом здании суда, в этой стране) не принято задавать вопросов; если чего-нибудь не понял, лучше закрой глаза, ибо понимание влечет за собой властную необходимость выбора. Поэтому прокурор даже не поинтересовался, зачем на обвиняемого надели наушники, отчего его тело только что извивалось в корчах, а теперь он стоит неподвижно, с остолбенелым видом. Он лишь вопросительно глянул на врача, и тот едва заметно кивнул: все, мол, в порядке. Тогда прокурор поднялся — грудь колесом, указательный палец нацелен на подсудимого.

— ВЫ!

Он не сказал: вы, буржуа, вы, Сен-Жан, вы человек из богатой семьи, законный наследник; он не сказал ни одного из тех слов, что были тогда в ходу: вы, смутьян, вы, мятежник, вы, коммунист. Только ВЫ!

Его речь, казалось, лишь усугубляла глубокое молчание, окутавшее их двоих, Мишеля и самого прокурора. Немногочисленная оставшаяся публика: помощники судьи, охранники, присяжные и врач, который так нагло издевался над правосудием,— все они были исключены из безмолвного диалога, предварявшего смертный приговор.

Судья-провинциал был опасен как орудие системы; а этот отличался находчивостью и артистической ловкостью и сам по себе представлял опасность, ибо творил зло по убеждению и полагал, что руководствуется доводами рассудка, на самом же деле руководствовался ненавистью — ненавистью человека старого, безобразного, неудачливого, мало кем любимого, к тому же еще и с комплексом неполноценности. Он как будто выплюнул ВЫ, и его плевок полон был глубочайшего презрения, горьчайшего яда и ненависти ко всему благородному и прекрасному.

Прокурор был маленький, плюгавый человечек.

Мало-помалу приходя в себя, Мишель все яснее понимал, что этот грязный коротышка, обрубок не может питать к нему ничего, кроме злобы. Он как бы видел себя глазами плюгавца: сильный и молодой, этакое воплощение Эроса, да еще с дерзкой усмешкой — понятно, у прокурора он может вызывать только чувство ненависти.

Прокурор продолжал говорить, слова так и струились из его уст. Мишель стоял недвижно, его сведенные судорогой лодыжки наполнялись каким-то странным вязким теплом, и это тепло поднималось все выше и выше. Тяжелые слова, извергаясь, сливались в медленный мрачный поток. А над словами, над их источником, яминой, откуда они извергались, глаза говорили, и речь их походила на змеиное шипение или свист бича: «Я ВАС ненавижу!» Это было судилище в судилище.

Все стало предельно ясно: Буйнопомешанному требуются именно такие исполнители его воли, как этот плюгавец, вонючий, тщедушный, коварный, не в ладах ни с собой, ни с жизнью, обозленный на всех, рогоносец, презираемый в собственной семье; величие, гордость, доблесть он обретает в своих глазах лишь в тот момент, когда, облаченный в прокурорскую мантию, возглашает: «ВЫ!»

Тебе, Мишель, не уйти от этих ублюдков! Их закон против тебя. Их суд — западня. Врач может спокойно убрать свои электроды. Он, Мишель, не вымолвит больше ни слова.

Все стало предельно ясно: он, Мишель, в захлопнувшейся ловушке. Закричать? Для чего? Что это может изменить? Чем отразить оружие убийц? Крик только обрадует их. Не лучше ли бросить им вызов, прямо в упор: «Вам не сломить моей отваги!» Но нет, решено, больше он не проронит ни слова, и вовсе не из страха перед их электродами.

Врагам не сломить его отваги. Слова «общественный порядок» и «закон» звучали в устах судьи смертельной угрозой. «Судебный приговор,— сказал посол,— придает казни видимость законности, нет ничего хуже...» Прокурор и судья, глумясь над истинной справедливостью, вершили то, что считали своим долгом.

Зал постепенно вновь заполнялся публикой, вернулись даже репортеры; все были подавлены могуществом закона, воплощенного в дремлющих присяжных, провинциальном судье, маленьком, плюгавом ораторе.

Прокурор взывал к закону, и казалось, будто накатывает темный, всезатопляющий прилив, и наконец некто Справедливый, захлебываясь, зашатался и выкрикнул: «Меня не запугать». Крик взвился и лопнул, как радужный пузырь, какие выдувают дети, сверкнул и переломился, как шпага. «Не запугать!» —выкрикнул Мишель и в тот же миг погрузился во мрак. Прилив захлестнул его с головой, над водой осталась только вытянутая ввысь рука — она требовала слова из глубин мрачной бездны. Сознание Мишеля помутилось, ему чудилось — так явственно, будто это было воочию,— что два жандарма волокут его поутру к гильотине.

В зале послышался говор: «К смертной казни... присужден к смертной казни». Он должен получить обещанные ему двенадцать пуль в тот же день или наутро — вот почему он не хочет идти сам, это вполне в духе той войны, которую они вели с помощью электродов, чуть было его не уничтоживших. Пусть же они везут его в тюрьму, оттуда в застенки дворца, резиденцию Бешеного Короля, который, прислушиваясь к звериным крикам, бродит там ночами по коридорам.

Игра подошла к концу, и Буйнопомешанный сказал своим людям:

— Я не забыл о моем обещании, возьмите же его, только смотрите — пусть он останется живым, он должен расколоться...

6

Доктор Легро

Доктор Жозеф Легро, прекрасный, по общему мнению, специалист, был человеком спокойного нрава, зрелого возраста, а если быть точным — тридцати пяти лет, когда уже прочно устанавливаются репутация, привычки и манеры. Манеры Легро, надо сказать, производили не самое благоприятное впечатление — чтобы по достоинству оценить его, надо было воспользоваться его услугами. Огромный и нескладный, он смахивал на старинный шкаф, походка медвежья, черты лица грубые — «топором рубили», сказали бы крестьяне, но это было лицо бывалого борца, кэтчиста или боксера, участника многих состязаний.

В обращении доктор Легро проявлял сухость, не соответствующую нормам среды, где насаждаются обходительность и изысканность, но достаточно типичную для человека, умышленно грубого в мелочах, который говорил (на языке «конца прошлого столетия», это уже само по себе было программой), что он «не намерен унижаться». Это выражение он усвоил сравнительно недавно, когда уже успел превратиться из медведя в доктора Жозефа, или «дока Легро»; в его устах оно означало, что он не склонен быть рабом вещей, хотя и живет в достатке, его товарищи, однако, помнили время, когда он прятал свои красноватые руки в карманы, чтобы никто не видел больших, как боксерские перчатки, молотил. «Хирурга из вас никогда не получится»,— подтрунивал профессор Арган, аристократической внешности мулат с примесью индийской крови, который гордился благородством своих черт так же, как и особняком в Петионвилле; не скрывая того, что отец его был темнокожим, он подчеркивал — с такой гордостью, будто это был его подвиг,— как далеко отошел от своих предков. А уж когда и сам профессор, идя по стопам отца, женился на белой женщине и еще больше разжижил индийскую кровь, то, глядя на утонченные черты своих сыновей, он уже не опасался, что среди его потомков могут оказаться темнокожие; теперь он снисходительно ронял, обращаясь к Легро: «Мой бедный друг, ваши пальцы не созданы для хирургической

иглы», с таким видом, будто советовал передать иглу сыновьям, предварительно влив молоко в черноту их кофе.

Но Легро заупрямился и решил «показать этому зазнайке», сознательно взяв его за образчик, мерило того, что́ ему предстоит достигнуть, и он-таки сумел превзойти своего патрона, с искусством паука сплетая тончайшие нити. «Руки у него шелковые»,— говорили те, кого он оперировал. Непонятно только, как они могли это знать, ведь операции делались под наркозом, правда, в последние годы широко применялся «алок» (так студенты-медики называют локальную анестезию), но они утверждали это с полной уверенностью. Конечно, доктору Легро пришлось изрядно потрудиться, чтобы его могучие руки с толстыми колбасками пальцев порхали во время операций с легкостью бабочек. Легро притворно хмурился и пожимал плечами, когда пациентки говорили о его «шелковых руках», но в глубине души, несомненно, был доволен.

Легро был неизменно серьезен, наблюдая пестрое карнавальное шествие, которое день за днем проходило сквозь его кабинет: мелкие буржуа, продажные чиновники, нувориши, обладатели роскошных домов и двух любовниц, подрядчики, алчные торговцы недвижимостью, спекулянты. Все они выкладывали крупные суммы за кесарево сечение, выскабливание, спринцевание — все то, что Легро делал с их взбалмошными супругами и любовницами, представительницами определенной исторической фауны,— и в конце концов он стал символом довольно высокого общественного положения. Возможность пользоваться услугами Легро свидетельствовала о состоятельности. Бедняку же, не способному уплатить причитающийся гонорар, оставалось только положить свою жену в муниципальную больницу. Легро негодовал, что больница не обеспечивается лекарствами, что больных там укладывают валетом на одну койку, а то и просто на циновку в коридоре, белье не стирается, одеял на всех не хватает, матрацы пропитаны тошнотворной вонью; на завтрак, обед и ужин неизменно подают маисовую кашу, вызывающую запоры, и, самое худшее, операционная оборудована так плохо, что переливание крови приходится делать с помощью шприца. Эффективное лечение можно было получить лишь в частной клинике. Но поступал Легро, как и многие другие: принимая пациенток в своем кабинете, он одновременно, для очистки совести, старался сделать все, что в его силах, и в муниципальном секторе. Это было нелегко и непросто для человека, который придерживался традиционной морали, но вынужден был жить в обществе, где у него не оставалось выбора, кроме как следовать за теми, кто вчера еще был беден, но сегодня вознесся высоко вверх. «Правящий класс», как его называли во времена империи, отличался невежеством и жестокостью. На бедноту смотрели как на тягостное бремя, и муниципальные больницы из лечебных заведений превратились в морильни, где пациентам не оставалось ничего, кроме ожидания смерти. Больницами заправляли не профессиональные администраторы, вроде Аргана, а макуты со своими шлюшками. Они забирали себе и те небольшие ассигнования, которые предоставлялись больницам. Загнанный в угол администратор подмахивал оправдательные документы, которые ему подсовывали. Медикаменты, получаемые от фонда Форда, Каре и других источников помощи, целыми ящиками сбывались в частные клиники. Макуты действовали в сообществе с щегольски одетыми врачами и цветущими любовницами; одержимые алчностью, они до нитки обирали городских пролетариев. Что до сельских бедняков, никто даже не пытался разыгрывать комедию — те были начисто лишены медицинской помощи.

Легро помалкивал в ожидании лучших времен. С искусством лицедея он прикидывался, что надеется на лучшее, но в душе давно уже сделал выбор — он был против тирана. Это удалось ему без особого труда, хотя он и считал, что при таком правителе естественнее всего быть вором и убийцей. Уж им-то жилось привольно! Незаконнорожденные дети, братья, сыновья или отцы проституток, мужья, нищетой вынужденные смиряться с изменой жен, были «возвышены» шефом, чей рассудок навсегда помрачило ублюдочное происхождение. Такое же помрачение рассудка было и у его жены, вот почему все незаконнорожденные при них сбросили маски и заговорили в полный голос, выражая вполне понятную ненависть к классовому расслоению общества,— эта ненависть сочеталась с завистью, низкой алчностью, стремлением где только можно снимать пенки и наслаждаться сексуальной свободой.

То же происходило и в среде, где еще сохранилось чувство профессионального долга; доктор Кайас, рожденный, как и Легро, на городском дне, ходил в костюме безупречного покроя, полосатой рубашке с полутвердым воротничком, сохранив привычку к щегольству еще с тех далеких времен, когда учился в Парижском университе-

те, мечтая по возвращении на родину вступить в какой-нибудь закрытый клуб и жениться на тонкой, до прозрачности, фее; и, уж пожалуй, лучше было добровольно принимать участие в бойне, которую устраивал режим, чем оправдывать его, наподобие Кайаса, приписывая ему эстетичные и социально благородные цели. «Желаю тебе успехов, Кайас!» Сам Легро не был вхож в закрытые клубы, женился он не на одной из «их» женщин, а на женщине своей среды и своего класса, санитарке Эдне, в чем не было ничего странного, исключая, может быть, то обстоятельство, что их брак не был надлежаще оформлен.

Любопытно, что матери Кайаса и Легро были приятельницами и достаточно часто виделись; их тридцатипятилетние сыновья сохраняли друг о друге воспоминания отнюдь не мимолетные. В студенческие годы, вплоть до получения дипломов, их пути частенько пересекались, хотя и бывали времена, когда они подолгу не виделись; обоим приходилось терпеть нужду и голод; их матери, как и многие другие, перебывали кухарками, прачками, гладильщицами, сортировщицами кофе, а в свободные часы подрабатывали проституцией, кто больше, кто меньше. Их поджатые губы редко расслабляла улыбка, а единственной, хоть и малой, надеждой были зачатые от буржуа дети.

Познакомились обе матери в общественном родильном доме, они перенесли родовые схватки и родили в один и тот же день; посещали их не отцы детей—уже обремененные семьями, те, естественно, боялись себя скомпрометировать,— а посланцы отцов, с конвертами в руках. Подобные воспоминания не забываются. Не так уж это и мало — перекинуть мостки через расщелину, разделяющую двоих. Они стали подругами и поклялись не расставаться. Обычно такие клятвы, даже если и даются от чистого сердца, редко выполняются. Но женщины сдержали свою; каждая встреча на жизненных перепутьях была для них радостным праздником.

Элиз Кайас была невысокого роста, сочная, как спелый плод, с фиалковым отливом кожи. Глаза у нее лучились ярким блеском, веки постоянно трепетали; ее счастливый смех и говор не смолкали ни на миг; жизнь в ней била ключом; жила она свободно и непринужденно, сообщая легкость всему, чего касалась; взбивая руками облачко пены, она продолжала щебетать, и ее беззаботность передавалась всем, кто ее слышал. Даже через два десятка лет друзья Кайаса говорили ему: «До чего же хороша была, верно, твоя мать в молодости!» Сына же с детских лет угнетали воспоминания о тайных свиданиях матери: воспитанный буржуазным обществом, он был настолько глуп, что стыдился матери, а это, в сущности, означало стыдиться самого себя. Глуп и неблагодарен, ибо он стал врачом лишь благодаря постели «прелестной Элиз». Еще более грубое надругательство над своей совестью он совершил, когда, уже став доктором Кайасом, невропатологом, светским человеком, который носит пристежные воротнички, вознамерился попасть в те круги высшего света, где блистала своими ляжками здоровенная дылда — Каролин Дюфей; это ему удалось, и чтобы удержаться в свете, он, профессиональный врач, готов был скрепить своей подписью любой документ, санкционирующий погребение целой горы трупов.

Жозеф Легро не имел никаких эмоциональных проблем подобного рода со своей матерью; ни один мужчина еще не испытывал желания взглянуть на нее дважды — кроме как со спины: у нее были развитые плечи прачки, стройная талия и плавно колыхающиеся бедра Венеры, но каменное лицо на короткой римской шее придавало ей сходство с Траяном или Нероном — как их изображают на барельефах,— с крупными ноздрями и маленькими глазками, полуприкрытыми тяжелыми веками. «Милая Жюли,— горевал Жозеф,— никто не знает, какое доброе у тебя сердце; какое великое терпение кроется под маской настолько уродливой, что ты с детства отказалась от моих поцелуев, воспитывая меня в солдатской суровости». «Добрее тебя нет никого на свете»,— мог бы сказать Легро, но не знал, как это сказать, чуждый сентиментальных излияний. Жюли привыкла обходиться без любви, даже без радости: жизнь для нее была исполнением некоего непостижимого великого долга, который таил в себе другой, хорошо осознанный долг — вырастить сына.

Как вырастить сына, если ты бедная, одинокая женщина?! Кое-какую помощь оказал «неизвестный» отец — «вполне достаточную», уверяла мать, склонная отмечать лишь плоды усилий, сбрасывая со счетов борьбу, которую ей пришлось вести, свой тяжелый труд. Ее сын говорил, что у бедняков короткая память; что до него, то он не питал к отцу, торговцу вином и салом, никакой ненависти, только полнейшее равнодушие.

За говоруном-адвокатом, бессердечным и черствым, потянулась целая вереница

лжеотцов, чьи тени до сих пор продолжали омрачать душу Кайаса, тогда как ничто не мешало Легро любить и уважать мать.

Каждый день доктор Легро орудовал своими ручищами между мускулистыми ляжками крестьянок или жалкими, тощими ляжками пепельно-серых городских девиц, извлекая на свет божий их осужденных на нищету детишек и всякий раз раскаивался в том, что вступил на такой путь. «Никогда больше»,— клялся он, принимая существа, обреченные на ту же судьбу, что и он, лишь менее удачливые. Эти слепые личинки без его вмешательства могли бы сто раз умереть, но он спасал их, так же как и матерей, неизвестно ради чего. Сам он в детстве чудом ускользнул от столбняка, тифа, энтерита; представлял ли он, целитель-волшебник, как рождались дети Жюли, он, ее единственный уцелевший сын? Глядя на выкидышей, он оплакивал мать. «Бедная моя Жюли, какая ужасающая судьба!»

Однажды, когда он делал в операционной кесарево сечение, к нему поспешно подошла санитарка: у нее был испуганный, заискивающий вид. Оказалось, что у жены одного высокопоставленного макута начались схватки и за доктором Легро прислали два правительственных лимузина и армейский джип. «Как только я закончу операцию...» — ответил доктор. Тут в операционную ввалился сам макут в пыльных ботинках, с автоматом в руках. Он разразился грязными ругательствами. «Сюда запрещено входить. Прошу вас выйти,— попробовал урезонить его Легро.— Если я не закончу операцию, эта женщина умрет». «Она уже мертва»,— рявкнул макут. И выпустив в двух шагах от доктора автоматную очередь, он прикончил и женщину и ребенка в ее чреве. Легро вскрикнул от ужаса. Его оглушили сильным ударом, надели наручники и отвезли в дом макута, где, овеваемый ароматом горящей курильницы, доктор принял роды у его жены, возлежавшей на кровати из вощеного ореха, среди кружевных покрывал, недалеко от двери в ванную комнату, просторную, как помещение купального бассейна, со стенами, выложенными красно-черными плитками. И салфетки ему подавали красные с черной каймой. Ошеломленный, он машинально делал свое дело, мысленно оплакивая погибшую женщину, твердя про себя: «Мама, мама!» — как будто это умерла Жюли, рожая его, Легро. Пациентка между тем восторгалась: «У этого доктора шелковые руки».

— Где же ваш лечащий врач? — поинтересовался Легро. Ему не ответили.— А кто ваш лечащий врач?

Имени не было названо, и он замолчал. В этой стране существовал неписаный закон, нерушимое правило: не спрашивать об отсутствующих.

Назавтра он получил ответ на свой вопрос: правительство приняло декрет, ограничивающий с помощью почти непреодолимых формальностей выезд за границу специалистов, прежде всего врачей. Журналы опубликовали красноречивые почтительные комментарии: восемьсот гаитянских врачей живут в Канаде, столько же, если не больше, в Соединенных Штатах. «Кто же будет лечить гаитян?» Писали об «утечке мозгов», об отъезде богачей и алчности бедных специалистов; словом, обвиняли кого угодно, только не стоящих у власти убийц. Так что можно было почти с полной уверенностью предположить, что неназванный «лечащий врач» успел скрыться. Декрет и выпады журнальных щелкоперов, возможно, были все-навсего инсценировкой, прикрытием очередной резни.

На следующей неделе после этого трагического происшествия сын прачки Жюли присоединился к группе Сержа, и в это же самое время его коллега, сын Элиз, был включен в группу подлецов, на которых была возложена одна-единственная задача: оберегать драгоценное здоровье Бешеного Короля, которому желали смерти все четыре миллиона его подданных.

По иронии судьбы — чтобы не сказать по нелепому фатальному сплетению обстоятельств — Легро, который до этого шел одной дорогой с Кайасом, хотя и не имел с ним ничего общего, кроме происхождения, по своему общественному положению оставался далеким от Эстер, несмотря на их общие убеждения, далеким даже от подпольщиков, разбитых на четверки, которые, если их сводил случай, делали вид, будто незнакомы друг с другом. Нет ничего более опасного, чем пустая болтовня, личные пристрастия, шушуканье по углам,— утверждал их верховный жрец и был совершенно прав; нет ничего более опасного, чем эти излияния: «А помнишь как?...» Между Легро и Дюбюиссонами не было ничего такого, что могло бы послужить к их взаимному уважению, вызвать дружеское расположение. Разве что воспоминания о детстве, но Эстер, по-видимому, совсем забыла о том времени, когда сын Жюли бродил по их двору, играя в

прятки со своей одинокой тенью; и, глядя на него, маленькие Дюбюиссоны недоумевали: «Сбрендил он, что ли?»; они не желали понимать, что с товарищами можно играть, только если они есть, а если их нет, остается играть с той неразлучницей, которая исчезает лишь с наступлением ночи. Иногда он осмеливался кончиками пальцев бросать мальчикам укатившиеся мячи, и те принимали это заигрывание, утверждая таким образом свое иерархическое превосходство.

— Откуда он тут взялся? Кто он? — высокомерно спрашивали соседские дети, которые заходили поиграть; они были уверены, что никогда не видели этого крепыша в стоптанных туфлях, а вернее, почти босого, этого голодранца в аккуратно залатанной одежде, чтобы не сказать в лохмотьях.

— Сын Жюли,— объясняли Дюбюиссоны.

— А-а.

— Я забыл сказать матери, что эта Жюли спалила мою рубашку под мышками, ты мне как раз напомнил.

Сын Жюли мотал все это себе на ус. Он помнил, как его мать жаловалась, что у этого мальчика рубашки всегда желтые под мышками, он, видимо, болен, его надо лечить.

Позже он сказал Жюли:

— Он думает, что ты спалила утюгом его рубашку.

— Ну и черт с ним! — выругалась Жюли, с ее пристрастием к крепкому словцу, присущим людям с чистой совестью.— Ну и черт с ним! Все эти Дюбюиссоны плохо воспитаны.

Она взгромоздила на голову, а может быть прижала к боку, узел с бельем (когда без всякого предупреждения отключали воду, ей приходилось тащиться далеко к речке) и ушла. А маленький Жозеф так и не смог перешагнуть запретный порог («об этом не может быть и речи»), но он навсегда сохранил слабость к Дюбюиссонам, которые терпели его присутствие у себя во дворе, так что у него осталось впечатление, будто он играл с ними вместе.

Любопытно, что Жозефу Легро была незнакома, как некоторым другим, потребность ненавидеть, ненавидеть в полном смысле этого слова, детей буржуа. Нечего и говорить, ему случалось задать им хорошую взбучку, расквасить нос. Но сколько он себя помнил (а он знал, как далеко могут зайти воспоминания детства, особенно если их отождествлять со стремлением к справедливости, и все же готов был поклясться в верности своих воспоминаний), он всегда уважал этих людей и чувствовал в себе запас сил, способный вознести его до их высоты.

Доктор Легро гордился своей невозмутимостью, приписывая эту черту характера матери; введенный в заблуждение ее каменным лицом, он забывал о вырывавшихся у нее громких проклятьях, которые свидетельствовали, что внутри она вся кипит; забывал, как тряслись половицы в доме под тяжелыми шагами плотно сбитой, ширококостной Жюли, когда она бывала в гневе. Ее невозмутимость оказывалась мнимой: чтобы не взорваться, ей каждое утро приходилось, спрыгивая с кровати, хватать за горло и душить мятежного ангела, что обитал в ее душе. Помнил ли Легро об этих утренних сценах? Еще задолго до того, как в моду вошла прическа «афро», ее полное подобие он видел на голове у матери, чьи растрепанные, слегка порыжелые волосы торчали во все стороны, как пышно разросшийся куст. Сын глубоко заблуждался, предполагая такое же «спокойствие» и в себе.

Переменчивая в своих чувствах, щебетунья Элиз, наполнявшая весь дом то взрывами громкого смеха, то короткими рыданиями, воспитала Кайаса совершенно в другом духе: внушила ему острое честолюбие, готовность быстро улаживать размолвки, вместо того чтобы молча копить обиды. «Я тебя не отпущу, пока ты меня не простишь». Кайас лечил высокопоставленных чиновников, набобов-ливанцев. Затащить его в больницу можно было только если там по прихоти судьбы оказывался какой-нибудь миллионер. Сам он раскатывал на «мерседесе», его Каролин — на «флориде», а затем на мощной «альпине», тогда как Элиз поставила ненужный ей «пежо», подарок сына, в Дельмасе и ездила туда каждый день на такси, чтобы наблюдать, как камень за камнем растут стены будущего особняка.

Но в конечном счете ни деньги, ни все приобретения, включая Каролин, не оправдывали сверхчеловеческих усилий, которые пришлось потратить доктору Кайасу, чтобы достичь своей заветной цели — стать лучшим невропатологом страны, «светилом». Он старался быть в курсе последних научных достижений, штудировал статьи

и диаграммы в научных журналах, был первым на Антильских островах врачом, который использовал в своей практике гибернацию[1] с помощью холода, потом и особых лекарств, каждые два года ездил на курсы усовершенствования при Гарлемской больнице, где его старый наставник всякий раз, когда ученику подавали халат, говорил: «Это твой, никто его не надевал без тебя». Его дружелюбие придавало обману почти полное правдоподобие.

Вот так Кайас стал гордостью режима, отчаянно нуждавшегося в сколько-нибудь почтенном фасаде для прикрытия алчности и жестокости макутов,— наравне с чемпионом по стрельбе в закрытом помещении, футбольной командой, художественной галереей, двумя писаками, которые укрывались под грубо намалеванной вывеской негритюда, несколькими джазбандами — предметом международной гордости Бешеного Короля. Конечно же, он не отпускал поводка, ограничиваясь лишь намеками на похвалы: ради своего престижа он не жалел денег, но если уж платил, требовал показать товар лицом. При этом он с большим подозрением относился к тем, кто не желал продаваться.

Судьба свела Кайаса и Легро над полутрупом Мишеля Сен-Жана. Легро, срочно вызванный в эту казарму, стоял перед вздувшимся, распухшим, похожим на перезрелый плод манго телом, в недоумении размышляя, какой враг подстроил ему, женскому врачу, эту опасную ловушку. «Какой враг?» И тут-то появился Кайас.

Мишель был неузнаваем. Когда волонтер-охранник назвал его имя, ни один мускул не дрогнул в лице Легро, но Кайас проявил явное беспокойство. Тело долго и терпеливо колотили то ли резиновым молотком, то ли мешочком с песком, и оно превратилось в бесформенное месиво. «Обрабатывали» его многократно и тщательно, с доскональным знанием дела. Все тонкие сосудики под кожей полопались, кровь спеклась в круглые комочки, обильно сочилась сукровица. Заплыл привычный изгиб между поясницей и ягодицами; не осталось и следа от атлетической красоты бедер; все было перемолото, истолчено; человек, который еще оставался живым под этой вздутой оболочкой, бормотал что-то невнятное. Легро отнюдь не был уверен, что он продолжает сознавать себя как личность, что он может представить себе свой внешний облик не в виде огромной колбасы, а как-нибудь иначе.

— Приведите его в себя, и как можно быстрее,— распорядился дежурный макут.— Чтобы он мог говорить. И был похож на человека.

«Вероятно, они вынуждены считаться с перуанским послом»,— предположил Легро. Но дипломатия не могла переступить порог суда; логичнее было предположить, что Мишелю хотят вернуть сознание, чтобы возобновить допрос. Под руинами разрушенного базуками дома было обнаружено восемь трупов. Мишель был девятым подпольщиком. По словам доносчика, оставалось еще семеро; и Буйнопомешанный рассчитывал, что Мишель их выдаст. Игра кончилась, пора за дело: немного подлечить его и развязать ему язык. Последовал соответствующий приказ. Макуты постарались не затронуть ни одной из артерий, даже ни одной вены. Повреждена нервная система? Возможно. Позовите невропатолога. Но при чем тут он, доктор Легро, акушер и гинеколог? Кто подстроил ему эту западню?

Легро и Кайас одновременно склонились над телом. В университетские дни такое бывало не раз, но с тех пор, как они обзавелись своей так разнившейся клиентурой, поводов для встреч не осталось. Кайас, само собой, не отказался бы проконсультировать самую бедную из пациенток бывшего приятеля, но Легро никогда не выражал подобной просьбы, что само по себе было красноречиво. И однако, в этом распростертом теле не было для них как для врачей ничего необычного, ничего такого, что не встречалось бы в их практике.

Глядя на желеподобную массу, что лежала перед ними, они не нашли друг для друга ни слов приветствия, ни улыбки. После секундного колебания Легро — он пришел первым — снова принялся доставать из своей сумки пузырьки и ампулы, тут же рассортировывая их. Затем он убрал почти все обратно, оставив лишь несколько склянок. Кайас подошел, приподнял их и, прочитав этикетки, поставил на стол. Оба были странно молчаливы, не произносили ни слова и, хотя не успели даже переодеться, двигались совершенно бесшумно.

Кайас повернулся к волонтеру, который со своим автоматом стоял рядом, грязный и замызганный, в помятой шапчонке.

---

[1] Гибернация — искусственно вызванное состояние замедленной жизнедеятельности, напоминающее зимнюю спячку животных.

— Ты мешаешь нам работать. Выйди.

— Мне приказано ни на миг не терять его из виду.

— Куда он денется? Он умирает.

— Босс сказал, что он нужен ему живьем.

— Мы не чудотворцы, просто врачи. Босс знает, что над ним здорово потрудились. Передай ему через своего шефа: он умирает.

— Я сам доложу боссу.

— Хорошо. Передай ему: так сказал доктор Кайас.

— Это плохо.

— Над ним здорово потрудились. Иди и передай, что я тебе сказал.

Как только волонтер вышел, Кайас повернулся к коллеге:

— Быстрее.

Легро не колебался; в конце концов, выбор ампул за ним; колебание сейчас — непозволительная роскошь; и все же он медлил.

— Живее! — торопил его Кайас.

Обламывая ампулы и наполняя шприц, Легро сосредоточенно размышлял.

— Зачем они позвали меня? — выразил он вслух свое недоумение.

Кайас ничего не ответил, и Легро добавил:

— А ты как сюда попал?

— Кто-то, видно, все-таки сообразил, что умирающий нуждается не в акушере.

— И...

— И прислал меня. На твое счастье. Только представь себе, что кто-нибудь другой увидел бы, какую адскую смесь ты состряпал.

Смесь и впрямь была адская: опиум, атропин и демероль[1] в дозах, достаточных, чтобы усыпить слона.

— Раз уж ты здесь,— сказал Кайас,— добавь яда. Вскрытия все равно не будет. А цвет — сам видишь какой....

Легро не надо было переводить взгляд, чтобы различить цветные узоры прожилок по всему мрамору тела. Он повиновался, добавив в шприц яд типа кураре. Другого выхода он не видел. В сложившихся обстоятельствах отравить Мишеля было делом гуманным; это же предписывал ему и долг борца-подпольщика; о намерениях Кайаса он даже не спрашивал себя. Было вполне логично предположить, что тот пожертвовал бы пятнадцатью подпольщиками, включая и Легро, лишь бы сохранить Каролин. Как же поступит Кайас? Выдаст его врагам? Но он не стал задавать вопросы.

— Да, смесь сильная,— сказал он,— она должна подействовать как взрыв.

Он не раздумывал над тем, что делать дальше; только мелькнула мысль, не покончить ли с собой, но он тут же ее оставил. «Зачем меня привели сюда? И для чего тут Кайас? Не грозит ли мне немедленный арест?» Впрочем, фатализм не был ему свойствен, не верил он и в ошибки судьбы. Несчетное число раз ему приходилось заниматься голодным при свете уличных фонарей, и у него выработалось убеждение, что судьба каждого человека моделируется его истинной, глубинной сутью. Вот эта глубинная суть и связала его судьбу с судьбой Мишеля и других подпольщиков. Что же он делает здесь и зачем сюда пожаловал Кайас?

Он уже наполнил огромный шприц, самый большой из всех, что у него были.

— Не представляю себе, как нащупать вену.

— Достаточно найти артерию,— подсказал ему Кайас.— А ее можно отыскать даже в этом желе. Сойдет любая, и та, что на бедре. Лишь бы ввести твою адскую смесь.— Он протянул руку.— Дай мне шприц.

Легро молча повиновался.

— Подержи-ка его ногу,— сказал Кайас,— поверни ее и зажми крепче.

Он попробовал ввести иглу; стенка артерии сопротивлялась; тогда он нажал сильнее, и игла с легким треском — как будто порвалось полотно — скользнула внутрь. Подняв голову, он посмотрел на Легро.

— Элиз,— произнес он,— обожала Сен-Жанов, не спрашивай меня почему — это тайна прошлого.

Опустив голову, он потянул на себя шток, в стеклянный цилиндр обильно хлынула кровь, тогда он нажал — изо всех сил.

Когда он снова выпрямился, на лице его не было обычной улыбки. Он стоял весь в поту и бледный, как смерть.

---

[1] Французское обезболивающее средство.

— Почему ты не уезжаешь? — гневно сказал он.— В Америку, в Африку, куда угодно! Видишь его? То же самое будет и с тобой. Как ты думаешь, зачем тебя позвали сюда? И зачем прислали меня? Немедленно сматывай удочки. Ты раздражаешь слишком многих людей, и в конце концов тебя прикончат.

Он распахнул дверь и крикнул, все еще держа в руке шприц:

— Он умер во время инъекции. Пошлите за санитаром.

Как только волонтер ушел, он сунул пустые ампулы в карман и прикрыл их носовым платком. Вошел санитар.

— Пишите,— велел ему Кайас,— пациент скончался во время введения ему трех кубических сантиметров демероля, назначенного для облегчения болей перед теплой ароматизированной ванной. Составьте протокол, я подпишу.

Санитар хотел было взять шприц, но Кайас остановил его:

— Я вымою сам. А вы составьте протокол.

— Хорошо, доктор. Тут рядом есть умывальник.

— Я знаю.

Один из этих двоих был тонок и гибок, как рапира, другой походил на громоздкий старинный шкаф. Стройный успел уже прийти в себя и толкнул того, что стоял рядом, тяжелого и неповоротливого.

— Возьмите свой шприц, доктор. Я его вымыл.

Другой неуверенно протянул руку: он еще не успел оправиться от пережитого кошмара.

— Жозеф! — окликнул его Кайас. Легро остолбенел. Уже много лет никто не называл его этим именем, даже Жюли, даже Эдна, все называли его «доком».— На твоем месте я бы прямо отсюда рванул в аэропорт.

Трудно сказать, насколько этот совет был приемлем для Легро. Когда он заговорил об отлете со своими женщинами, Жюли радостно перекрестилась: «Слава тебе, господи!» — а Эдна тут же вытащила из выдвижного ящичка проспекты американских больниц, где требовались чернокожие санитарки. Она никогда не заговаривала на эту тему, и Легро почувствовал себя дураком.

Подпольщики — те, что остались в живых,— сначала возражали: это бегство, дезертирство. Над ними витал дух поражения.

— То, что меня вызвали к умирающему Мишелю, можно истолковать только как предупреждение неизвестного друга, знающего, что мне угрожает арест,— ответил им Легро.— Я не могу игнорировать это предупреждение. И конечно, не могу вести подпольную работу, когда меня вот-вот сцапают. Кто сможет поручиться, что я не выдам вас под пытками. А уж безвылазно сидеть в какой-нибудь каморке я и подавно не вижу прока.

Его доводы показались товарищам вполне убедительными.

— Хорошо,— согласились они,— помни только, что мы рассчитываем на твою помощь. Что до нас, то мы уйдем в глубокое подполье.

До сих пор они жили открыто, как если бы не были замешаны ни в какой деятельности против режима. Перспектива долгого сидения взаперти отнюдь их не радовала. «Пребывание в подполье,— поучал в свое время Серж,— не должно затягиваться; отказ от решительных действий превращает его в западню, откуда уже не выбраться».

Легро долго раздумывал, прежде чем принять окончательное решение. Отъезд он с самого начала исключил из своих планов. Он отправит обеих женщин за границу, сам же останется продолжать игру. А чтобы обмануть бдительность своих преследователей, оформит разрешение на выезд, купит себе билет, а потом — фюйть — испарится.

— Но где же ты укроешься? Ведь ты сам говоришь, что сидеть в каморке рискованно.

— А я и не собираюсь этого делать. Положение поставило перед нами задачу, которую мы должны решить, прежде чем что-либо предпринять. Подпольщики, живущие в городах, предоставленные сами себе, обречены на поражение. Вопрос состоит в следующем: может ли горожанин тайно жить среди крестьян, не доверяющих приезжим, которых они считают чужаками? Любой незнакомый человек, объявившийся в деревне, сразу же обратит на себя внимание. Риск, несомненно, велик, но если мне

удастся протянуть хотя бы месяц, я смогу протянуть и шесть, а за это время вполне можно организовать сельскую ячейку, связаться с городом и раздобыть оружие.

— Не пройдет и шести часов, как любой конспиратор, появившийся в деревне, будет схвачен.

— Вы забываете, что я сын Жюли,— произнес Легро, улыбаясь с таким видом, будто обращался к Кайасу и мог рассчитывать на мгновенное понимание. Но откуда им было знать, кто такая Жюли? — Кроме того,— добавил он,— я работал больничным врачом и спас не одну женщину. Мужья благодарны мне до сих пор. Я знаю, на что иду! [1]

— Знаешь — или думаешь, что знаешь?

— Какая разница. Я уверен, что могу рассчитывать на благодарность.

— Ты забываешь, в каком сволочном мире мы живем.

Легро был задет за живое. Он работал в той самой сволочной больнице, где появился на свет божий, и слишком много раз ловил на себе вопрошающие, встревоженные взгляды женщин перед родами, слишком много раз видел знаменитые улыбки, расцветающие на лицах матерей при первом крике новорожденного, чтобы утратить веру в людей.

— И в этом сволочном мире...— начал он и, снизив голос, закончил: — Все же немало достойных людей.

Легро вступил в подпольную группу незадолго перед тем и был не очень близок с ее молодыми участниками. Он никогда не высказывался перед ними со всей откровенностью, и они даже не подозревали, что в столь массивном теле бьется сердце, полное такой любви, такой веры в человека. Четверым молодым людям, которые слушали его доводы, казалось, будто к ним обращается голос самого Сержа; печально улыбаясь, они согласились:

— Хорошо, док, ваша взяла.

Легро не изменил своему решению, он отослал обеих женщин и заказал себе билет на следующую неделю. Предварительно он сдал внаем дом и превратил банковский счет в чековую книжку, которую вручил отлетающим. Сразу же после проводов, не заезжая к себе домой, он исчез.

Спустя полгода в Казале диктатор бросил свои пушки, базуки и автоматы против вооруженной сельской ячейки. Под развалинами дома — последнего оплота повстанцев — были обнаружены обуглившиеся останки человека гигантского роста. Ободранные до костей пальцы рук, которые роженицы некогда называли «шелковыми», крепко сжимали искореженный автомат.

■

[1] Слова принадлежат Сен-Жюсту (1767—1794)— сподвижнику Робеспьера, гильотинированному термидорианцами в конце Великой французской революции.

ЯСУСИ ИНОУЭ

Рассказы о любви

Перевод с японского Б. РАСКИНА

Годовщина свадьбы

Сюнкити Караки овдовел два года назад. Друзья и родственники, выждав сколько положено, где-то с весны нынешнего года, словно сговорившись, стали убеждать его найти новую жену. Тридцать семь лет не возраст для мужчины, мыслимое ли дело оставаться в холостяках, твердили они.

Чтобы не обижать близких, которые говорили так из лучших побуждений, Сюнкити отвечал:

— Там будет видно.

Для себя же он решил больше не жениться. Должно быть, он по-своему любил покойную Канако. Или, во всяком случае, испытывал к ней чувство, похожее на любовь. Оглядываясь на пять лет их совместной жизни, Сюнкити все-таки не решился бы сказать, что по-настоящему любил ее. Она скорее раздражала его своей болтливостью и упрямым характером. Лицо у нее было самое заурядное, Сюнкити она никогда красавицей не казалась. Канако выросла в семье ремесленника, где ее, конечно, не могли обучить хорошим манерам, и именно это больше всего не нравилось Сюнкити. Надо сказать, что и его родственники относились к ней с неприязнью.

Младшая сестра Сюнкити, привыкшая без стеснения говорить все, что ей вздумается, нередко подсмеивалась над ним:

— Бедняжка, ты, наверно, не хочешь снова жениться, потому что обжегся на Канако.

Примерно того же мнения придерживались и остальные родственники Сюнкити. Может, он и в самом деле «обжегся», но его нежелание привести в дом новую жену объяснялось другим. Сюнкити считал, что поступить так было бы нечестно по отношению к покойной. Он никому не признавался в этом, считая, что его не поймут.

— Только теперь, братец, выбирай себе нормальную жену. Страшно представить, что будет, если тебе попадется вторая такая же,— ты ведь и без того у нас мотовством не отличаешься,— ядовито замечала младшая сестра.

ЯСУСИ ИНОУЭ (род. в 1907 г.)

Японский писатель, член Академии искусств, лауреат премии имени Акутагава. Автор многих романов, в том числе «Черная бабочка» (1956), «Ледяная стена» (1957), «Синий волк» (1960), «Ископаемое» (1966), повестей и рассказов. Издательство «Синтёся» в 1960 г. выпустило собрание сочинений Ясуси Иноуэ в 26 томах. На русский язык переведен его исторический роман «Сны о России», главы из которого печатались в «Иностранной литературе» (1974, № 2). В «ИЛ» опубликована также новелла Ясуси Иноуэ «Охотничье ружье» (1980, № 1). Публикуемые рассказы взяты из сборника «Любовь» (Токио, «Кадокава», 1959).

Сюнкити настолько болезненно воспринимал любую трату и так трясся над каждым грошом, что это подчас выходило за рамки приличий. Канако была под стать мужу. Она оказалась такой прижимистой, что удивляла даже Сюнкити. Главным образом за крайнюю скупость ее и невзлюбила родня мужа. И все же в оправдание Канако следует признать, что без экономии даже в мелочах невозможно было бы сводить концы с концами на мизерное жалованье рядового бухгалтера маленькой компании по продаже лесоматериалов. При всем желании обстоятельства не позволили бы им жить на широкую ногу. Где уж там было мечтать о роскошествах, думал Сюнкити, оглядываясь на прожитые с Канако годы. И хотя он не мог не признать справедливость насмешек сестры, скупость покойной жены вполне его устраивала.

Напротив, Сюнкити теперь не хотел жениться именно из опасения, что другой столь экономной подруги жизни ему не сыскать. Канако так бережливо вела хозяйство, что будет нечестно, если в дом войдет другая женщина и начнет все переиначивать на свой лад, считал он.

«Наверное, я и в самом деле любил Канако»,— сказал себе однажды вечером Сюнкити, проводив очередного друга, сватавшего ему достойную невесту.

Он окинул взглядом квартирку, в которой они прожили пять лет, и вдруг вспомнил ту ночь, незадолго до смерти Канако, когда он с неожиданной для него самого нежностью крепко обнял и прижал к себе дрожащую от холода жену. Теплом своего тела он хотел согреть единственное близкое, вызывающее трогательную жалость существо... Что же это такое, если не любовь?

И тут вдруг Сюнкити отстраненно и безучастно, как глядят на бегущие воды реки, стал вспоминать приятную и в то же время грустную поездку в Хаконэ два года назад.

Да, это было два года тому назад. В тот день Сюнкити пришел со службы необычайно взволнованным.

— Кажется, мы выиграли десять тысяч,— нерешительно сказал он жене, потом сел за стол и молча, с очень озабоченным видом принялся за ужин.

Канако ошеломленно поглядела на мужа, не понимая, о чем идет речь, потом наконец догадалась, что на их вклад в банке пал выигрыш, и в радостном возбуждении стала повторять:

— Выиграли десять тысяч! Вот это да!

Она трещала без умолку, словно боясь, что стоит ей хоть на секунду закрыть рот, как выпавшее на их долю счастье исчезнет без следа.

Сюнкити же пребывал в замешательстве и был даже более подавлен, чем обычно. Он все еще никак не мог поверить в свою удачу. Ему казалось, что произошла какая-то ошибка. Сюнкити тщательнейшим образом проверил номер, на который выпал выигрыш, но на этом не успокоился и еще уточнил его у банковского кассира. Казалось бы, теперь никаких сомнений не оставалось. И все же он не мог радоваться, пока не пощупает деньги собственными руками.

За все тридцать пять лет своей жизни Сюнкити не ведал, что такое удача, и не верил, что счастье улыбнется ему когда-нибудь.

— Давай пять тысяч положим на счет, а на остальные отправимся путешествовать,— предложила Канако.

Из всех жильцов их дома лишь Сюнкити и Канако не ездили в свадебное путешествие. И вообще за пять лет совместной жизни они ни разу никуда не выбрались, поэтому, когда заходил разговор на эту тему, Канако всегда испытывала неловкость перед соседками. Вот почему первой мыслью, пришедшей ей в голову, когда она узнала о

выигрыше, было путешествие. Канако представила, как начнут судачить и завидовать соседки, если она и Сюнкити съездят в Хаконэ. Ведь все они втихомолку посмеивались над ее скупостью.

— Путешествовать? За одну ночь потратить пять тысяч иен? Что за идиотская мысль пришла тебе в голову? Нет, правильно люди говорят: нельзя женщину подпускать к деньгам,— рассердился Сюнкити.

Ему показалось, что легкомыслие Канако осквернило святость выпавшего на их долю чуда. Как бы не спугнуть нежданную удачу, счастье — ведь оно такое. Чтобы этого не произошло, надо вести себя поскромнее.

— Мы этих денег еще и в глаза-то не видели, а ты, глупая, уже размечталась,— заключил он.

— Разве выигрыш не выпал на наш номер?

— Выпасть-то выпал.

— Значит, мы его получим!

— Пока денежки не у меня в кармане. Мало ли что может случиться.

Канако не нравилось, что муж относится к выигрышу не так, как она. И не собирается ли он вообще все десять тысяч положить в банк, не выделив ей ни гроша, подумала она.

— Все говорят, что ты скупердяй, одна я так не считаю. Бережливым быть нужно — иначе не проживешь. Но если ты и на этот раз пожадничаешь, я, пожалуй, поверю, что люди правы.

— О чем ты говоришь!

До чего же глупые существа женщины, подумал Сюнкити, но спорить с женой и тем более оправдываться перед ней не стал. Сейчас его занимало другое: выдержит ли он долгих пять дней, оставшихся до получения выигрыша?

Наконец наступил долгожданный день. В назначенный срок Сюнкити выдали в банке десять тысяч иен. Только удостоверившись, что счастье у него в руках и никуда не исчезнет, он стал думать, как использовать выигрыш.

Может, пять тысяч положить в банк, а на остальные действительно куда-нибудь съездить? Он представил себе лица сослуживцев, которые ни во что не ставили его, лица родственников, вечно попрекавших его за скупость, и решил: я еще всем вам утру нос.

Отказывая себе в самом необходимом, он регулярно откладывал деньги в банк, и теперь на его счете лежало шесть тысяч иен. Если бы не это, не стал бы он счастливым обладателем десяти тысяч. Теперь он может истратить целых пять тысяч иен, и еще столько же останется. Подумать только!

Впервые за все это время Сюнкити вернулся домой в прекрасном настроении. Вытащив из кармана десять новеньких банкнот, он бросил их на стол перед Канако.

— Пятнадцатого, в воскресенье, как раз пятая годовщина нашей свадьбы,— сказал он.— Можем съездить в Хаконэ или еще куда-нибудь.

— Да,— задумчиво произнесла Канако. Потом отсчитала пять купюр и, не мигая, уставилась на них.— Истратить пять тысяч за один день — слыханное ли дело! Может быть, все положим в банк?

При виде лежавших перед ней денег Канако почувствовала, что радостное возбуждение, владевшее ею раньше, куда-то улетучилось, ему на смену пришла трезвая расчетливость.

— Но ведь ты сама предложила.

— Предложила. Но как подумаю, чего стоит заработать такие деньги, духу не хватает пустить их на ветер. Пять тысяч за один день...

— Пять истратим, но ведь столько же останется.

— А если вовсе не тратить, то все десять будут наши. За один день — пять тысяч! Нет, это невозможно.

— Ну и сквалыга! Недаром люди на тебя пальцем показывают.

— А мне наплевать.

И все же, невзирая на перебранку, какое-то особенное, радостное чувство не покидало супругов. В конце концов они решили половину денег положить в банк, а на остальные поехать на два дня в Хаконэ, как если бы этих пяти тысяч с самого начала не было.

После ужина они еще долго обсуждали подробности предстоящей поездки.

Пятнадцатого ноября исполнялось пять лет со дня свадьбы Сюнкити и Канако.

В тот день Канако была на ногах уже в четыре утра. Она спустилась в общую кухню, находившуюся в подвальном этаже, и занялась приготовлением бэнто [1].

Сюнкити заворчал было: мол, раз уж они отправляются в путешествие, можно позволить себе раскошелиться в дороге на чашку горячего риса. Но Канако возразила, что приготовит хотя бы суси [2], а сэкономленные на обеде деньги они лучше истратят в отеле.

В конце концов Сюнкити согласился, и Канако, опасаясь, как бы соседки опять не уличили ее в скупости, еще затемно спустилась в кухню.

Она осторожничала не напрасно: соседки с нескрываемым интересом следили за их приготовлениями к поездке, чему немало способствовала сама Канако, обсуждая с ними всевозможные детали. Так получилось, что приуроченное к годовщине свадьбы путешествие Сюнкити и Канако стало для жильцов самым важным событием со дня окончания войны. Стоило Канако выйти из комнаты, как подкарауливавшие за дверью соседки сразу набрасывались на нее: «Значит, завтра?», «Ну, счастливо съездить!» В их словах чувствовались одновременно и зависть, и доброжелательство, и насмешка.

Они выехали восьмичасовым поездом на Нумадзу. К счастью, пассажиров было немного, и Сюнкити с Канако удобно устроились у окна друг против друга.

Когда миновали Офуна, городской пейзаж сменился сельским, воздух стал чище и прозрачнее. Нежаркие лучи утреннего солнца освещали дома, дороги, поля и холмы. За окном проносились, сменяя друг друга, картины: желтые мандарины и красная хурма на ветвях деревьев, светлые бамбуковые рощи, соломенные крыши домов, деревенская детвора, зябко кутающаяся в кимоно, синее море, отвесные скалы. Каждый новый пейзаж вызывал в душе Канако ликование. Не отрываясь, она глядела в окно словно завороженная.

На одной из станций Сюнкити собрался было купить мандаринов и сидра.

— Не надо, к чему лишние траты,— остановила его Канако.

Ее сердце и без того было переполнено, и она вполне могла обойтись без мандаринов и сидра, они ничего не прибавили бы к ее радости.

«У нас ведь целых пять тысяч, чего она жадничает?»— подумал Сюнкити, но спорить с ней не стал. Собственно, особой жажды он не испытывал, просто хотелось что-нибудь купить — ведь, кроме билетов на поезд, они еще ни на что и гроша не истратили.

Они вышли в Одавара. К тем, кто остался в вагоне, Канако испытывала легкое презрение, смешанное с жалостью. Необычной

[1] Завтрак в коробочке, который берут с собой на работу или в поездку. *(Здесь и далее прим. перев.).*

[2] Колобки из вареного риса с сырой рыбой и овощами, приправленные уксусом и сахаром.

походкой, свойственной, как она считала, лишь тем, кто собирается остановиться в отеле на горячих источниках, Канако прошла к платформе, от которой отправлялась электричка на Хаконэ. Кондуктор и пассажиры, станционные киоски и продавцы в них — все, что попадало в поле зрения Канако, казалось ей исполненным особого смысла.

Наконец раздался пронзительный гудок, и она задрожала от радостного волнения. Электричка, окруженная в ее глазах неким загадочным ореолом, двинулась в сторону Хаконэ.

Был уже час дня, когда они вышли на конечной станции. Автобус в сторону Мото-Хаконэ отходил через час, и супруги решили перекусить в маленькой закусочной близ станционного здания. Канако развязала шелковый фуросики[1] и достала две коробочки с приготовленными дома норимаки[2], ломтиками красного имбиря и омлетом. Потом они еще поели крутых яиц, которые она сварила утром.

Когда с завтраком было покончено, Канако собралась было купить в подарок соседкам несколько открыток, выставленных в витрине закусочной, но Сюнкити возразил:

— В отеле, где мы остановимся на ночь, можно будет подобрать и получше.

— И то верно. Хорошо бы, чтоб на открытке был изображен бассейн, принадлежащий отелю.

Они с самого начала собирались купить соседкам каких-нибудь сувениров, и Канако признала, что идея Сюнкити лучше. В свою очередь она не позволила мужу купить бутылочку виски в баре.

— Зачем? — сказала она.— Оставим это удовольствие на ужин. Я тогда тоже капельку выпью.

В конце концов Сюнкити и Канако вышли из закусочной, уплатив только за чай, и сели в автобус, отправлявшийся к горячим источникам Мото-Хаконэ. Они предполагали остановиться там на ночь, а утром осмотреть озеро Асиноко и через перевал Дзиккоку добраться до Атами.

Подсчитав, что они прибудут в отель несколько раньше намеченного срока, Сюнкити и Канако решили сойти за две остановки и пройтись пешком.

Место было безлюдное, угрюмые горы подступали прямо к автобусной остановке. Сюнкити и Канако пошли по каменистой дороге, которая то терялась в рощах криптомерий, то поднималась на голые холмы, откуда открывался широкий обзор.

Дул холодный ветер, но быстрая ходьба согревала. Мягкий солнечный свет озарял дорогу и идущую по ней пару. Вскоре они подошли к развилке. Сюнкити высказал предположение, что дорога, идущая вдоль подножия горы, более короткая. Канако же считала, что ближе идти по той, где ходит автобус.

— Давай пойдем каждый по своей дороге — все равно они сойдутся. Вот и проверим, какая короче,— предложил Сюнкити.

— Идет,— согласилась Канако.— По своей я все равно доберусь скорее.

На этот бессмысленный спор их толкнуло владевшее обоими приподнятое настроение. Когда Сюнкити уже скрылся за деревьями, Канако громко и задорно, как школьница, крикнула ему вслед:

— Только, чур, не бежать!

А сама чуть не бегом поспешила вперед. Вскоре Канако вышла к месту пересечения дорог. Сюнкити еще не появился. Она присела на камень и стала дожидаться. Прошло десять, двадцать минут, а его все не было. Недоумевая, Канако пошла ему навстречу. Пройдя с полкилометра, она повернула обратно — туда, где соединялись дороги,— и подождала еще минут двадцать.

---

[1] Цветной платок, в котором носят вещи.

[2] Вареный рис с начинкой, завернутый в сушеные водоросли.

Тем временем начало смеркаться, холодный ветер зашумел в зарослях кустарника.

— Сюнкити-и-и! — в страхе закричала она, приставив рупором ладони ко рту, и прислушалась. Ей отозвалось только раскатистое эхо.

Вне себя от охватившего ее страха, Канако помчалась обратно по автобусной дороге. Когда она добралась до развилки, Сюнкити уже был там. Он стоял, подняв воротник пальто и зябко поеживаясь.

— Что случилось? — визгливо закричала Канако. Страх прошел, и в ней сразу же закипела злость.

— Это я у тебя хочу спросить! Куда ты подевалась? — в сердцах крикнул Сюнкити.

Оказывается, дороги, по которым они шли, сходились на несколько сот метров дальше. А там, где Канако поджидала Сюнкити, с шоссе пересекалась другая дорога.

— Идиотка, я так устал из-за тебя, что едва держусь на ногах.

Не найдя Канако в условленном месте, он тоже вернулся назад, отмахав попусту километра два.

— Но ведь это тебе пришла в голову такая дурацкая затея. Я сама совершенно выбилась из сил,— возмутилась Канако.

От быстрой ходьбы оба вспотели и теперь, стоя на месте, начинали мерзнуть. Некоторое время Канако и Сюнкити еще переругивались, дрожа от холода. В конце концов злость у обоих прошла, и они, устало волоча ноги, побрели к следующей остановке автобуса. Желание поскорее добраться до гостиницы и согреться в горячей ванне заставило позабыть о размолвке.

Отель, в котором посоветовал остановиться один из сослуживцев Сюнкити, оказался роскошнее, чем они предполагали. Едва переступив порог просторного холла, Канако ощутила беспокойство.

По длинному коридору с натертым до блеска — того и гляди поскользнешься — полом их проводили в номер. Не выпуская фуросики из рук, Канако подошла к окну и молча уставилась в крутой склон горы, подступавший к самому зданию. Она не могла понять, почему ей вдруг стало не по себе. Но факт оставался фактом — радостное настроение исчезло без следа.

— Здесь все так шикарно. Ох, чует мое сердце, влетит нам эта ночь в копеечку,— шепнула она подошедшему мужу.

— Мой коллега говорил, что этот отель не из дорогих.

— Может, для кого и не из дорогих. Ты погляди, как обставлена комната.

Канако обвела подозрительным взглядом новые циновки, зеркало в красной лакированной раме, стол сандалового дерева, яркие дзабутоны[1], причудливой формы вешалку для одежды... Ей почудилось, будто все эти вещи уставились на нее жадными глазами и готовы прямо сейчас выудить из ее кошелька все наличные деньги.

Догадавшись, что ее беспокоит, Сюнкити самодовольно сказал:

— Ничего, у нас ведь пять тысяч.

— Знаю, но за эту комнату сдерут добрую половину всех наших денег.

— А ты как думала? Ведь мы приехали не куда-нибудь, а на курорт.

— Что-то мне расхотелось ночевать в этом отеле,— хмуро пробормотала Канако, потом обернулась к мужу и решительно сказала: — Послушай, уйдем отсюда, пока не поздно.

И, не дождавшись ответа, поспешно вышла из номера. Провожаемые недоуменными взглядами прислуги, Канако и Сюнкити покинули отель.

Когда они снова оказались на улице, Сюнкити вздохнул с облегчением и не стал бранить жену за своеволие. Он ощупал спрятан-

[1] Плоские подушки для сидения.

ные во внутреннем кармане пять тысяч. Они спокойно лежали на месте, а ведь чуть было не уплыли из рук.

— Потратить столько денег на гостиницу! И как такая глупая мысль могла прийти нам в голову? — удивлялась Канако.

В глубине души Сюнкити был с ней согласен, однако заметил:

— Но нам все равно нужно где-то переночевать. Пожалуй, поедем в Мото-Хаконэ.

— Конечно! Ведь никто не требует, чтобы мы обязательно истратили все пять тысяч. Подыщем скромную симпатичную гостиницу и там переночуем.

Тут как раз подошел автобус. Они сели в него, и через двадцать минут их глазам открылось широкое, как море, озеро Асиноко.

— Какая красота! — воскликнула Канако, зачарованно глядя на воду, отливавшую свинцовым блеском. — Остановимся здесь, на берегу, а горячие источники — ну их.

Сюнкити тем временем разглядывал расписание автобусов. Внезапно у него мелькнула мысль, что последним рейсом они могли бы еще сегодня вернуться в Токио. С каждой секундой эта мысль разрасталась в его мозгу, словно надвигающаяся грозовая туча. Желание сохранить затаившиеся во внутреннем кармане пять тысяч передалось теперь и ему.

— А не вернуться ли нам в Токио? — предложил наудачу Сюнкити.

— Жалко! Ведь мы специально приехали сюда.

Красота озера, видимо, подействовала на Канако, и ее настроение переменилось.

— Но времени у нас осталось, только чтобы поужинать и лечь спать,— настаивал Сюнкити. Ему теперь казалось бессмысленным просадить уйму денег лишь для того, чтобы поесть и переночевать в гостинице.

— Пожалуй, ты прав,— после недолгих колебаний согласилась Канако. — Вернемся домой.

Теперь и ей представлялось неразумным тратить на гостиничный номер деньги, на которые можно приобрести, скажем, шерсть для вязания и новые дзори [1] в придачу.

Через полчаса отправлялся последний автобус, на котором они успевали к электричке на Одавара, а оттуда — на поезд до Токио.

Решив вернуться домой, оба сразу повеселели, на душе у них посветлело. В ближайшей закусочной они съели по тарелке горячей лапши и отправились погулять по пирсу, служившему причалом для прогулочных катеров.

По темной воде уже не скользило ни единого суденышка, озеро морщинилось мелкой рябью. Солнце зашло, и сразу же поднялся холодный, пронизывающий до костей ветер. Теперь, когда они договорились сегодня же уехать в Токио, Канако жадно разглядывала озеро, торопясь насладиться пейзажем.

— Ах, до чего же здесь чудесно! — то и дело восклицала она.

Потом вдруг спросила:

— Интересно, а вода в озере холодная?

Канако подошла к лодочной пристани, наклонилась к воде и опустила в нее руку. Сюнкити глядел на нее, и она казалась ему юной и очаровательной, как молоденькая девушка.

Канако купила кекс, и они съели его по дороге. В поезде не было произнесено ни слова до самого Токио. Устало прислонившись к окну, оба дремали. Канако тихо посапывала, вскоре захрапел и Сюнкити.

Незадолго до полуночи они добрались до дома и, не сговариваясь, поднялись по лестнице на цыпочках, чтобы не услышали соседи.

[1] Сандалии.

Жалкая, но привычная комнатушка, которую Сюнкити и Канако покинули нынче утром, показалась им удивительно теплой и родной.

Поев холодного риса с маринованными овощами, они сразу легли в постель.

— Прости, что я так повела себя в отеле,— на удивление извиняющимся тоном пробормотала Канако. — Зато теперь мы положим в банк все десять тысяч.

Пока Сюнкити раздумывал, что ответить, Канако уже спала.

Сюнкити же так сильно устал, что никак не мог уснуть. В памяти всплывали, чередуясь, только две картины: продуваемая ветром белая дорога у подножия горы и холодная, темная вода озера Асиноко. Больше ему ничего не вспоминалось. Внезапно он почувствовал, как замерзла Канако. Она была холодная, как лед. Сюнкити придвинулся к ней вплотную, стараясь собственным теплом согреть уснувшую жену, и вдруг ощутил никогда доселе им не испытанное острое и щемящее чувство нежности к этой защитнице их семейного очага, с которой целый день бродил по горам Хаконэ и препирался по всякому поводу.

Сад камней

Дзиро Уоми выбрал для свадебного путешествия Киото. Здесь он учился в школе, потом в университете. Для Уоми Киото был второй родиной. Теперь он жил вдали отсюда, и безмятежное сияние этих мест приглушила завеса времени, но все тут дышало воспоминаниями милой ушедшей юности. Ему захотелось провести в тихом старинном городе несколько дней с молодой женой, посетить памятные места, где он не был уже столько лет.

Уоми мог бы многое показать Мицуко, которая ездила в Киото всего на один вечер еще со школьной экскурсией. Было начало октября, когда и сам город, и окружающая природа особенно прекрасны.

Вначале Уоми хотел пробыть в Киото по меньшей мере дней пять, но они задержались на Сикоку, на родине Мицуко, так что у них осталось совсем мало времени. Молодожены приехали в Киото поздно вечером, и осмотру города они могли уделить только следующий день, потому что на другое утро им уже надо было возвращаться в Токио.

Когда они прибыли в гостиницу, расположенную на берегу реки Камогава, Мицуко с обретенной ею за последние дни ласковой доверительностью спросила:

— Куда мы пойдем завтра?

— Куда? — Уоми не мог сразу ответить. Один день — слишком короткий срок, и выбрать маршрут для прогулки было нелегко.

— Чем осматривать в спешке весь город, давай лучше сходим куда-нибудь, где можно приятно и спокойно погулять,— предложила Мицуко.

Уоми согласился. Ему тоже хотелось выбрать какое-нибудь место потише, где они могли бы пройтись вдвоем, любуясь осенним очарованием прекрасного города.

Влюбленно глядя на красивую, юную жену — она была на десять с лишним лет моложе его, Мицуко совсем недавно исполнилось двадцать,— Уоми мысленно перебирал достопримечательности Киото. Неплохо бы побывать в Охара. Как прелестно смотрелась бы грациозная фигурка Мицуко на фоне осенней равнины. Чудесно и вблизи Серебряного павильона. А разве не прекрасны плавные изгибы Восточной горы с рощами красных сосен и водопадами? Он сразу представил, как при виде всего этого великолепия радостно вспыхнут черные глаза Мицуко — ведь она так любит рисовать пейзажи.

Но на следующее утро, когда покончили с завтраком и надо было решать, куда он поведет жену, Уоми остановил свой выбор совсем не на тех местах, о которых думал прошлым вечером. После многолетней разлуки с Киото его с неудержимой силой потянули к себе окрестности храма Рёандзи, в котором, собственно, не было ничего примечательного, кроме древности и тишины.

Ему захотелось вновь увидеть чайный павильон храма Ниннадзи, оттуда пройти к Рёандзи, полюбоваться Садом камней, потом обойти храмовой двор с большим прудом посередине. Наверное, его выбор не придется по вкусу молодой жене — вряд ли ей интересны сады и чайные павильоны,— но Уоми был уже не в силах совладать с собой.

Они вышли из гостиницы, сели в такси и минут через двадцать оказались на западной окраине города. Вскоре машина остановилась перед старинными воротами храма Ниннадзи.

Все, на чем останавливал взгляд Уоми, было ему до боли знакомо. За тринадцать лет ничего не изменилось. По-прежнему вился плющ по белой стене, и даже ветер дул так же, как тогда.

В храмовом дворе никого не было.

— Поглядим на Рёкакутэй,— предложил Уоми.

— А что это?

— Чайный павильон.

— Давай!

— А оттуда пройдем до храма Рёандзи и полюбуемся Садом камней.

— Садом камней?

— Ну да, это сад, в котором только песок и камни.

— Как интересно! — воскликнула Мицуко, ее глаза радостно заблестели.

Храмовой служитель проводил их до чайного павильона, расположенного на заднем дворе. Уоми вспомнил, как еще гимназистом он с громко бьющимся сердцем впервые переступил порог этого небольшого, удивительно красивого домика.

Храмы Ниннадзи и Рёандзи соединяла аллея, по которой Уоми часто гулял в былые времена. По обе стороны тянулись заросли бамбука, в которых шелестел прохладный ветерок. Молодая пара шла бок о бок, наслаждаясь свежим ветром и светом солнца, какого никогда не бывает в Токио.

Воспоминания нахлынули на Уоми, и он совершенно забыл о жене.

— Как прекрасны окрестности Киото,— сказала Мицуко. Очарованная пейзажем, она немного отстала от мужа.

Уоми не услышал ее слов. Впервые за семь дней свадебного путешествия его мысли были далеки от молодой жены.

Теперь они шли вдоль пруда, направляясь к Саду камней.

— Я и не знала, что здесь такой большой пруд,— удивилась Мицуко.

Уоми молчал.

«Вот здесь меня ударил Тоцука»,— кольнуло его в сердце. На лицо Уоми набежала тень, уголки губ поползли вниз, как всегда, когда он погружался в раздумья. Воспоминания далекого прошлого тяжестью легли на сердце.

«И с Руми я расстался на этом самом месте»,— подумал он.

Тринадцать лет назад, в такой же осенний день, Дзиро Уоми и Дайскэ Тоцука прохаживались по храмовому саду. Каждый думал о своем. Вдруг оба разом остановились.

— Скажи честно, ты любишь Руми?

Тоцука в упор взглянул на Уоми. Его глаза горели решимостью, не допускавшей никаких увертюк.

И тот и другой были в одинаковых форменных тужурках с оторванными пуговицами и в летних гэта. Оба учились в одной и той же школе второй ступени[1].

— Не виляй, говори прямо. Если ты по-настоящему, всем сердцем любишь Руми, я отступлюсь, отдам ее тебе. А сам сегодня же брошу школу и уеду к себе в деревню крестьянствовать. Говорят, человеческая жизнь продолжается полвека, так что у меня будет достаточно времени, чтобы постараться забыть Руми.

Уоми молчал. Он знал, что его приятель слов на ветер не бросает. Если Тоцука сказал, что уйдет из школы, значит, так оно и будет.

— Хорошенько подумай и скажи мне, любишь ли ты Руми так, чтобы жизни для нее не пожалеть? Если да, я уступлю ее. Но если для тебя это просто забава, уйди и оставь Руми мне. Я люблю ее всерьез.

Уоми опять промолчал. Он не мог так сразу ответить.

Он в самом деле любил Руми, но вовсе не был уверен, что его чувство сильней и глубже, чем у Тоцука. Руми ему нравилась, и одна лишь мысль, что он может потерять ее, причиняла ему нестерпимую боль. Но, в отличие от Тоцука, он не собирался сообщать родителям о своей любви, а тем более немедленно жениться на Руми.

Открыться родителям? Ни в коем случае, со страхом думал Уоми. Что до женитьбы, то она казалась делом отдаленного будущего и никак не связывалась в его представлении с Руми, хотя он безусловно любил ее и терять ни в коем случае не хотел.

— Я люблю ее,— наконец решился Уоми, ежась под обжигающим взглядом Тоцука.

— Сильнее, чем я? — хрипло спросил тот. Его глаза, казалось, пытались заглянуть Уоми в самую душу.

— Наверное,— ответил Уоми, испытывая внутреннюю муку.

— Наверное?! Да как ты смеешь так говорить о ней?! Ну! Любишь ее сильней, чем я?

— Люблю. — Уоми судорожно сглотнул слюну.

— Так,— лицо Тоцука на мгновение исказилось. Он сдвинул фуражку набекрень и несколько раз глубоко, как бы через силу вздохнул. — Ладно. Она твоя. Ты талантливый, ты — сын богатого помещика. И не выпивоха, как я. Ты ей подходишь больше. Всё, я с ней уже не увижусь. Пойду собирать вещи.

— Ну а зачем школу-то бросать? — сказал Уоми, пытаясь приободрить приятеля. Эти слова, кажется, и вывели Тоцука из себя.

— Спасибо за заботу,— вспыхнул он. — Ах ты гад!

И влепил Уоми звонкую оплеуху, а потом стал наотмашь бить его по щекам. Уоми почти не сопротивлялся. Он знал, что Тоцука гораздо сильнее. Однако у него хватило предусмотрительности прикрыть ладонями глаза, чтобы Тоцука их случайно не повредил.

Хотя у Уоми и Тоцука были разные характеры, их отчего-то тянуло друг к другу. Они все время проводили вместе, пользовались общими конспектами, даже деньги, которые ежемесячно присылали родители, у них были вроде общих, и один без стеснения занимал у другого, если тот получал перевод.

Тоцука был хорошо развит физически. Еще в гимназии на Кюсю он активно занимался спортом, был капитаном школьных команд по дзюдо и кэндо, но, поступив в школу в Киото, бросил занятия спортом, хотя там сразу обратили внимание на его физические данные и настойчиво предлагали вступить в одну из секций.

— Если я займусь спортом и заброшу книги, то на всю жизнь останусь недоучкой. Способностей у меня маловато, не то что у дру-

[1] В Японии для того, чтобы получить право на поступление в высшее учебное заведение, нужно после средней школы (перед войной — гимназии) окончить специализированную школу второй ступени.

гих. У меня и в гимназии ничего в голове не держалось. Пора браться за учебу,— оправдывался он, отбиваясь от тренеров.

Руми была официанткой в кафе на Каварамати. Первым познакомился с ней Тоцука. Однажды вечером он заглянул к Уоми и сказал:

— Сегодня поведу тебя в одно занятное местечко. Только ни о чем не спрашивай.

В кафе он заказал для Уоми кофе, а для себя — сакэ.

— Ну как? Нравится?

Уоми сразу догадался, что́ тот имеет в виду. Среди официанток, золотыми рыбками скользивших между столиками, Руми сразу же обращала на себя внимание.

Время от времени она подходила к их столику, но сразу упархивала к другим посетителям. В отличие от других официанток, одетых в яркие кимоно, она была в европейском платье. Когда Руми приближалась к ним, Уоми немел от восхищения. Он судорожно затягивался сигаретой, стараясь скрыть от друга впечатление, которое произвела на него девушка.

Тоцука не произносил ни слова, лишь зачарованно глядел на Руми. А когда она подходила к другим посетителям, он злобно сверлил их глазами и пил сакэ.

Оба влюбились в Руми по уши. Теперь они каждый вечер проводили в кафе, тратя на это почти все свои деньги. Спустя две недели они уже гуляли с Руми по ночному Киото, а через месяц она пригласила юношей в гости в Китано, где снимала комнату. К этому времени друзья совсем потеряли голову от любви.

— Она живет скромнее, чем я думал. На обед съедает один тостик — и больше ничего,— восхищался Тоцука.

— Да, это здорово,— вторил ему Уоми.

— Что мне больше всего в ней нравится — она не ломака и очень искренняя. Это делает ее особенно привлекательной.

— А мне...

Все в этой девушке было прекрасно, любой ее жест и поступок казались юношам исполненными глубокого смысла.

Соперничество между Тоцука и Уоми стало явным спустя примерно год после их знакомства с Руми, когда они перешли в последний класс и до конца учебы оставалось всего полгода.

Каждый втайне от другого признался Руми в любви, и оба получили одинаковый ответ:

— Если женишься, тогда...

Руми, по-видимому, была готова любому из них отдать свое сердце при единственном условии: если тот согласится взять ее в жены.

Ответ пришелся юношам не по вкусу, но было ясно, что Руми претит легкомысленная любовь. Видимо, в прошлом она уже не раз обжигалась на этом.

Поскольку она не назвала своего избранника, соперникам ничего не оставалось, как решить самим, кому достанется Руми, а кто должен отступиться.

В тот день Тоцука впервые после долгого перерыва предложил Уоми прогуляться. Они сошли с электрички в Китано и направились пешком к храму Рёандзи. Там они долго сидели и молчали, глядя на Сад камней. Дул холодный ветер — первый вестник надвигающейся зимы.

О Руми они заговорили лишь после того, как покинули сад и стали спускаться по старинной каменной лестнице. Потом Уоми сам удивлялся, как это он, такой нерешительный и слабовольный, вдруг прямо сказал Тоцука, что любит Руми.

До этого Уоми не сомневался, что в конце концов именно ему придется отступить. Любовь Тоцука явно была глубже, в ней чувст-

вовалась даже какая-то самозабвенность. Он собирался жениться на Руми, у Уоми же такого желания не было, это не входило в его планы. Кроме того, он любил Тоцука. Тем непонятнее было самому Уоми, как он мог с такой холодной жестокостью оттолкнуть друга. И даже в ту минуту, когда Тоцука бил его по лицу, Уоми, шатаясь под ударами, думал: все, теперь проблема решится сама собой.

В ту ночь он не вернулся в общежитие, а пошел к родственникам, которые жили поблизости от Серебряного павильона, и провел у них три дня. На четвертый, когда он появился в общежитии, Тоцука там уже не было — он собрал вещи и уехал к себе в деревню.

Спустя месяц он прислал письмо, в котором уведомлял дирекцию о своем уходе. В то время разное говорили о том, почему Тоцука бросил школу. Уоми не принимал участия в этих разговорах. Даже Руми он ничего не сказал.

На следующий год Уоми поступил в университет. Они с Руми стали жить вместе.

И еще одно воспоминание было связано у Уоми с храмом Рёандзи.

Это случилось в начале марта, незадолго до окончания университета. С тех пор как у него поселилась Руми, минуло три года.

В тот день Руми вдруг заявила, что хочет с ним серьезно поговорить, и предложила пойти куда-нибудь погулять. Они отправились к храму Рёандзи.

Оба настороженно молчали, понимая, что их отношения зашли в тупик. Они сели на открытой галерее перед Садом камней и, наверное, с полчаса просто смотрели на камни, черневшие на белом песке. Потом вышли из сада и, держась на некотором расстоянии друг от друга, стали прогуливаться по двору храма среди нерасцветших еще вишен.

К этому времени Уоми уже совершенно охладел к Руми. Он больше не мог выносить ее необразованности, его раздражали многие черты ее характера, претила жеманность, даже большие глаза Руми почему-то казались ему признаком низкого происхождения. Он поражался, как можно было без памяти влюбиться в такую женщину.

Руми давно уже поняла, насколько переменился к ней Уоми, но три года, что они прожили вместе, не так просто было вычеркнуть из сердца.

Когда Руми перешла жить к Уоми, первое время она еще заговаривала о женитьбе, но потом оставила всякую надежду и пребывала в постоянном страхе, что он уйдет. Все ее мысли, все поступки были направлены на одно: сохранить Уоми, не допустить, чтобы он ее бросил.

Но в тот день Руми была настроена по-другому. Если его любовь к ней умерла и ее не возродить никакими силами, тогда лучше уйти самой. Она не знала, сможет ли жить без Уоми, но все же решилась на это.

У Уоми на носу были выпускные экзамены, и он считал: если разрыв неизбежен, нечего его оттягивать, лучше ускорить развязку.

— Скажи честно, можешь не стесняться, и не надо меня жалеть,— заговорила Руми. — Я хочу знать правду. Любишь ты меня или нет?

Опять за свое. сколько раз за последние годы она изводила его этими вопросами, надоело, подумал Уоми, но промолчал. Прежде он не решался прямо ответить, что не любит — это было бы слишком жестоко. Ему не хватало смелости, да и три года совместной жизни лежали на сердце тяжелым грузом.

— Так любишь или нет?.. Ну, хорошо, спрошу тебя по-другому. Не любишь? Если нет, просто кивни.

Руми побледнела. Никогда еще Уоми не видел ее такой решительной и серьезной.

Неожиданно для самого себя он отчетливо произнес:

— Не люблю!

Сказал и содрогнулся, не веря, что эти слова могли сорваться у него с языка.

— Так,— еле слышно прозвучал голос Руми.

Уоми ощутил, как в его душе шевельнулась неведомая, темная сила, о существовании которой он и не подозревал.

Кровь отлила от лица Руми, губы посинели. Испугавшись, что она упадет, Уоми поддержал девушку, и в следующий момент его руки ощутили всю тяжесть ее тела.

— Не надо,— спустя мгновение прошептала она, высвобождаясь из его рук, и, не оборачиваясь, медленно побрела прочь.

«Вот и все»,— подумал Уоми. Между ними и прежде возникали серьезные размолвки, но сейчас он понял: это конец.

«Ну, вот и все»,— повторил он про себя. Удивленно и в то же время с чувством странного удовлетворения Уоми думал, какие жестокие слова, никак не вязавшиеся с его слабовольным характером, он решился произнести.

В тот день Уоми был не в силах вернуться в комнату, где они три года прожили с Руми. Он заглянул к одному знакомому, к другому и лишь поздно вечером возвратился домой.

В комнате было темно. Он включил свет и сразу же заметил, что ее одежда исчезла с вешалки.

С тех пор Уоми больше Руми не видел.

Еще долгое время у него на душе оставался неприятный осадок, но разыскивать ее он не пытался. Один знакомый сказал ему, что Руми в Осака, служит официанткой в кафе близ Синсайбаси. В тот вечер Уоми выпил чуть больше сакэ, чем обычно — и только.

Эти два события давно минувших лет вспомнились теперь Уоми.

Тоцука уехал на Кюсю в свою деревню. Незадолго до окончания войны он стал владельцем винодельческой компании, жил безбедно и пользовался всеобщим уважением. Иначе, наверное, и быть не могло — именно так и должна была сложиться его жизнь. Но вскоре после войны он внезапно заболел и умер.

О Руми Уоми больше не слышал.

И вот, спустя много лет, он снова пришел в Сад камней и оказался на той же галерее, где сиживал когда-то с Тоцука и Руми...

— Как красиво! — прошептала Мицуко и больше не произнесла ни слова, пристально глядя на камни.

Собственно, это был не сад в истинном смысле слова, а просто небольшая площадка, покрытая белым песком, на котором лежало несколько камней. Но ощущение суровой простоты, необыкновенной чистоты этого сада пленяло души тех, кто пришел им полюбоваться. Такие эпитеты, как «красивый» или «прекрасный», плохо отразили бы истинную суть Сада камней. Он представлял собой явление духовного мира, более высокую эстетическую категорию.

— Пойдем отсюда,— неожиданно сказала Мицуко.

Уоми показалось, что она бледнее обычного, но, может быть, он слишком долго глядел на сверкавший под солнцем белый песок...

Сад камней остался позади, и мрачные мысли, навеянные воспоминаниями, рассеялись без следа. Сердце Уоми вновь наполнилось светлой радостью, в которой он пребывал последние дни. Да, теперь он был по-настоящему счастлив с молодой, очаровательной женой. Красотой Мицуко значительно превосходила Руми. Она была образованна, из хорошей семьи. И хотя их брак совершился по сговору, сегодня, на десятый день после свадьбы, Уоми чувствовал, что очень

любит свою юную жену. Это была ровная, спокойная любовь, не похожая на прежнюю страстную влюбленность в Руми.

— Я немного утомилась,— сказала Мицуко.

Она шла, чуть поотстав. Время от времени оглядываясь, Уоми с нежностью думал, что Мицуко, наверное, и в самом деле устала и что в этом есть доля его вины — он утомил ее своими ласками за время свадебного путешествия. Он то и дело останавливался, терпеливо поджидая, пока она его догонит. Мицуко отчего-то вдруг стала очень немногословной.

— Тебе нездоровится? — спросил он.

— Нет,— ответила она, но по ее лицу можно было догадаться, что ей не по себе.

Уоми хотел было пройтись немного пешком, но теперь передумал. Они доехали электричкой до Китано, а оттуда на такси добрались до гостиницы.

В отеле Мицуко, казалось, немного ожила.

— Прости, я, кажется, испортила нашу прогулку,— сказала она.— Я останусь в номере, а ты съезди, навести друзей. Обо мне не беспокойся.

Уоми подумал, что нет смысла киснуть в четырех стенах, и решил пойти один — тем более что ему очень хотелось встретиться с друзьями, которых он не видел много лет.

Прежде всего он отправился к профессору К., которому был многим обязан. Профессор с тех пор очень сдал, но когда они сели друг против друга и стали вспоминать прошлое, казалось, будто вернулись прежние времена. К. позвонил некоторым однокашникам Уоми, и они все вместе весело провели время за ужином у профессора.

Было около девяти вечера, когда Уоми распрощался с друзьями и пошел в гостиницу.

В номере Мицуко не оказалось. Уоми охватило смутное беспокойство. Он оглядел комнату, заметил на столе конверт и поспешно вскрыл его. В конверте было письмо от Мицуко:

«Я старалась быть хорошей женой, надеясь, что мы проживем счастливо до конца наших дней, но не смогла.

С момента свадьбы и вплоть до сегодняшнего дня я думала, что это мне по силам. Мое сердце оттаяло и готово было откликнуться на твою любовь. Но сегодня, когда я увидела Сад камней, меня до глубины души потрясла его необыкновенная, холодная красота, и я вдруг возненавидела себя за то, что заставила свою душу пойти на сделку. Внутри меня раздался голос, говоривший: нельзя безвольно плыть по течению, негоже поступать вопреки велению сердца. Этот тихий сад освободил меня от слабости и укрепил мою волю, сделав меня непреклонной. Наверное, прозвучавший во мне голос необычайной духовной силы принадлежал художнику, некогда создавшему чудо из песка и камней.

Может быть, самое большое счастье мне принесла бы жизнь с тобой. Но я решила идти своим путем, даже если он сулит мне несчастье.

В прошлом я испытала любовь и тысячу раз прошу простить меня за то, что скрыла это от тебя».

Вот и все, что было в письме. Мицуко в гостиницу не вернулась.

И смерть, и любовь, и волны морские

С наступлением сентября в Токио днем еще жарко, но по утрам и вечерами осенняя прохлада забирается под одежду и холодит кожу. Здесь же, в городке К., на южной оконечности полуострова Ки-

сю, несмотря на раннее утро, было тепло, широко расстилалось море, густо-синее, как чернила, и его волны чешуйками вспыхивали под яркими лучами солнца. Суги казалось, что в этих краях задержался август.

Он сразу узнал этот отель, который ему порекомендовали вчера в гостинице на горячих источниках Кацуура. До войны здесь была вилла крупного коммерсанта из Кобэ, потом ее перекупили и превратили в отель, нынешней весной его широко рекламировали газеты. Дом, построенный в западном стиле, чем-то напоминал слоеный пирог. Он был не так уж велик. Расположенный на небольшом холме, который с запада и с востока подпирали отвесные скалы, овеянные легендой, будто в былые времена они давали приют морским разбойникам, он создавал впечатление удивительной прочности. Старинная, напоминающая средневековую, башенка со шпилем, увенчивающая здание, ослепительно посверкивала на солнце и была видна издалека на фоне голубого неба.

Суги проводили в номер на втором этаже, откуда открывался чудесный вид. Он положил на стол саквояж и шляпу и спустился в холл, выходящий окнами на море. Приблизившись к окну, Суги начал внимательно разглядывать огромную, похожую на ширму скалу, которая возвышалась в нескольких сотнях метров от отеля. Со стороны моря она была почти отвесной, внизу из воды торчали огромные камни, о которые, должно быть, тысячелетиями разбивались волны.

Спокойное в этот час утреннее море волновалось лишь близ этих камней, украшая их белоснежным кружевом пены. С того места, где стоял Суги, был хорошо слышен рокот бьющихся о скалу волн.

Вот подходящее место, подумал Суги. Его взгляд остановился на левой стороне скалы, где росли сосны, над которыми кружили незнакомые ему морские птицы.

От края утеса тело будет лететь вниз несколько десятков метров, пока не ударится вон о тот выступ. Потом, описав плавную дугу, оно упадет прямо в промежуток между торчащими из воды камнями, где шумят и пенятся волны.

Идеальное место, чтобы уйти из жизни, окончательно решил Суги и удовлетворенно закурил.

Он вновь проследил взглядом весь путь, который совершит его тело, от вершины темно-бурой скалы до поверхности моря, но не ощутил страха.

По-видимому, он потеряет сознание еще до того, как ударится о выступ. А дальше бездыханное тело будет падать, как всякий неодушевленный предмет, подчиняясь физическим законам. Прыжок в смерть приобретет геометрическую чистоту линий и будет выглядеть весьма изящно.

Ну и прекрасно, подумал Суги. Вернувшись к себе, он окинул взглядом номер, где ему предстояло провести три дня до самоубийства.

Номер состоял из двух комнат. В большой — кровать, стол и кресла. Кровать застелена свежими простынями. Он попробовал пружины — они мягко подались под его руками. Маленькая комната представляла собой ванную, через южное и восточное окна виднелось море. На табличке значилось, что горячую воду подают в установленные часы, утром и вечером. Суги это вполне устраивало. Он открыл кран. Вода была только холодная. Чего можно требовать от японских отелей, когда война окончилась совсем недавно, подумал Суги.

В дверь постучали, и вошел тот же бой, который провожал его в номер.

Чем-то он походил на студента, и когда Суги спросил его, тот ответил, что действительно собирается поступать в университет, а

сюда он нанялся подработать и в свободное время готовится к экзаменам.

— Есть ли еще постояльцы в отеле? — поинтересовался Суги.

— Да, вчера приехала одна дама.

— А отель не прогорит?

— Владелец рассчитывает со временем привлечь сюда иностранных туристов, ну а пока одни убытки.

Бой вручил Суги гостиничный бланк, и тот, достав из кармана авторучку, стал быстро его заполнять: Сэнноскэ Суги, 37 лет, президент торговой фирмы «Суги». Предполагаемый срок пребывания — три дня. Домашний адрес — Токио, район Синагава, Омори, Санно. Цель приезда...

— О цели приезда писать обязательно? — спросил Суги.

— Это по вашему усмотрению. Просто существует такая графа,— ответил бой.— А знаете, такой же вопрос мне сейчас задала та дама с первого этажа.— Бой вытащил из кармана заполненный бланк и показал его Суги.

— Наверное, ей не хотелось, чтобы знали о цели ее приезда, поэтому она написала по-иностранному, кажется по-французски.

— По-французски?

— Ну, во всяком случае, не по-английски.

Суги взял у боя бланк, исписанный красивым, четким почерком, и прочитал:

Нами Цудзимура, 23 года, не работаю.

Предполагаемый срок пребывания — два дня.

Домашний адрес — Токио, район Сугинами, Коэндзи.

Цель приезда — Mors.

Последний ответ поразил Суги. Mors — не французское, как думал бой, а латинское слово, и, насколько было известно Суги, оно означало «смерть».

А ведь он сам за секунду до этого подумал: не писать же ему в анкете, что цель его приезда — смерть.

— Совсем еще молодая женщина,— пробормотал Суги.— А это слово означает «путешествие»,— пояснил он бою.

Итак, здесь, в отеле, находится еще один человек, прибывший сюда, чтобы умереть, подумал Суги, когда бой ушел. Но это его ничуть не взволновало. Даже не возникло желания хотя бы взглянуть на эту женщину. Сейчас Суги было совершенно безразлично, что кто-то еще решил уйти из жизни: одинокое облачко, растворившееся в синеве небес, или волна, разбившаяся о прибрежные скалы,— обычное явление природы, не имеющее к нему никакого отношения. В его положении думать о других слишком обременительно. Еще в школьные времена, если он твердо знал, что провалится на экзамене, неудача других однокашников не вызывала у него ни малейшего сочувствия. Нечто подобное испытывал он и теперь. Кто должен умереть, пусть умрет. Суги ведь предстоит то же самое — и он не дрогнет. С тех пор как он решил покончить с собой, у него пропал всякий интерес к окружающему.

Суги спустился в ресторан и пообедал, хотя час был еще ранний. Он стал просыпаться чуть свет с тех пор, как отправился в путешествие. Прежде ему требовалось для сна не меньше восьми часов. Теперь же, когда он забросил дела и решил окончить счеты с жизнью, ему хватало пяти. Он вставал рано и чувствовал себя вполне отдохнувшим.

Сегодня утром в Кацуура Суги проснулся уже в пять часов и, наскоро позавтракав в гостинице, сел в первый же поезд, хотя торопиться ему было некуда. Он сошел на станции Кимото и сразу же направился в отель.

Завтрак был слишком ранним, поэтому проголодавшийся Суги спустился в ресторан, не дожидаясь обеденного часа.

Пообедав, он заказал кофе и, потягивая его маленькими глотками, смотрел через окно на скалу, видневшуюся вдали. Сегодня или завтра он отправится туда и точно определит место. Даже это представлялось ему обременительным, но было необходимо, чтобы совершить свой последний поступок.

Вернувшись в номер, Суги достал из добротного саквояжа «Путешествие на Восток» Рубрука[1]. Это было издание 1900 года, перевод с латыни на английский. Бумажная закладка свидетельствовала, что книга прочитана на одну треть. За два дня он закончит ее, и тогда человеку по имени Сэнноскэ Суги больше ничего не останется делать на этом свете. Он перевернет последнюю страницу и закроет книгу. Потом выйдет из отеля и направится к отвесной скале. Там его будет ждать смерть.

На миг он как бы со стороны увидел свою фигуру, удаляющуюся к скале, потом углубился в чтение. Его целиком поглотил XIII век, захватывающий мир христианских крестов, астрологии, монгольских юрт, мир смерти, голода, смелых авантюр и высоких помыслов того, кто совершил путешествие в неведомое.

Спустившись в ресторан поужинать, Суги занял столик у окна. К нему подошел бой.

— В отеле вас двое. Вы не будете возражать, если я посажу даму за ваш столик?— спросил он.

— Пожалуйста.

Бой поставил еще один прибор напротив. Вскоре в ресторан вошла молодая женщина.

— Разрешите?— спросила она, приблизившись к столику.

— Прошу,— ответил он и впервые поглядел на ту, кто в графе «цель приезда» написала: «смерть».

В гостиничном бланке значилось, что ей двадцать три года, но выражение холодной неприступности, спокойного безразличия, с которым она поглядела на Суги, делало женщину на несколько лет старше.

Ее черные глаза, прикрытые длинными ресницами, лихорадочно блестели. Словно не замечая Суги, она пристально смотрела на море, видневшееся за окном.

Ее немигающий, остановившийся взгляд производил неприятное впечатление, но Суги подумал, что именно таких женщин называют красивыми.

Принесли суп, и Суги быстро осушил содержимое своей тарелки. Женщина по-прежнему безучастно глядела в окно. Бой поставил перед ней следующее блюдо, но она даже не шелохнулась, очевидно не замечая этого.

Она ничего не видит, кроме смерти, подумал Суги. Покончив с ужином, он наконец не выдержал и обратился к той, чье имя, если верить бланку, было Нами Цудзимура:

— Почему вы не едите? У вас все остыло.

Словно очнувшись, женщина удивленно взглянула на него. У нее был широкий лоб, густые волосы плавной волной спускались к шее. Один из камешков ожерелья холодно сверкнул. Настоящий бриллиант, подумал Суги. Женщина шевельнула губами, собираясь что-то сказать, но, видимо, раздумала. Ее лицо вновь обрело холодное и неприступное выражение.

Обратив внимание, что Суги пьет пиво, она подозвала боя:

— Принесите и мне пива... Нет, лучше, пожалуй, виски с содовой,— приказала она, потом взяла ложку и грациозно поднесла ее ко рту.

— Красиво, не правда ли?— сказал Суги, кивнув на пейзаж за окном.

[1] Виллем Рубрук — фламандский монах, совершивший в XIII веке путешествие в Монголию.

Он заговорил не ради того, чтобы соблюсти правила хорошего тона. С сочувствием и несколько иронически поглядывая на эту женщину, которой, казалось, стоило неимоверного труда даже подносить ко рту ложку с супом, он решил хоть немного скрасить ее последнюю трапезу. Он догадывался, что последнюю — ведь в гостиничном бланке, в графе «срок пребывания» она записала «два дня». Поскольку она приехала накануне, значит, уже сегодня вечером ей предстоит покончить счеты с жизнью. Он почувствовал это, когда она глядела на море, ничего не видя перед собой, кроме надвигающейся смерти.

— Да, красиво,— ответила она, подняв голову, и поглядела в окно, будто впервые обратила внимание на бескрайний морской простор. Море, словно устав за день, отдыхало, разгладив морщины волн.

— К сожалению, сегодня я уезжаю,— тихо сказала она.

Выходит, я был прав, подумал Суги.

— Куда же?— машинально спросил он и сразу же спохватился, поняв, сколь неуместным был его вопрос.— Простите за бестактность.

Нами вскинула на него глаза, ее прекрасное лицо сразу же стало жестким.

— Почему вы считаете такой вопрос бестактным?— вызывающе спросила она. Ее тон не допускал ни малейшей увертки.

Суги промолчал. Он с неприязнью подумал, почему психика человека, решившего умереть, так обострена, почему он настолько лишен снисходительности и такта. Нет, я таким не стану, решил он.

— Вы что...— начала было Нами, но Суги перебил ее:

— Да,— кивнул он и холодно добавил:— Mors.

Кровь отлила от ее лица.

Разговор с этой незнакомой женщиной наскучил Суги. Ему совершенно ни к чему быть свидетелем чьих-то переживаний, скорей бы отделаться от нее, подумал он.

Суги хотел встать из-за стола, но Нами, не обращая на его попытку ни малейшего внимания, с вызовом спросила:

— Значит, вы прочитали заполненный мною бланк?

Он ничего не ответил, про себя подумав: «Мне совершенно безразлично, намерена ты умереть или останешься жить».

Она встала и быстро пошла к двери, но с полдороги вернулась и заявила:

— Я не хочу, чтобы мне кто-то помешал.

— Не беспокойтесь. Человек свободен в своем выборе. Он волен даже избрать смерть.

— Вы в самом деле так считаете?

— Безусловно.

— Благодарю вас.

Она слегка наклонила голову и вышла в небольшой холл, отгороженный от ресторана ширмами. Оставшись один, Суги снова сел за стол.

Нами, видимо, сходила к себе в номер и вскоре вернулась в холл с небольшой сумочкой в руках.

Неожиданно из холла донеслись сладостные зажигательные звуки «Ла компарситы».

Прислушавшись к мелодии этого прекрасного танго, Суги вдруг подумал: сейчас музыка доиграет, и с ее последними звуками Нами, как она выразилась, «уедет». Так и случилось. Музыка умолкла, и в дверях появилась Нами. На мгновенье их взгляды встретились. Она повернулась к Суги спиной и собралась было уйти, но передумала и подошла к нему:

— Благодарю за то, что вы разделили со мной мой последний ужин. Не исключено, что завтра утром сюда приедет один мой знакомый и станет меня разыскивать. Я ему отправила прощальную телеграмму. Если вы увидите его, пожалуйста, не сочтите за труд передать ему вот это.

Нами протянула ему искусственную красную розу.

— А если он не приедет?— спросил Суги.

— Тогда выбросьте ее.

— Хорошо, я согласен.

Суги взял розу, повертел в руках и машинально поднес к носу. Цветок, естественно, не пах. Осознав нелепость своего жеста, он поглядел Нами в глаза и слегка улыбнулся. Нами не ответила на его улыбку.

— Меня не смутит, даже если вы станете подсматривать за мной из окна,— сказала она и, не удостоив Суги взглядом, направилась к двери.

Кажется, она неправильно поняла его улыбку и решила, что он ее презирает, расстроился было Суги, но потом подумал: какое, собственно, это имеет значение для человека, решившегося на самоубийство?— и успокоился.

Прихватив розу, он вышел из столовой в сад, где росли белые гибискусы. Полюбовавшись цветами, он поднялся к себе в номер и положил розу на стол.

Внезапно в его памяти всплыли последние слова Нами. Суги закурил сигарету и, выйдя в холл, стал глядеть из окна на морской берег, еще освещенный последними лучами заходящего солнца. Вдалеке он заметил маленькую фигурку, направлявшуюся к скале. По голубому платью он сразу же узнал в ней Нами.

На побережье спустился летний вечер. Казалось бы, ничто не могло нарушить его тишины. Но тишина обманчива. Вот-вот послышится всплеск и оборвется жизнь молодой женщины.

Тоскливое чувство охватило Суги.

Ничего не поделаешь. Кто жаждет смерти — пусть умрет. Он ведь тоже скоро уйдет в небытие.

Суги включил настольную лампу и раскрыл на заложенной странице «Путешествие на Восток». До конца оставалось страниц сорок.

Прощаясь с жизнью, Нами поставила пластинку с «Ла компарситой». Суги же решил дочитать записки средневекового путешественника. Не прошло и нескольких минут, как он погрузился в чтение, захваченный описанием необыкновенных обычаев, существовавших у западных монголов в XIII веке.

Свою жизнь Суги посвятил главным образом тому, чтобы пустить на ветер гигантское состояние, которое оставил ему отец — известный банкир, пользовавшийся авторитетом в финансовых кругах Японии.

Поражение в войне породило в стране хаос, все перевернулось вверх дном. К этому времени Суги уже успел промотать несметные капиталы отца, что, казалось, было бы не под силу и нескольким непутевым наследникам.

Причем нельзя сказать, чтобы он вел особенно разгульный образ жизни. Да и никакими, пусть самыми безумными кутежами, содержанием десятков дорогих наложниц было бы просто невозможно растратить такое наследство.

У Суги, может, и была одна или две любовницы, но он держал эти связи в тайне. Жены он не имел, детей тоже.

Суги не считал себя холостяком по убеждению. Просто так сложились обстоятельства, что к тридцати семи годам он все еще не обзавелся семьей. Когда он спохватился, у его университетских друзей было уже по двое, а то и по трое детей, а Суги по-прежнему оставался один в своем просторном особняке.

И все же при довольно скромном образе жизни Суги умудрился лишиться огромного состояния. Объяснить это можно было одним — фатальным невезением. Нельзя сказать, что Суги не обладал хваткой бизнесмена или вообще питал отвращение к предпринимательской

деятельности. Нет. Просто за какое бы дело он ни брался, его по роковому стечению обстоятельств всегда подстерегала неудача.

Неуемная энергия молодости толкала его на самые разнообразные начинания: то он основывал судостроительную компанию, то парфюмерную фирму, то вдруг переключался на фармацевтику. В случае успеха каждое из этих предприятий сулило огромные барыши, но все они неизменно заканчивались крахом. Суги явно родился под несчастливой звездой.

К тому времени, когда Суги уже расправился со всем громадным капиталом, как раз кончилась война и кризис подмел последние крохи былого богатства.

Суги собрал жалкие остатки миллионов — сумма тем не менее вышла немалая — и поставил все на одну карту. Он вложил деньги в угольные шахты, решив еще раз попытать счастья. Но и здесь его ожидала неудача.

Пытаясь спасти свою последнюю ставку, он в течение всего минувшего года развивал бешеную деятельность, раздавая взятки направо и налево, забыв предостережение отца, который перед смертью завещал ему пуще всего беречь репутацию честного предпринимателя. Разразился грандиозный скандал, вызванный коррупцией в чиновничьих кругах, и над Суги уже занесся меч прокурора. Он сам понимал безвыходность своего положения лучше, чем кто-либо другой.

Отчетность по добыче угля на шахтах у него содержалась в порядке, да и сумма данных им взяток являлась не такой уж большой. Хуже было другое — Суги неоднократно выступал как посредник и даже подставное лицо при подкупе чиновников. Не сегодня завтра связанный с его именем скандал должен был прогреметь со страниц всех крупных газет.

Поняв, что спасения нет, Суги решил уйти из жизни. Молодой, пользовавшийся всеобщим уважением предприниматель чувствовал, что не вынесет неумолимо надвигающегося позора. Имя Сэнноскэ Суги всегда считалось синонимом честности и порядочности, и мысль о том, что теперь оно будет замарано, была ему невыносима.

Суги не пришлось даже приводить в порядок свои дела. Он не оставлял после себя ни жены, ни детей, ни близких родственников, о будущем которых следовало бы позаботиться. Все состояние было растрачено. В момент ареста обнаружился бы огромный дефицит его компании.

Станет ли он о чем-нибудь сожалеть, расставаясь с этой жизнью, раздумывал Суги. Нет, ни о чем. Разве что о «Путешествии на Восток» Рубрука — книге, которой он интересовался еще в студенческие времена, да так и не удосужился прочесть до конца.

Суги и самому показалось странным, отчего он вдруг вспомнил о «Путешествии на Восток». И вместе с тем он ощутил прилив такой тоски по давно прошедшим дням, что удивился, как до сих пор ни разу не вспомнил об этой книге. Решение о самоубийстве как бы сняло с Суги заботы последних двадцати лет и разом вернуло к тем чувствам и интересам, которые занимали его в студенческие годы.

Перед отъездом из Токио Суги попросил своего старинного друга, преподавателя социологии, взять для него ненадолго в университетской библиотеке «Путешествие на Восток».

Перевернув последнюю страницу этой книги, он закроет и последнюю страницу своей жизни — если оглянуться назад, такой суетной и неинтересной.

Из Токио он отправился в Киото, где полюбовался в храме Сайходзи Садом мхов, который так нравился ему в юности, потом через Осака уехал в Вакаяма, оттуда — поездом в Кисю.

Он выбрал для самоубийства Кисю не по каким-то особым причинам. Просто вычитал то ли в газете, то ли в романе, будто «черное те-

чение» Куросио уносит тела самоубийц куда-то в далекие, неведомые края.

Он провел одну ночь в Сиономисаки, другую — в Кацуура. Хозяин гостиницы в Сиономисаки рассказал ему, что здесь кончают самоубийством главным образом из-за несчастной любви. И Суги почему-то расхотелось расставаться с жизнью в этом месте. Кроме того, прибрежные воды в Сиономисаки изобиловали рифами. Он представил, как найдут на одном из них его изуродованное тело, и отступился.

В Кацуура он долго глядел со второго этажа гостиницы на море, по которому сновало множество рыбачьих лодок. Деловитый, задорный шум их моторов не располагал к смерти.

Лишь прибыв в небольшой городок К., он наконец нашел подходящее место. Усыпанный мелкой галькой берег был совершенно безлюден. В бурном море — ни суденышка. Черно-синяя пучина казалась бездонной, и Суги подумал: если эти волны примут его в свои объятия, то уж никому и никогда не отдадут.

Суги перевернул страницу и поднялся с кресла.

Снаружи слышался какой-то шелест, не похожий на шум волн. Он отворил окно. Лил дождь. Вместе с его каплями в комнату ворвался холодный ночной бриз, принесший с собой резкий запах моря.

Суги взглянул на часы. Стрелки показывали половину десятого.

Он захлопнул окно, переоделся в пижаму и закурил.

Ему показалось, что постучали в дверь. Он прислушался. Тишина. Потом опять, уже более явственно: тук-тук-тук.

— Кто там?— спросил Суги, открывая дверь.

В проеме кто-то стоял.

— Кто это?— повторил Суги.

— Это я,— едва слышно донеслось до него. Потом более отчетливо:— Не смотрите на меня... Я раздета, на мне лишь одна рубашка.— Потом раздались рыдания, и дрожащий голос произнес:— Я не смогла умереть...

Несколько бесцеремонно с ее стороны являться к нему в таком виде, подумал Суги. Он взял Нами за обнаженную руку, мокрую от дождя. Обняв девушку за плечи, Суги повел ее в комнату. Нами в самом деле была в одной рубашке, с которой капала вода.

С прилипшими к лицу волосами, дрожащая от холода, она ничем не напоминала ту элегантную даму, которую Суги видел в ресторане.

Оказавшись в полосе света, Нами вскрикнула и стала вырываться из его рук. Ожерелье порвалось, и бусинки рассыпались по полу.

— Подождите здесь,— сказал Суги и пошел в ванную. Он открыл кран, но в этот поздний час горячей воды уже не было. Тогда он взял полотенце и подал его Нами: — Вытритесь.

— Благодарю.— Ее голос теперь звучал спокойнее.— Не найдется ли у вас какой-нибудь одежды?

Суги на минуту задумался, потом вытащил из чемодана шорты и белую сорочку и передал Нами.

— Спасибо,— сказала она смущенно, совсем не так, как говорила с ним в ресторане, протянула свою тонкую белую руку, взяла одежду и скрылась в прихожей.

Когда Нами вновь появилась перед Суги в не по росту больших шортах и рубашке с закатанными рукавами, к ней отчасти вернулась прежняя манера держаться.

В этом наряде она показалась Суги похожей на юношу.

— Я не смогла умереть,— с досадой повторила она.

— Вижу, иначе вы бы не стояли сейчас передо мной,— ответил Суги.— Садитесь.

Он указал ей на кресло, а сам опустился на кровать.

Нами села, продолжая вытирать полотенцем волосы.

— Но я не отказалась от своего намерения, так и знайте,— заявила она вызывающе.

— Это ваше личное дело,— холодно ответил Суги.

— И ни в каких поучениях и уговорах я не нуждаюсь.

— Я не собираюсь вас уговаривать, даже если вы об этом попросите.

Суги больше не испытывал скованности, как во время их первой встречи. Нами напоминала ему теперь милого и капризного ребенка.

Он заметил, что она, вытирая волосы полотенцем, смахивает слезы, и ощутил щемящее чувство жалости к этой женщине.

— Если бы я с вами не встретилась, меня бы уже не было на свете. Это вы мне помешали. Холодный, бесчувственный человек!— обвиняющим тоном сказала она.

— Бесчувственный?

— А разве нет? Вам было известно, что я решила покончить с собой, но вы даже пальцем не пошевельнули, чтобы меня остановить. И еще с таким презрением глядели мне в лицо. Да вы просто бессердечный человек! — все более распаляясь, воскликнула Нами. Ее глаза горели настоящей ненавистью.— Правда, ваши уговоры меня бы все равно не остановили.

— Так в чем же дело?

— Как это в чем?! Да одной встречи с вами достаточно, чтобы пропало всякое желание умереть. Знать, что посторонний с презрительной усмешкой наблюдает, как ты лишаешь себя жизни! Нет, это выше человеческих сил!

В самом деле, может быть, она и права, подумал Суги. Хотя его вряд ли остановило бы подобное обстоятельство.

— По вашей милости я вынуждена провести еще одну ночь в отеле. А ведь я кинула в море деньги и одежду, чтобы отрезать себе путь к отступлению. Потом два часа мокла под дождем и никак не могла заставить себя броситься со скалы... Дайте мне взаймы, чтобы оплатить номер и купить что-нибудь из одежды до завтрашнего вечера. Я напишу матери, она вернет вам долг.

Нами уткнулась лицом в полотенце и зарыдала. Со смешанным чувством глядел Суги на эту странную молодую женщину. Ее прекрасная белоснежная шея слегка порозовела.

— А почему вы обязательно должны умереть?— спросил он.

— На то есть причина.

— Понимаю... У меня тоже.

— Вот как?!— Нами удивленно поглядела на него.

Суги почувствовал, как в нем растет желание утешить ее.

— Я умру. К этому меня обязывает чувство долга. Но вам-то зачем умирать?

— Меня разлюбили.

— Разлюбили?— Суги не засмеялся, но слегка покривил губы.

— А что толкает на смерть вас?

— Угроза бесчестья.

Он впервые произнес вслух эти слова и, прислушиваясь к их звучанию, подумал: «Я должен умереть, иного выхода нет».

— Бесчестье,— повторила Нами без всякого выражения и поглядела ему в глаза.— Кто не любил, тому не понять, как это страшно — потерять любовь.

На губах Нами впервые возникло подобие улыбки. То была горькая улыбка, но Суги показалось, что лицо девушки стало еще красивее.

— Пойду закажу номер еще на одну ночь. Извините, что причинила вам беспокойство.

— А деньги?— остановил ее Суги.

— Займу их завтра.

— Зачем занимать? Я просто дам вам столько, сколько нужно. Не брать же мне их с собой на тот свет.

Когда Нами ушла, Суги взял с кресла оставленное ею полотенце и отнес в ванную. От полотенца исходил слабый аромат женского тела — слишком нежный, чтобы напоминать о смерти.

На следующее утро Суги, как обычно, проснулся рано. До завтрака еще было достаточно времени, и он решил подняться на скалу, где росли сосны — к тому месту, откуда он собирался броситься в море. Надев халат и гэта, на которых красовалась эмблема отеля, он прошел по песчаному пляжу, влажному после ночного дождя, и стал взбираться на скалу. Сегодня было пасмурно, и море казалось мрачным и холодным, совсем не таким, как вчера. Невысокие волны гряда за грядой накатывались на берег.

Миновав маленький синтоистский храм, он пошел по узкой и крутой каменистой тропе, которая, видимо, вела к самому верху скалы. Наконец, он добрался до вершины, и его взгляду открылась грандиозная панорама моря. Далеко внизу волны с грохотом бились о прибрежные рифы.

Скала была много выше, чем ему казалось, когда он разглядывал ее из гостиничного холла. Только мысль о неминуемом позоре, о разоблачительных статьях с его фотографиями во всех газетах прибавила ему решимости. Внимательно изучив вершину скалы, он той же дорогой спустился к ее подножию.

Бьющиеся о рифы волны образовывали водовороты, в которых яростно вспенивалась вода. В водоворотах то показывались, то исчезали под шапками белой пены зеленые водоросли. Их яркая, живая зелень удивительно контрастировала с безжизненно-бурым цветом скалы.

Значит, здесь, подумал Суги.

Ему представилось обнаженное тело прекрасной девушки, лежащее на рифах. Он не знал, в каком месте Нами собиралась броситься в море, но решил: раз сам он выбрал эту скалу, то и она хотела обрести вечный покой именно здесь, на ложе из рифов, омываемых пенными волнами.

Суги вернулся в отель к завтраку.

Нами еще не появлялась, и он спросил о ней боя.

— Госпожа проснулась рано, заказала по телефону завтрак на одиннадцать, потом, судя по всему, снова уснула,— ответил тот.

Должно быть, утомилась от вчерашних треволнений, подумал Суги.

Он вложил в конверт деньги — сумму, достаточную, чтобы провести в отеле не одну ночь, а целый месяц,— и вместе с короткой запиской передал бою, попросив вручить Нами, когда она придет завтракать.

«Деньги в конверте. Возвращать их не нужно. Нынче нам встречаться не стоит. Так будет лучше и для вас, и для меня. Я хотел бы сегодня спокойно почитать в одиночестве».

В самом деле, Суги намеревался сегодняшний и завтрашний день провести один, не желая, чтобы эта молодая женщина помешала ему погрузиться в описание загадочного края озер, существовавшего семь столетий тому назад на пути между Западом и Востоком.

Вечером, когда Суги ужинал у себя в номере, дверь неожиданно распахнулась, и в комнату без стука ворвалась Нами. Она была бледна и испугана.

— Позвольте мне побыть у вас,— выпалила она.— Он приехал и разыскивает меня. С ним моя младшая сестра. Я не желаю встречаться с этим человеком. Он прямо сказал мне: «Я тебя больше не люблю». Разве я могу после этого видеть его? Никогда! — сбивчиво объяснила она.

— Садитесь,— спокойно произнес Суги.— Этот человек, которого вы не желаете видеть, пришел в отель?

— Да. Я случайно выглянула в окно и сразу его увидела. Он направлялся к отелю. Следом шла моя сестра. Я бросилась к телефону и приказала бою ни в коем случае не говорить, что я здесь. И сразу прибежала к вам... Он сказал, что не любит меня. Бросил эти слова мне прямо в лицо. Он...

Суги перестал прислушиваться к тому, что говорила Нами. Ее бессвязная речь все более походила на горячечный бред. Стоя у окна, Суги курил и глядел на море. Пока она не успокоится, лучше помолчать, думал он.

Вскоре Суги заметил молодую пару, которая вышла из отеля и стала спускаться к морю по крутой, вымощенной камнем дорожке. На нем были белые брюки и рубашка, на ней — голубое платье в полоску. Они шли не спеша, взявшись за руки, и, глядя на них, каждый догадался бы: это влюбленные.

На юго-западе алел небосвод. Красными были узкие полосы облаков, выстроившиеся в небе ровно, как по линейке. Красным отсвечивало и море.

Спустя некоторое время Суги увидал их на пляже. Сначала они сидели рядышком на песке, потом обнялись и тесно прижались друг к другу.

Как раз в этот момент Нами встала и подошла к окну. Суги инстинктивно протянул руку к шторе и мгновенно спустил ее, пока девушка не увидела ту пару на пляже.

Нами впилась в него злобным взглядом.

— Зачем вы опустили штору? Хотите уберечь меня от лишних переживаний?— резко спросила она.

— Вовсе нет,— как можно спокойнее ответил Суги.

Он был уверен, что Нами не успела поглядеть в окно, и удивился болезненно острой интуиции этой красивой женщины.

«А, все равно»,— подумал Суги и выпустил штору из рук — она сразу же взвилась к потолку.

Суги больше не глядел в окно, со злорадным выражением он наблюдал за Нами. Она, не мигая, уставилась в одну точку и не отводила от нее глаз. Потом ее руки как-то неестественно потянулись к вискам, губы искривились, и в следующее мгновение она повалилась на пол. С грохотом упало опрокинутое кресло.

Ну и ну, подумал Суги. Он поднял Нами и отнес на постель. Лицо у нее стало белее мела. Ничего страшного, решил он. Обыкновенный обморок.

В тот вечер он прочитал еще несколько страниц «Путешествия на Восток», потом улегся на полу, подстелив одеяло.

Перед тем как лечь, он на всякий случай подошел к кровати, где лежала Нами. Она спала, тихо и ровно дыша. По спокойному красивому лицу от глаз к вискам пролегли узкие, все еще не просохшие дорожки от слез.

Когда он улегся на свое ложе, снизу донеслись звуки «Ла компарситы», потом послышался смех молодого человека и его возлюбленной. Суги осторожно приподнял голову и поглядел на Нами. Она полулежала на боку, смотря широко раскрытыми глазами куда-то в угол комнаты.

Молодая пара покинула отель утром следующего дня. Нами оставалась у Суги до тех пор, пока не удостоверилась, что они уехали.

— Да он просто развратник... Работает учителем танцев... Я так любила его... А он, оказывается...

Нами как будто успокоилась, но была грустна и то и дело о чем-то задумывалась.

— Как веселилась эта парочка! А ведь они приехали, чтобы найти мое тело. Хороший урок для меня. Наверное, они продолжат свое

приятное путешествие по побережью, пока не обнаружится мой труп. Я и не предполагала, что такое может быть.

Суги почувствовал, что девушка настроена менее решительно, чем накануне. Молодой, красивой женщине следует жить, подумал он. Человек всегда должен стремиться к жизни, невзирая на обстоятельства. «Но мой случай особый»,— прошептал Суги. Он с симпатией разглядывал прояснившееся лицо Нами, которая наконец избавилась от страшного наваждения. Пусть живет, у нее нет причин для самоубийства, подумал он.

— Давайте съездим в Симмия и купим вам что-нибудь из одежды. В таком виде нельзя появляться в Токио,— сказал Суги.

От городка К. до Симмия был целый час езды на электричке, но Суги решил пожертвовать послеполуденным чтением «Путешествия на Восток» ради своей спутницы.

Оставшиеся двадцать страниц он успеет дочитать нынче вечером и завтра. Ничего не случится, если накануне самоубийства он потратит несколько часов, чтобы вернуть к жизни молодую женщину.

Белое платье, которое подобрали в ателье, было недорогим, но удивительно шло Нами. Надев его, она сразу стала похожа на озорную девчонку. Сейчас, когда над ней больше не витал призрак смерти, ничто в облике Нами не напоминало ту ожесточившуюся, замкнувшуюся в себе женщину, какой впервые увидел ее Суги тогда, в ресторане.

— Давайте купим вам этот галстук,— предложила Нами, когда они остановились у витрины галантерейного магазина.

— На что он мне?

— Хотите сказать, что завтра он вам уже не понадобится?

— Вот именно.

— А разве плохо надеть красивую вещь, пусть только на один день?

Слова Нами прозвучали необычайно мягко и ласково. Суги взял галстук.

— А теперь купим вам туфли,—в свою очередь предложил он.

— Согласна,— улыбнулась Нами, и ее глаза радостно заблестели.

— А эти чулки? Они вам нравятся?

— Да, они чудесны.

— А этот пояс?

— Он просто замечательный и так пойдет к платью.

Суги покупал ей вещь за вещью, и Нами с нескрываемой радостью их принимала.

Как она переменилась со вчерашнего дня, не переставал удивляться Суги. Ему доставляло огромное удовольствие тратить на нее деньги, он только жалел, что истрачено так мало.

Было уже девять часов, когда, поужинав в самом большом ресторане города, они возвратились в К.

Страшно уставшие, они молча шли к отелю по дороге вдоль пляжа, вдыхая запахи моря.

— Завтра вы в самом деле хотите уйти из жизни? — внезапно прервала молчание Нами.

Неотвратимость смерти, о которой в последние часы Суги начисто забыл, вновь неумолимо напомнила о себе.

Он не ответил. Хотел было рассмеяться, но из горла вырвались звуки, даже отдаленно не похожие на смех.

— Вам сейчас чего-нибудь хочется? — спросила Нами.

— Нет.

— А любви?

— Какой там любви!

— Если у вас в самом деле есть какое-нибудь желание, скажите мне, не таитесь,— настаивала Нами.

Сейчас она походила на ребенка, выпрашивающего игрушку.

В самом деле, чего бы он хотел? — задумался Суги. Ничего... Хотя, может быть, женского тела... Да, чистую, обыкновенную женщину, кто бы она ни была, чтобы устать, насладившись любовью, и крепко уснуть нынешней ночью.

— О чем вы думаете? — прервала его размышления Нами.— Скажите, только откровенно.

А почему бы не признаться? Это не должно прозвучать оскорбительно, решил Суги.

— Я думал о женщине, о женском теле.

Он заметил падающую звезду, поглядел вверх и увидел, что весь небосклон усыпан звездами.

Они расстались в коридоре первого этажа — там находился номер Нами.

Поднявшись к себе, Суги сразу же прошел в ванную и встал под душ.

Когда он вышел из ванной, свет в комнате не горел, хотя он твердо помнил, что включал его. Он протянул руку к настольной лампе.

— Не надо,— послышалось из темноты.

Суги удивленно поглядел в ту сторону и при свете, проникавшем сквозь незадернутое окно, увидел на постели смутный силуэт. Глаза свыклись с темнотой, и он разглядел лежащую Нами, поверх одеяла виднелись ее обнаженные руки и грудь.

Пышные, вьющиеся волосы Нами разметались по подушке. Свободная поза, в которой она лежала, говорила об искушенности в любовных утехах, а может быть, наоборот, о детском неведении. Спокойное, немного недоуменное выражение лица, мягкая линия, идущая от плеча к белоснежной груди,— все это в одно мгновение увидел в полутьме Суги. Его тело, измученное долгим воздержанием, охватила дрожь. Суги очень явственно услышал шум прибоя и опустил руку на обнаженное плечо Нами...

На рассвете он ненадолго проснулся. Нами тихо спала рядом. Глядя на ее спокойное лицо, Суги не мог поверить, что эта женщина так жарко ласкала его всего несколько часов назад. Он ощутил нечто вроде обиды, но вспомнил прохладу ее тонких белых рук, обвивавших его шею, и смягчился.

Когда он окончательно проснулся, Нами рядом не было. На столе, придавленная «Путешествием на Восток», лежала записка:

«Сегодня нам встречаться не стоит. Так будет лучше и для вас, и для меня.

Я хочу в одиночестве все спокойно обдумать. Минувшей ночью я подарила вам не любовь. Скорее, это была плата, благодарность за вашу доброту».

В тот день он так и не встретился с Нами.

После ужина он дочитал последнюю главу удивительного путешествия, в которое монах Виллем Рубрук отправился в 1253 году.

Из дальних краев, где странствовал чужеземный монах много веков назад, Суги вернулся в реальный, сегодняшний мир, с которым теперь его уже ничто не связывало. Увлекательное путешествие к монгольским юртам, которое он совершил вместе с автором, жившим задолго до Марко Поло, окончилось. Из всех развлечений, выпавших на долю Суги за тридцать семь лет его жизни, это, последнее, оказалось самым чудесным.

Рассчитавшись за пребывание в отеле, Суги поднялся к себе, поставил на стол саквояж с вещами и неистраченными ста тысячами иен, положил рядом книгу, которую следовало вернуть университетскому другу, и письмо, адресованное Нами Цудзимура. В письме было всего три строчки:

«Возвратился из путешествия к монголам. Теперь снова отправляюсь в далекий путь. Распорядитесь соответствующим образом деньгами и вещами».

Суги вышел из отеля и направился к песчаному побережью. Ночь была темной, но в небе ярко сияли звезды.

Он не испытывал особого страха перед смертью. Человек не может все время стоять на одном месте. Когда ему некуда больше идти, он отправляется тем же путем, которым сейчас шел Суги.

Миновав пляж, он стал не спеша подниматься по узкой дорожке, мимо синтоистского храма, к вершине скалы.

Добравшись до небольшой площадки на вершине, он зажег одну за другой несколько спичек и нашел то самое место у большой сосны, которое наметил в свой прежний приход.

В нескольких шагах должен был лежать плоский камень, оттолкнувшись от которого он бросится в бездну. И наступит конец.

«Теперь все зависит от моей силы воли»,— сказал себе Суги.

Он не собирался долго стоять здесь, в темноте, наедине с беспокойными мыслями.

Суги отошел от сосны и сделал несколько шагов вперед. Вот он, тот самый камень. Он коснулся его ногой, вытащил из кармана сигарету. Руки дрожали, и ему с трудом удалось прикурить.

Суги отшвырнул сигарету, и тут перед глазами всплыло спокойное, прекрасное лицо спящей Нами. Надо было повидаться с ней еще раз. И то, что он этого не сделал, представлялось Суги теперь самым большим, невосполнимым упущением в жизни. Он стоял, а в голове у него вертелась одна мысль: он любит, да, любит Нами.

Как не хочется умирать, впервые подумал Суги. Он вернулся к сосне и сел на землю, понурив голову.

Вдруг ему почудилось, что он здесь не один и кто-то еще стоит рядом во тьме. Он внимательно прислушался. Никого...

— Нами!

Ее имя невольно сорвалось с его губ, прозвучав нежно, как признание в любви. В следующий миг до него явственно донеслись рыдания, затем кто-то приблизился и встал рядом.

— Я не собиралась вам мешать,— услышал он тихий голос Нами.

Суги шагнул навстречу и дрожащими руками обнял ее.

— Почему ты здесь?

— Я решила: если вы броситесь со скалы, я прыгну за вами. Если раздумаете — раздумаю и я.

— Но я должен умереть.

— Мне все равно — жить или умереть. Я поступлю так, как поступите вы,— прошептала Нами, спрятав на его груди мокрое от слез лицо.

— Я должен уйти из жизни,— повторил Суги.

— Я прочитала о вас в газете... Сегодня утром.

— Вот как?

Как ни странно, эта новость не произвела на него особого впечатления.

— Кто-то сказал: хорошая репутация — итог множества заблуждений. То же самое можно сказать о репутации запятнанной. Но если вы не в силах вынести позора и хотите умереть, воля ваша. Я не стану вас удерживать. Ведь вы тоже не пытались остановить меня.

В эту минуту неожиданно для самого Суги где-то в далеком-далеком уголке его сознания слабым огоньком затеплилась мысль: а может, умирать не стоит?

РАСКИН БОРИС ВЛАДИМИРОВИЧ (род. в 1927 г.)

Советский японовед, переводчик. В его переводе на русский язык вышли романы Ясунари Кавабата «Старая столица», Масудзи Ибусэ «Черный дождь», Такэси Кайко «Японская трехгрошовая опера» и «Горькое похмелье», Ясуси Иноуэ «Сны о России», Сэйтё Мацумото «Среда обитания», «Земля-пустыня»; книга Масакацу Гундзи «Японский театр Кабуки», рассказы Сюгоро Ямамото, Рюноскэ Акутагава, Ясунари Кавабата, Морио Кита и др.

ГОР ВИДАЛ

1876

РОМАН

Перевод с английского А. ФАЙНГАРА

Глава шестая

1

В громадной мрачной ротонде Капитолия Нордхофф представил меня конгрессмену генералу Гарфилду. Златобородый, голубоглазый Гарфилд произвел на меня самое приятное впечатление. Он довольно высок (около шести футов), но не толст, что удивительно для человека его возраста (сорок пять?) и положения.

— Теперь, после того как мы познакомились, мистер Скайлер, я надеюсь, что вы окажете нам честь, посетив мой дом...— Обычная формула вежливости, на которую я столь же вежливо ответил. Гарфилд повел нас с Нордхоффом по украшенному фресками коридору сквозь толпу конгрессменов, лоббистов и простых граждан. Наконец мы остановились перед дверью в комнату комиссии, которая сегодня в течение нескольких часов является центром политической жизни страны.

За длинным столом восседали члены комиссии, возглавляемой, к моему изумлению, конгрессменом Клаймером. Я рассказал Нордхоффу, что познакомился с ним у Белнэпов. Нордхофф оживился:

— Он в самом деле сказал, что в Принстоне жил с Белнэпом в одной комнате?

— Да, он назвал его своим старым другом.

Нордхофф присвистнул:

— Должно быть, они за обедом пытались о чем-то договориться, потому что Клаймеру уже несколько недель назад сообщили про Марша.

В целом разыгравшаяся драма казалась мне еще менее правдоподобной, чем, скажем, пьеса Оуки Холла. Члены комиссии довольно бездарно пытались изображать римских сенаторов, но при этом орали, как сельские янки.

Героем, точнее, героиней дня оказалась миссис Марш, привлекательная женщина, которая громко плакала, смело смотрела в глаза конгрессменам и демонстрировала свои изящные ножки, пока ее муж давал показания.

По-моему, Марш не лгал и не запирался, что для Белнэпов было равносильно смертному приговору. Он живо описал недавний вечер, проведенный с этой отчаянной супружеской парой, рассказал, как миссис Белнэп умоляла его дать ложные показания.

Когда заседание кончилось, я, предоставленный самому себе, в течение часа задумчиво осматривал сенат и палату представителей. Обе палаты недавно обновлены, старые красные портьеры и пожелтевшие от табачной жвачки ковры заменены новыми, серого цвета с проблесками имперской позолоты. Хотя сегодня уже реже жуют табак, плевательниц не меньше, чем в старое время.

Я попал в сенат, избежав, так сказать, утомительной избирательной процедуры. Увидев толпу лоббистов, спешащих через вращающуюся дверь матового стекла в длинную узкую комнату, я из любопытства последовал за ними.

Окончание. Начало см. в № 4, 1986 г.

Сначала я не мог понять, что это за комната — мрачная, причудливой формы. Вдоль одной темной стены стояли вперемежку черные кожаные диваны и темные письменные столы орехового дерева. На противоположной стороне — несколько вращающихся дверей, ведущих, как я вскоре понял, в зал заседаний сената.

Когда двери приоткрывались, из зала доносился приглушенный голос, но слов, к счастью, нельзя было разобрать. Сенаторы входили и выходили в гардероб — так называлось помещение, где я находился. Гардеробом пользуются не только сенаторы — в нем полно лоббистов, журналистов, а также простых граждан.

Я был слегка удивлен подобным демократизмом, который не слишком вяжется с невероятным самомнением американских сенаторов. Однако сенатору ежедневно приходится выбирать между позой, приличествующей человеку, избранному в высшее законодательное собрание величайшей страны мира, и доступностью для каждого, кто хочет вручить ему деньги, и народный трибун из практических соображений предпочитает последнее.

Какой-то журналист, завладев вниманием группы сенаторов, излагал им показания Марша. Но поскольку я сам видел и слышал то, что он оказался не в состоянии точно записать (журналистику, а не правосудие следует изображать с завязанными глазами и весами в руках), я не стал его слушать и подошел к одной из вращающихся дверей, желая бросить взгляд на зал заседаний сената.

Вдруг кто-то толкнул меня в спину, я споткнулся и неожиданно оказался у самого возвышения для вице-президента, который, согласно конституции, является председателем сената. Но вице-президент несколько месяцев назад скончался, и место его по очереди занимают разные выдающиеся сенаторы. Сегодня в председательском кресле сидел крупный мрачный человек, читавший книгу,— судя по всему, роман. Он был так поглощен этим занятием, что даже не повернул головы, несмотря на шум, которым сопровождалось мое вторжение в политику.

К счастью, я тут же налетел на сенатора Роско Конклинга. Меня толкнули как раз в тот момент, когда Конклинг, закончив речь, сходил с трибуны; так я очутился в его могучих спасительных объятиях.

Я посмотрел на него снизу вверх; он на меня — сверху вниз. Постепенно лицо его расплылось в улыбке.

— Вы, кажется, очень спешите, с е н а т о р Скайлер?

— Прошу прощения, сэр. Меня толкнули. Я споткнулся. Спасибо, что вы меня поймали, сэр.

— У меня не было выбора.— Теперь нас уже разделяло некоторое расстояние, потому что, оказавшись рядом с высоким человеком, я, как всегда, попятился назад, чтобы свести к минимуму разницу в росте. В парчовом жилете и в белых фланелевых брюках (это в феврале!) Конклинг был великолепен.

— Шумные ребята наши лоббисты.

— Похоже, они чувствуют себя здесь как дома.

— Это еще мягко говоря.— Конклинг мрачно покачал головой, как бы осуждая всеобщую коррупцию.— Но теперь, раз вы тоже сенатор, осмотрите свой новый дом.— Конклинг взял меня за руку.

— Разве это не запрещено? — заколебался я.

— Конечно. Все запрещено. Иначе какое же удовольствие? — С этими словами он повел меня по залу заседаний, где полукружием стояли кресла, обращенные к председательскому возвышению. На галерее прессы я увидел несколько знакомых лиц. Галерея для публики была почти пуста. Немногие же пришедшие поглазеть на демократию в действии — судя по наружности, самая неотесанная деревенщина,— как видно, вообразили, что они в цирке (впрочем, у них имелись для этого основания), и вели себя соответственно: жевали табак, грызли орехи, жареную кукурузу.

Сенаторы, числом около дюжины, расположившись в своих креслах, читали газеты, жевали табак, переговаривались друг с другом, а тем временем некий южанин с благородным изгибом бровей бесстрастно вещал о продолжающемся и чреватом опасностями присутствии федеральных войск в некоторых штатах Юга через десять лет после того, что он ни разу не назвал Гражданской войной.

Конклинг указал мне на свободное кресло и сел сам.

— Вы сидите сейчас на том месте, где едва не убили тростью покойного сенатора Чарльза Самнера от Массачусетса.

— Чего мне ждать? Его духа или трости?

Конклинг улыбнулся, обнажив темные зубы.

— Эти духи давно уже изгнаны. Самнер был превосходным человеком, но непомерно заносчивым.— Смешно, право, мы всегда подмечаем и осуждаем в других наши собственные недостатки.— Когда кто-то сказал генералу Гранту, что сенатор Самнер не признает Библию, генерал Грант ответил: «Только потому, что не он ее написал».

Я расхохотался:

— Никогда не думал, что генерал Грант остроумен.

— О-о, это хитрый, тихий, странный человечек. Но сегодня,— Конклинг глубоко вздохнул,— он был сражен наповал.

— Маршем?

Конклинг кивнул.

— Теперь уже третьему сроку в Белом доме не бывать. Последняя надежда рухнула на заседании комиссии конгресса.

— Говорят, за несколько лет Марш передал Белнэпам около сорока тысяч долларов.

— Да.— Не утверждение, а нечто вроде знака препинания.— Столько всего продается, мистер Скайлер.

— Вы правы. Мне рассказывали: чтобы устроить юношу в Вест-Пойнт, нужно заплатить своему конгрессмену пять тысяч долларов.

— Думаю, что в штате Нью-Йорк цена выше.— Конклинг был оживлен и мрачен одновременно.— Место в сенате тоже стоит недешево. Мои почитатели, говорят, истратили четверть миллиона долларов, чтобы усадить меня в это простое кресло с пюпитром.

Я был шокирован; этого он, по всей видимости, и добивался.

— Но уж вам-то зачем деньги, вас и так выберут.

— Сенаторов выбирают законодательные собрания штатов, в Нью-Йорке же это учреждение состоит из продажных продавцов.— Он улыбнулся своему каламбуру, я тоже улыбнулся, но едва-едва, не понимая еще, куда он клонит.— В наши дни все продается за деньги, мистер Скайлер, за очень большие деньги. Однако я верю в свою партию.— Взгляд этих светлых глаз был столь искренен, что я понял: рядом со мной искуснейший лжец.— Я все еще верю в Гранта, хотя, видит бог, он со своими дружками доставил нам столько затруднений...

— Знает ли он об их махинациях?

— Помилуйте, мистер Скайлер! Ведь все, что я скажу, вы напечатаете в «Геральд» у Джейми Беннета, дабы помочь нашему общему другу старине Сэму Тилдену, который все пустит в дело ради победы на выборах. Однако он не победит, уверяю вас. В конечном счете.

— Раз так обстоит дело, сенатор, и вы его соперник, то страна попадет в хорошие руки, независимо от результатов голосования.— Я был столь же бесчестен, как и Конклинг, который вдруг сильно меня озадачил.

— Вот слова, достойные нашего посланника во Франции, мистер Скайлер. Если я когда-нибудь стану президентом, я сам подумаю, не назначить ли вас на этот пост.

Я даже не мог себе представить, каким образом моя мечта стала известна Роско Конклингу — всего три человека знают о ней, и я абсолютно уверен, что Эмма, Биглоу и Тилден не проронили ни слова. Я ответил Конклингу достаточно холодно, но, увы, не блестяще:

— То малое, чем я могу помочь губернатору Тилдену, делается только pro bono publico [1].

— Это ясно без слов, как говорят французы. Знаете ли, когда генерал Грант два года назад хотел назначить меня председателем Верховного суда, я сказал ему то же самое. Что в интересах общества я должен оставаться на своем месте и делать все, что в моих силах, для его администрации.

— А затем в подходящий момент занять место генерала Гранта, куда более почетное, чем кресло покойного судьи Чейза.

Я безжалостно вонзил в него нож, но никогда не узнаю, как собирался мне ответить Конклинг,— именно в этот момент подошедший служитель сказал, что сенату предстоит какая-то важная акция и посторонние должны удалиться.

Мы пожали друг другу руки со всеми изъявлениями благожелательности.

---

[1] Для блага общества *(лат.)*.

Несколько минут назад я спросил Эмму, говорила ли она кому-нибудь о моем желании получить пост посланника во Франции.

— Никогда! Тем более в этой стране волков... нет, шакалов — мы же в Африке!

Но когда я передал ей свой разговор с Конклингом, она смущенно сказала:

— Прости, папа, я проговорилась Кейт Спрейг.

Не могу сказать, что я возлюбил Конклинга за эту попытку сделать из меня союзника или обезоружить, однако смелость у него поистине президентская — или скорее королевская, а потому не вполне уместная в данное время и в этой стране.

2

События последних дней свалили бы любое парламентское правительство. На сегодня администрация Гранта представляет собой сплошные руины, и поговаривают даже о том, что президент подаст в отставку.

Первого марта Бэбкок ушел в отставку с поста личного секретаря президента. Как всегда следуя неумному совету, президент только что назначил на место Бэбкока своего собственного сына. Видимо, Грант хотел сохранить Бэбкока, но Фиш заявил, что тогда президенту придется подыскать себе нового государственного секретаря. Нищета, однако, Бэбкоку не грозит. Президент вознаградил его должностью главного инспектора общественных зданий Вашингтона, на которой Бэбкок сможет сколотить еще одно состояние. К счастью, правда, Бэбкока собираются привлечь к суду за взлом знаменитого сейфа в Сент-Луисе, и потому есть надежда, что его все-таки упрячут за решетку.

Нордхофф ходит мрачнее тучи, хотя и доволен последними событиями. Коль скоро публика имеет возможность увидеть истинное положение вещей, авгиевы конюшни американской политики еще могут быть вычищены. Бедняга Тилден. Ему предстоит роль Геракла.

Второго марта Белнэп ушел в отставку с поста военного министра. Я сегодня был у них, а потому могу изложить их версию случившегося. Она значительно отличается от того, что, по мнению Нордхоффа, произошло на самом деле.

Когда президент собрался было уже сесть в экипаж, чтобы ехать в студию художника, который пишет его портрет, появились два сенатора-республиканца, которые объяснили ему впервые (!) сущность дела Белнэпа. Сенаторы возмущены. Президент шокирован и, полагаю, встревожен — позволив военному министру уйти в отставку, он (непреднамеренно, как утверждают его сторонники) сделал невозможным импичмент Белнэпа: по мнению многих конституционных авторитетов, должностное лицо не может быть подвергнуто импичменту, а тем более осуждено за преступления, совершенные во время пребывания в должности, если оно эту должность более не занимает.

Узнав сию обескураживающую новость, президент уехал позировать художнику, который позднее рассказал, что Грант был как всегда безмятежен. Обычно весьма подозрительный, Нордхофф склонен поверить в неведение президента относительно белнэповского скандала до прихода двух сенаторов. Мне же столь быстрое принятие отставки старого друга исключительно ради того, чтобы, находясь вне должности, Белнэп мог оградить интересы своей жены, кажется самым настоящим non sequitur [1], поскольку у высокого должностного лица всегда больше возможностей помешать отправлению правосудия, чем у простого гражданина. Думаю, генерал Грант отлично знал, что делает. Но даже самые ревностные сторонники демократов предпочтут верить в обратное, потому что, если это так, Грант виновен в обструкции правосудия и, следовательно, он тоже преступник, как и Белнэп.

А теперь о генерале и Киске Белнэпах, осажденных в доме номер 2022 по Джистрит: никто их, конечно, не осаждает, но их действительно держат под домашним арестом, дабы они не удрали в Европу. Мы приехали к чаю, откликнувшись на настоятельную просьбу Киски «не покидать» ее.

Нижняя гостиная чем-то напоминает комнату роженицы. Тяжелые занавеси задернуты в разгар ясного дня. Большие похоронные свечи создают сумеречный, но выигрышный фон для синего плюшевого шезлонга, в котором возлежит Киска, облаченная в заманчивые кружева, бледная и необычайно хорошенькая. Возле нее на столике из папье-маше бокал портвейна и нюхательная соль.

Чернокожий слуга ввел нас в гостиную.

— Дай им чаю,— еле слышно прошелестело из вороха кружев,— и скажи генералу, что пришли наши друзья. Наши единственные друзья!

[1] Вывод, не соответствующий посылкам *(лат.)*.

Слуга удалился, и тут же из Киськиных глаз хлынули слезы. Подозреваю, в эти последние дни эта сцена разыгрывалась здесь не однажды.

Киска театрально раскинула руки, и Эмма покорно позволила заключить себя в объятия и излить на свое плечо поток слез. Я неловко стоял сбоку, как и положено мужчинам в подобных случаях, и мне ужасно хотелось провалиться сквозь землю.

— Неужели кто-нибудь на этом свете мог поверить хоть слову мистера Марша, а тем более — слову этой... этой женщины, на которой он женат, этой гадюки, а ведь я, как последняя дура, когда-то с нею дружила? Сахару? Молока?

Мы что-то отвечали. Киска уже вполне овладела собой. Она недрогнувшей рукой протянула нам наполненные чашки.

— Моя покойная сестра была действительно знакома с Маршами и имела с ними деловые отношения, о которых я ничего не знала; сама я два и два сложить не способна, а уж сделать то, в чем по наущению этой отвратительной особы меня обвинил ее глупый муж, и подавно!

— Значит, Марш вам никогда ничего не платил?

— Конечно, платил — то, что был нам должен! — мгновенно ответила Киска. Свою роль она знала назубок.— Я по невежеству поручила ему заняться некоторыми делами моей покойной сестры и всецело на него положилась... ведь сама я ничего в этом не понимала. И вот из-за этой доверчивости мой бедный муж вынужден был уйти в отставку... Меня просто убить мало!

— Но мистер Марш утверждает, что он давал деньги и вам, и вашему мужу.

— Во всем виноват Бристоу! Если этого негодяя не уберут, он самого генерала Гранта прогонит из Белого дома Он упрячет в тюрьму президента Соединенных Штатов, величайшего героя наших дней...

— За что?

Хотя путаные восклицания Киски ни разу не оказались точным ответом на поставленные вопросы, они преследовали вполне определенную цель.

— Всякий раз, как я беру в руки «Нью-Йорк геральд» и читаю, что пишет о нас ваш друг Нордхофф, я вся дрожу! Знаете ли вы, почему арестовали моего мужа? Потому что Нордхофф выдумал, будто мы собираемся бежать в Бельгию, которая не имеет с нашей страной договора о выдаче преступников...

— Не думаю, что Нордхофф хотел...

— Никуда мы не собираемся. Если бы мы могли! После ареста мужу разрешили вернуться домой и поставили перед домом полицейского, а когда я попросила его войти в дом и расположиться в вестибюле, где он был бы не так заметен, он расхохотался мне в лицо. Я надеюсь, вы расскажете миру правду,— кроме вас, на это не отважится никто.

Вот почему нас пригласили на чай. Да, положение весьма щекотливое. Я не могу опровергнуть то, что написал Нордхофф, написал остро и блестяще; да и вообще я уверен, что он прав. Я совершенно убежден, что Киска виновна. Но какую роль сыграл генерал Грант? Я должен его увидеть, увидеть своими глазами и с близкого расстояния. Однако я не смогу его увидеть, если в моей следующей статье для «Геральд» полунамеком будет сказано, что президент замешан в этой истории. Поэтому я решил, не мудрствуя лукаво, рассказать о том, что я видел и слышал в комиссии конгресса, описать поведение миссис Марш (это порадует Киску), и пусть читатель сам решает, виновны Белнэпы или невиновны.

Вскоре в гостиной появился сам Белнэп и с ним гладко выбритый человек примерно моих лет — министр внутренних дел Захария Чендлер (все зовут его просто Зах).

— Княгиня, мистер Скайлер,— раздался дрожащий голос Белнэпа,— вы себе не представляете, что значит для нас ваше общество в этот трагический момент нашей истории.

Я был немало изумлен, услышав, что старое как мир мошенничество именуется ими великим историческим событием. Но по-своему Белнэп прав. Как сказал Конклинг, всякая надежда на третий срок Гранта в Белом доме рухнула из-за дела Белнэпа.

Белнэп повернулся к Чендлеру.

— Лучше ты сам ей скажи,— прошептал он, уставившись в пустой камин и опустив голову, словно в молитве.

— Клаймер начал процесс импичмента. Час назад он выступил с речью на заседании палаты представителей.

— Боже милостивый! — Киска больше не играла: теперь передо мной была лиса, попавшая в капкан и готовая ради спасения отгрызть собственную лапу.

— Будет суд сената,— сказал Чендлер.— Его уже не избежать. Но у них не хватит голосов, чтобы осудить нас.— Это «нас» прозвучало просто восхитительно.— Требуются голоса двух третей сената. К тому же немало сенаторов полагает, что нельзя предать импичменту и осудить человека, уже не занимающего должность.

— Господин министр, как все это отразится на предстоящих выборах? — Я исправно играл свою роль серьезного, но дружелюбно настроенного журналиста.

— Вполне возможно, что республиканская партия потерпит поражение,— безучастно отозвался Зах Чендлер.

Эмма сидела мрачная, как на похоронах. Я чувствовал себя предателем, потому что с каждым словом Заха Чендлера все ближе и реальнее становилось для меня президентство Тилдена.

Белнэп сел в кресло напротив нас. Мне было его искренне жаль. Он принял деньги за оказанные услуги, но у меня язык не поворачивается назвать его дурным человеком. Он просто жертва местных нравов; я имею в виду не столицу, но всю страну в целом — сильный, уродливый, клокочущий мир, главная заповедь которого — заколачивать деньги любой ценой. Конечно, будь правосудие беспристрастно, большая часть конгрессменов оказалась бы в тюрьме, а гостей на приемах миссис Астор заметно поубавилось.

Сам же Грант для меня по-прежнему остается загадкой; а то, что я услышал от Белнэпа, ее еще больше усложнило.

— Во время последнего разговора с генералом Грантом — когда все это уже началось — я сказал ему: «Какой длинный и странный путь мы с вами прошли, от Шайло и Виксбурга», а он ответил: «И конца ему пока не видно». Интересно было бы узнать, что он имел в виду?

3

Полночь. Эмма легла, а я должен еще разобраться в своих впечатлениях после вечера, проведенного в Белом доме.

Долгожданное приглашение наконец-то поступило — приглашение на обед в честь дуайена дипломатического корпуса барона Якоби, болгарского посланника.

— Не спускайте глаз с миссис Грант,— сказал Нордхофф, когда мы пили с ним персиковый сок с крем-содой в аптеке на первом этаже отеля.

— А что? Может вытащить бумажник? — Вот так мы говорим о наших правителях.

— Мне кажется, сегодня она будет не в духе. Днем она без приглашения явилась на заседание кабинета министров и, ко всеобщему замешательству, стала выгораживать свою подругу Киску и генерала Белнэпа.

Точно в семь часов наемная карета доставила нас с Эммой к Белому дому, где мы пристроились к длинной веренице экипажей, по очереди подъезжавших к портику, или веранде, как называет его миссис Грант.

— Прелестный дом,— сказала Эмма, когда мы вышли из кареты. Чернокожий привратник ввел нас в вестибюль, где собрались уже почти все гости, большей частью иностранцы; для Вашингтона это редкость.

Барон Якоби — приятнейший и умнейший человек; по-французски он говорит лучше, нежели по-английски. Эмма им очарована. Барон — холостяк; воспользовавшись тем, что президента еще нет и соблюдать протокол не обязательно, он взял Эмму под руку и повел ее в Восточную комнату.

Я следовал за ними, высматривая среди гостей знакомые лица (Блейн здесь, но Конклинга не видно; я раскланялся с Захом Чендлером и генералом Гарфилдом) и пытаясь определить, какие произошли перемены со времени моего первого и единственного посещения Белого дома сорок лет назад. Одного взгляда достаточно, чтобы убедиться: ничто не осталось нетронутым. Рука миссис Грант чувствовалась во всем, и это тяжелая рука. То, что раньше было светлым и воздушным (хотя довольно пыльным и запущенным), теперь стало темным, приземленным, оделось позолотой.

Восточная комната неузнаваема. Ряды приземистых деревянных колонн делят некогда прекрасную, просторную залу на три небольшие части. Обои темные с тусклым золотым узором. Мебель черного дерева отделана позолотой. Все вместе создает атмо-

сферу гнетущую, даже тревожную. Я определил бы этот стиль как готику à la Галина[1]. Надеюсь, Тилден пройдется топором по грантовским новшествам.

Рядом я увидел уже подвыпившего Блейна; лицо его раскраснелось, в глазах поблескивали огоньки свечей. Мы оба задержались в дверях, обозревая залу.

— Вы сейчас, вероятно, очень заняты, мистер Блейн? Нынешняя сессия конгресса такая напряженная.— Я не забывал о своих журналистских обязанностях.

— Занят? Только не я! — засмеялся Блейн.— У меня никогда не было так много свободного времени.

— Я вставлю это в свой следующий репортаж для «Геральд».

Пока мы говорили, Блейн то и дело ослепительно улыбался, пожимал кому-то руки, с кем-то раскланивался.

— Я рад, что вы не столь жестоки к нам, как этот неистовый Чарли Нордхофф. Демократам мало того, что они отобрали у нас палату представителей, они жаждут крови. Они идут за нами по пятам. А в ноябре попытаются прибрать к рукам и этот милый старый дом.— Размашисто жестикулируя, он несильно стукнул по плечу генерала Гранта, собиравшегося войти в залу. Блейн обернулся и широко раскрыл глаза, увидев, что ударил президента.

— Мой бог! То есть я хотел сказать: мой генерал. Простите, я вас не заметил.

— Ничего, мистер Блейн. Теперь модно нападать на президента без предупреждения.— Лицо Гранта сохраняло всегдашнее обиженно-изумленное выражение, но реакция его была молниеносной, а шутка — остроумной. Генерал за словом в карман не лезет. Как я и предполагал, он гораздо умнее, чем все думают. Однако меня удивил его голос — низкий, музыкальный и совсем не военный.

Гранты бок о бок прошествовали в другой конец Восточной комнаты, и мы выстроились в очередь, чтобы представиться им. Церемониймейстер, стоявший за спиной президента, шепотом называл ему наши имена. К моему удовольствию, первой из дам была представлена Эмма, поскольку маленький барон Якоби не отпускал ее ни на шаг, а он как почетный гость возглавлял шествие. Не имея ни титула, ни должности, я удостоился прикосновения к президентской руке одним из последних.

Вблизи замечаешь, что взгляд у президента по-прежнему острый, хотя голубые глаза ранних портретов уже слегка затуманились. Волосы, когда-то, должно быть, ржаво-рыжие, теперь почти совершенно седые. На щеке — крупная бородавка, рот и подбородок скрыты знаменитой, аккуратно подстриженной бородой.

Отмечу, что президент был в смокинге. Почему-то я ожидал увидеть его в мундире с доброй сотней медалей. Когда было названо мое имя, я понял, что ему отлично известно, кто я такой. Он нахмурился,— быть может, одновременно и улыбнулся, трудно сказать: рта не видно — и пробормотал нечто нечленораздельное.

Я подошел к миссис Грант. Джулия Дент Грант — небольшая, коренастая женщина, на вид довольно простая; глаза у нее слегка косят, что придает лицу какое-то озадаченное выражение.

— Я уже имела удовольствие познакомиться с вашей дочерью, княгиней, мистер Скайлер.— Держится она непринужденно, говорит немного в нос и с заметным южным акцентом.

— Мы весьма признательны вам за приглашение...— отвечал я учтиво и даже отчасти смущенно, чувствуя себя в этой зале чуть ли не предателем.

— Я знаю, что вы оба очень добры к моим друзьям — генералу и миссис Белнэп.— Это было сказано твердо и громче, чем следовало. Я посмотрел на президента. Он услышал и остался недоволен. Жестом всадника, бросающего вожжи лакею, он направил очередного гостя к миссис Грант, заставляя меня уступить ему место.

— Ты помнишь полковника Клейпула? — спросил президент, и полковник быстро оттеснил меня; миссис Грант его помнила.

Вот и все о моей первой встрече с самым знаменитым генералом в мире. Должен сказать, что Грант произвел на меня не такое сильное впечатление, как Эндрю Джексон, чью руку я пожимал когда-то в этой же самой Восточной комнате. Если Джексон был блистательный аристократ, необычайно довольный собой и своим местом в истории, то Грант — сплошная загадка. Всегда обиженное лицо и в то же время уверенный голос, быстрые, умные глаза, одновременно притягивающие и отталкивающие,— несомненная печать военного гения, который почему-то не превратился в политический, как

[1] Галина — городок в штате Иллинойс, где Грант в юности работал в отцовском магазине скобяных товаров.

должно было произойти: ведь генералы, вопреки распространенному мнению, просто по характеру своей профессии отлично разбираются в политике.

После обеда меня разыскал барон Якоби и заговорил со мной по-немецки:

— Я прихожу в отчаяние при мысли, что ваша дочь и вы, сэр, не намерены навсегда остаться в Вашингтоне. Разумеется, я прочитал ваш очерк о последних днях императора Наполеона...— Уловив злые огоньки в глазах барона, я поспешил отвлечь его от опасной темы.

— Абсолютная дребедень,— сказал я.— Но одним журналом «Нэйшн» сыт не будешь.

Нас прервал добродушный Блейн:

— Что за странный язык я слышу?

Барон Якоби перешел на английский.

Но тут его окликнули, и мы с Блейном остались вдвоем.

— Как, на ваш взгляд, будет проходить предвыборная кампания? Вокруг чего развернется основная борьба... генерал?

Блейн комично хмыкнул:

— Какой я генерал, мистер Скайлер! Во время Гражданской войны я издавал газету «Кеннебек джорнэл» — поддерживал зажигательными статьями дело Союза штатов и боевой дух наших бравых парней в синих мундирах.

При слове «Кеннебек» я вдруг вспомнил рассказы Аарона Бэрра об экспедиции Бенедикта Арнольда в Канаду во время революции[1]. Я сказал об этом Блейну. Он оживился:

— Столько легенд ходит о генерале Арнольде! И об Аароне Бэрре, который был рядом с ним. Вы ведь, кажется, протеже полковника Бэрра? — Вежливый эвфемизм, часто употребляемый в печати. Я утвердительно кивнул и тут же снова заговорил о выборах.

— Разумеется, ваш дружок Тилден поднимет шум по поводу коррупции в Вашингтоне, и после недавних скандалов с Бэбкоком, Скенком, а теперь с Белнэпом у него есть шансы набрать несколько очень важных очков. Но едва ли коррупция серьезно волнует наших избирателей.

— Что же их волнует?

Блейн кивнул в сторону президента — пленника своего высокого поста, пленника гостей, жаждущих общения с ним.

— Южане боятся северян. Северяне питают отвращение к южанам.

— Но ведь война кончилась десять лет назад. Есть и другие проблемы. Реформа гражданской службы...

Меня прервали вежливо, но решительно:

— Американцы голосуют только против того, что вызывает их страх, что они недолюбливают. И поскольку тех, кто отвергает Юг, больше, нежели тех, кто боится Севера, мы победим, как обычно,— конечно, если все слегка поостынет.

— Новых скандалов не будет?

— Не слишком много.— Блейн улыбнулся, но его черные блестящие глаза смотрели настороженно.— Кроме того, если вашего друга губернатора Тилдена выдвинут, боюсь, ему до самых выборов придется давать разного рода объяснения. Он ведь был адвокатом железнодорожных компаний, а не учителем воскресной школы.

Однако это интервью с возможным следующим президентом вызвало у окружающих ревность, и Блейна увели.

Я увидел Гарфилда, который пробирался к президенту, и поздоровался с ним. Красивое лицо Гарфилда просияло, и он сжал мою руку. У него искривленная рука, поэтому, когда с ним здороваются, он медленно, но сильно тянет человека на себя, слегка его при этом поворачивая.

Кстати (почему «кстати»?), я совсем забыл, что сегодня мне исполнилось шестьдесят три года. Эмма тоже не вспомнила. Мне не по себе при мысли, что я намного старше лидеров этой страны. Гарфилду, Блейну и Конклингу чуть больше сорока, каждый из них годится мне в сыновья. Великий полководец генерал Грант десятью годами меня моложе, и все же в его мрачном обществе я чувствую себя мальчишкой.

Беседа наша была краткой. Гарфилд любезно принялся меня представлять, но президент решительно прервал его:

— Мы уже имели честь.

---

[1] Эпизод романа Г. Видала «Бэрр».

Прекрасный голос, никак не гармоиирующий с унылым и, откровенно говоря, глуповатым лицом, снова поверг меня в изумление.

— Быть может, вы читали в «Леджере» эссе мистера Скайлера о Наполеоне Третьем... — Гарфилд старался изо всех сил, но, видимо, это было лишнее.

— Величайшим человеком в Европе я считаю канцлера Бисмарка. Я бы хотел с ним встретиться.— Заявление поверхностное, но многозначительное: Бисмарк сокрушил императора и империю.

— Разумеется, канцлер отлично разбирается в целях и средствах власти.

— Значит, он одинок.— В центре бороды что-то шевельнулось; быть может, улыбка.

— Одинок, как человек, которому открыто то, что недоступно другим?

— Да, сэр.— На мгновение воцарилась тишина. Генерал Грант просто замолк. Рассказывают, что это его обычный прием: заставить собеседника обороняться, а себя самого избавить как от скучного разговора, так и от риска сболтнуть лишнее. Однако президент неожиданно заговорил, притом весьма гладко,— случай необычайно редкий, как позже заметил Гарфилд.

— Для меня смысл обладания властью заключается в том, чтобы выполнить возложенную на меня миссию — любой ценой сохранить Союз штатов.

— Итак, используя власть, вы достигли намеченной цели.

— Да, но когда война кончилась, наступила своеобразная пауза; трудно сказать, конец ли это. Борьба продолжается другими средствами.— Он повернулся к Гарфилду: — Не правда ли, генерал?

Гарфилд ответил президенту пространным монологом, из которого я не запомнил ни слова: я был всецело поглощен Грантом и не сводил с него глаз, будто надеялся разглядеть нечто — какую-нибудь магическую бородавку, которая помогла бы мне постичь этого человека.

— ...как в случае с Санто-Доминго.— Эти слова я расслышал, потому что они более чем неуместны в разговоре с Грантом.

Президент нахмурился:

— Сэр, у нас было полное право интервенции в Санто-Доминго. И если бы меня не остановил конгресс, сегодня этот остров принадлежал бы нам и процветал. В конце концов, их собственный президент просил нас вмешаться.

Для сведения (приписка задним числом): Нордхофф говорит, что в начале правления Гранта вездесущий Бэбкок вместе с продажным президентом Санто-Доминго разработал план аннексии этой страны Соединенными Штатами за кругленькую сумму, которая предназначалась президенту Санто-Доминго, Бэбкоку и (как уверяют политические противники) самому Гранту. Конгресс отказался платить, что привело Гранта в бешенство.

Осмелев от вина (и шестидесятитрехлетия: чего и кого мне бояться? Президента, который вот-вот станет бывшим?), я сказал:

— Я всегда удивлялся, сэр, вашей непоследовательности. В сорок седьмом году вы осудили войну с Мексикой, которая завершилась присоединением к Штатам мексиканских земель к северу от Рио-Гранде. А двадцать лет спустя вы хотели аннексировать Санто-Доминго, не спросив согласия народа этой страны.

Больше при Гранте меня в Белый дом не пригласят. Зато я избежал утомительных рассуждений о лошадях; многие вынуждены выслушивать их от этого хитрого, скучного (может быть, он не так скучен, как хочет казаться?) человека, который, по-моему, подобно первому Бонапарту, абсолютно аморален, но, в отличие от императора, отягощен пуританским пониманием греха и воздаяния. Это сочетание кого угодно может ввести в заблуждение.

Я удостоился пристального взгляда президента; глаза его внезапно вспыхнули от гнева. Гарфилд был явно обескуражен этим lése-majesté[1].

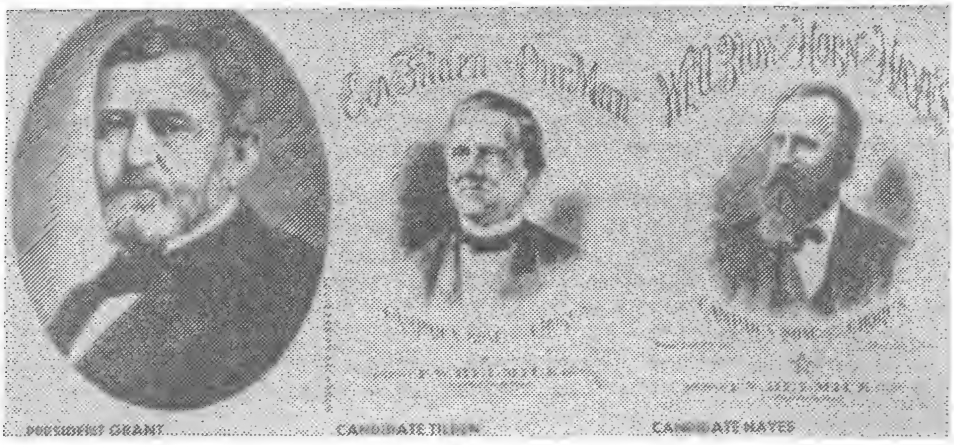
Наконец Грант ответил:

— Президент Мексики не просил нас присоединить часть своей страны к Соединенным Штатам. Президент Санто-Доминго предложил мне свою страну за справедливую цену. Желая купить этот остров, я сделал то же самое, что Джефферсон, когда он согласился купить Луизиану, или Джонсон, когда согласился купить Аляску.

Беседа закончилась. Президент прошествовал в Красную комнату, где царствовала миссис Грант.

---

[1] Оскорбление величества *(франц.)*.



Предвыборная кампания 1876 года. Президент Грант и кандидаты в президенты — Сэмюел Тилден и Резерфорд Хейс.

— Ну и ну! — Гарфилд сокрушенно покачал головой.— Вот уж не думал, что кто-нибудь скажет такое генералу Гранту, да еще в Белом доме.

— Это привилегия историка и человека преклонных лет, генерал.

К счастью, пока я наглухо закрывал для себя двери Белого дома, Эмма — для себя — распахивала их настежь. Миссис Грант восхищена ею, и скоро Эмма будет приглашена на дневной дамский раут.

— Миссис Грант рассказала мне, как ей удалось узнать, что Грант не станет добиваться переизбрания на третий срок.

Мы собирались ложиться, вечер подошел к концу.

— Из газет?

— Почти. В воскресенье днем она вошла к президенту. Гранта не было, зато были все члены кабинета; это показалось ей странным, потому что кабинет никогда не собирается по воскресеньям. Когда вошел президент, она спросила: «Улисс, что происходит?», и он ответил: «Подожди, я закурю сигару». Закурив, он сказал, что созвал министров и зачитал им письмо об отказе быть кандидатом в президенты. Пока она говорила с министрами, он отправил письмо. Она была в бешенстве. «Почему ты не прочитал его мне?» И он ответил: «Если бы я это сделал, ты никогда не позволила бы его отправить, а я не хочу оставаться здесь еще на четыре года». Миссис Грант безумно сердита.

Уже поздно. Я в изнеможении. Что касается генерала Гранта, то я понимаю его не лучше, чем до нашей встречи. Думаю, что он столь же продажен, как и его приближенные, иначе он не держал бы их возле себя. Конечно, я никогда не поверю обычному объяснению «стойких», будто Грант простак, не разбирающийся ни в людях, ни в политике. Он во всем отлично разбирается, но не любит ни того ни другого.

Глава седьмая

1

Сегодня утром Нордхофф принес мне в номер длинную телеграмму от Джейми, который требует от меня «огонька», «потому что вы чересчур холодны, ну прямо ангел-хроникер».

— Вот именно,— сказал я Нордхоффу.— Им я и пытаюсь быть. Писать с огоньком я предоставляю вам.

— Не обращайте на него внимания,— посоветовал Нордхофф. Я не видел его целую неделю после приема в Белом доме. Моя стычка с президентом его повеселила.

— Наверное, это первое политическое заявление, которое из него удалось выудить. Обычно он разглагольствует о войне, кто где был, когда и почему, или же о лошадях. Знаете, несколько лет назад Грант сказал генералу Шерману, что он специально хочет заняться лошадьми, потому что, «если вы сами не изобретете себе хоб-

би, журналисты выдумают его для вас, и вы окажетесь в безвыходном положении».

— А как насчет спиртного?

Нордхофф покачал головой.

— Во время войны, случалось, он неделями не просыхал. Но теперь знает меру, хотя несколько лет назад в Нью-Йорке на обеде с Джимом Фиском и прочими своими дружками он так напился, что сунул в рот сигару горящим концом и опалил бороду.

Пока я ожидал возвращения Эммы, которая отправилась с визитом к миссис Фиш (они уже знакомы, мне же встреча с государственным секретарем и его супругой еще предстоит), Нордхофф сообщил мне подробности очередного скандала:

— Младший брат президента замешан в деле Бэбкока. Его вызывают в комиссию Клаймера для дачи показаний...

— Он будет лгать?

— А как же! — Радость, вызываемая каждодневным разоблачением зла, сменяется у Нордхоффа мрачностью при виде низости разоблаченного зла. Поэтому стиль у него гораздо более живой, более журналистский, что ли, чем у меня. Я ищу равновесия, пытаюсь постичь истинную природу этих джунглей, он же смело ныряет в заросли, и их экзотическая флора и небезопасная фауна его поражает, ужасает и приводит в бешенство.

Гарфилды пригласили нас на пикник. День оказался отменным, и мы отправились на Рок-крик, очаровательную речку, извивающуюся среди лесов и поросших лавром холмов на окраине Вашингтона.

Гарфилды пригласили также барона Якоби и мадам Хосе Гарсиа. Эта удивительная особа — жена дипломата из Перу, дочь или племянница какого-то южноамериканского диктатора и к тому же автор бесчисленных романов, в том числе книжки «Любовь в пампасах», прескверного и чрезвычайно высокопарного сочинения, которым восхищалась Эмма, когда оно несколько лет назад вышло в свет. Мадам Гарсиа очень богата, невероятно полна, даже по снисходительным меркам этого тучного общества, и обожает всяческие развлечения.

Экипажи доставили нас на берег; там, под стройными деревьями, одевшимися новой зеленью, Лукреция Гарфилд и Эмма распаковали огромную корзину со съестным. Усевшись на поваленное дерево, мадам Гарсиа подставила свои многочисленные бриллианты (малый набор для пикника) свежему ветерку и лучам апрельского солнца, а сама тем временем принялась восторженно восклицать:

— Воздух! Как он свеж! Ах, какие забавные цветы! Посмотрите, барон, это примулы?

— Нет, дорогая. Это маки.

— Внемлите журчанию воды среди камней!

— Журчанию? — Барон Якоби бросил на меня быстрый взгляд хитрой ящерицы.— Я, конечно, знаю это слово, но слышу его в первый раз.

— Мы должны это отпраздновать.— Гарфилд откупорил бутылку вина, и мы все выпили за впервые услышанное «журчание».

— Ну право же, самое обычное слово,— сказала мадам Гарсиа, сверкая черными глазами.— Я встречаю его постоянно — в поэзии, разумеется, я ведь ничего другого не читаю. Мне кажется, что поэзия вдыхает в меня жизнь, учит ловить ускользающее мгновение! Извлекать из него наслаждение, одухотворенное божественным искусством.

Сочетание тонкого юмора барона Якоби с красноречием и возвышенностью мадам Гарсиа немало позабавило нас с Эммой, на что, очевидно, и рассчитывали Гарфилды. Потом барон задремал под теплыми лучами солнца, а мадам Гарсиа уткнулась в томик стихов и стала клевать носом. Эмма с миссис Гарфилд тихо что-то обсуждали,— несомненно, что-то очень важное. Я выжидающе посматривал на Гарфилда, понимая, что здесь ничего не бывает просто так и даже пикники устраиваются с какой-то целью.

— Не прогуляться ли нам?

Угнаться за Гарфилдом было нелегко, но я не отставал, хотя сердце мое гулко стучало и заходилось в груди. Красоты природы оставляют меня равнодушным; я убежден, что цветам надлежит стоять в вазе, а не расти на земле как попало.

Однако благодаря прогулке я чувствую себя лучше, а стоит мне закрыть глаза, я снова вижу яркие дрожащие блики солнечных лучей, пробивающихся сквозь

молодую листву и оттеняющих томную зелень низкорослого лавра. Кажется, я пишу теперь в стиле мадам Гарсиа. «Природа — это так прекрасно! Я ею просто упиваюсь!»— призналась она мне, давя камнем муравьев.

Мы уселись на торчавшие рядышком пни. Когда мы задымили сигарами, мой спутник начал медленно приближаться к своей цели.

— Я читал вашу последнюю статью...

— Нашли, наверное, массу ошибок?

— Всего одну, которая могла бы и не быть ошибкой, если бы...— Пауза.— Вы, кажется, абсолютно убеждены, что наша партия выдвинет Блейна кандидатом в президенты.

— Я полагал, что и вы того же мнения.

— Безусловно. Но... должен вам сообщить строго конфиденциально: назревает новый скандал.

— Связанный с Блейном?

Гарфилд кивнул:

— Не везет нам в последние месяцы.

— Быть может, ваша партия слишком долго находится у власти?

— Быть может. Хотя я не думаю, что вашему другу Тилдену удастся улучшить положение.

Гарфилд безразличен к тому, что сторонники реформ называют «честным правительством». Он лояльный член своей партии, его единственная отличительная черта — незапятнанная репутация. Если не считать малюсенькой промашки с Credit Mobilier, он не замешан пока ни в одном скандале (объективности ради я вынужден сделать это существеннейшее добавление — «пока»).

Наконец Гарфилд перешел к делу.

— Примерно семь лет назад, в бытность свою спикером палаты представителей, Блейн связался с неким Уорреном Фишером, бостонским подрядчиком, который должен был строить железную дорогу Литтл-Рок — Форт-Смит.— У Гарфилда на редкость упорядоченный ум; он сумел очень сложную историю изложить так просто, что даже я все понял... впрочем, до определенного предела (может быть, им же и намеченного).— Блейн был высокого мнения о Фишере и этой железной дороге. Поэтому он продал некоторое количество закладных своим друзьям.

— До того, как был избран в конгресс, или после? — Эта шуточка ничуть не развеселила моего собеседника, который отчаянно дымил сигарой и смотрел куда-то поверх моей головы, точно выискивая грозовую тучу в безоблачном небе.

— Блейн слишком добросердечен.— Ответ Гарфилда разминулся с моим вопросом.— К тому же его деловые качества оставляют желать лучшего. Так или иначе, вскоре после продажи закладных железная дорога практически обанкротилась.

— И закладные, которые он продал своим друзьям, превратились в клочки бумаги.

— Да. Но потом железную дорогу купили три другие железнодорожные компании, одной из которых была «Юнион пасифик».— Гарфилд произнес с видимой неприязнью имя своего единственного совратителя.— В результате закладные железной дороги мистера Фишера вновь выросли в цене. Однако некоторые полагают, что Блейн убедил три железнодорожные компании помочь Фишеру, чтобы спасти своих друзей.

— Не вижу тут большого греха,— сказал я, начиная различать смутные очертания знакомого вида коррупции.

— Я тоже. Скорее, наоборот. Блейн оказался в затруднительном положении, подвел своих друзей. Поэтому он решил спасти железную дорогу Фишера, в чем и преуспел.

— С другой стороны...— Я уже видел не смутные очертания, а очень ясные контуры.— ...Могут подумать, что Блейн оказал кое-какие услуги трем компаниям-спасительницам. Зачем бы иначе они стали выкупать никудышную железную дорогу?

— Отнюдь не никудышную, мистер Скайлер. Мне сказали, что Литтл-Рок нисколько не уступает любой американской железной дороге.

— Но вы полагаете, что враги используют эту сделку, чтобы опорочить Блейна?

Гарфилд бросил недокуренную сигару и вдавил ее каблуком в мягкую влажную землю.

— Да. И к тому же самым дьявольским способом. Они опубликуют эти обви-

нения накануне конвента республиканской партии в июне... так что, пока Блейн будет доказывать свою невиновность, конвент выдвинет другую кандидатуру.

— Сенатора Конклинга?

— Вероятно. Уж конечно, мы никогда не выдвинем Бристоу.

— Вы думаете, что за этими обвинениями стоит Бристоу?

— Кто же еще? Он отчаянно рвется к президентскому креслу. Что ж, он будет сильно разочарован. А пока...— Гарфилд умолк.

Наступила моя очередь. Я не заставил себя ждать и сделал именно то, чего от меня ждали.

— Вы считаете, что если я расскажу об этой истории в «Геральд», положим, на следующей неделе, то в распоряжении Блейна окажется почти три месяца, чтобы...

— С какой стати вы должны нам помогать, мистер Скайлер? Я знаю, что вы демократ и друг губернатора Тилдена. Однако я верю также, что вы справедливый историк и не захотите безучастно наблюдать, как великого человека... а я считаю Блейна великим... не только ложно обвиняют, но и не дают ему возможности оправдаться.

Мы вернулись к речке Рок-крик. Мадам Гарсиа декламировала стихи, ее мощный голос эхом отражался от скал и холмов. Вспугнутые птицы в листве деревьев встревоженно щебетали. Солнце внезапно скрылось за холмом, и голубые тени принесли прохладу.

— Пора ехать! — Лукреция Гарфилд, увидев нас, встала.— Я уже замерзаю.

— Какой прелестный пикник! — воскликнул Якоби. Он пристально посмотрел на нас с Гарфилдом.— Мне мерещится заговор, джентльмены.

— Сегодня же по трансатлантическому кабелю полетит шифрованное сообщение болгарскому правительству,— сказал Гарфилд.

— Не беспокойтесь, мой секретарь потерял шифр, и уже месяц я не посылал никаких донесений. Так что ваш заговор останется тайной. К тому же то, чего Балканы не знают, не может им повредить.

Затем мы разделились: мужчины сели в первый экипаж, дамы устроились во втором. Лукреция настояла на том, чтобы мужчины ехали отдельно, потому что «они будут дымить, как три паровоза».

Однако мы не курили. Мы говорили об истории. Гарфилд — страстный почитатель классиков. Барон Якоби классиков тоже читал, но рассматривает их сочинения не как историю, а лишь как беллетристику.

— Кто, скажите мне, верит хоть слову, написанному Юлием Цезарем? Эта «историйка» была просто-напросто трамплином в его политической карьере.

— Но если мы не доверяем тем классическим авторам, сочинения которых до нас дошли, то как мы вообще можем постичь историю? — Тема эта глубоко волнует Гарфилда.

— Я полагаю, генерал, что на это можно ответить очень просто. Мы не в состоянии по-настоящему постичь историю. Наверное, где-нибудь на небесах существует некая платоническая, идеальная история мира. Но то, что мы принимаем за историю, есть не что иное, как беллетристика. Не так ли, мистер Скайлер? Впрочем, зачем я вас спрашиваю, ведь вы же сами историк.

— Иными словами, беллетрист?

— Malgré vous! [1]

— Вы правы, барон. Абсолютно точной истории не существует. Когда я писал о парижских коммунарах — а я сам был очевидцем событий,— я убедился, что даже установить, кто кем был убит, не так-то легко.

— Но согласитесь, джентльмены, происходит процесс просеивания. Из множества противоречивых свидетельств иногда удается извлечь крупицу исторической истины. Мы знаем, что президент Линкольн был убит, а генерал Грант командовал армией Соединенных Штатов.

— Однако никто не знает ни под каким именем Ахилл прятался среди девушек, ни какие песни пели сирены. Да простит меня мистер Скайлер, но я истории предпочитаю литературу, особенно если герои и в самом деле некогда существовали, например Александр Македонский.

— Нет уж, увольте,— сказал я, подумав о романах Дюма; я их не выношу.— Мне всегда хочется знать правду, если это вообще возможно.

---

[1] Поневоле! *(франц.)*.

— Если и возможно, то только для самой исторической личности, которая чаще всего склонна ко лжи.

— А как же письма, дневники, газетные вырезки?..— возразил Гарфилд.

— Дорогой генерал, есть ли в Соединенных Штатах газеты, кроме «Нью-Йорк таймс» разумеется, чьим сообщениям вы верите?

Гарфилд оценил иронию и засмеялся:

— Ну, если будущие историки станут читать только «Таймс»...

— У них создастся впечатление — как, впрочем, и у болгарского посланника,— быстро добавил барон Якоби,— что администрация Гранта была выше всяких похвал и не знала даже такого слова, как «коррупция». А что касается писем и дневников, то разве кто-нибудь говорит о себе правду?

— Для меня вы чересчур циничны, барон,— заметил Гарфилд, сам человек столь же циничный, но на американский манер, более открытый и приятный.

— Я бы всех историков бросил в костер, кроме Скайлера и древнего баснописца Ливия...

— Как же тогда постичь прошлое?

— С помощью Данте, Шекспира, Скотта и других писателей.

— Но история Шекспира не всегда точна.

— Зато характеры его всегда правдивы. Впрочем, если вы хотите знать, какими на самом деле были Юлий Цезарь, Джеймс Блейн или наш очаровательный Джеймс Гарфилд,— посмотритесь в зеркало и внимательнейшим образом изучите то, что в нем увидите.

После ужина я рассказал Нордхоффу то, что узнал от Гарфилда.

— Неплохо придумано!

— Значит, Блейн оказал трем железнодорожным компаниям какие-то услуги?

— Услуги! Да он у них в кармане. И у Фишера в кармане. Когда Блейн продал своим друзьям все эти закладные на дорогу Литтл-Рок — Форт-Смит, Фишер преподнес ему в подарок закладные на отчуждение земель стоимостью сто двадцать пять тысяч долларов и упомянутые закладные дороги Литтл-Рок — Форт-Смит на пять тысяч долларов.

Еще я узнал, что Блейн использовал свое влияние для того, чтобы железная дорога Фишера получила от конгресса дарственную на важнейший участок земли.

— Гарфилд полагает, что за этим стоит Бристоу.

— Если Блейн будет уничтожен, то отнюдь не из-за Бристоу. Просто впервые за много лет большинство в палате представителей принадлежит демократам, и они жаждут крови.

— Выходит, Гарфилд хитрит — он хочет, чтобы я обнародовал сейчас эту историю, притом в его изложении.

— Да. Потому что тогда скандал разразится и утихнет до республиканского конвента в июне.

— Значит, я должен написать так, чтобы ублажить и Гарфилда, и Блейна.

— Да. А дальше вступаю я и день за днем буду сообщать убийственные подробности.

— Выходит, Блейну конец?

— По логике вещей — да, но он очень коварен и умен и пользуется здесь всеобщей симпатией.

— Так что же, позволим ему стать президентом?

— Думаю, что сие от нас с вами не зависит. Демократы выжмут из этой истории все возможное, и скорее всего — накануне конвента. Опубликовав статью сейчас, вы несколько облегчите его участь. Но полагать, что он будет президентом... ну, знаете ли, Скайлер...

— Да-да, знаю. Он чересчур продажен.

— Разве этого недостаточно?

— Для американцев, видимо, нет.

— Вы слишком жестоки к нам. Я хочу, чтобы эти выборы стали утренним горном. Чтобы все пробудились от спячки. И мы можем это сделать — вы, я и еще кое-кто.

— Что сделать? Историю? Но ведь истории не существует,— повторил я слова барона Якоби,— есть только беллетристика разной степени достоверности.

— О чем это вы?

— У нас с Гарфилдом был забавный спор об истории. Он уверял меня, что правду можно найти в старых газетах, письмах, дневниках, и тут же предложил мне написать в «Геральд» о Блейне, использовав его собственную лживую версию, состряпанную для печати.

— Но теперь вы знаете правду. А правда всегда выходит наружу.

— Дорогой Нордхофф, я знаю только то, что вы называете правдой. Но вы можете ошибаться. Вы считаете, что правда всегда выходит наружу? По-моему, вы заблуждаетесь. Впрочем, если вы и правы, кто может это доказать?

2

Джеймми Беннет телеграфировал мне: «Ваша статья о Блейне обеспечит выдвижение Конклинга и избрание Тилдена. Об этом говорит весь Нью-Йорк. Поздравляю». Пришло также весьма приятное длинное письмо от Джона Биглоу: «Час назад я был у губернатора, который читал вслух нескольким друзьям ваши удивительные и сокрушительные разоблачения Блейна. Губернатор доволен и очень вас хвалил. Конечно, мы немного опечалены, потому что рассматривали Блейна в качестве соперника, которого будет легко победить. Конклинга — несколько труднее, а труднее всего — Бристоу. Губернатор сказал: «Не думал, что ваш друг Скайлер станет создателем президентов!» Впрочем, подождем, что ответит мистер Блейн».

Когда Биглоу писал это письмо, мир еще не слышал ответа Блейна. Но сегодня, 24 апреля, затравленный колосс республиканской партии произнес в палате представителей одну из самых ярких речей в истории конгресса. Таково всеобщее мнение. Собственного у меня нет, потому что в это время дантист удалял мне коренной зуб. Голова все еще кружится от окиси азота, и правая щека чудовищно распухла.

Эмма была на Капитолийском холме с Нордхоффом; после речи Блейна они пришли проведать меня. Я сидел, вернее, возлежал в кресле-качалке. Нордхофф сразу же устроился за письменным столом и принялся строчить отчет в завтрашний номер «Геральд», а Эмма описала мне триумф Блейна.

— Он был неподражаем, папа! — начала она возбужденно.

— Ну и словечко! — сказал Нордхофф, продолжая писать.

— Он в самом деле был неподражаем! Публика просто обезумела. Там были все...

— Кроме меня,— прошамкал я, еле ворочая языком.

— У него дрожал голос. Один раз он даже разрыдался...

— Как актер,— заметил Нордхофф.— Плохой актер.

— Меня он убедил,— сказала Эмма и задумалась.— А если не убедил, то победил — не только меня, но всех нас. Ты не можешь себе представить, что делалось в зале! Все повскакали с мест, кричали «ура», размахивали платками! А женщины просто неистовствовали! — Эмма воспроизвела гнусавый, резкий звук, каким мои соотечественницы выражают свой восторг.

— Верю, он был великолепен.— Я вытер губы салфеткой, потому что мой рот все еще был полон слюны и крови.— Но что он все-таки сказал?

Нордхофф отложил перо.

— Почти ничего.

— А как же насчет обвинений, которые я... мы выдвинули? — Мне хотелось приписать смелое разоблачение Блейна себе, но, сделав над собой усилие, я признал соучастие Нордхоффа.

— Он зачитал письмо,— ухмыльнулся Нордхофф.

— Какое письмо?

— Письмо казначея «Юнион пасифик».— Нордхофф заглянул в блокнот.— Датированное тридцать первым марта. Казначей утверждает, что Блейн не получил от компании ни цента.

— А вы ждали чего-то другого?

— Остается только признать, что Блейн смел, а публика доверчива.

Нордхофф дописал отчет, отправил его на телеграф, затем вынес свой приговор:

— На сей раз Блейн улизнул.

— А я поступил опрометчиво? С нашей точки зрения? — Должен признаться, что я впервые в жизни откровенно наслаждался славой, обрушившейся на меня столь неожиданно. Вот уже две недели я известен всей стране как отважный и бесстраш-

ный журналист, разоблачивший темные махинации бывшего спикера палаты представителей. Куда бы я ни пошел в Вашингтоне, вокруг собираются самые знаменитые люди и уважительно внемлют каждому моему слову.

— Это только начало.— Взглянув на загадочное лицо Нордхоффа, я понял, что в скором времени нас ожидает новое убийственное разоблачение.

— Продолжение следует? — Эмма сгорала от любопытства.

— Да.— Я, насколько мне позволяла распухшая щека, тоже постарался придать лицу таинственное выражение.— Еще как последует.

Эмма, теперь преданная сторонница Блейна, посмотрела на Нордхоффа, потом на меня, потом снова на него, но мы были непроницаемы. В номер постучали, и посыльный вручил мне экземпляр вашингтонской «Ивнинг стар».

— Это вам, сэр.

— От кого? — Я дал ему монетку.

— Не знаю, сэр. Велено передать вам. Спасибо, сэр.

Месть Фэйст Снед, она же Фэй, оказалась подобной смертоносному мечу. С многочисленными звездочками, пропусками и прозрачными намеками она рассказывала о романтической связи к*** д'*** с б*** Я*** и о юном американском поклоннике, который, оставшись в Нью-Йорке, даже не подозревает, что он обманут этой ветреной француженкой.

Я проводил Нордхоффа до двери.

— Что дальше?

— В свое время я все расскажу. А сегодня вечером вы посетите стан врага. Это будет прелюбопытно.

— Мне трудно думать о Гарфилдах как о врагах. В конце концов, он мой преданный читатель.

— И к тому же соавтор.

Мы с Эммой опоздали к обеду; нас задержала тропическая гроза, внезапно разразившаяся над городом в час заката. Порывы ветра и ливень превратили немощеные улицы в вязкое болото; лошади спотыкались, кареты скользили, зонтики выворачивались.

Собралось около дюжины гостей, среди них внушающая мне благоговейный ужас необъятная мадам Гарсиа, которая принялась флиртовать со мной самым бесстыдным образом и при этом говорила по-французски с таким чудовищным акцентом, что я сбежал к барону Якоби. Барон заключил меня в объятия и воскликнул:

— Подумать только, мистер Скайлер, скоро и я буду называть вас «папочкой»!

Лукреция Гарфилд сочла эту шутку неудачной, но мы с Эммой остались довольны. Заметку Фэй, разумеется, прочитали все.

С очередным порывом ветра и раскатом грома в комнату, подобно дьяволу, ворвался Джеймс Г. Блейн и замер в дверях. Раздались аплодисменты; аплодировали все, кроме иностранцев — и меня. Великий человек с торжествующей улыбкой медленно шествовал по гостиной, принимая поздравления; когда он подошел ко мне, улыбка его стала веселой и заговорщической.

— Мистер Скайлер, сегодня утром я говорил исключительно для вас. Да, сэр, я обращался прямо к вам. Увидев вас на галерее для прессы, я сказал себе: если мне не удастся убедить Скайлера, который сидит там и скептически на меня смотрит, то мне лучше бросить политику и вернуться в Кеннебек.— Он выдержал эффектную паузу.— Каков будет ваш приговор? Откройте мне всю правду, даже самую страшную!

— Страшная правда, сэр, состоит в том, что во время вашего выступления я был у дантиста.

— Так это были не вы? — Пойманный на своей великолепной лжи, Блейн отреагировал не менее великолепно: — Значит, я обращался к вашему двойнику, поддельному Чарльзу Скермерхорну Скайлеру!

— Но все рассказывают мне, что ваша речь была из чистого, отнюдь не поддельного золота!

Впервые Блейн взглянул на меня с неподдельным интересом; очевидно, этот спектакль доставляет ему удовольствие и ему приятно сознавать, что его игра оценена. Быть может, Блейн и есть тот человек, который нужен стране и которого она заслуживает?

Гарфилд пребывал в эйфории. Он отвел меня в сторону и, глядя на меня своими прекрасными голубыми глазами, тихо произнес:

— Ваша статья отменно сбалансирована. Вы обнародовали обвинения, которые до сих пор были только слухами, и сделали это так, что Блейн сумел ответить своим врагам и оправдаться.

— Вы считаете, что можно ставить точку?

— Дело закрыто,— выразительно произнес Гарфилд.— Правда, демократы в палате говорят о расследовании, но они ничего не добьются. Я вам гарантирую. Чутье мне подсказывает, что весь этот шум скоро утихнет.

Разговор после обеда: американцы наперебой восхваляли Блейна в его присутствии, английский же посланник не знал, куда деваться, а барон Якоби все время был настороже. Не сомневаюсь, что сейчас, когда я пишу эти строки, атлантический кабель гудит от шифрованного балканского остроумия.

Я спросил Блейна, почему он столь неколебимо враждебен к Джефферсону Дэвису[1]— ведь офицеры армии конфедератов давно уже восстановлены в правах.

— Из-за Андерсонвилля, мистер Скайлер.— Его черные глаза сузились.— В этом лагере только по вине Джефферсона Дэвиса умерли тысячи наших парней. Он знал, в каком положении находятся пленные. И ничего не предпринял.

— Разве он один виновен в их смерти?

— Дэвис как президент Конфедерации распоряжался жизнью и смертью людей. И он выбрал для наших смельчаков смерть.— Блейн говорил с легкой хрипотцой, в груди его что-то клокотало; я понял, что в своей президентской избирательной кампании, которую можно считать уже начатой, он решил сыграть на враждебности северян к южанам, разжигая страсти военного времени.

Когда мы вернулись к дамам, Блейн сразу же подошел к Эмме.

— Но вас-то я уж точно видел на галерее!

— И наверняка слышали, как я приветствовала вас! — При появлении своего любимого африканского вождя Эмма даже зарделась.

— Знаешь, папа, он мне очень нравится.— Это она сказала уже теперь, несколько минут назад.

— Негодяй каких мало.

— Первый Наполеон и Третий тоже были негодяи. Вообще мир создан для негодяев, которые делают с ним, что хотят.

— По-моему, мы здесь засиделись. Ты на моих глазах превращаешься в африканку.

— Уже превратилась. Осталось только воткнуть кость в нос и стать людоедкой.— С этими словами Эмма отправилась спать.

Глава восьмая

1

Филадельфия, ночь с десятого на одиннадцатое мая. Я так устал, что еле держу перо. Эмма тоже в полном изнеможении, она ушла к себе. Ее номер в другом крыле гостиницы. Получить двухкомнатный номер не удалось. По правде говоря, если бы не поток настойчивых телеграмм от Брайанта, ночевать бы нам под открытым небом. Выставка Столетия открылась сегодня утром, и в городе не найти свободной комнаты.

Я первый раз в Филадельфии, но не стану сейчас описывать свои впечатления от старой столицы — скажу только, что если город чем-либо и замечателен, то разглядеть эти достоинства невозможно из-за сотен тысяч приезжих, которые превратили город в настоящий бедлам.

После бессонной ночи (судя по всему, стены в гостинице, как в японских павильонах на Выставке, бумажные) мы проснулись на заре, разбуженные кашлем, харканьем, стонами, зевками наших соседей и шумными семейными скандалами.

Когда мы встретились с Эммой в ресторане гостиницы, все места там уже были заняты этой кашляющей, стонущей, плюющей и зевающей публикой. Голодные и злые, потащились мы под теплым моросящим дождем на вокзал одной из трех новых железных дорог, соединяющих Филадельфию с Фермаунт-парком, где на двухстах акрах поднялся целый город. Тридцать восемь зарубежных стран, а также все штаты Союза

[1] Джефферсон Дэвис (1808—1889)— президент Конфедерации южных штатов.

построили здесь свои павильоны. Вокруг Выставки проложена еще одна железная дорога. Она... Нет, приберегу подробности для «Ивнинг пост».

— Похоже на Парижскую выставку.— Эмма в восторге от новых экзотических сооружений. Многие из них действительно экзотические: японские, турецкие, тунисские,— другие просто демонстрируют последнюю архитектурную моду.

Почетным гостям позволили пройти мимо тысячных толп, которые ждали очереди у турникетов. Мы, немногие избранные (числом около четырех тысяч), были впущены в южный вход главного павильона. Здесь каждому вручили схему трибун, устроенных перед Мемориалом с противоположной стороны Гранд-плаза, и мы увидели, что наши места точно позади президентской трибуны — все благодаря Брайанту.

Главный павильон занимает двадцать три акра; он построен из стекла, длина центрального нефа почти две тысячи футов. Если бы не громадные имперские орлы на постаментах и, конечно, экспонаты, можно было бы подумать, что находишься на самом большом в мире железнодорожном вокзале.

Вместе с четырьмя тысячами почетных гостей мы вышли из главного павильона через Северные ворота. Прямо над нашими головами оказалась временная эстрада, на которой разместился огромный оркестр и хор. За тенью от эстрады лежала Гранд-плаза — море вязкой глины, завершаемое Мемориалом и красно-бело-синими трибунами для почетных гостей.

К несчастью, в центре площади установлены две отвратительные скульптуры колоссальных размеров (для «Пост» я выскажусь тактичнее). Одна изображает Пегаса, другая — амазонку с конем. Эмма сказала, что это не лошадь, а скорее большая собака.

Как только мы добрались до своих мест, заиграл оркестр, и Гранд-плаза начала заполняться народом. Зрелище было довольно внушительное. Вдобавок мальчишки так облепили Пегаса и амазонку, что вскоре, слава богу, эти ужасные произведения искусства перестали портить мне общий вид.

Многие из почетных гостей, среди которых находились мы с Эммой, оказались настолько важными персонами, что даже мы битый час глазели на них, точно провинциалы, впервые попавшие в столицу. Дипломатический корпус, прибывший в полном составе из Вашингтона, сверкал золотыми лентами и орденами. Барон Якоби в мундире, очень похожем на мадьярский, помахал Эмме отороченной мехом фуражкой. Были здесь также члены Верховного суда, лидеры конгресса, генералы и адмиралы. Самые важные персоны явились с запозданием — мы уже заняли свои места, а публика притихла в ожидании.

— Настоящий театр! — Эмма была в восторге. Особенно когда под звуки какого-то военного марша (разумеется, не «Маршируя через Джорджию») появилась прямая фигура генерала Уильяма Текумсе Шермана[1] Сопровождаемый свистом и криками, генерал прошествовал к пустой президентской трибуне. Как и многие наши воины и государственные деятели (особенно первых лет республики), Шерман рыжеволос. Раздались аплодисменты — публика приветствовала генерала Филипа Шеридана и тут же следом — какого-то приветливого человека в сюртуке. Я спросил своего соседа (члена Верховного суда Пенсильвании), кто этот штатский.

— Министр финансов Бристоу.— Сосед мой, очевидно, принадлежал к «стойким» республиканцам; он не аплодировал.

Бристоу вначале приветствовали не слишком охотно (внешне он не производит особого впечатления, хотя держится так, словно уверен в своем великом будущем). Зная, что он гораздо менее знаком публике, чем прославленные военачальники, Бристоу в ожидании остановился перед нашей трибуной. И вот по огромной, до отказа заполненной площади прошелестело многократно повторяемое имя. Мужчины в черных парадных сюртуках и женщины в ярких шляпках передавали его имя из уст в уста, оно звучало все громче и громче. Люди, стоявшие рядом с Бристоу, зааплодировали; аплодисменты стали расходиться концентрическими кругами, и когда они захватили уже всю площадь, Бристоу повернулся к народу (своему будущему народу?), снял шляпу, поклонился и занял свое место на трибуне среди членов кабинета. Эмму это зрелище очень позабавило.

— Кажется, многие министры совсем не в восторге. Посмотри на Фиша. По-моему, он спит.

---

[1] В годы Гражданской войны войска северян под командованием генерала Уильяма Шермана (1820—1891) осуществили марш к морю через Джорджию, чем положили конец сопротивлению южан.

— В год выборов все политики видят сладкие сны.

Затем на Гранд-плаза появился Джеймс Г. Блейн, оседлавший громы оваций, как необъезженного мустанга. Размахивая шляпой, он поворачивался налево и направо и усмехался. Нет никакого сомнения в том, что его связывают с публикой крепчайшие узы.

— Он мог бы продать Белый дом какому-нибудь спекулянту,— сказал я неожиданно для самого себя,— положить в карман выручку, и люди все равно стали бы ему аплодировать.— Наглость этого человека действительно восхищает.

— Потому что он один из них. Они сами поступили бы точно так, если бы у них хватило смелости, но они боятся, потому что их поймают, а его не поймают никогда! — сказала Эмма, не спуская глаз с Блейна и не замечая лукавых взглядов, которые бросал на нее барон Якоби.

Затем появился император Бразилии Дон Педру с супругой. Этот эксцентричный господин с белыми усами и эспаньолкой, похожий на постаревшего Наполеона III, некоторое время пребывал в Вашингтоне инкогнито; когда на него обращают внимание, он приходит в ярость, но если его не принимают, как того требует его титул правителя самых обширных джунглей в мире, он злится еще больше. Дон Педру — единственный глава зарубежного государства, осчастлививший выставку своим посещением, поэтому толпа одобрительно гудела, приветствуя его величество. Император обожает науки и большую часть дня испытывал телефон — новое изобретение, с помощью которого люди, разделенные многими милями, могут переговариваться между собой. «Он говорит!» — не переставая, кричал Дон Педру.

Оркестр под управлением Теодора Томаса исполнил национальные гимны тринадцати стран. Измученные чрезмерным патриотическим пылом, мы оказались не готовы к следующему номеру программы маэстро Томаса — «Большому торжественному маршу», специально для этого случая написанному Рихардом Вагнером.

— Поразительно! — воскликнула Эмма.— А что, американских композиторов не существует вовсе?

— Приличных, видимо, нет.— Будучи приверженцем новой музыки, я нахожу, что комитет по празднованию Столетия поступил умно и довольно-таки смело, обратившись к Вагнеру, а не к какому-нибудь местному сочинителю религиозных гимнов. Эмма предпочитает Оффенбаха.

С первыми тактами вагнеровского марша показалась президентская чета. Две крошечные фигурки со свитой проследовали к трибунам, и я несколько удивился, что президент вышел под звуки марша и потому не удостоился оваций, которыми встречали других великих людей. Но скоро мне стало ясно: тот, кто ставил весь этот спектакль, отлично знал, что делает.

Когда оркестр замолк, а президент и его свита уселись, поднялся епископ и начал говорить — длинно, как и положено епископу. Этот святой человек возблагодарил мир, коммерцию и бога — именно в таком порядке. После этого хор громко исполнил оду на слова американского поэта Дж. Г. Уитьера, который благочестиво выразил надежду на то, что Америку ждет светлое будущее.

Затем речи произнесли глава комитета по празднованию Столетия и неизвестный мне генерал. Затем нам пришлось выслушать чью-то длиннющую поэму под названием «Кантата». Читали ее ужасно, и, кроме меня, никто, наверное, не понял ни единого слова. Я же вследствие какого-то акустического эффекта слышал все. Разумеется, поэт превозносил Соединенные Штаты и тоже выразил надежду на светлое будущее.

— По крайней мере, в Америке есть поэты,— сказал я Эмме; она вздохнула.

Время близилось к полудню. Измученные жарким солнцем, запахом множества важных персон, плотно стиснутых на трибунах, назойливой музыкой, поэзией и красноречием, мы все стали потихоньку сникать.

Затем тот же генерал (надо узнать его фамилию — я куда-то задевал программу) произнес еще одну речь — тоже очень длинную,— в конце которой предоставил слово президенту.

Генерал Грант поднялся. С наших мест над президентской ложей мы отлично видели его спину. Он медленно шел к трибуне. Сейчас все прошлые проявления восторга померкнут, подумал я.

Теперь Грант был отлично виден толпе. Он остановился. Глаза его были устремлены прямо в толпу. Он ждал. Но ничего не последовало. Тишина, мертвая тишина встретила героя Виксбурга и Шайло, спасителя Союза, дважды избранного президентом

Соединенных Штатов. Я увидел, как миссис Грант повернулась к своему соседу; даже на таком почтительном расстоянии было заметно, что она растеряна.

Во время затянувшейся паузы президент просто стоял, сжимая в руке листки с речью. Кто-то выкрикнул приветствие, затем послышалось еще одно, но тут же опять воцарилась тишина.

Наконец Грант начал читать речь своим звучным благородным голосом; речь была изящная, милосердно краткая и на удивление скромная — большая редкость для этой самовлюбленной страны. «Гордясь достигнутым, мы сожалеем, что не достигли большего». Должно быть, эти слова огорчили публику, привыкшую к восхвалениям; когда президент кончил говорить, тишина, которой его встретили, сменилась неодобрительными криками, свистом и гиканьем.

Эмма удивленно на меня посмотрела.

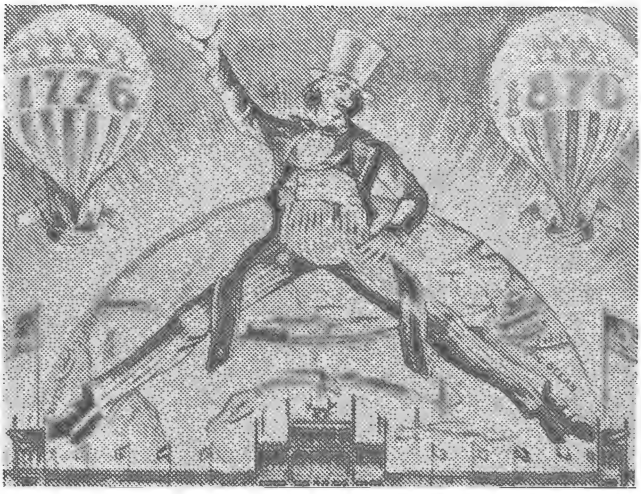
— Они им недовольны?

— Похоже на то.

— Но ведь он их герой!

— Здесь никто долго не остается героем. Будем надеяться, что следующим станет губернатор Тилден.

Переговариваясь с Эммой, я бросил взгляд на генерала Гранта, который уже собирался вернуться на свое место. Гости на трибуне для очень важных персон бурно ему аплодировали. Император Бразилии, точно ковбой, размахивал шляпой. Однако лицо Гранта по-прежнему оставалось суровым. Генералу только что весьма наглядно продемонстрировали, что он потерял поддержку народа, некогда его боготворившего, и всякую надежду задержаться в Белом доме еще на один срок. Его время истекло.



На выставке Столетия США в Филадельфии. Один из экспонатов и плакат.

Прогремел салют из тысячи орудий, и над площадью взмыл громадный американский флаг. Оркестр и хор оглушительно громко исполнили «Аллилуйя». На этом церемония открытия закончилась.

Вслед за президентской группой мы направились в павильон машиностроения, который, как выяснилось, не уступал размерами главному павильону. В центре его находилось нечто громадное, именуемое двигателем Корлисса. Я пока еще не выяснил назначение этой машины, сделанной из какого-то темного, тускло поблескивающего металла, но размеры ее впечатляют: она в шесть раз выше человеческого роста.

Генерал Грант занял почетное место у основания машины, бразильская императрица опиралась на его руку. Мрачная миссис Грант стояла под руку с императором. На лице генерала Гранта было обычное изумленно-равнодушное выражение.

Бразильский император довольно глупо и уж во всяком случае бестактно махал шляпой. Делал он это чаще, чем следовало, усугубляя неловкость ситуации: публика приветствовала его, а не президента.

По сигналу служащего выставки президент и императрица направились к какому-то небольшому механизму. Президент вежливо повернулся к императрице, что-то сказал ей, и она весьма решительно нажала кнопку. Громадный двигатель заработал — правда, без видимой практической цели. Это вызвало новые приветственные возгласы, новые взмахи императорской шляпы, новые гримасы миссис Грант.

Затем, подобно морю, отхлынувшему от некоего механического или «автоматического» (неологизм!) берега, мы, почетные гости, вышли из павильона, оставив в его стенах всю свою исключительность, и присоединились к простому народу, среди которого неожиданно оказались супруги Сэнфорд, со скучающим видом осматривавшие павильон штата Пенсильвания.

Дениз и Эмма обнялись, как сестры после многолетней разлуки. Мы с Сэнфордом обменялись рукопожатиями, временно забыв — ради дам — о нашей взаимной неприязни. Видимо, Сэнфорды тоже были на трибуне для почетных гостей.

Я спросил Сэнфорда, где они остановились.

— В нашем вагоне,— сказал он таким тоном, точно речь шла о чем-то само собой разумеющемся. Я даже не сразу понял, что́ он имеет в виду. Как и многие другие магнаты, не сумевшие найти себе приличное жилье в переполненном городе, Сэнфорды предпочли ночевать в собственном железнодорожном вагоне.

— Наш адрес — вокзал на Бродстрит,— сказала Дениз.— Рядом с почтой.

Не без смущения мы отправились на вокзал в вечерних туалетах («Я даю обед в честь сенатора Конклинга,— сказал Сэнфорд.— Вы оба должны прийти»). На боковой ветке мы нашли сверкающий, богато отделанный вагон Сэнфордов.

— Как это странно — обедать на вокзале.— Эмма была в отличном настроении. Мы оба радовались новой встрече с Дениз, которую давно не видели такой радостной и счастливой.

Чувствуя себя несколько скованно, мы вошли в узкий и длинный салон железнодорожного вагона (как будто он мог иметь другую форму). Гости уже собрались. Сенатора Конклинга среди них не было.

— Он нас покинул,— холодно сообщил Сэнфорд.— Сегодня прием в честь президента, и он счел своим долгом быть там.

Нас прекрасно обслуживали два чернокожих официанта. Если бы вагон время от времени не подергивался, могло бы показаться, что мы находимся в обычной нью-йоркской обеденной зале, которой почему-то придали столь необычную форму.

После обеда я разговорился с Дениз. Мы уселись на маленьком диванчике. Остальные гости предпочли стоять. Вообще было такое ощущение, что сейчас войдет кондуктор и потребует билеты.

— Эмма сказала, что она приедет в Ньюпорт в июне, если вы не станете возражать. Значит, я просто обязана добиться от вас согласия. Я пущу в ход любое оружие.

— Но в июне я буду в Вашингтоне, а потом, видимо, отправлюсь в Цинциннати на конвент...

— Неужели вы потащите Эмму с собой в Цинциннати? Это очень жестоко. К тому же Вашингтон в июне все равно что Каир в августе. Почему бы Эмме не остановиться у меня в Брунсвике? Вы поедете в Вашингтон, а она останется со мной, пока не определятся ваши дальнейшие планы.

— Если она захочет, то почему бы...

— Захочет, конечно захочет! — Дениз просияла от счастья. Я поискал глазами Эмму, однако в салоне ее не было.

Увидев, что я озадачен, Дениз положила свою руку на мою.

— Эмма с Биллом. В кабинете. Не волнуйтесь. Мы знаем, что делаем.

— Хотел бы я знать, что вы обе затеяли.

Дениз предложила мне заглянуть в кабинет.

— Как бы случайно, конечно. Посмо́трите на заговорщиков.

Я подошел к двери, обтянутой красным бархатом, стараясь в тесноте не отдавить кому-нибудь ногу.

За дверью оказался крошечный кабинет, почти весь занятый столом красного дерева, за которым как бы на председательском месте восседала Эмма; она смотрела на Сэнфорда серьезно, нахмурившись. Он сидел напротив Эммы, спиной ко мне.

— Вы уверены, что это сработает? — с сомнением спросил Сэнфорд.

— Совершенно уверена.— Голос Эммы звучал твердо. Заметив меня, она с улыб-

кой сказала: — Папа, мы делаем президентов.— Сэнфорд обернулся и вскочил на ноги. Вид у него был возбужденный.— И кандидатов в президенты,— добавила Эмма.

— Ваша дочь хочет, чтобы я занялся политикой.

— Только потому, что сама не имею такой возможности! — Эмма встала.— Отстранение женщин от политики — это вопиющая несправедливость.— Говорила она вполне серьезно; к моему удивлению, Эмма заразилась африканской лихорадкой, как Блейн и все прочие.

По дороге в нашу жалкую гостиницу я узнал подробности заговора, задуманного Эммой и Дениз.

— Я сказала Сэнфорду, что он должен работать на Блейна. Я обещала, если потребуется, вывести из игры сенатора Конклинга.

— Историей с Кейт?

— Да. Она о многом мне рассказала на улице Дюфо.

Я был шокирован.

— Папа,— твердо сказала Эмма.— Сенатор Конклинг тебе не нравится. Кейт не моя подруга. А я ничего не могу поделать со своей страстью к Блейну. Так почему же не привлечь Сэнфорда? Вообще-то мне все это безразлично. Важно удалить его из Ньюпорта на июнь, пока я буду там.

— А ты коварна, Эмма.

На ее лицо упал свет ярких огней летнего театра; она улыбнулась и сжала мне руку.

— Не волнуйся, папа. Твой губернатор Тилден должен побить моего Блейна.

— Жаль, что ты не можешь заняться политикой.

Эмма засмеялась:

— Я, наверное, была бы такой же идиоткой, как наша императрица.

— А что же Джон?

Ответ последовал мгновенно:

— Он с такой же легкостью сможет навещать меня в Брунсвике, как и в «Пятой авеню».

— И в Ньюпорте?

— Дениз пригласит его. Она сказала: «Я буду твоей дуэньей». Это удивительная женщина, папа. Нам так повезло.

2

Мой очерк о выставке Столетия наконец закончен и набран. Сделать это было нелегко, потому что Брайант до сих пор остается таким же упрямым редактором, каким был в годы моей юности.

— Послушайте, Скайлер, нельзя же считать Клеопатру лучшим экспонатом выставки. Все кругом говорят, что это безвкусица.

Я воспел поразительную восковую фигуру Клеопатры, выполненную в натуральную величину. Царица возлежит в лодке; на восковой руке — чучело попугая, который хлопает крыльями через равные промежутки времени. Нил изображен в виде змеи, головы розовых купидонов поворачиваются слева направо, а их возлюбленная моргает глазами, как это бывает на ранней стадии глаукомы, а вовсе не от страсти.

Брайант заставил меня выкинуть несколько звучных эпитетов и всю иронию. В то же время ему показался очень интересным мой рассказ о том, как толпа встретила появление Гранта, Бристоу и Блейна.

— Мы увидимся завтра в вашей гостинице,— сказал он, почесывая ухо кончиком гусиного пера.— Кроме меня будет еще несколько... достойнейших либеральных республиканцев. Мы хотим спасти репутацию нашей бедной страны.

— Это легко сделать, проголосовав за другую партию.

Брайант вздохнул и, немного помолчав, сказал:

— Знаете, Тилден — один из моих самых дорогих и старейших друзей.

— Однако вы не можете отдать ему свой голос.

— Что значит «не могу»? — рассердился он.— Я просто не доверяю его партии. И хотел бы вдохнуть жизнь в партию республиканцев.

— При помощи Бристоу?

— Многие из нас предпочитают его другим кандидатам. Но Бристоу согласен баллотироваться только от республиканской партии. Он никогда не выдвинет свою

кандидатуру в качестве независимого. Бристоу из Кентукки, а в этом штате, говорит он, живут лояльные республиканцы.

— Честные республиканцы?

— Какой ужас, Скайлер! Ведь мы теперь требуем от президента только одного: чтобы он не крал.

— Как же мы дошли до жизни такой?

— Война.— Он ответил быстро, как будто давно все продумал.— Подавление бунта стоило кучу денег. А где тратят много денег, там неизбежно возникает коррупция. Да и железные дороги внесли свою лепту. Драка за государственные субсидии, за земли для прокладки дорог, за голоса конгрессменов. Только сильная личность способна противостоять искушению.

— Вот вы, например, отказали Твиду.— Не знаю, с чего это я заговорил с ним так бестактно, даже жестоко. Может быть, я до сих пор не могу простить ему надругательство над моей Клеопатрой?

— Я не вступал в сделку с Твидом.— Он отвечал гладко, но туманно. Брайант недаром уже полвека на общественном поприще, его на испуг не возьмешь.— Кажется, один раз «Пост» получила какие-то деньги от муниципалитета. Но когда ваш друг Нордхофф обрушился в нашей газете на шайку Твида, я нисколько ему не мешал.

— Но почему же вы его уволили?

— Совсем по иным причинам. Он превосходный журналист, и я восхищаюсь вами обоими за все, что вы сделали для изобличения Блейна. Вообще-то...— и так далее.

Другой мой редактор больше мне по вкусу. В пять часов я встретился с Джейми в баре Хоффмана, самом большом баре Нью-Йорка, излюбленном месте встреч элегантных политиканов и франтоватых магнатов.

До прихода Джейми я обследовал длинный стол, на котором выставлены самые изысканные закуски, входящие в меню бесплатного завтрака. С тарелкой салата из омаров, ничуть не хуже того, что подают у Дельмонико, и стаканом мятного джулепа я в отличном настроении расположился за маленьким столиком; зал тем временем постепенно заполнялся тучными бюргерами.

В состояние, близкое к эйфории, меня привело успешное посещение магазина Королевских гаванских сигар, куда я отправился сразу после встречи с Брайантом. Быть может, все дело в прекрасной весенней погоде, но я снова чувствовал себя молодым репортером, хотя дыхание у меня еще затруднено; здравый смысл мне подсказывает, что рано или поздно это пройдет само собой — как, впрочем, и все остальное.

Джейми был относительно трезв и необычайно доволен собой и мною. Пока он тряс мою руку, подобострастный официант поставил перед ним бокал «адской смеси».

— Вот уж не думал, Чарли, что вы окажетесь таким триумфатором!

— Вы мне льстите...— сказал я мрачно.

— Отнюдь нет. Вы всегда писали чересчур серьезно. Как... историк.— Он произнес это слово с нескрываемым отвращением.— А историкам вечно не хватает огонька. Но когда вы взялись за Блейна... Вы выкурили его из норы, как опоссума. Теперь он у всех на виду.

— До некоторой степени.

Джейми хмуро посмотрел на бокал, который только что был полон до краев, а теперь непонятным образом опустел.

— В Вашингтоне вы оказались на месте. Когда вы собираетесь туда возвращаться?

— Джейми, мы же договаривались о шести очерках...

— Чарли, я удваиваю гонорар, хотя он и без того непомерно высок.

— Мальчик, от твоих слов у меня голова идет кругом.

— Вы должны вернуться в Вашингтон до конца месяца. А потом отправляйтесь на республиканский конвент в Цинциннати.

— Я слишком стар для Цинциннати. Пошлите Нордхоффа.

— Не могу. Он поедет на Юг, будет писать о хлопковых штатах. А вы напишите об индейцах.

Я кивнул, потому что мне послышалось — «об африканцах»; но тут я вспомнил, что Джейми не знает нашей шутки.

— Да разве о них что-нибудь можно написать?

— Они там, Чарли.— Джейми показал куда-то в сторону Мэдисон-сквер.— Дикие

и жестокие. Они ненавидят белого человека. Цивилизацию. После Цинциннати вы поедете поездом в Чикаго, а оттуда...

— Дорогой Джейми, у меня нет ни малейшего желания видеть индейцев и твой Запад тоже.

— Но в Цинциннати вы едете. Решено.— Кое-как он уговорил меня в конце мая вернуться в Вашингтон, а затем, во вторую неделю июня, отправиться в Цинциннати на конвент республиканской партии.

— А потом я еду в Ньюпорт. Довольно с меня журналистики.

— Но вы ведь, конечно, захотите посмотреть, как будут выдвигать кандидатуру вашего друга губернатора Тилдена в конце июня. И конечно, вы будете писать о выборах в ноябре. Вы совершенно уверены, что не хотите для разнообразия поглазеть на индейцев?

— Я еще ни в чем не был так уверен.

— Вы знали, что палата представителей расследует дело Блейна? — Джейми стремительно перескакивает с одной темы на другую. С ним надо быть настороже.

— Слышал. Демократы...

— Сегодня у них секретное заседание. Грядет расследование, как и по делу Белнэпа.

— У них есть серьезные доказательства?

Джейми кивнул.

— Не будь Марк Твен так богат, я бы послал на Запад его. Об индейцах он написал бы отменно. Показал бы всю их дикарскую сущность. Жестокость.— Джейми уже был пьян.— Но он поселился в Хартфорде. Вы можете это себе представить? С другой стороны, его последняя книжка не очень-то раскупается. Черт побери, попробую его уломать. А вдруг?

Сегодня Эмма совершила путешествие в Эпгарию, а я обедал у Джона Биглоу на площади Грамерси-парк. Стол был накрыт в кабинете, потому что Биглоу сейчас живет один; семью он отправил в загородный дом на Гудзоне.

Я жадно выслушал ставшие уже привычными похвалы моим статьям о Блейне и, скорчив загадочную нордхоффовскую гримасу, сказал:

— Скоро последует продолжение. Через две недели я возвращаюсь в Вашингтон.

— Буду ждать с нетерпением! Вот если бы теперь вы написали еще и про Бристоу...

— Боитесь честного соперника?

— Мы никого не боимся. Кандидатуру губернатора выдвинут, и он победит в ноябре значительным большинством. Но...— Биглоу нахмурился и уткнулся в тарелку.— У нас неприятности в штате Нью-Йорк.— Я не поверил своим ушам, но вскоре понял, что Биглоу не преувеличивает: нападки губернатора на «Таммани-холл» и в самом деле не прибавили ему популярности; особенно негодует лидер «Таммани-холла» некий Джон Келли, по ошибке прозванный «Честным Джоном». Келли грозится устроить скандал на конвенте.

— Я готов написать предвыборную биографию.

— То, что вы делаете сейчас, гораздо важнее.— Биглоу заинтересовало собрание двухсот либеральных республиканцев, которое идет сейчас в отеле «Пятая авеню». Среди них есть литераторы; это все сторонники реформ. Они должны принять декларацию, отвергающую «грантизм».— Однако они еще не готовы перейти на нашу сторону,— печально сказал Биглоу.

К несчастью, американские избиратели терпеть не могут реформ, порядочности на правительственных постах и воинствующей честности. Остается надеяться, что в этом году они увидят в Тилдене нечто зловещее, продажное, американское!

3

Восхитительный день отдохновения; он начался в полдень на Большом центральном вокзале на Сорок второй улице. Впервые я оказался внутри прижизненного памятника грандиозному мошенничеству коммодора Вандербильта; правда, в пользу старого разбойника говорит то, что пока он не создал с помощью воровства, насилия и обмана свою железнодорожную империю, пассажиру, следующему из Нью-Йорка в Чикаго, приходилось делать семнадцать пересадок. Теперь же, после безжалостного устранения конкурентов, население обслуживается куда лучше.

Не без труда я разыскал сэнфордовский вагон, где меня поджидали Дениз и Эмма (мой багаж заранее отправили из гостиницы).

Можно сказать многое о преимуществах богатства, особенно в этой стране. Я начинаю постигать истинный смысл памятных слов моего старого друга Вашингтона Ирвинга: «Всемогущий доллар». Заманчиво не только накопление громадных денег (предпочтительно незаконное, за счет всех прочих обитателей этой страны), но и тот ни с чем не сравнимый комфорт, какой они дают. Мы в Европе привыкли к великолепным домам, слугам, однако собственный железнодорожный вагон есть нечто такое, что доступно только императору. Здесь же это обычная вещь,— разумеется, в тех высоких сферах, где мы вращаемся!

Ровно в полдень мы почувствовали резкий толчок: нас прицепили к поезду. Как только миновали северные пригороды, перед нами открылась непередаваемо прекрасная панорама Гудзона; любуясь ею, мы сели за стол и неторопливо пообедали.

На перроне станции Райнклиф нас поджидал Уорд Макаллистер и двое слуг из асторовского поместья. В сюртуке и цилиндре Макаллистер выглядел удивительно нелепо на фоне зеленого сельского пейзажа. Торжественно, как посол, прибывший для вручения верительных грамот, он вошел в наш вагон и рассыпался в комплиментах:

— Какая изящная отделка! Какой вкус, миссис Сэнфорд! Несравненный вкус!

Макаллистер пощупал скатерть из брюссельских кружев и, судя по всему, остался ею доволен. Я подумал даже, что сейчас он возьмет серебряный кофейник и начнет искать пробу. Миссис Астор, заявил он по окончании осмотра, с нетерпением ждет нас; она счастлива, что мы рискнули предпринять это изнурительное путешествие ради того, чтобы погостить у нее в Фернклифе.

Вскоре мы уже карабкались по нескончаемым ступенькам (город Райнклиф расположен на горе); наверху нас поджидала асторовская карета.

Из окон Фернклифа сквозь листву деревьев открывался великолепный вид на поблескивавшую внизу реку, но, увы, и на железную дорогу тоже. Грохот поездов оглушает, и все эти магнаты, которые построили свои виллы над обрывом, вынуждены мириться с ужасающим шумом, как и те простолюдины, что живут в Нью-Йорке на Шестой авеню под воздушной железной дорогой. К несчастью, поезда коммодора Вандербильта ходят не только днем, но и ночью и упрямо (уж не по его ли приказу?) дают протяжный гудок возле самого Фернклифа. А в остальном это настоящая идиллия, которую нарушают лишь гости да наша хозяйка.

В доме кроме нас немало гостей. Я думаю, что мы уже со всеми встречались, и я, конечно, знаю их имена, но соединять имена и лица — дело не из простых. Например, Стайвезент представлялся мне тучным, розовым и курносым, а оказался тощим старикашкой, похожим на итальянца, и так далее. Асторовские соседи, которые время от времени нас навещают, гораздо интереснее, чем гости Асторов и сама Таинственная Роза, по чью левую руку я сидел в первый вечер за ужином.

— Не могу понять, как все это случилось,— начала она in medias res.[1] — Мне нравится и всегда нравился Джеймс Ван Аллен.

— Джеймс Ван Аллен — достойнейший человек,— с готовностью согласился я, хотя и не понимал, куда она клонит.

— Люди так беспардонны.

— Готов подтвердить.

— Обожают сплетни.

— Еще как!

— Они лгут, мистер Скермерхорн Скайлер.

— Конечно, лгут, к тому же без всякой на то причины.

Она нахмурилась.

— Между моим мужем и семьей Ван Аллена нет и не было никаких недоразумений.

— Полагаю, что нет.

— Мы одобряли этот брак.

— Естественно.

— Отнюдь не естественно! — Шея миссис Астор, увешанная крупными рубинами, вдруг на глазах порозовела.— Нашей Эмили еще рано было выходить замуж. Но она влюбилась. Девушки влюбчивы, мистер Скермерхорн Скайлер. Мы были рады, когда Джеймс Ван Аллен стал нашим зятем. А все остальное — сплошная ложь.

---

[1] Здесь: без предисловий *(лат.)*.

— Зависть, миссис Астор,— печально пробормотал я, преодолевая искушение похлопать ее по большой, в многочисленных бриллиантах руке.

— Мой муж никогда не говорил, что он против брака нашей дочери с сыном Ван Аллена.

— Конечно, он не мог такого сказать. Достойнейшая семья.

Это был новый просчет с моей стороны, и Роза немедля вонзила в меня шип.

— Думаю, что далеко не все с вами согласятся. Однако...— Громадная рука, покоившаяся на полированном столе красного дерева, сжалась в угрожающий кулак.— ...Не только мистер Астор не позволил себе подобного замечания, но и старый генерал Ван Аллен не...

В этот драматический момент внизу загрохотал поезд, хрусталики в люстре зазвенели. Приезжие гости замолчали, местные же продолжали говорить, не обращая внимания на протяжный заунывный гудок; именно так поступила миссис Астор, оставив меня в полном неведении относительно того, что сделал или чего не сделал генерал Ван Аллен, потому что, когда поезд прошел, она уже говорила с соседом справа.

После ужина Макаллистер объяснил мне, какой скандал разразился в марте, когда генералу Ван Аллену передали слова, будто бы сказанные Астором: «Ни одна из моих дочерей не выйдет замуж в эту семью!»

Когда Макаллистер удалился, ко мне подошла какая-то безумного вида особа и уточнила:

— Конечно, Билл Астор так и сказал. Он был пьян. Впрочем, как всегда. А генерал Ван Аллен вызвал его на дуэль. Но в последний момент дуэль отменили. Это было бы уж слишком!

Бракосочетание состоялось в церкви Благоволения и прошло вполне гладко. Однако в разгар свадебного торжества Астор куда-то исчез. Поэтому мы и развлекаемся в Фернклифе.

4

Неделя непрерывного чревоугодия и столь же непрерывных светских бесед; это трудно было бы выдержать, если бы не прекрасная погода и приятное женское общество. Однако всему приходит конец.

— Так скоро? — огорчилась Таинственная Роза, когда я показал ей телеграмму от Джейми: «Блейн выступает перед комиссией сегодня у них кое-что есть выезжайте в Вашингтон».— А кто такой Блейн?

Я объяснил, но не понял, то ли она и в самом деле не знает, то ли закрывает глаза на существование политических деятелей вообще. Кстати, ни один из асторовских гостей не признался, что читал мои статьи в «Геральд». Впрочем, «Геральд» не назовешь респектабельной газетой, и, возможно, они просто из любезности не упоминают о моей постыдной связи с нею. Болтают о еде, об одежде, о лошадях, слугах, детях, приездах и отъездах. Искусство тоже не тема для разговоров, как и деньги. Но, в отличие от денег, об искусстве не только не говорят, но даже и не думают.

Миссис Астор ездит к соседям чрезвычайно редко, и каждый такой визит означает, что случилось нечто из ряда вон выходящее. Мы же, не в пример хозяйке, побывали и у Ливингстонов, и в других поместьях, выстроившихся в ряд на лесистом обрыве над рекой и железной дорогой. Некоторым из этих сельских обителей уже более века, и они поистине восхитительны, например Клермонт, главное имение Ливингстонов.

После обеда мы с Макаллистером и Эммой осмотрели очаровательное поместье, принадлежащее людям, чью фамилию я так и не узнал; их дом — сооружение дивных пропорций — являет собой прекрасный образец греческого стиля, столь популярного в годы моей юности. Портик выходит на широкую лужайку, обрамленную склонившимися над Гудзоном ивами. В северном крыле расположена большая восьмиугольная комната со стеклянным куполом, где всегда светло, но, вероятно, нестерпимо жарко летом и нестерпимо холодно зимой.

Однако хозяев это нисколько не волнует.

— Мы уносим отсюда ноги,— сказала хозяйка, крупная женщина средних лет, встретившая нас у портика.— Здесь оставаться невозможно. Мы капитулировали. Какой толк...— Ее прервал громкий шум где-то совсем рядом и пронзительный гудок.

Мы оглянулись и сразу за домом увидели одно из чудищ коммодора Вандербильта: тридцать товарных вагонов гремели и лязгали, дым и искры извергались из локомотива; черное облако закрыло половину неба.

Во время этого светопреставления умолкли даже старожилы. Мы стояли в оцепенении, не шелохнувшись, а сажа падала вокруг нас хлопьями.

— Ну просто Везувий,— сказала Эмма, от удивления впервые забыв о такте.

— Если бы! — воскликнула хозяйка.— Тогда все залило бы лавой, и нам нечего было бы тут делать. Это из-за моего свекра. Когда собирались прокладывать дорогу, он говорил: «Вот и прекрасно. Поезд будет останавливаться и забирать нас, когда нам понадобится». А что вышло?!

Бедная женщина; еще одно прекрасное место отравлено нашей железнодорожной цивилизацией. Правда, немного времени спустя ничто вокруг уже не напоминало о недавнем кошмаре, природа вновь ожила, и я с удовольствием прогулялся по лужайке в обществе впечатлительного, большеглазого и довольно полного юноши, кажется, из Бостона.

— Я ваш давний читатель, мистер Скайлер.

— И первый, которого я встретил в этой долине, сэр.— Опасаясь произвести впечатление старого брюзги, я быстро переменил тон.— С другой стороны, не приходится рассчитывать на то, чтобы столь изысканная публика читала «Геральд».

— Должен заметить, что «Геральд» далека и от моих интересов.— У молодого человека прекрасные манеры.— Я читал все, что вы писали о Тургеневе, о Флобере; признаюсь, я читал вас с жадностью.

Я был поражен. Разумеется, мой поклонник — писатель! Кому еще может быть интересен Тургенев в этот ужасный век и в этой ужасной стране Марка Твена и миссис Саутворт? Молодой человек пишет для «Атлантик мансли»; он обещал прислать мне свой первый роман до того, как уедет в Париж [1].

— Чтобы жить той жизнью, какой жили вы, мистер Скайлер!

— Вряд ли я образец, достойный подражания.

Увлекшись спором, мы незаметно для себя подошли к хозяйке, стоявшей перед домом в окружении соседей.

Когда хозяйка увела моего почитателя, которому она приходится родственницей, я еще немного погулял с Эммой среди цветущих акаций. Это мое любимое дерево, но от его белых лепестков, которые ветром разносит повсюду, я непрерывно чихаю. Единственное спасение — нюхательная соль. Не будь ее, мне бы не высидеть за столом. А в перерывах между сморканием и вдыханием соли я поглощаю одно блюдо за другим, почти не ощущая их вкуса.

Мы очутились на берегу реки. В тени ив стояла беседка, разделенная на четыре части таким образом, что, если вы укрылись в одной, вас не видно из остальных. Мы медленно обогнули беседку и в той ее части, что была обращена к реке, увидели обнявшуюся парочку. Эмма замерла. Влюбленные мгновенно отпрянули друг от друга; мы секунду в оцепенении смотрели на них, а потом разразились хохотом. Дениз и Сэнфорд вскочили на ноги; вид у них был смущенный.

— Наверное, в Париже наше поведение сочли бы порочным,— сказала Дениз.

— Совсем наоборот,— ответил я.— Вас бы выставили в зоологическом саду в качестве постоянного экспоната. Влюбленная супружеская пара! На вас приезжали бы смотреть со всего света.

Как только любящая чета оказалась впереди нас, Эмма нахмурилась и впала в задумчивость.

— Ты знала, что он должен приехать?

— Нет. Я не...

— Что «не»?

— Я ему не доверяю.— Между нами на землю медленно опускался белый лепесток акации.

— А это для тебя так важно — доверять ему?

— Да, важно, ради Дениз.

— По-моему, ты должна поехать с ними в Ньюпорт,— сказал я, изменив своему правилу никогда не давать советов.

— Я бы предпочла вместе с тобой вернуться в... в...

— В джунгли?

— В зоологический сад! Я чахну по Блейну. Хотя, конечно, лучше всего поехать с Дениз. Ей нужен уход.

---

[1] Речь идет об американском писателе Генри Джеймсе (1843—1916).

— Ты чего-то боишься?

— Если бы я знала, в чем дело, то смогла бы ей помочь. С ее ведома я только что написала Джону и попросила его поскорее приехать в Ньюпорт.

— Для прикрытия?

Эмма кивнула:

— В некотором смысле. И выглядеть будет приличнее. Иногда требуется что-то...

— Пешка?

Эмма бросила на меня сердитый взгляд.

— О нет, король. Пусть поборется за свою королеву.

Я снова за столом рядом с миссис Астор. Она заявила, что ей будет грустно меня отпускать.

— И вашу красавицу дочь. Княгиня — очаровательное украшение нашего общества.

— Но мы увидим вас через месяц в Ньюпорте. Мы приглашены к Сэнфордам.

— Вы должны остановиться у меня.— Укоризна в голосе, изумруды на груди.

— Может быть, в другой раз.

— Почему она выходит замуж за?..

— За Эпгара.

Хотя миссис Астор отлично известно, что Эпгары породнились едва ли не со всеми ее знакомыми, они, по ее мнению, еще не заслужили признания. Асторократия сурова: Ванденбильты слишком грубы, Бельмонты слишком блистательны, Эпгары слишком бесцветны и многочисленны.

— Они любят друг друга. Вы же сами сказали, что девушки влюбчивы.

Впервые за время нашего знакомства я увидел на лице миссис Астор проблеск если не ума, то по крайней мере юмора.

— Да, вы правы. Я действительно так сказала.— Она сделала глоток и поморщилась.— Ненавижу старое шампанское. Ну как мне втолковать это Макаллистеру?

Я уже собрал вещи и готов утренним поездом выехать из Райнклифа (миновали золотые деньки частных вагонов). Я простился с Эммой, которая будет еще в постели, когда я уеду.

Мы поговорили о Сэнфордах, о том, как случилось, что они оказались в центре нашей жизни. Враждебность Эммы к Сэнфорду я могу объяснить лишь откровенной ревностью. Она хочет владеть Дениз безраздельно. Мне это кажется правдоподобным, хотя и неожиданным: у Эммы никогда еще не было близкой подруги.

Я только что выбросил в окно флакон с нюхательной солью. Не из-за нее ли сердце у меня все последние дни работает с угрожающими перебоями?

Глава девятая

1

На лице Нордхоффа ни тени удивления.

— Мы знали про Маллигана еще несколько месяцев назад.

Я сижу в битком набитом зале, где заседает комиссия конгресса; приходится писать, держа блокнот на коленях. Я стиснут со всех сторон, и писать мне очень трудно. У стены напротив сидят члены специальной комиссии, расследующей финансовые операции Блейна. Большинство в комиссии составляют демократы; они чуют запах крови. Председательствует человек с суровым лицом по имени Проктор Нотт.

Прямо передо мной в первом ряду сидит Блейн, около него Гарфилд. Сзади Нордхофф, который тычет меня в спину своими острыми коленями; отрывистый лающий смех Нордхоффа время от времени расставляет знаки препинания в выступлениях защитников Блейна; их меньшинство, и им приходится туго.

Джеймс Маллиган производит впечатление человека порядочного и честного; это бостонский бухгалтер, который некогда вел счета Уоррена Фишера, получившего подряд на строительство печально знаменитой железной дороги Литтл-Рок — Форт-Смит. Несколько минут назад он сообщил комиссии, что, по словам управляющего «Юнион Пасифик» Аткинса, Блейн вручил президенту компании «Тексас энд Пасифик» Тому Скотту закладные железной дороги Литтл-Рок — Форт-Смит на семьдесят пять тысяч

долларов, а Скотт обеспечил выплату Блейну шестидесяти четырех тысяч долларов за эти обесцененные бумаги.

Маллигана много раз прерывали. Республиканцы — члены комиссии — изо всех сил пытаются его сбить. Блейн тоже каждую минуту вмешивается, о чем-то перешептывается с одним из членов комиссии.

— Пока все держится на словах Маллигана,— сказал я Нордхоффу.

— Подождите.

Ждать пришлось недолго. Член комиссии, демократ, спрашивает Маллигана, располагает ли он какими-нибудь доказательствами, проливающими свет на взаимоотношения Блейна с Фишером.

Маллиган откашливается, растерянно смотрит по сторонам.

— Э-э...— произносит он наконец.— Да, сэр. Так вышло, что у меня сохранилось... несколько писем от мистера Блейна к мистеру Фишеру...

Раздается крик «Лжец!», одобрительные и возмущенные возгласы. Блейн вскакивает с места, говорит что-то члену комиссии, тот склоняется к уху председателя Нотта, который стучит молотком, пытаясь водворить тишину.

Поднимается председатель комиссии:

— Достопочтенный член комиссии от партии меньшинства вносит предложение отложить заседание до завтра...

Публика возмущена: она чувствует себя обворованной, и не без основания.

Я обедал у Гарфилдов; к моему удивлению, среди гостей оказалась Киска Белнэп.

— Она достаточно настрадалась,— сказала Лукреция Гарфилд, наклонившись в мою сторону.— Бедняжка Киска!

— Мне так не хватало вас и вашей обворожительной Эммы! — Киска в отличнейшей форме.— Я никогда, никогда не забуду, как вы оба поддержали меня в час испытаний, которые, увы, еще не кончились.

— Состоится ли суд сената? — В последнее время я как-то потерял из виду белнэповское дело.

— О да! — зло ответила Киска.— Вы же знаете, что нынче год выборов. И демократы пойдут на все, чтобы очернить нас; вот почему мой ангел предстанет перед судом, хотя, как сказал на днях сам сенатор Конклинг, сенат не правомочен его судить, потому что мой ангел уже не член кабинета. О, им нужно, чтобы мы до дна испили чашу позора, вкусили горечь мученичества! — Вся эта слезливая демагогия отнюдь не мешает Киске наслаждаться своей ролью; во всяком случае, в сенате вряд ли наберется большинство в две трети голосов, необходимое для осуждения Белнэпа.

— А теперь Бристоу, это исчадие ада, вцепился в Блейна, который не менее честен, чем любой другой человек, когда-либо служивший своей стране в стенах Капитолия.

— Не сомневаюсь.— Киска не заметила моей иронии.

— Истинный долг конгрессмена, его первейшая обязанность — помогать железным дорогам, которые превратили нашу страну в то, чем она стала сегодня! Конечно, иногда Блейн был несколько небрежен — у него совсем нет деловой сметки. И конечно, он совершил крупную ошибку, когда взял от Джея Кука закладную на свой дом на Пятнадцатой улице — отличное, кстати говоря, помещение капитала!

Вот это новость! Я рассказал о ней Нордхоффу, который собирается все основательно проверить. Иногда мне хочется научиться, подобно Нордхоффу, принимать происходящее близко к сердцу. Но у меня ничего не выходит. Политическая жизнь Штатов представляется мне бесконечной комедией, которая сегодня вечером превратилась в самый грубый фарс.

После обеда — мужчины еще сидели за столом и сражались с мадерой — к Гарфилду прибыл посыльный. Хозяин извинился и вышел. Когда он вернулся, его красивое лицо было задумчиво. Мы выжидающе смотрели на него.

— Записка от Блейна.— Гарфилд мрачно опустился на стул.— Сегодня днем он был в гостинице у Маллигана, и они пришли к соглашению. Так или иначе, Блейн сейчас изучает эти письма.

— Мистер Блейн заполучил письма? — Я был уверен, что ослышался.

— Да. Маллиган, видимо, оказался покладистым малым. Он понимает значение этих писем как для Блейна, так и для руководства нашей партии и всей страны в целом.

Один из гостей — сенатор с Запада — зааплодировал.

— Что ж,— сказал Гарфилд таким тоном, словно цитировал Цицерона,— удача сопутствует смелым.— Очевидно, он сказал то, что думал; но, право, не знаю, думал ли он, что говорит.

Мне не терпелось поскорее рассказать это Нордхоффу, но оказалось, что ему известно куда больше.

— Я только что от Маллигана. Свет не видывал такого дурака.— Нордхофф вне себя от бешенства; я с удивлением заметил, что он не вполне трезв.— Маллиган сидел в парикмахерской, и тут явился Блейн. Естественно, их разговор подслушивали.— Нордхофф иной раз похож на детектива, спасающего похищенную богатую наследницу; в данном случае наследница — это сама Республика, а похитители — законно избранные народные представители.— Говорили они без свидетелей. Вскоре после этого меня познакомили с Маллиганом. Он стоял в холле «Риггс-хаус» с таким видом, будто его стукнули по голове чем-то тяжелым; впрочем, именно это мне и хотелось сделать.

— Как Блейн выманил у него письма?

— Рыдал. Взывал к патриотическим чувствам. Не говоря уже о том, что он предложил эти письма купить.

— За сколько?

— Такие делишки Блейн обделывает весьма ловко — за казенный счет. Он предложил Маллигану пост консула.

— Великий боже! — воскликнул я и тут же с грустью вспомнил пост, пожалованный мне президентом Ван Бюреном просто потому, что мы с ним единокровные братья.— Итак, Блейн получил письма, а Маллиган...

Нордхофф покачал головой:

— Ничего Маллиган не получил. Во всяком случае, божится, что ничего, кроме обещания вернуть письма после того, как Блейн и его адвокаты их изучат. Ну и хитер этот Блейн! Да он самого змия-искусителя обведет вокруг пальца!

— Конечно, Маллиган больше никаких писем не увидит.

— Но как ему это удается? Можете вы мне объяснить? — Нордхофф со стуком опустил свой стакан на стойку, напугав черного официанта.

— Что ни говорите, он умен. И вероятно, намерен стать президентом.

— Нет! Никогда! Он обманул свое время.

2

Я сижу на галерее для прессы в зале заседаний палаты представителей. Несмотря на тесноту, я устроился довольно удобно и могу писать без особых затруднений. Галереи переполнены. В зал втиснулся весь сенат; сенаторы сидят, стоят вдоль стен, в проходах. Страна ждет речи Блейна.

Через девять дней, четырнадцатого июля, в Цинциннати открывается конвент республиканской партии. Если Блейн хочет стать кандидатом на пост президента, он должен сегодня превзойти самого себя в красноречии, потрясти конгресс своей чистосердечностью. Иными словами, через несколько минут нам предстоит услышать лучшую речь, произнесенную за все годы этой удивительной политической карьеры. Чувствуется, что сегодня здесь творится История, но и привкус театрального действа тоже явственно ощутим.

Я уже отправил одну корреспонденцию в «Геральд», рассказав, как Блейн выманил у Маллигана письма для «ознакомления». Разумеется, Блейн отказался не только вернуть письма Маллигану, но и передать их комиссии конгресса. Есть опасность, что теперь его обвинят в неуважении к конгрессу, а среди наиболее непримиримых демократов возникло даже движение за исключение его из палаты представителей. На все вопросы он отвечал коротко: «Подождите до понедельника».

Ну, вот и понедельник... Блейн только что появился в зале заседаний. Его окружили республиканцы, ему пожимают руку, похлопывают по плечу, что-то шепчут в большие и сегодня изрядно красные уши. Блейн спокоен и сдержан.

Он посмотрел на галерею для прессы. Когда наши взгляды встретились, Блейн потрогал щеку и подмигнул мне, напоминая про удаленный зуб и другую речь, которую я не слышал. Потом помахал рукой многочисленным друзьям, сел на свое место и медленно извлек из бокового кармана сюртука толстый пакет. Публика замерла, по залу прокатился протяжный вздох: письма.

Блейн встал, и спикер мистер Керр (болезненного вида человек, которого недавно

обвинили в том, что он за взятки устраивал чьих-то сынков в Вест-Пойнт) предоставил ему слово.

Блейн начал пианиссимо. С печалью в голосе он говорил о партийных страстях, раздирающих палату представителей. Он счел своим долгом напомнить, что два члена комиссии, которая его преследует, во время Гражданской войны сражались на стороне мятежников. Это вызвало неодобрительный гул конгрессменов от южных штатов и возмущенные выкрики республиканцев в адрес южан. Мистер Керр призвал конгрессменов к порядку.

Письма. Блейн благоговейно заговорил о священной и нерушимой тайне переписки между джентльменами. То, что предназначено для глаз одного человека, не касается никого другого. В его устах это сомнительное утверждение звучит так, будто оно и есть тот самый фундамент, на котором покоится конституция Соединенных Штатов Америки и законность всего цивилизованного мира.

Но вот голос Блейна зазвучал громче и увереннее, а лицо стало красным, как уши. Черные глаза горели. «Я отвергаю право палаты представителей требовать от меня предъявления этих писем». Я пишу это по памяти, но за смысл ручаюсь. «Слава всевышнему, мне нечего стыдиться. Я могу их показать». Он поднял пакет. «Вот они!»

Блейн держит пакет над головой для всеобщего обозрения. «Это тот самый пакет. И с чувством унижения, с чувством обиды, которое я не собираюсь скрывать, с чувством...— Голос его гремел, как труба, когда он произносил следующее слово.— ...Возмущения, которое испытал бы любой человек на моем месте, я сейчас зачитаю эти письма, вверяя свою судьбу сорока четырем миллионам моих сограждан».

Это был восхитительный спектакль, подлинный триумф бесстыдства. Блейн читал что-то из одного письма, потом из другого, перескакивал с одного на другое, что-то объяснял; и все это с такой искренностью и доверительностью, что даже люди, считавшие Джеймса Г. Блейна первым злодеем Америки, были обезоружены.

Хотя любой младенец понимал, что Блейн читал лишь то, что сам выбрал, это не имело никакого значения. Его чарующий голос праведника можно было слушать часами. И мы слушали, забыв обо всем на свете, пока от долгого сидения в неудобной позе у меня не затекла левая нога. И именно в этот момент, точно находясь в сговоре с моей ногой и почувствовав, что внимание аудитории начинает ослабевать, Блейн устало швырнул пакет с письмами на столик.

«Довольно! Письма теперь войдут в анналы конгресса, и весь мир сможет их прочитать. Но прекратят ли мои преследователи свои низменные нападки? Прекратят ли?»

Блейн эффектно повернулся к проходу, отделяющему демократов от республиканцев, и указал пальцем на Проктора Нотта.

«Вы, сэр, достопочтенный председатель комиссии, которая проявила такой интерес к моим делам, к моей сугубо личной переписке,— надеюсь, вы удовлетворены». Очень умно: не задавать вопрос, а утверждать.

Затем Блейн сказал, что его невиновность подтверждается показаниями некоего Джошуа Колдуэлла из Лондона. Блейн спросил Нотта, получил ли он телеграмму от мистера Колдуэлла.

Нотт, явно раздраженный, встал и ответил, что не располагает адресом Колдуэлла.

— Но вы получили от него телеграмму?

— Я отвечу через некоторое время,— замялся Нотт.

— Я требую немедленного ответа.

Напряжение в зале достигло предела: все глаза были устремлены на этих двух людей.

— Я получил телеграмму, предположительно отправленную мистером Колдуэллом.

Блейн стремительно нанес завершающий удар. Когда пришла телеграмма? Почему она не была приобщена к делу? Нотт, заикаясь, начал было что-то объяснять, но Блейн перебил его:

— В четверг в восемь часов вечера,— гремел он,— вы получили телеграмму от Джошуа Колдуэлла, полностью и окончательно снимающую с меня всякое обвинение, и вы скрыли ее!

В зале поднялся страшный шум. Блейн сел. Республиканцы повскакали с мест, выкрикивая его имя. Вопли демократов-южан. Стук председательского молотка. Визг на галерее для женщин...

— Все это совершенная чушь,— заявил Нордхофф.— Никакого Колдуэлла нет. Телеграмму наверняка послал сам Блейн. Отрывки из писем, которые он зачитал,— полная бессмыслица.

— Да при чем тут смысл! Неужели вы не понимаете? Кто ищет смысла в Вагнере?

— Рано или поздно письма напечатают, и выяснится, что он последний жулик.

— Однако через девять дней конвент выдвинет его кандидатуру. Письмами его теперь не остановить. На это просто нет времени.

— Наверное. Так или иначе, нам предстоит веселая избирательная кампания.

3

Я в Цинциннати. Сам не понимаю, как Джейми уговорил меня сюда приехать. Тем более что у Ассошиэйтед Пресс такие репортажи получаются куда лучше, чем у меня. Но я здесь, после бессонной ночи в вагоне.

Мне был заказан номер в отеле «Гибсон», но там уже расположились трое делегатов от штата Индиана (итого четыре человека на две кровати), и я с чемоданом в руке отправился бродить по крутым улицам (город стоит на многочисленных холмах, возвышающихся над рекой Огайо); наткнувшись на солидный голубой каменный дом, я отдал себя на милость семейства, глава которого, мужчина моих лет, оказался уроженцем немецкого города Висбадена.

Сегодня первый день конвента республиканской партии. Вооруженный многочисленными удостоверениями, я явился в Выставочный зал на углу Вязовой и Четырнадцатой улиц и смешался с толпой делегатов и корреспондентов. Партия сейчас вырабатывает платформу, на которой официально выдвинутый конвентом кандидат в президенты будет стоять, побеждать или проваливаться.

Перед «Гибсоном» под вывеской нью-йоркского Клуба реформы красуется плакат «Роско Конклинга — в президенты».

— Однако,— сказал Нордхофф, которого я нашел сегодня вечером в баре «Гибсона»,— нужно следить за Оливером П. Мортоном.— Это сенатор от Индианы, он враг Конклинга и весьма популярен на юге. Если Конклинг и Блейн сначала остановят Бристоу, а затем заблокируют друг друга, то может всплыть кандидатура Мортона. Есть еще несколько не представляющих интереса претендентов, загадочно именуемых «любимчиками», среди них губернаторы Огайо и Пенсильвании.

4

Я страшно нервничаю, хотя и дал себе слово не волноваться. Мы в Выставочном зале. На сцене сидят партийные лидеры. Никого из кандидатов не видно. Очевидно, они не показываются во время конвента. Они остаются дома и ждут, когда народ их призовет.

Город гудит от слухов. Последний из них такой: Блейн при смерти. В воскресенье он пошел в церковь и потерял сознание. Солнечный удар, говорят его сторонники. Кое-что посерьезнее, утверждают другие и называют всякие интересные болезни, разумеется, в их последней стадии. Наиболее вероятный диагноз — отвращение к комиссии, которая занимается его делами. Прикинувшись больным, Блейн вынудил комиссию отложить следствие до окончания конвента.

В сегодняшней программе — выдвижение кандидатов; нам предстоит выслушать шестнадцать речей. Я пью лимонад бутылками и поглощаю кукурузные хлопья — новое лакомство, к которому я успел пристраститься.

Поздний вечер. Ни одна из речей не зажгла зал, как, впрочем, и ни один из кандидатов. Нордхофф советует мне обратить внимание на молодого адвоката и политика Ингерсолла. Он выдвинет кандидатуру Блейна. По словам Нордхоффа, Ингерсолл — гордый безбожник; легко ли такому человеку существовать в глуши богобоязненного Иллинойса!.. Уже полчаса, как Ингерсолл кончил говорить, а манифестация в честь Блейна еще продолжается. При всей своей нелюбви к политической риторике должен признаться, что я ничего подобного не слышал, как, впрочем, и никто другой. Не могу вспомнить ни одной фразы, помню только музыку его слов, его неистовую экзальтацию. Как мы все же примитивны даже в лучших своих проявлениях!

Сторонники Блейна потребовали немедленно приступить к голосованию, однако председатель объявил: «Меня предупредили, что газовые фонари в этом зале зажигать

не рекомендуется — может случиться пожар». Заседание отложено по причине темноты. Сторонники Блейна неистовствуют. Они проклинают председателя, сторонников Бристоу, город Цинциннати.

15 июня. Только что закончилась первая баллотировка. Все признают, что, если бы голосование состоялось вчера вечером, Блейн прошел бы шутя; «никогда я не слышал лучшей речи в защиту худшего дела», как сказал редактор «Харперс уикли».

Все цитируют слова Ингерсолла, назвавшего Блейна «рыцарем без страха и упрека». Мое ухо не приемлет этот образ: Блейн кто угодно, только не рыцарь; если уж непременно нужно что-нибудь сказочное, то он скорее дракон, чем бесстрашный (и безупречный?) рыцарь.

Для выдвижения кандидату нужно получить не менее 378 голосов. Первый тур ничего не решил; правда, он оказался роковым для Конклинга, который собрал всего 99 голосов и практически выбыл из игры. Лидирует Блейн, у него 285 голосов, за ним Бристоу — 213, Мортон — 124, Хейс, губернатор Огайо,— 61, Хартранфт, губернатор Пенсильвании,— 58, Джуэлл, бывший грантовский министр почт,— 11 и какой-то Уилер из Нью-Йорка — 3.

Говорят, что Конклинг вот-вот снимет свою кандидатуру. Кто получит его 99 голосов?

— Только не Блейн,— предсказывает Нордхофф.— Никогда!

5

Кандидат в президенты США от республиканской партии — некто Резерфорд Бэрчард Хейс, три срока занимавший пост губернатора Огайо, генерал, ничем не прославивший себя в годы минувшей войны, человек, абсолютно неизвестный конвенту, который только что выдвинул его кандидатуру.

Почти всю ночь я писал отчет для «Геральд». Трудно сказать, что именно произошло после провала Конклинга в первом туре голосования, однако, насколько я могу судить, Блейн не только сохранил, но и укрепил свои позиции, получив к шестому туру 308 голосов. В это время ряды сторонников Мортона стали таять, а кандидатура Бристоу так и не воодушевила делегатов.

В какой-то момент между шестой и седьмой баллотировкой группа сторонников реформ и противников Блейна перестала поддерживать Мортона и Бристоу и решила поставить на невзрачного губернатора Огайо. В седьмом туре Нью-Йорк наконец бросил Конклинга и почти единодушно поддержал Блейна. Окончательные результаты таковы: Хейс — 384, Блейн — 351, Бристоу — 21. Противник Конклинга из штата Нью-Йорк Уилер был выдвинут затем кандидатом в вице-президенты. Роско Конклинг теперь политический труп, как и его приятель Улисс С. Грант.

Нордхофф уверяет меня, что одна из главных причин возникновения в последнюю минуту коалиции в поддержку Хейса заключается в том, что Хейс, в отличие от Гранта, намерен вывести федеральные войска из южных штатов и тем самым обеспечить этому мятежному краю самоуправление.

6

Сегодня 27 июня; я лежу в постели и пописываю свои заметки. Конвент демократической партии в Сент-Луисе открывается без меня.

Джейми был очень расстроен, когда я наотрез отказался ехать во Фремонт, штат Огайо, интервьюировать Резерфорда Б. Хейса, которому, как сообщает сегодняшняя газета, пятьдесят три года, рост пять футов восемь дюймов, вес сто семьдесят фунтов (тут губернатор явно принимает желаемое за действительное; судя по фотографии, он должен весить не менее двухсот фунтов), длинная седая борода, орлиный нос и горящие глаза. У меня нет никакой охоты с ним встречаться, как нет и ни малейшего желания ехать в Сент-Луис, о чем я твердо заявил Джейми в баре «Хоффман-хаус».

— Но вы так красочно описали Цинциннати!..

— В Сент-Луисе ничего интересного не будет. Тилдена выдвинут при первой же баллотировке.— Я стал невероятно самоуверен в своих политических прогнозах; должно быть, это следствие похвал, которых я удостоился за свои корреспонденции из Ва-

шингтона и Цинциннати; что же касается стиля, то он прямо зависит от гонорара, о чем я напоминаю Джейми. В последнее время мой стиль как бы обрел крылья.

— Предлагаю компромисс, мой мальчик. Я поеду в Олбани и напишу о том, как губернатор Тилден воспринял выдвижение своей кандидатуры.

— Воспринял? Что может воспринимать дохлая рыба? — Джейми опрокинул в глотку третий бокал «адской смеси».— Напрасно вы не поехали к индейцам, Чарли. Чутье меня не обмануло.

— Меня тоже, и я, как ты помнишь, вернулся прямо в Нью-Йорк. Я не собираюсь терять скальп даже во имя «Геральд».— В тот день все газеты страны с жуткими подробностями рассказали об уничтожении индейцами племени сиу почти двухсот американских солдат в местечке Литтл Биг Хорн на Дальнем Западе. Среди убитых — герой Гражданской войны (со стороны северян) генерал Джордж А. Кастер. Все разговоры только о победителе при Литтл Биг Хорн, вожде племени сиу по имени Сидящий Бык, и его соратнике, вожде по имени Дождь-в-Лицо, которые вырезали сердце у молодого солдата федеральных войск и съели его.

— Жаль, что ты не уговорил Марка Твена написать об индейцах.

— Я так и не попробовал. Черт возьми! А ведь стоило бы. И он бы поехал. Великий боже, какой репортаж я мог получить, если б он только согласился!

— ...стать главным героем этого репортажа. Представь себе заголовок: «Скальп Марка Твена». От Сидящего Быка, специального корреспондента «Геральд». Понимаешь, чего ты нас лишил, Джейми!

7

Вот и прошел нескончаемо долгий решающий день. Чувствую я себя неплохо. По крайней мере, дыхание свободное. Правда, ноги слегка подгибаются, а в глазах иногда двоится. Тилден не раз справлялся о моем самочувствии; это особенно лестно, если учесть, что́ для него значил минувший день.

В полдень я приехал в резиденцию губернатора на Игл-стрит.

Меня провели в гостиную.

— Садитесь,— пригласила меня сестра губернатора Мэри Пелтон.— Губернатор сейчас работает с мистером Картером; это известный в городе адвокат. Они скоро спустятся к обеду.

Появившийся вслед за этим Грин приблизился ко мне своей, как всегда, решительной походкой и после обмена рукопожатиями начал:

— Мистер Скайлер, ваши статьи в «Геральд» произвели на нас очень сильное впечатление.

— Весьма признателен.— Увы, его похвалы были прерваны появлением посыльного из Капитолия штата — первого из доброй сотни гонцов за этот день. Грин прочитал записку, поблагодарил мальчика и отправил его обратно.

— Из Сент-Луиса? — взволнованно спросила миссис Пелтон.

— Пока ничего интересного.— Грин повернулся ко мне.— Мы соединили Капитолий с Сент-Луисом прямой телеграфной линией. Аппарат установлен в кабинете губернатора. Но, как видите, губернатор проводит сегодняшний день дома.

— Странно, что даже сегодня губернатор занимается юридическими делами.

— У него нет выбора, мистер Скайлер. Речь идет об очень сложном судебном иске, в котором фигурирует имя губернатора. Он относится еще к тем временам, когда губернатор активно занимался адвокатской практикой.

В гостиную вошли Тилден и Картер. Губернатор выглядел не более усталым, чем обычно. Он держался уверенно и непринужденно и ничем не выдавал своего волнения, чего нельзя было сказать о нас — Грин нервно покусывал костяшки пальцев, миссис Пелтон выговаривала за что-то служанке, а Картер непрерывно восторгался:

— У губернатора просто поразительная память! Сколько лет спустя помнить все подробности дела! Уму непостижимо!

А главный герой драмы тем временем спокойно пил чай с печеньем, глотал таблетки и, сдерживая икоту, заботливо расспрашивал меня о здоровье. Однако на сей раз эта столь близкая мне тема нисколько меня не занимала. Как и все, я хотел знать, что происходит в Сент-Луисе.

— Мистер Скайлер, расскажите нам про генерала Хейса,— попросил губернатор.— Ведь вы прямо из логова республиканцев.

— Я знаю о нем не больше, чем написано в моих статьях, а это совсем немного.

— Мы бы предпочли отъявленного республиканского злодея вроде Блейна,— печально сказал Тилден.— Генерал Хейс производит впечатление честного человека.

Наконец вечером началось голосование. Чтобы победить, Тилдену нужно было получить 492 голоса. В первом туре он набрал 404,5 голоса. Губернатор Иллинойса Хендрикс получил 140,5; еще около ста голосов распределилось между пятью претендентами.

Все решилось во втором туре: Тилден — 508, Хендрикс — 75... Тилден стоял в гостиной с чашкой чая в левой руке, а доброжелатели пожимали его правую руку. Комната наполнялась людьми; кто-то рассказал, что Капитолий штата сияет огнями иллюминации, играет духовой оркестр и народ хочет видеть «следующего президента». Поэтому Тилден и его приближенные в нескольких экипажах отправились в Капитолий.

Я сидел напротив Тилдена. Еще за обедом я спросил его, почему он не вступил в республиканскую партию, коль скоро политически у него нет разногласий с людьми типа Брайанта и Адамса. Кто-то прервал наш разговор, и губернатор не успел ответить... или не захотел, подумалось мне тогда. Но сейчас, без всякого напоминания, Тилден сам вернулся к этому предмету:

— Я никогда не был республиканцем, мистер Скайлер, потому что джентльмены, которых вы изволили упомянуть, при всех своих достоинствах заинтересованы только в одном, а именно — в принятии специальных законов для сохранения своих состояний. Я когда-то сам защищал их интересы в качестве адвоката. Я знаю также, что им неведомо сочувствие к американскому народу — к этим беднякам, которым по милости генерала Гранта и его дружков нечего есть и негде жить. Я всегда считал, что только как демократ, продолжающий дело Джефферсона, Джексона и нашего общего друга Ван Бюрена, я смогу восстановить попранную справедливость, потому что сейчас, в нынешний исторический момент, только демократы способны пусть не в полной мере, но все же откликнуться на те идеи, которые носятся в воздухе. Вот почему я хочу зажечь в большинстве американцев стремление к реформам. И надеюсь преуспеть в этом. Проиграть теперь было бы жестоко и просто немыслимо.

Неужели, спрашивал я себя, в год столетия страна обрела наконец великого лидера? Я почти убежден, что это так, и если мои соотечественники не окажутся еще глупее, чем выглядят, то сторонник реформ Сэмюел Тилден будет избран девятнадцатым президентом Соединенных Штатов Америки.

Глава десятая

1

В счастливом блаженстве я провел весь июль, растворившись без остатка в ослепительном сиянии моря. Мир мелких людишек, стремящихся к власти, отошел куда-то вдаль. Дни, полные праздности, набегают чередой, как атлантические волны на ньюпортский пляж цвета львиной шкуры.

Джеймс шлет мне срочные телеграммы. Полковник Пелтон хочет, чтобы я присоединился к тилденовскому «Бюро ораторов» и воодушевлял публику в маленьких городах. Но я отказался, сославшись на нездоровье, хотя никогда не чувствовал себя лучше,— во всяком случае, душевному моему состоянию теперь можно только позавидовать. Что же до остального, то тут завидовать уже нечему — ноги не слушаются, тело тучнеет, а усталые легкие вот-вот перестанут справляться со своими утомительными и монотонными обязанностями. Я давно примирился с тем, что приближаюсь к концу своего земного пути, а потому был вполне доволен жизнью, пока сегодня золотое ньюпортское солнце не скрылось от нас за легким облачком.

Макаллистер пригласил меня на пикник. Этого события ньюпортцы всегда ждут с нетерпением, потому что Макаллистер всегда устраивает свои пикники с большим размахом.

В полдень специальный поезд отбыл из города в Бейсайд-фарм, макаллистеровское поместье, и другой поезд в 4.45 доставил нас обратно в город. Путешествие занимает всего шесть минут; в вагонах царит веселое оживление; дамы, словно сошедшие с картин Ватто, на глазах превращаются в брейгелевских женщин — каждая везет с собой какое-то блюдо, приготовленное ее поваром для пикника.

Эмма танцевала с дальним родственником Асторов, а я медленно прогуливался по берегу среди камней под руку с Джоном Эпгаром — дело не столько в привязанности, сколько в том, что я уже не надеюсь на свои ноги и просто боюсь упасть.

— Вам нравится Ньюпорт, сэр? — Я хорошо понимал, что мягкое «нет» прольет бальзам на эпгаровскую душу. Но я отвечал восторженно, хвалил море, погоду и даже Сэнфордов.

— Да, миссис Сэнфорд — удивительная женщина.— Джон откашлялся. Я осторожно присел на камень и глубоко вдохнул целебный морской воздух. Джон развернул громадный белый носовой платок, расстелил его на мху и лишайниках возле моего камня, сел по-турецки и посмотрел на меня; при этом его адамово яблоко задвигалось равномерно, как поршень парового двигателя Корлисса, и столь же бесцельно.

— Но вы бы предпочли, чтобы Эмма поехала в Мэн.

— Моя родня, конечно, ожидала ее приезда. Но я вижу, что все здесь ей больше по вкусу,— с грустью сказал Джон. Даже на человека из рода Эпгаров производит впечатление ослепительная роскошь Ньюпорта; у них в Мэне все гораздо скромнее.

— Эмма здесь чужая, и хотя у нее есть отец, а также будущий муж,— я нежно улыбнулся своему будущему зятю,— у нее нет друзей, нет ощущения принадлежности к этой стране. Миссис Сэнфорд дает ей это ощущение, дарит дружбу, а женщины нужны друг другу, и мы, мужчины, никогда не можем этого понять.

Всю эту чепуху я изрек с бесстрастной серьезностью, словно читал надпись на камне, выкопанном у подножия Синая.

— Надеюсь, что я не теряю Эмму,— сказал Джон.

— Разве существует такая опасность? — удивился я.

— Это не та жизнь...— Он бросил взгляд на разодетых дам и их кавалеров, которые прогуливались по берегу и танцевали под деревьями.— Вернее, наша семья живет другой жизнью.

— Разве Эмма вам сказала, что ее не устраивает ваша семья?

— Нет, нет. Ваша Эмма ангел. Она невероятно тактична. Но и невероятно скрытна.

— Я не выдам секрета, Джон, если скажу: мы оба, Эмма и я, хотели бы, чтобы вы подумали о возможности обосноваться когда-нибудь в Париже.— Наконец-то это произнесено вслух.

Ответ Джона очень меня обрадовал.

— Я сам только об этом и мечтаю. И я не раз говорил Эмме.— А Эмма мне не говорила ни разу! Забавно! Иногда она обещает намекнуть Джону, что хорошо бы переехать в Европу, а он, оказывается, сам давно туда рвется! Отчего же она молчала столько времени?

— А ваша семья?..

— Семья как-нибудь примирится.— Сказано весьма сухо и даже нелояльно по отношению к клану Эпгаров.— Мне придется самому заняться устройством наших дел. Я потребую выделения моей доли капитала, подыщу работу...

— Но ваша доля, надо полагать, достаточно велика...— Скоро я стану настоящим американцем и буду спрашивать у всех знакомых и незнакомых, сколько они зарабатывают.

Джон слегка поморщился от моей бестактности.

— Во всяком случае, сэр, я не смогу позволить себе бездельничать. Я должен буду заняться юриспруденцией или найти какое-нибудь другое полезное занятие.

— Разумеется, разумеется,— одобрительно кивнул я и назвал ему несколько английских и американских юридических фирм, имеющих свои конторы в Париже.

— Я знаю, сэр. Я уже навел справки. Но когда я заговариваю об этом с Эммой, она не проявляет никакого интереса.

— Уверяю вас, это не так.

— Боюсь, что именно так. Она... как бы это сказать?.. ее уносит куда-то в открытое море.

После обеда я передал Эмме наш разговор на прибрежных камнях. Она внимательно выслушала меня и, вздохнув, спросила:

— Как ты думаешь, он прав? Меня уносит в открытое море?

— Это должна сказать ты.

— Я отношусь к этому браку так же, как в тот день, когда Джон сделал мне предложение.

— Пожалуй, именно это ему и не нравится.

Эмма подняла на меня глаза и то ли улыбнулась, то ли нахмурилась.

— Я придерживаюсь соглашения, папа.

— Что ты такое сделала? Из-за чего Джон расстроен?

— Вероятно, из-за того, чего я не сделала. В отношениях такого рода предполагается постепенное развитие, движение вперед. Джон двинулся с места, а я нет. Я осталась там же, где была в самом начале.

В гостиную вбежала запыхавшаяся служанка Дениз:

— Мадам вас зовет. Ей плохо.

Эмма поспешила за служанкой, и я остался один в сумеречной летней гостиной, размышляя, как я превратился в то, чем являюсь теперь,— в старую развалину, жертву непостижимых превратностей уходящей жизни.

Эти мрачные мысли не рассеялись и после того, как полчаса назад ко мне зашла Эмма и рассказала, что приезжал доктор.

— В чем дело? — спросил я.— Что с ней?

Эмма устало посмотрела на меня. Она сидела у Дениз с обеда, а сейчас уже полночь.

— Она беременна, папа.

— Но она говорила, что ей нельзя иметь детей.

— Так думала она сама и все мы. Но мадам Рестел... ты знаешь, о ком я?

— Да, дорогая. Я встречался с этой особой.

— Так вот, мадам Рестел считает, что Дениз сможет благополучно родить, если будет регулярно принимать одно новое лекарство. Хороший уход, естественно, подразумевается.

— Тогда из-за чего все это беспокойство?

Эмма пожала плечами.

— Третий месяц. Нормальные симптомы. Ей нездоровится. Подташнивает... Нужно ли мне посвящать тебя во все тонкости нашего материнского искусства?

— Нет. Избавь меня от подробностей. Но если все нормально, зачем же доктор?

— Потому что она мнительна. А это более всего остального может осложнить ее положение. Но я верю мадам Рестел, и Дениз тоже.

2

— Поло, наверное, самая древняя игра на свете,— сказал Джейми, вытирая потное лицо полотенцем.— И, как видите, благодаря мне она скоро станет самым популярным видом спорта в Америке.

— Популярным? — Я бросил взгляд на места для зрителей, где сидело человек сорок — в основном родственники всадников, носившихся по зеленому лугу на краю Центрального парка.

— Не беспокойтесь. «Геральд» сделает ее популярной.— Джейми, как всегда, легкомыслен. Сегодня ужасная жара, и пони и наездники выбились из сил. Что будет с поло в Америке, предсказать не берусь, а вот в Англии эта игра приобрела за два последних года неслыханную популярность. Чтобы не отставать от британских кузенов, Джейми создал собственный клуб, в него вступило несколько молодых людей, которые теперь верхом на пони гоняют длинными клюшками маленький деревянный шарик. Как и большинство игр, поло гораздо интереснее для игроков, чем для зрителей.

В перерыве мы немного поговорили о делах.

— Вас очень не хватает в «Геральд».— Джейми укоризненно посмотрел на меня. Я ответил ему невиннейшим взглядом и невольно залюбовался его стройной фигурой. Как он сумел ее сохранить, вливая в себя ежедневно такое количество «адской смеси»! — Июль — Скайлер молчит. Август — Скайлер молчит. Через неделю сентябрь. Новый сезон.

— Но ведь не о чем писать! Я имею в виду политику. Кандидаты никого не интересуют.— Трудно даже поверить, но так оно и есть, хотя положение в стране теперь далеко не из легких. И однако же, все лето Америка занята только выставкой Столетия, швейными машинками, японскими вазами, кукурузными хлопьями, пишущими машинами и телефонами да еще панегириками тем великим людям, которые ровно сто лет назад создали это совершенное общество, этот земной рай.

— Страсти скоро закипят, и вы тот человек, Чарли, который сумеет их подогреть.

— Нет, Джейми. Огонь поддерживает Нордхофф, а я лишь время от времени помешиваю варево.

— Вот и прекрасно, продолжайте в том же духе. Зах Чендлер приказал министерству внутренних дел заняться тилденовскими налогами. В шестьдесят втором году, а это был худший год войны, Тилден заявил, что его доход составил семь тысяч долларов. На самом деле он заработал более ста тысяч.

— Я полагаю, что, не уплатив бесчестный налог на личный доход, Тилден должен был стать своего рода героем.

— Мальчики в синей форме,— сказал Джейми, поглаживая усы.— Союз в опасности. Грядущее освобождение рабов. Каждый доллар на счету. Патриотический долг. А в это время Тилден... О, «Нью-Йорк таймс» готова все это выплеснуть. Нет такого преступления, на которое не пошли бы ее редакторы, чтобы помочь республиканской партии.

— Вряд ли я создам что-нибудь поэтичное на тему неуплаченных налогов.

— Есть немало интересных фактов. И кое-какая клубничка касательно Хейса.— Счастливая улыбка вдруг озарила лицо Джейми.— Несколько лет назад он в припадке безумия стрелял в собственную мать из пистолета.

— Это не убавит ему популярности.— Сначала я решил, что Джейми шутит, но потом понял, что он просто повторил последний слух, чтобы пустить его по городу.

Вот вам сегодняшняя американская демократия! Пока Тилден серьезно и взволнованно рассказывает народу о своих планах преобразования нашего общества, по-видимому самого продажного в западном мире, пресса полна идиотских и бессмысленных сплетен о пьянстве и дурной болезни Тилдена, о его близости к Твиду — весь этот бред положен на музыку и превратился в милую песенку под названием «Хитрый Сэм, вагонный воришка».

Расследуется и уплата налогов Хейсом, потому что он тоже богатый адвокат, который в 1868—1869 годах, по слухам, вообще не заплатил ни единого цента. Недавно его обвинили в том, что он присвоил деньги, доверенные ему погибшим на войне солдатом.

— Чарли, съездите на Юг. Пожалуйста.

— Мне даже ньюпортскую жару трудно переносить. А на Юге я просто умру.

— В Новом Орлеане всегда дует ветерок, а во Флориде теперь настоящий рай. Но именно там и случится беда.

— Откуда вы знаете? — Я не слишком высокого мнения об умственных способностях Джейми (он каким-то образом умудрился остаться в стороне от достижений западной культуры), но меня всегда поражает его понимание Америки. Это живой барометр, способный раньше всех предсказать политический скандал или индейскую резню.

— Южная Каролина, Флорида и Луизиана контролируются федеральным правительством. Грант держит там войска. Что же произойдет, если они проголосуют за демократов?

— Конечно, они проголосуют за демократов. И Тилден станет президентом.

— Это еще как сказать.— Джейми рассеянно огляделся.— Чарли, я готов опять удвоить ваш гонорар — хотя дальше уже некуда,— если вы поедете в Новый Орлеан и потолкуете с местными лидерами...

Я держался твердо. Я отказался ехать на Юг. Но я согласился возобновить в сентябре мои еженедельные обзоры, поскольку до президентских выборов осталось всего два решающих месяца, когда должно окончательно выясниться, кто что и у кого украл.

— Хейс на самом деле стрелял в свою мамашу? — Эта «милая» деталь задела меня за живое.

— Еще бы!

— Насмерть?

— Нет. Он ранил эту старую стерву. Так и не научился стрелять. Промахнуться в собственную мамашу с шести футов! Какой из него президент?

Я собирался в первый же вечер в Нью-Йорке зайти к мадам Рестел и доложить о состоянии ее пациентки, но, узнав, что знаменитой «повитухи» нет в городе, отправился в театр с Джоном Эпгаром, который достал билеты на премьеру новой пьесы Брета Гарта «Двое из Сэнди-бара»; автор — один из многочисленных подражателей Марка Твена.

— Рецензенты не в восторге,— извиняющимся тоном сказал Джон.— Однако в пьесе есть ужасно комичный персонаж — китаец.— В прессе в последнее время участились нападки на китайцев, чье пристрастие к опиуму служит неизменным предлогом

для отказа в предоставлении им американского гражданства. Я всегда поражался, что нация, процветание которой держится на дешевом труде рабочих-иммигрантов, заражена непримиримой ксенофобией.

Неблагоприятные рецензии отпугнули публику, и зрителей было мало; к тому же конец августа не лучшее время для премьеры. В зале так душно, что никакая пьеса не поможет, а уж об этой говорить нечего. Тем не менее я притворился, что нахожу ее забавной. И действительно, забавного было немало, правда, уже во время антракта, когда Джон показал мне Сэмюела Л. Клеменса, более известного под именем Марк Твен, невысокого жилистого человека, которого я до сих пор считал средоточием всего, что я недолюбливаю в американцах.

— Хотите с ним познакомиться, сэр? — спросил Джон.

— Нет,— сказал я без всякого кокетства. Я всегда старался держаться подальше от профессиональных писателей; а этот комедиант и газетный фельетонист, конечно, настоящий мастер своего дела. Но в ту же самую минуту прямо перед нами появились Твен и Брет Гарт. Последний выглядел обескураженным, как и положено автору провалившейся пьесы. Неожиданно Твен повернулся к нам, точно ища спасения от своего спутника.

— Добрый вечер, мистер Клеменс,— сказал Джон.

— Добрый вечер, мистер... э-э...

— Эшгар, а это мистер Чарльз Скайлер...

— Чарльз Скермерхорн Скайлер?

К моему удивлению, у Твена оказался выговор стопроцентного коннектикутского янки. Однако, войдя в роль, он начинает говорить как житель западной границы; получается очень правдоподобно и убедительно, не хуже, чем у заправского актера.

— Счастлив познакомиться с вами, сэр, это большая честь для меня...— Твен сразу же вошел в роль, радостно схватил мою руку и стал ее трясти. У него жесткая рыжеватая шевелюра без проседи. Выражение лица хитрого янки довоенного периода.

— Весьма польщен, мистер Клеменс.— Как его называть? — подумал я. Клеменс или Твен? По примеру Джона я назвал его «Клеменс».

— Много наслышан о вас и вашей красавице дочери. Надеялся на встречу еще в Париже, но она, увы, так и не состоялась.— Он явно нащупывал верный тон.

Я держался скромно, но с достоинством — что еще остается шестидесятитрехлетнему литератору в присутствии всемирно известного молодого писателя?

Драматург шепнул что-то Твену и удалился.

— Не выпить ли нам у Дельмонико,— сказал Твен, откровенно обрадовавшись уходу Гарта,— когда кончится этот... несчастный случай? Старина Брет не сможет составить нам компанию — после спектакля он снова будет репетировать с труппой. Это то же самое, что приглашать парикмахера к покойнику. Пользы никакой, а всем вроде бы легче...

Наконец спектакль кончился. Мы дошли пешком до ресторана Дельмонико, который совсем недалеко от театра. Джону и мне не давали ни на минуту забыть о выпавшей нам чести, потому что Твена узнают и приветствуют все. Даже кучера, проезжая по Четырнадцатой улице, кричали: «Здоро́во, Марк!» А великий человек тем временем трещал без умолку.

Чарльз Дельмонико сообщил, что мы будем едва ли не последними его клиентами, потому что ресторан вскоре закрывается.

— Через месяц откроем ресторан на Мэдисон-сквер.

— Нет, вы только послушайте! — Твен театрально покачал головой.— Откуда возьмутся традиции в этой стране, если вы не успеваете еще привыкнуть к заведению, где прилично кормят — несмотря на французские приправы,— как оно тут же закрывается?

Чарльз Дельмонико подвел нас к столику неподалеку от входа.

— Здесь мы сможем следить за всеми входящими и выходящими, а это, уверяю вас, поинтереснее «Двоих из Сэнди-бара»,— сказал Твен и вздохнул.

Ему принесли первый стакан «Олд фэшнд» [1], а нам с Джоном бутылку бордо. Я слушал внимательно, чтобы потом записать каждое слово идола Америки, а может быть, и всего мира.

— Подумать только: эту пьесу написал мой старый друг. Впрочем, с кем не бывает. Как корь. Полный провал. О чем я искренне сожалею. У бедняги Брета полоса невезения. Во-первых, он переехал в Нью-Йорк. Это фатальная ошибка — для некоторых.

[1] Виски с водой, лимоном и сахаром.

Затем подписал выгоднейший контракт с «Атлантик мансли». И тут же начисто забыл, как он писал раньше. А потом попробовал читать лекции. Не мне его осуждать, потому что сам знаю: тут можно заработать кучу денег, если только у вас есть сноровка. Но старина Брет, скажем прямо, не умеет просто так встать и начать болтать. И это весьма странно, если вдуматься, потому что он прирожденный враль. Потом пришла очередь театра — вот уж где золотая жила, доложу я вам. Конечно, это все не для вас, мистер Скайлер. О, я глубоко уважаю ваши... э-э...— исторические этюды. Но нам, журналистам, место в лекционном зале; еще можно попробовать угождать дамочкам, почитывающим журнальчики, хотя это, уверяю вас, тяжкий крест. Но если говорить честно, самые большие, самые легкие деньги, какие я заработал — а они текут до сих пор,— принесла мне пьеса по роману «Позолоченный век»...

— Я видел ее, мистер Клеменс.— Джон — страстный театрал.— Она мне очень понравилась, сэр. Особенно ваш полковник Селлерс.

— Рад, что понравилась, потому что, если бы вам и другим она не понравилась, я не получал бы раз в неделю кругленькую сумму, которая так радует мою душу. Особенно после плохих рецензий на роман. «Чикаго трибюн» — пусть эта газетенка снова сгорит дотла!— назвала книгу чистым надувательством, но это еще комплимент в сравнении с тем, что написал обо мне мерзавец Уайтлоу Рид. Наверное, вы читали. Я заставил его заткнуться, как в свое время пришлось заткнуться «Ивнинг пост». Знаете, конечно, что позволила себе «Пост»? А может, вы в Европе это пропустили? Они написали, что я заплатил из своего кармана за обед, устроенный в мою честь! Я подал в суд и выиграл. Скажу вам прямо, Брайант — старый лицемер, настоящая лиса в курятнике...

Твен долго еще продолжал в том же духе. Он очень серьезно воспринимает все, что пишут о нем в печати,— видимо, такова цена, которую приходится платить за популярность в Соединенных Штатах, где нет ни одной газеты, к мнению которой умному человеку стоило бы прислушиваться.

Твен только разогрелся. Он опять заговорил о пьесах и о том, сколько на них можно заработать.

— Следующую пьесу мы с Гартом напишем вместе. Я обещал ему помочь. Героем будет его язычник-китаец. Вот на что публика повалит! А еще вроде бы собираются приспособить к сцене мою новую книгу.

— «Тома Сойера»? — Оказывается, Джон Эпгар отлично знает все сочинения Твена.

— Да. Не скажу, что книга расходится так, как я надеялся. С декабря продано всего около двадцати пяти тысяч экземпляров... это крохи по сравнению с тем, что принесли мне за первый год «Простаки за границей». Но если из книги сделать пьесу...

Твену подали второй «Олд фэшнд», а я, как обычно, заказал салат из омаров.

— Я сказал в театре, что моих мальчишек, Тома и Гека, должны играть хорошенькие девушки. Это всегда, знаете ли, имеет успех.— Том и Гек, видимо, герои его новой книги.

— Но будут ли они убедительны в этих ролях? — Да, Джон и вправду читал книгу, которую я только видел издали.— Все-таки у вас там настоящие мальчишки.

— Это в романе. Сцена — совсем другое. Золотая жила для тех, кому дано от бога,— не утверждаю, что я из их числа, но, впрочем, кто может знать?

До сих пор Твен оправдывал мои самые мрачные ожидания. Но тут он перебрался на новую почву, что для меня явилось неожиданностью.

— Послать бы все это к чертям да уехать с женой в Европу. По вашему примеру, мистер Скайлер. Нет, только не в Париж. На свете нет ничего абсурднее французов. Но в Англии можно найти настоящее применение их истории... какой бы отвратительной она ни была. А здесь приходится растрачивать себя без остатка, чтобы кое-как удержаться на поверхности.

— Но ваша прекрасная книга — ведь она о старых временах, сэр. О вашем детстве,— почтительно возразил Джон.

— Да, но это не то же самое, что европейская история. Книгу покупают из рук вон плохо. Нет, теперь я думаю о серьезной исторической вещи.

Я спросил, читал ли он «Саламбо» Флобера, и тут же пожалел об этом.

— Аморальный писатель, наверное,— сурово ответил Твен.

— Но с вашим великим сатирическим талантом,— продолжал я,— вам нужно жить в Америке — чего-чего, а уж нелепостей здесь сколько душе угодно.

Ответ последовал мгновенно:

— Мистер Скайлер, никто не может писать хорошую сатиру, будучи в плохом настроении. Так вот, сэр, настроение у меня ужасное. А это значит, что я не могу ничего высмеивать.— Серо-голубые глаза были холодны и прозрачны, как лед в третьем стакане «Олд фэшнд», который он крепко сжимал в руке, точно боясь, что его отнимут.— Я хочу взять палку, дубинку, топор и разнести все в щепки.

— Что разнести? — Вот уж не подозревал, что в сердце веселого насмешника, любимца публики горит такая ненависть!

— Да все подряд! Посмотрите на конгрессменов, о которых вы пишете. Все до единого жулики. Вы знаете их девиз? «Сложение, деление и молчание». Все они мошенники... а почему? Из-за всеобщего избирательного права. Порочного и нечестивого всеобщего избирательного права! Теперь слушайте и не перебивайте, потому что я из себя выхожу, стоит мне лишь заговорить об этом. Как, спрашиваю я вас, можно жить в стране, где каждый идиот мужского пола, достигший двадцати одного года, имеет право голоса? И как могут эти полоумные делать равным то, что бог создал неравным? Отвратительно!

— Тогда кто же будет голосовать?

— У богатого должно быть настолько больше голосов, чем у бедняка, насколько больше он сумел нажить своим умом и прилежанием.

— Но я где-то прочитал, мистер Твен, то есть, извините, Клеменс, что вы, как и я, практически вылетели в трубу, когда лопнул банк Джея Кука. Значит, потеряв деньги, мы тут же лишаемся права голоса?

Твен вдруг расхохотался, всю его злость как рукой сняло.

— Что ж, коль скоро мы с вами — два безмозглых дурака, которых поймали со спущенными штанами, то наши голоса и не следует принимать в расчет, по крайней мере в течение года.

Появление Брета Гарта в сопровождении нескольких актеров прервало нашу милую беседу.

— Надеюсь, вам понравились зверюшки, мистер Скайлер,— сказал мне на прощанье любимый писатель и кумир этого зверинца.

Прелестный парадокс: Твен сам один из зверей (иначе они бы его не обожествляли, ибо ничто чуждое не может быть популярным), но он — что вполне естественно — их ненавидит, а значит, некавидит и самого себя. Если бы у него хватило характера быть непопулярным, он мог бы превзойти Свифта, стать новым Вольтером, Рабле. (Нет, наверное, это уж слишком, но Твен меня восхищает.) Как бы там ни было и кем бы он ни стал, сейчас это раненый Калибан, чудище, увидевшее собственное отражение в зеркале — в миллионах своих обожателей-соплеменников. Искусно прикидываясь глупцом, он завоевал их любовь и разбогател, но возненавидел самого себя; и все же ему не хватает мужества разбить зеркало или изменить нарочито заурядное выражение лица, которое это зеркало точно отражает.

Хватит! Довольно о Марке Твене. Мне доставляет удовольствие испытывать к нему жалость.

3

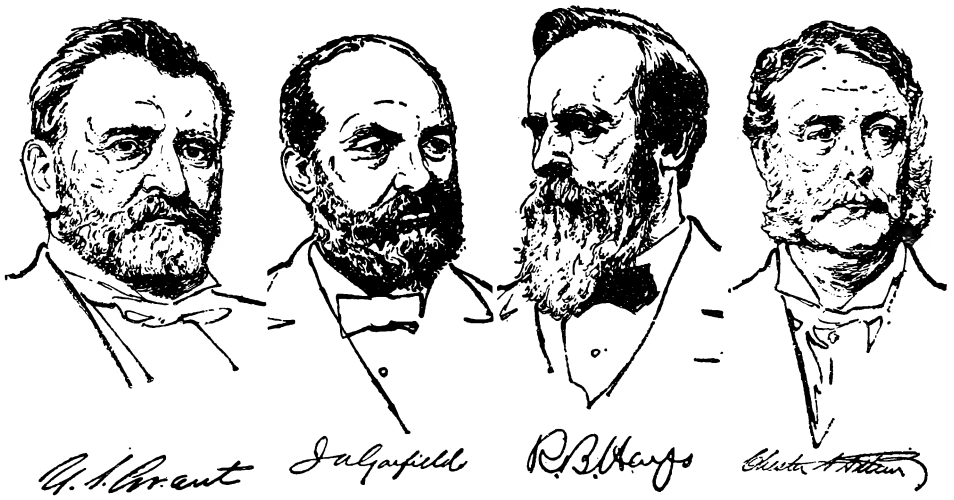
Я превратился в пишущую машину. Джеймс прочно соединил меня с этим шумным и отвратительным механизмом; правда, сам я всего лишь пытаюсь перекричать ее стрекот, а молодой человек, управляющий машиной, воспроизводит мои слова нажатием клавиш.

Конечно, это восхитительно — видеть, как сказанное тобой мгновенно превращается в печатные строки. Но когда смотришь на страницу текста, тебя охватывает ужас, знакомый каждому писателю. Новую книгу приносят из типографии. Автор трясущимися руками раскрывает ее. Тут же отваливается переплет. Листы выпадают. И что самое страшное, в каждой строке ошибки, а сами строки перепутаны. Хаос.

Поэтому я гоняю моего пишущего машиниста, заставляю перепечатывать каждую страницу по нескольку раз, пока она не удовлетворяет меня полностью.

Я открыто высказываюсь за губернатора Тилдена, пытаюсь сорвать ярлыки, наклеенные на него газетой «Нью-Йорк таймс», исследую длинную, ничем не примечательную карьеру Резерфорда Б. Хейса.

Дениз через день аккуратно пишет мне из Ньюпорта; Эмма добавляет постскриптум (логичнее было бы наоборот). Беременность протекает нормально. Сейчас в Ньюпорте настоящая идиллия, потому что с наступлением сентября магнаты один за



Президент США Улисс Грант и будущие президенты — Джеймс Гарфилд, Резерфорд Хейс и Честер Артур.

другим разъезжаются по домам; даже Макаллистер вернулся в Нью-Йорк с Таинственной Розой в петлице.

По счастливому совпадению штаб-квартира республиканской партии здесь же, в отеле «Пятая авеню», и я часто вижу в фойе или в «Уголке таинств» председателя национального комитета партии — непроницаемого Заха Чендлера. Мы раскланиваемся, но разговариваем редко.

Тилден почти все время в городе. Время от времени он, как и Хейс, совершает поездки по стране. Вчера (21 сентября) Тилден удостоился шумной овации в Филадельфии, где на выставке Столетия проводился день штата Нью-Йорк.

Ни Хейс, ни Тилден не вызывают интереса у публики, за что, думается мне, они должны благодарить прессу. К тому же бесконечные скандалы грантовской администрации подорвали доверие к политике вообще.

Не так давно Белнэп предстал наконец перед судом сената, но был полностью оправдан чисто партийным голосованием, поскольку в сенате у республиканцев большинство; публика отнеслась к этому равнодушно.

Сегодня утром, пройдясь в последний раз по тексту моего очередного еженедельного обзора, я отправился в «Эверетт-хаус»; в номерах, которые занимает национальный комитет демократической партии, полным-полно политических прихлебателей. Телеграфные ленты приносят политические новости со всех концов страны. Суеты хватает, хотя, по словам скептика Биглоу, делается при этом не так уж много.

Новый председатель партии Эбрам С. Хьюит — приятный человек, но как политический руководитель он совершенно неопытен и не умеет держать искателей должностей на почтительном расстоянии; ему бы поучиться у Тилдена.

Вот что мне рассказал Биглоу. Третьего дня Тилден допоздна засиделся с двумя влиятельными нью-йоркскими политиканами. Разомлев от превосходного рейнского вина из губернаторских запасов, один из них спросил: «А теперь скажите, губернатор, что мы получим, когда вы воцаритесь в Белом доме?» — «Полно, друзья мои,— с легкой улыбкой ответил великий человек, с трудом удерживая смежающиеся от усталости веки.— Никакие должности вам не нужны, потому что вам от них будет больше вреда, чем пользы. Вам нужно совсем другое — возможность влиять на администрацию. Вот это кое-чего стоит».

Тилден уклончив и скрытен, когда речь идет о темной изнанке политической жизни, но удивительно прямолинеен, когда затрагиваются животрепещущие проблемы современности; этим он являет полную противоположность любому значительному политическому деятелю Америки.

Разыскивая Биглоу в хаосе «Эверетт-хаус», я внезапно столкнулся с самим Хьюитом.

— Биглоу на Либерти-стрит,— сказал он мне.— Настоящая работа теперь там...

Я с трудом пробрался сквозь толпу будущих почтмейстеров, консулов и таможенных инспекторов. В воздухе пахнет победой. В доме 59 по Либерти-стрит собрались все — преданные и вероломные.

Здесь открыто оснащенное собственным печатным станком «литературное бюро», а также «бюро ораторов». Официально их возглавляет зять Тилдена полковник Пелтон, однако, как уверяет Биглоу, практическое руководство избирательной кампанией осуществляет сам Тилден.

Я нашел Биглоу в крохотной, размером с гостиничный туалет, комнатке без окон; он сидел за столом, заваленным газетами. В следующей комнате двадцать мужчин и несколько женщин сидели за длинными столами и отвечали на бесчисленные письма, сложенные возле них стопками. Дать бы им десятка два пишущих машин с машинистами, подумал я.

Биглоу был в приподнятом настроении.

— Ваши статьи в «Геральд» перепечатываются во всех городских газетах, даже самых маленьких, и приносят нам колоссальную пользу. Дело, кажется, идет на лад.— Биглоу хлопнул в ладоши, провел рукой по волосам, приглаживая седой хохолок.— Единственное, что нас тревожит,— это деньги.

— Кто бы мог подумать! — поразился я.— Ведь губернатор...

— Богатый человек. Ergo [1], зачем давать ему деньги, которые у него и так есть?

— Почему бы ему не оплатить кампанию самому?

— Он не желает, чтобы люди говорили, будто он купил выборы...

— Они это уже говорят.— Недавно «Харперс» поместил карикатуру, на которой изображен Тилден, сыплющий деньги из бочки.

— Он и так вынужден оплачивать все расходы. А ведь он надеялся победить не деньгами, а своей позицией по ключевым проблемам.

— Но люди не любят проблем. Они предпочитают скандалы...

В прошлом месяце «Нью-Йорк таймс» предъявила Тилдену тринадцать обвинений, приписывая ему мошенничество при уплате налогов. Губернатор сумел так искусно уклониться от прямых ответов, что «Нэйшн», которая прежде писала об этом «ужасном пятне» на биографии кандидата, теперь его превозносит.

— Мы несравненно лучше организованы,— сказал Биглоу,— но у республиканцев более профессиональные ораторы. Судите сами: Блейн... два месяца назад он перешел из членов палаты представителей в сенаторы от своего родного штата, что вынудило палату приостановить расследование его преступлений... Ингерсолл, Гарфилд, Марк Твен, генерал Шерман...

Вошел полковник Пелтон. Я предложил ему мой стул — других в комнате не было,— но он предпочел шагать из угла в угол.

— Нужно достать еще денег для Огайо и Индианы. Но у нас их нет.— Он покачал головой.

Они считают меня своим и говорят в моем присутствии о самых тайных делах. Индиана и Огайо имеют решающее значение; выборы состоятся седьмого ноября, но десятого октября в этих двух штатах проводятся местные выборы, и тот, кто победит в этих двух традиционно республиканских штатах, почти наверняка победит в масштабе страны.

— Еще несколько центов,— простонал Пелтон,— и мы бы увели из-под носа Хейса его собственный штат!

— Несколько центов плюс организация.— Они обсудили, кого из влиятельных политических деятелей можно было бы туда послать; затем, как обычно, разговор коснулся проблем Юга.

— Мы победим во всех штатах к югу от линии Мейсона — Диксона [2],— с воодушевлением заявил Биглоу.

Восемь штатов бывшей Конфедерации получили самоуправление. В пяти из них белые имеют твердое большинство. Однако в трех самоуправляющихся штатах (мне кажется, что слово «самоуправляющихся» следует писать в кавычках) — Алабаме, Джорджии и Миссисипи — большинство составляют негры.

— Грант всегда может оказать на них давление. Он может силой заставить негров проголосовать против нас.

---

[1] Следовательно *(лат.)*.

[2] Граница между Пенсильванией и Мэрилендом, считавшаяся до отмены рабства границей рабовладельческих и свободных штатов.

Кабинет Биглоу наполнился сигарным дымом; я задыхался, но не уходил. Мне хотелось узнать как можно больше. Все-таки мое будущее (Соединенные Штаты могут застрелиться!) зависит от победы Тилдена.

— Мы получили еще одно тревожное письмо из Луизианы.

— Касательно счетной комиссии?

Пелтон кивнул. Я постарался придать лицу глубокомысленное выражение, хотя понятия не имел, о чем они говорят.

— Республиканцы полностью контролируют счетную комиссию, и, каким бы ни было демократическое большинство, они дадут сведения, что штат проголосовал за республиканцев; к тому же Верховный суд постановил: апелляции по поводу решения счетных комиссий приниматься не будут.

— Они не посмеют. Все-таки это не Мексика.

— Мой корреспондент пишет также, что в округе Батон-Руж республиканцы хотят заставить каждого негра проголосовать двадцать два раза и никто не сумеет поймать их за руку.

— Но общественное мнение...

— В Луизиане стоят федеральные войска... как и в Южной Каролине и во Флориде. Они непосредственно подчиняются главнокомандующему. Президенту Гранту.

— Неужели Грант решится разорвать конституцию?

Комната стала сизой от дыма; у меня двоилось в глазах, я еле дышал. Голоса моих собеседников долетали как будто издалека.

— Мне кажется, нужно послать наших людей в Луизиану и во Флориду, чтобы не дать им украсть у нас выборы.

— Но кто поедет? И деньги...

Вечно все упирается в деньги. По подсчетам Джейми, на сегодня Тилден истратил почти полмиллиона долларов. Республиканцы, наверное, вдвое больше — они прибегли к испытанному средству: призвали всех республиканцев, занимающих государственные должности, жертвовать деньги в пользу партии. Очевидно, за пятнадцать лет пребывания у власти они кое-чему научились...

Я с трудом поднялся.

— Можете вы что-нибудь сообщить мне о губернаторе Хейсе?

Биглоу кивнул.

— Странное дело. Когда мы готовили доклад об уплате налога Тилденом, мы потребовали от правительства такой же отчет об уплате налогов губернатором Хейсом. Правительство отказалось его обнародовать. Это любопытно.

— Налоги меня не вдохновляют. Что́ я действительно хотел бы знать, так это — стрелял ли Хейс в свою мамашу.

— Вряд ли.— Биглоу вдруг повеселел.— Но вы могли бы спросить об этом вслух, то есть со страниц газеты...

4

День выборов: седьмое ноября 1876 года.

В октябре в штате Огайо большинством в шесть тысяч голосов победили республиканцы. Биглоу и Пелтон оказались правы: чуть больше денег и старания — и штат мог бы проголосовать за демократов. С другой стороны, в том же октябре штат Индиана отдал предпочтение демократам большинством в пять тысяч голосов.

В эту минуту миллионы людей, которые даже краешком глаза не видели ни Тилдена, ни Хейса и не имеют представления о позициях, которые они занимают, делают выбор между ними.

Тем временем сообщают, что грантовские инспекторы избирательных участков носят значки республиканской партии и чинят всяческие препятствия тем, кто хочет голосовать за демократов.

Эмма по-прежнему с Дениз в незаконченном доме Сэнфордов на Пятой авеню. Сам Сэнфорд уехал на Запад помогать Хейсу. Если он проявит усердие, Запад наверняка проголосует за Тилдена.

С подозрительной покорностью Джон Эпгар согласился отложить назначенное на октябрь бракосочетание в церкви Благоволения. Мы с Эммой совершаем периодические набеги в страну Эпгарию и ощущаем в ее атмосфере некоторый холодок; что это — предвестие суровой зимы?

Однако Эмма нашла довольно благовидный предлог. Она сказала Джону, что ее беспокоит здоровье любимой подруги и любимого отца; мое здоровье в самом деле с каждым днем все хуже, но я стараюсь об этом не думать.

Сейчас полдень. Черная туча повисла над Мэдисон-сквер. Идет холодный дождь. По традиции плохая погода — доброе знамение для демократов: это значит, что республиканцы-фермеры в северной части штата Нью-Йорк останутся дома, а голосовать будут только верные члены партии в городе. Сейчас я отправлюсь в «Эверетт-хаус», где должен появиться Тилден. В городе ставят на Тилдена десять против восьми.

Сегодня утром я встретил Заха Чендлера; он с кем-то из «стойких» входил в «Уголок таинств».

— Какие виды на будущее? — не удержался я от вопроса.

— Просто ужасные,— искренне признался Чендлер. Теперь он может позволить себе любую откровенность, потому что никакая газетная статья — ни моя, ни чья угодно — не в состоянии уже ничего изменить. Избиратели голосуют.

Небольшая, но все же новость: «босс» Твид арестован в Испании и будет возвращен в нью-йоркскую тюрьму. Наверное, это хорошее предзнаменование, оно напомнило стране о первой победе Тилдена над силами тьмы.

Рука у меня дрожит, я едва разбираю собственные каракули.

Полночь. Седьмое... нет, уже восьмое ноября.

Вскоре после полудня губернатор Тилден, проголосовав, прибыл в «Эверетт-хаус». Я находился в толпе, которая встретила его овацией, когда он входил в бальную залу отеля.

Тилден казался спокойным и выглядел по-президентски; на нем был черный сюртук с красной гвоздикой в петлице. У меня возникло идиотское желание подойти к нему и пожать руку. Но сквозь такую толпу протиснуться было невозможно. К счастью, я нашел полковника Пелтона, который сказал:

— Поедемте с нами на Грамерси-парк. Там прямая телеграфная линия. Скоро начнут поступать первые разультаты...

В гостиных и кабинете толпились люди из ближайшего окружения Тилдена. Грин стиснул мне руку. У Биглоу кружилась голова от предвкушения победы.

Когда Тилден вошел в свою собственную гостиную, раздались аплодисменты; это показалось мне очень смешным, но мы все сгорали, то есть сгораем от возбуждения.

Я пожал руку губернатору; его опущенное левое веко слегка приподнялось, и на лице мелькнула едва заметная улыбка.

— Мы пережили нескончаемо длинное лето и осень, мистер Скайлер...

— За ними последует зима без тревог и печалей.

— Надеюсь, вы не ошибаетесь. Но как вы себя чувствуете? — Его глуховатый голос перешел в шепот.— В глазах двоится?

— Все прошло,— солгал я; ведь никакой президент не отправит во Францию посланника-инвалида.— Я помолодел.

— Удивительно, но я тоже помолодел. Исчезли головные боли.— Он тоже лгал, и по той же причине: никакой республике не нужен немощный президент.

Хотя результаты еще не поступали, по телеграфу отовсюду идут поздравления новому президенту.

Одним из первых поздравил губернатора Макклеллан, соперник Линкольна на выборах 1864 года. Поскольку с ним ассоциировалась и политическая и военная катастрофа, я счел это плохим предзнаменованием. Однако Биглоу меня ободрил:

— Мы убеждены, что Нью-Йорк за нами. А кто выигрывает в Нью-Йорке, тот побеждает в стране.

После обеда мы с губернатором во главе отправились обратно в «Эверетт-хаус», где толпы людей заполнили все фойе.

Тилден устроился в комнате, примыкающей к большой зале; там был установлен телеграфный аппарат.

Первый результат: Тилден победил в Нью-Джерси. Из большой залы, подобно волнам, ударяющим о берег, докатываются громкие приветственные крики. Мы тоже поздравляем губернатора. Глаза Тилдена начинают слегка поблескивать, а на щеках вдруг появляются красные пятна, похожие на чумные.

Новые результаты: Тилден победил в Коннектикуте. Снова волны ударяют о берег.

— Полная победа, губернатор! — кричит Грин.

— Все решит голосование в Нью-Йорке,— в сотый раз повторяет Биглоу. До половины двенадцатого мы ждали результатов из Нью-Йорка. Наконец они поступили: Тилден победил в городе и с большим отрывом лидирует по штату в целом.

Хьюит поворачивается к помощнику:

— Пошлите телеграмму в «Нью-Йорк таймс», спросите, с каким перевесом они признают нашу победу.

Все смеются. Дверь в бальную залу распахивается. «Тилден! Тилден! Тилден!» — скандирует публика.

— Идемте,— сказал Хьюит, помогая встать отнюдь не упирающемуся Тилдену.— Они хотят вас видеть, господин президент!

При этих словах мы присоединили наши голоса к хору приветствий и в состоянии, близком к помешательству, двинулись вслед за Тилденом в переполненную и накуренную бальную залу, где сотни людей до хрипоты поздравляли друг друга, пока скромная фигура в черном сюртуке пробиралась среди них, создавая вокруг себя, точно по волшебству, свободное пространство. Никто не стремился прикоснуться к герою, как обычно стремится толпа, заполучившая по крайней мере на четыре года свое божество.

Я вернулся в отель; в фойе было пусто. Ночной дежурный, подмигнув, сказал мне, что из штаб-квартиры республиканцев все куда-то исчезли, как только узнали о победе Тилдена в штате Нью-Йорк.

— Там никого не осталось, кроме клерка Кленси; он задержался прибрать помещение. А Зах Чендлер пошел спать... и прихватил с собой бутылку виски,— шепотом добавил дежурный.

— Где здесь штаб-квартира республиканской партии? — прервал его чей-то зычный голос, показавшийся мне зловеще знакомым.

Я обернулся и увидел одноногого генерала Дэниела Е. Сиклса. Этот колоритный джентльмен, будучи членом палаты представителей, хладнокровно убил любовника своей жены. Он потерял ногу при Геттисберге и прославился тем, что из-за него северяне чуть не проиграли войну. В последние годы он был американским посланником в Испании, совмещая дипломатические функции с исполнением обязанностей другого рода при ссыльной испанской королеве; ее дом на авеню Клебер в Париже мы всегда обходили стороной, как и дом «le roi américain de l'Espagne» [1].

— Ваш Тилден идет неплохо,— покровительственно сказал генерал; этот лояльный республиканец, без сомнения, мечтает получить мой пост в Париже.

— Да, генерал. Президент Тилден победил значительным большинством.

Сиклс хмыкнул в свои моржовые усы и двинулся к вертикальной железной дороге. Я заглянул в «Уголок таинств» и увидел таможенного инспектора Артура. Он благородно признал поражение, и мы с ним выпили на прощание.

Восьмое ноября. Утро.

Из-за снотворного я спал тяжелым сном, и теперь все кажется мне нереальным.

Утренние газеты меня успокоили: Тилден избран президентом. «Трибюн» убеждена, что Тилден победил; «Ивнинг пост» подсчитала, что Тилден должен получить 209 голосов в коллегии выборщиков против 160 у Хейса. Любопытно, однако, что «Нью-Йорк таймс» отказывается признать поражение республиканцев. Пространная редакционная статья озаглавлена: «Неясный итог». Редактор обращает внимание читателей на то, что в Орегоне демократы победили с перевесом всего в 500 голосов, а результаты голосования в трех «сомнительных» штатах — Луизиане, Флориде и Южной Каролине — оспариваются выборщиками Хейса; впрочем, мы это предвидели.

Я был, однако, удивлен, прочитав заголовок в «Геральд»: «Итог: каков он? Произошло нечто такое, чего никто понять не в силах. (Что за стиль, Джейми!) Невозможно назвать имя следующего президента». Однако затем автор объявляет, что в Луизиане, Флориде и Южной Каролине демократы действительно победили и президентом избран Тилден.

Восьмое ноября, четыре часа пополудни.

В редакции «Геральд» суматоха. Даже наборщики спорят о результатах выборов.

Я нашел Джейми в его роскошном кабинете; на нем шлем для игры в поло, в

[1] «Американский король Испании» *(франц.)*— прозвище Д. Сиклса.

руках клюшка. На великолепном столе красного дерева — хрустальный графин с утренней порцией «адской смеси». Пока мы говорили, в кабинет то и дело забегали редакторы, мальчики-посыльные приносили телеграммы, которые Джейми быстро просматривал и швырял на пол.

— Что стряслось? Ведь он же победил. Штат Нью-Йорк отдал свои голоса демократам...

— Нью-Йорк — это всего лишь Нью-Йорк. Происходит еще масса всяких событий.

— Но твоя собственная газета утверждает, что Тилден победил в Луизиане, Флориде, Орегоне...

— Все из-за «Нью-Йорк таймс»! — рявкнул Джейми.— Они перевернули все с ног на голову. Боже, как я устал! Я здесь уже двое суток. В этом кабинете.— Он налил себе своего ужасающего напитка, выпил и начал рассказывать.

Сегодня около четырех часов утра бдительные редакторы «Таймс» узнали, что помощники Тилдена отправили телеграммы партийным лидерам всех штатов с просьбой подтвердить результаты выборов. «Таймс» решила, что демократы нервничают, и сделала вид, будто перевес демократов в Луизиане, Флориде и Южной Каролине уже ликвидирован республиканскими счетными комиссиями. Вот чем объясняется заголовок в утреннем выпуске «Нью-Йорк таймс».

В вечернем выпуске редакторы умышленно объявили о победе Хейса в двух из трех «сомнительных» штатов Юга и еще как будто в Орегоне, признав, что итоги голосования во Флориде неясны. Условно «Таймс» дала Тилдену 184 голоса выборщиков, а Хейсу — 181, указав, что если «сомнительная» Флорида проголосовала за республиканцев, то Хейс будет избран с перевесом в один голос.

Мне стало нехорошо, и я сел. Джейми налил мне рюмку коньяку. Я мгновенно почувствовал себя лучше, хотя понимал, что это ненадолго. Оказывается, Сикле телеграфировал республиканским партийным лидерам Луизианы, Южной Каролины, Флориды и Орегона: «Если ваш штат проголосовал за Хейса, его избрание обеспечено. Удержите позиции». В три часа пришло подтверждение из Южной Каролины. В шесть часов — из Орегона. Сикле отправил тогда еще несколько телеграмм и лег спать.

— ...Телеграмм, которые недвусмысленно требуют: фальсифицируйте итоги голосования!

— Похоже на то, Чарли. Демократы утверждают, что их большинство в Луизиане составляет двадцать тысяч голосов. Республиканцы настаивают, что победили они с перевесом в четыре тысячи голосов. Таким образом, итоги голосования в штате могут быть объявлены сомнительными.

— Но это же мошенничество!

Джейми весело расхохотался; главное для него отнюдь не справедливость, а сенсационный материал, способствующий успеху газеты. Он наткнулся на золотую жилу.

Вошел один из редакторов:

— Президент отправил войска.

— Куда? — Джейми снял шлем, словно не расслышал.

— Генерал Грант в Филадельфии, он остановился в доме мистера Чайлдса...

— Меня не интересует, где президент,— раздраженно перебил Джейми.— Куда посланы войска? В какие штаты?

— Грант приказал генералу Шерману направить федеральные войска в Луизиану...

— ...Флориду и Южную Каролину,— закончил Джейми.— Так?

— Совершенно верно, сэр.

— Откуда узнали?

— Президент воспользовался частной телеграфной линией Джея Гулда.

— Отличная работа.

— Спасибо, мистер Беннет. Насколько нам известно, сам Грант считает, что Луизиана проголосовала за Тилдена и что Тилден избран президентом.— Редактор вышел из кабинета.

— Но если Грант думает, что Тилден победил, зачем он посылает войска?

— Именно поэтому, Чарли.

5

Ночь с восьмого на девятое ноября.

Перед тем как отправиться на обед к Сэнфордам, я заглянул на Грамерси-парк,

где все еще дежурит восторженная толпа. С трудом мне удалось убедить полицейского, что я один из соратников губернатора.

Тилдена я нашел в главной гостиной; вид у него был усталый, левое веко опустилось ниже обычного. Но встретил он меня приветливо.

— Рад вас видеть,— сказал он, хотя сегодняшний торжественный обед устраивался только для самого узкого круга приближенных.

— Сэр, я пришел не на обед, а...

— Разумеется, вы приглашены. А если нет, то считайте, что я вас сейчас пригласил.— За спиной Тилдена я увидел несколько будущих министров его кабинета и понял, что аудиенция будет короткой.

— Нет, благодарю вас. Я хочу вам кое-что сообщить.— И я быстро пересказал ему все, что узнал в редакции «Геральд». Тилден слушал очень внимательно.

— Я знал про «Нью-Йорк таймс»,— сказал он, когда я кончил.— Уайтлоу Рид — фанатик и совершенно бесчестный человек.— Самые суровые слова, какие я услышал от Тилдена о его противниках.— Но едва ли с большинством, которое мы получили на Юге, можно не считаться. Правда, я не знал, что Грант посылает войска,— добавил он, и на лбу его обозначились глубокие морщины.

— Они опоздали. Ведь все знают, что в Луизиане вы победили с перевесом в двадцать тысяч голосов.

— Немного меньше. Но у нас значительное большинство. К несчастью, все еще существует счетная комиссия, которая имеет право решать, каков итог голосования. Она контролируется республиканцами. Добавьте к этому федеральные войска...— Он не договорил.

Я попрощался, и Тилден тепло пожал мне руку.

— Вы верный друг, мистер Скайлер.— Не скрою, это меня приободрило. Я убежден: ничто не может помешать Тилдену стать президентом, если только Грант не устроит coup d'état [1].

В гостинице я нашел записку от Джейми: «Вы снова должны взяться за перо. Республиканцы отправляют на Юг своих лидеров — и деньги. Они хотят украсть у демократов победу. Тилден опередил Хейса на 250 000 голосов. Этого всегда было достаточно, чтобы стать президентом».

Сегодня вечером я чувствую себя спокойно. Никакими взятками, жульничеством или военной силой невозможно украсть президентский пост у человека, который победил с таким перевесом.

На полу возле ножки стола я увидел газетную вырезку, которая, наверное, выпала из письма Джейми. Я с трудом ее поднял. Заявление губернатора Хейса газете «Нью-Йорк сан»: «Я придерживаюсь того мнения, что демократическая партия победила на выборах и что президентом избран Тилден...» У меня туманятся глаза. Мы победили.

Глава одиннадцатая

1

Соединенные Штаты на грани гражданской войны.

В течение недели после избрания губернатора Тилдена президентом республиканская пресса, республиканская партия и федеральная армия под командованием республиканского президента открыто пытаются изменить результаты народного голосования. Это самый настоящий и вопиющий скандал, вызывающий тревожные мысли.

По положению на сегодняшнее утро у Тилдена 184 голоса выборщиков, а у Хейса всего 166. Девятнадцать голосов «сомнительных», несмотря на очевидную и убедительную победу Тилдена у избирательных урн.

Каждый день новые сообщения со всех концов страны будоражат народ. Поговаривают о марше на Вашингтон, о том, что Юг вооружается. Лучшие из республиканцев в ужасе от происходящего, и демократическое большинство страны приобрело вдруг очень странных союзников; среди них сенатор Конклинг, который заявил, что Тилден — законно избранный президент, и предупредил, что отчаянные республиканцы могут попытаться украсть то, что им не принадлежит. Если Тилден незамедлитель-

[1] Государственный переворот *(франц.)*.

но заявит о своих правах, говорит Конклинг, то он и еще ряд влиятельных республиканцев его поддержат.

Но заявит ли Тилден о своих правах, к тому же незамедлительно?

Сегодня я снова пробрался сквозь толпу на Грамерси-парк. Показав значок полицейскому, который неотлучно дежурит возле дома новоизбранного президента, я проник внутрь. Здесь яблоку негде было упасть — собралось все руководство демократической партии. Меня толкали со всех сторон, пока я не увидел на лестнице Биглоу. Он провел меня в кабинет губернатора.

Там находились Хьюит, Дорсхаймер — вице-губернатор штата Нью-Йорк — и какой-то деятель с Юга, из Луизианы. Тилден встал из-за стола и пожал мне руку. Я заметил, что его левое веко опустилось еще ниже, из-за чего создается странное впечатление, будто губернатор подмигивает тем, кто хочет его обжулить. Он сказал:

— Хьюит сообщит нам некоторые цифры.

— Джентльмены, народное голосование принесло следующие результаты: Тилден — четыре миллиона триста тысяч пятьсот девяносто голосов, генерал Хейс — четыре миллиона тридцать шесть тысяч двести девяносто восемь, это дает Тилдену перевес в двести шестьдесят четыре тысячи двести девяносто два голоса. Мы победили подавляющим, неоспоримым большинством в штатах Нью-Йорк, Нью-Джерси и Коннектикут. Мы, что весьма неожиданно, победили в штате Индиана. В результате в коллегии выборщиков Тилден имеет фактически сто девяносто шесть голосов, а Хейс сто семьдесят три. Республиканцы же утверждают, что у Тилдена сто восемьдесят четыре, у Хейса сто шестьдесят шесть и девятнадцать голосов спорных...

— Но пока мы тут сидим, они забрались в курятник и воруют у нас цыплят...— начал южанин.

— Возможно,— прервал его Тилден.— Продолжайте, мистер Хьюит.

— Республиканцы надеются присвоить себе нашу победу во Флориде и Луизиане. Во Флориде мы победили с перевесом всего в девяносто два голоса. Но в штате Луизиана мы одержали внушительную победу, получив на шесть тысяч пятьсот сорок девять голосов больше наших соперников. Счетные комиссии в этих штатах сплошь состоят из республиканцев. В них полно послушных неграмотных негров и приезжих северян...

— Вы их характеризуете чересчур вежливо,— мрачно проворчал южанин.— Вернее сказать — проклятых саквояжников [1] и их тупоголовых чернокожих дружков...

— Сэр, предоставим эмоции нашим соперникам,— сказал Тилден, пытаясь обратить слова южанина в шутку.— Мы можем себе это позволить, потому что у нас есть голоса.

— Пока есть,— сказал южанин, отхлебнув из пивной кружки виски.

— Пока,— эхом повторил Хьюит и снова заглянул в свои записи.— Луизиана и Флорида дают двенадцать выборщиков. Если эти штаты отойдут к Хейсу, он будет избран президентом с перевесом в один голос в коллегии выборщиков. То есть сто восемьдесят пять за Хейса и сто восемьдесят четыре за губернатора Тилдена.

— Я не допускаю возможности, чтобы итоги голосования в Луизиане могли быть изменены, даже с помощью «послушных неграмотных негров и приезжих северян»,— сказал Тилден.— Однако из этих штатов поступают тревожные вести. Взяточничество, запугивание...— Он замолчал, проглотил таблетку и запил ее минеральной водой.— Джентльмены, год назад республиканцы устроили нам ловушку. Я знал об этом, но, поскольку находился в то время в Олбани, не имел возможности повлиять на ход событий. А наша партия в сенате позволила себя одурачить.— На миг холодный взгляд Тилдена задержался на конгрессмене Хьюите, у которого был весьма жалкий вид.— Наши успехи на прошлых промежуточных выборах в ряде штатов ясно показали республиканцам, что в этом году мы победим в Нью-Йорке и многих других штатах. Они знали также, что Юг — за нами. Как, спрашивается, могли они предотвратить нашу победу? Они держат войска в трех южных штатах, где установился...— Тилден посмотрел на южанина и усмехнулся.— Режим саквояжников. Если дело примет неблагоприятный оборот, полагали они, незаконные власти штатов просто-напросто выкинут бюллетени, поданные за нас, и подменят их таким числом поддельных, какое обеспечит победу республиканцам...

---

[1] Так называли северян, наводнивших Юг после Гражданской войны и искавших выгодных должностей в условиях послевоенного хаоса.

— Но вы не потеряете Луизиану, губернатор, если включитесь в борьбу незамедлительно! — Это был голос южанина.

— В борьбу — сколько угодно. Но и в подкупы тоже? — с мягкой иронией спросил Тилден.

— Боюсь, что вам придется платить, губернатор. У нас на Юге все продается.

— Теперь вы понимаете? — Голос Тилдена вдруг стал жестким и печальным. Я добился того, ради чего начал борьбу. Я избран президентом явным большинством нашего народа, которое, подобно мне, возмущено положением дел в стране. Однако если я хочу занять должность, на которую избран, я должен превзойти в расходах генерала Гранта и его друзей.

С улицы донеслись громкие возгласы: «Ура Дяде Сэму!» — так теперь называют Тилдена. Губернатор прикусил нижнюю губу.

— Так вот, о ловушке,— вспомнил он.— В тысяча восемьсот шестьдесят пятом году конгресс, в котором преобладали республиканцы, принял так называемое «Двадцать второе единое правило».— Углубившись в дебри конституционного права, Тилден заметно оживился, голос его зазвучал гораздо увереннее.— Это правило гласит, что если итоги выборов сомнительны, то вопрос подлежит рассмотрению на совместном заседании обеих палат конгресса. Мудрое решение, поскольку соответствующий раздел конституции страдает известной расплывчатостью. Однако в январе прошлого года наши коварные республиканские друзья в сенате, предчувствуя свое поражение на нынешних выборах и желая сохранить за собой не раз упоминавшиеся сегодня южные штаты, в одностороннем порядке отменили правило десятилетней давности и...

— Вот что я вам скажу,— снова перебил его южанин.— Идите к тем, кто вас избрал, зовите их на улицы Нового Орлеана и Батон-Ружа! Поезжайте туда сами в качестве новоизбранного президента, которым вы являетесь; когда на улицах окажется пятьдесят тысяч вооруженных до зубов демократов Луизианы, саквояжники не решатся украсть ваши бюллетени.

— Но там будет еще и пятьдесят тысяч солдат федеральной армии, готовых возобновить гражданскую войну.— Тилден сохранял внешнее спокойствие. Если суждено вспыхнуть гражданской войне, Тилден не хочет войти в историю как человек, сделавший первый выстрел. Его позиция меня восхищает и бесит одновременно.

— Что ж, сэр, я скажу вам, что случится, если вы не займете сию же минуту твердую позицию. Некоторое число южных демократов — членов конгресса, а точнее около сорока, переметнутся на сторону Хейса, если он пообещает вывести федеральные войска из тех штатов, где они сейчас находятся, и вернуть нам нашу утраченную свободу.

— Однако, сэр, вы избрали меня подавляющим большинством именно затем, чтобы это сделать, и я сделаю это,— сухо ответил Тилден.— Сомневаюсь, чтобы какой-нибудь южанин мог довериться партии генерала Гранта.

Но тут Тилдену сообщили о приходе группы юристов — конституционных экспертов. Он спустился вниз, а мы остались в кабинете. Последние слова Тилдена нас ничуть не успокоили. Луизианец пил виски, Хьюит перелистывал свои бумаги.

— Мы можем получить голоса выборщиков от Южной Каролины за восемьдесят тысяч долларов,— сказал мне Биглоу.

— Не так уж дорого.

— Пелтон как раз сейчас ведет переговоры с членами счетной комиссии штата. Они требуют, чтобы деньги были доставлены в Балтимор к вечеру в воскресенье. Наличными. Купюрами по тысяче и пять тысяч долларов.

— Губернатор готов платить?

— Нет. Он направляет на Юг всех известных ему честных и достойных людей, чтобы противодействовать республиканцам, которые уже послали туда половину руководства своей партии, в том числе вашего друга Гарфилда; он сейчас в Луизиане, обхаживает некоего Уэллса, председателя счетной комиссии штата.

— Сколько тот просит?

— Говорят, что Уэллс отдаст нам Луизиану за миллион долларов. Наличными.

— А губернатор?

— Он не собирается платить за то, что он выиграл на выборах.

— А что Флорида?

Лицо Биглоу исказила болезненная гримаса.

— Хьюит сказал мне, что Флорида будет стоить двести тысяч долларов. Их нужно заплатить прямо членам комиссии по пересчету бюллетеней.

— Мне эти требования кажутся скромными.

— А мне — оскорбительными!

— Если они заплатят деньги, которые отказывается платить Тилден, они получат оба штата, невзирая на итоги народного голосования.— Эта мрачная перспектива кажется мне теперь вполне реальной.

— Потому Пелтон и нырнул в подполье,— загадочно и печально сказал Биглоу.

Это меня обнадежило; пока Тилден рассуждает о законности и честности правительства, его зять скупает голоса, которые они и без того получили.

При всех многочисленных достоинствах у губернатора Тилдена есть роковой изъян — это его нелепая вера в то, что людей можно сделать честными с помощью убедительных аргументов, и тогда они проявят бескорыстие там, где властвуют алчность и личная выгода.

2

Тринадцатое декабря, идет заседание конгресса. В сенате большинство в семнадцать голосов у республиканцев. В палате представителей перевес в семьдесят четыре голоса у демократов.

Вот уже месяц как в стране царит хаос, даются и берутся взятки, федеральные войска находятся в полной боевой готовности, отчаянные белые южане вооружаются до пресловутых зубов, а никакого выхода из кризиса не видно.

Шестого декабря выборщики собрались в своих штатах. Сюрпризов не было. Как мы уже знали, республиканские заправилы Луизианы, Флориды и Южной Каролины заставили свои счетные комиссии отправить в конгресс два взаимоисключающих списка; так же поступил и Орегон. Один список, отражающий истинные итоги выборов — в пользу Тилдена, другой — мошеннический — за Хейса. У Тилдена по-прежнему 184 неоспоримых голоса в коллегии выборщиков, у Хейса — 165 (он потерял один голос), двадцать голосов спорных.

Во всех уголках страны множатся признаки надвигающейся бури. «Тилден или кровь!» — этот клич нередко слышится теперь не только на Юге, но и здесь, в Нью-Йорке.

Хотя в моей последней статье в «Геральд» я утверждаю, что именно неукоснительное следование закону не дает нам превратиться в новую Мексику, я вовсе не убежден, что все это ужасное действо закончится благополучно.

А вот еще одна новость: сегодня утром рота национальной гвардии в Нью-Йорке объявила о своей готовности идти маршем на Вашингтон. Юг вооружается.

«Тилден или кровь!»

Я думаю о Париже, о коммунарах, о жертвах.

3

Сегодня вечером я выступал в Чикеринг-холле перед огромной аудиторией, состоящей из европейцев, приехавших посмотреть на наши выборы и воочию увидеть, как выглядит демократия в американской республике в год ее столетнего юбилея. Очевидно, в качестве оратора я устраиваю как демократов, так и республиканцев.

Когда я шел по сцене, залитой светом рампы, сердце мое гулко стучало в груди, заглушая вежливые аплодисменты публики.

Я написал текст речи по-французски. К несчастью, освещение здесь устроено так, что я был практически ослеплен и не мог читать. Поэтому мне пришлось импровизировать.

О коррупции я высказался весьма сдержанно. Публика, однако, отлично все поняла.

— Удивительно,— говорил я,— какое множество злоупотреблений может быть в процессе голосования. Казалось бы, чего проще: избиратель отмечает в своем бюллетене демократический или республиканский список. Но после выборов в ноябре прошлого года добрые флоридцы или по крайней мере их республиканские попечители обнаружили, что Тилден отнюдь не победил в этом томном тропическом штате девяноста двумя голосами, а проиграл Хейсу, набрав на девятьсот девяносто два голоса меньше. Разница не так уж велика, поэтому вполне возможно, что первый подсчет был неточен. Но теперь нам говорят, что Луизиана — ничуть не менее томная и тро-

пическая,— давшая Тилдену в ноябре большинство в шесть тысяч пятьсот сорок девять голосов, в декабре, словно одумавшись, предпочла Хейса большинством в четыре тысячи восемьсот семь голосов.

В публике начали посмеиваться и перешептываться. Скосив, насколько возможно, глаза, я увидел в центральной ложе Эмму вместе с Бельмонтами.

— Эти забавные и запоздалые пересчеты голосов в двух штатах привели к тому, что коллегия выборщиков большинством в один голос шестого декабря избрала Хейса президентом. Но поскольку Хейс получил на четверть миллиона голосов меньше Тилдена, конгрессу предстоит решить, какой из двух списков от четырех спорных штатов считать действительным. Первый, которым в ноябре президентом избран Тилден, или второй, которым в декабре избран Хейс?

Прямо подо мной какой-то сердитый француз вскочил со своего места. Это был член делегации тружеников, посланных для наблюдения за Демократией в действии; деньги на их путешествие собирали по подписке. Когда делегация уезжала из Парижа, ее благословил не кто иной, как сам Виктор Гюго, чья проза еще более прозрачна и блистательна, чем моя, когда я перехожу на французский.

«Заря будущего,— воскликнул Гюго,— уже занимается, и оно, конечно, принадлежит Демократии, сутью которой является пацифизм». Очевидно, великому человеку так никто и не рассказал о нападении Америки на Мексику в сороковых годах и на Канаду в тысяча восемьсот двенадцатом. Гюго уверенно говорил о грядущих Соединенных Штатах Европы и призывал добрых тружеников высоко нести факел цивилизации (как все риторики обожают этот факел!) с земли, где родился Христос, в страну, где родился Джон Браун». Складывается впечатление, что, помимо всего прочего, гений не в ладах с элементарной географией.

— Не объясните ли вы мне, сэр,— спросил делегат тружеников,— чем эти выборы отличаются от той бесславной комедии, во время которой Луи Наполеон уничтожил французскую республику и провозгласил себя императором?

Одобрительные крики и аплодисменты.

— Разница в том,— сказал я, когда аудитория несколько поутихла,— что в марте генерал Грант покинет Белый дом...

— Но партия Гранта...

— Но грантовский наследник...

— Но Хейс...

Разочарованные — вернее, рассерженные — поклонники демократии повскакали с мест. Шум, лозунги, проклятия.

Последним отчаянным усилием пытаясь совладать с аудиторией, я прокричал:

— В феврале конгресс провозгласит Сэмюела Тилдена, избранного большинством в четверть миллиона голосов, нашим следующим президентом, и американская республика будет жить и процветать! — Эти слова вызвали внушительную овацию, позволившую мне улизнуть. Я весь взмок от пота, меня трясло как в лихорадке.

Эмма довезла меня до отеля «Пятая авеню» по дороге в дом Сэнфордов, где она живет сейчас одна. Дениз в Южной Каролине. Сэнфорд в Вашингтоне, он всецело поглощен выборами.

— Будет революция? — В устах Эммы это отнюдь не отвлеченный вопрос. Мы в Париже пережили не один кровавый переворот.

Завтра Эмма уезжает на Юг. На плантации Сэнфорда она будет вне опасности. Дениз хочет пробыть там до февраля, когда она должна родить.

В номере меня ожидало письмо. Дениз пишет: «Эмма находит, что здесь безопаснее. Она прислала ко мне «помощницу» мадам Рестел, столь же опытную, сколь и дорогую... Ей предстоит принять accouchement [1]. Но вы ведь приедете к нам задолго до этого? Самое позднее — к Новому году, иначе я на вас рассержусь и лишу уготованного вам титула крестного отца!»

Глава двенадцатая

1

14 января 1877 года. Воскресенье. Я все еще в Нью-Йорке.

Должен сообщить, что в разгар этой высокой политической драмы нашлось место и для комедии. В день Нового года, когда я был в Олбани, Джейми обходил с

[1] Роды *(франц.)*.

визитами дома, где его еще принимают. Когда он добрался до дома своей невесты, мисс Мэй, он уже был настолько пьян, что помочился в камин в прихожей. На прошлой неделе родственник бывшей невесты остановил Джейми у входа в «Юнион-клуб» и отхлестал его кнутом.

Я нашел Джейми в скверном настроении. Он ничего не рассказал мне о случившемся, да это и не нужно, потому что об этом говорит весь Нью-Йорк.

Два дня назад обе комиссии конгресса собрались на совместное заседание, новостей из Вашингтона до сих пор нет. Комиссии вершат свои дела в обстановке строгой секретности.

Вчера вечером из Вашингтона приехал Хьюит, он привез с собой проект резолюции, который комиссии собираются представить конгрессу.

Незадолго до полудня Тилден и Хьюит спустились в гостиную, где собрались несколько советников и ваш покорный слуга.

— Джентльмены, на совместном заседании комиссий конгресса принято решение о создании избирательной комиссии. В состав новой комиссии войдут члены конгресса, однако она не будет подчинена конгрессу и, следовательно, ее можно назвать неконституционной. Комиссия фактически станет судом, состоящим из тринадцати достойнейших граждан. Девять — члены обеих палат конгресса, четыре — члены Верховного суда. Каждая палата отберет в комиссию по пяти человек, из коих один будет исключен по жребию.

Тилден считает этот последний образец остроумия наших законодателей полным легкомыслием.

— Может быть, я потеряю пост президента, но я не собираюсь выигрывать его в лотерею,— сказал он твердо.

— Я телеграфирую нашим лидерам, что вы против этого плана.— Хьюит явно растерялся.

— Передайте им также глубокую благодарность за то, что они решили любезно посоветоваться со мной постфактум.— Над покрытым скатертью столом сверкнули холодные глаза тигра.— Я понимаю, они рассчитывают, что я благословлю их недальновидные действия, однако увольте меня от этого. Лично я рекомендовал бы передать дело в арбитраж. Я ведь юрист, а не революционер.

— Губернатор, если вы выступите против законопроекта, он не будет одобрен,— испуганно сказал Хьюит.

Мы с Биглоу переглянулись. Вот он, шанс Тилдена. Но тигр за нашим столом превратился вдруг в адвоката.

— Я не могу позволить себе отвергнуть вмешательство конгресса, когда стоящая перед нами дилемма требует именно этого,— мрачно заявил он, и этот юридический аргумент подорвал его собственную позицию.

— А что мне написать в «Геральд»? — спросил я.

— Я был бы вам крайне признателен, если бы вы создали впечатление, что я в настоящее время занимаю нейтральную позицию.

— Но могу ли я написать, что вы готовы драться за пост, на который вас выбрали? — С каждой минутой моя тревога все сильнее. Тилден-адвокат активно действует против Тилдена-вождя, сумевшего увлечь большинство сограждан требованием реформ.

— Надо говорить не «драться», мистер Скайлер. Пока, во всяком случае. Следует сказать «оспаривать».

2

Двадцать пятое января. Отель «Уиллард», Вашингтон.

Семнадцатого января был опубликован законопроект о создании избирательной комиссии. В тот же вечер я задал губернатору Тилдену естественный вопрос: как он относится к законопроекту, который теперь должен быть утвержден конгрессом?

— Мое отношение к нему не изменилось.— Усталый голос; Тилден совсем потерял свою знаменитую «хватку».— Я придерживаюсь конституции и традиций, сложившихся в ходе двадцати двух предыдущих президентских выборов. Если ни Хейс, ни я не имеем большинства в коллегии выборщиков, тогда конституция требует, чтобы президент был избран палатой представителей, а вице-президент — сенатом. Если палата представителей назовет меня президентом, как она намерена сделать, я не-

медленно поеду в Вашингтон и приму присягу президента, даже если через пять минут после этого буду убит.

— А что же губернатор Хейс?

На тонких губах промелькнула улыбка.

— Единственное, что нас объединяет,— это отвращение к избирательной комиссии.

Вечером накануне отъезда из Нью-Йорка у меня состоялся длинный разговор с Джейми, необычайно мрачным и необычайно трезвым.

Очевидно, новогоднее происшествие произвело на него глубочайшее впечатление. Мне до сих пор не вполне ясно, что же все-таки произошло в тот злосчастный день; впрочем, этого не знает никто. Нью-Йорк разделился на две враждующие фракции. По мнению одних, Джейми осквернил камин в прихожей полковника Мэя. Другие оспаривают эту версию, утверждая, что на самом деле речь идет не о камине, а о фарфоровой подставке для зонтиков — именно она удостоилась чести наполниться преображенной «адской смесью». Самая меньшая, но зато и самая посвященная секта каким-то таинственным образом точно знает, что Джейми воспользовался синей дельфтской китайской вазой. Прилагательные всякий раз повторяются в одном и том же неизменном порядке, как слова Ave Maria. Несколько твердых конформистов настаивают, что рояль тоже сыграл не последнюю роль в этой сакральной истории.

Во всяком случае, третьего января родственник его бывшей невесты по имени Фред Мэй остановил Джейми возле клуба «Юнион». Мэй держал в руках кнут из коровьей кожи. Около десятка напуганных членов клуба, подобно греческому хору, с ужасом и жалостью наблюдали в окна за схваткой, которая завершилась тем, что оба свалились в сугроб.

Желая спасти свою честь, Джейми вызвал Мэя на дуэль. Седьмого января герои встретились в местности под названием Овраг убийц, облюбованной местными дуэлянтами из-за того, что один возможный убийца находится в Делавэре, а другой в Мэриленде, и таким образом даже в случае смертельного исхода возникает непреодолимый юридический тупик.

Однако до кровопролития дело не дошло. Мистер Мэй счел уместным выразить свое презрение к осквернителям ваз или каминов выстрелом в воздух. Джейми настолько нервничал, что не выстрелил вообще. Честь была спасена.

Джейми только однажды упомянул о дуэли. Я, разумеется, помалкивал. Я заметил, что он все время беспокойно ерзает и одергивает рубашку.

— Что с тобой?— спросил я наконец.

— Мэй! — воскликнул Джейми, не без основания предполагая, что я знаю, о ком и о чем он говорит. Он расстегнул рубашку.— Смотрите! — И он показал жилет из металлической сетки.— Сталь высшего качества. Пуленепробиваемая. Но очень колется!

— Он собирается в тебя стрелять? — спросил я.

— Да. Он подстерегает меня. Прячется среди деревьев. Забирается на пожарные лестницы. Но я готов к встрече.— Джейми вытащил из кармана сюртука маленький револьвер.— Я даже сплю теперь с открытыми глазами.

— Убери эту штуку.

Джейми убрал револьвер и вдруг, не меняя тона, сказал:

— Ему тоже следовало бы держать глаза открытыми. Вашему другу Тилдену.

— Я только что от него.

— Следите за Дэвисом. Все дело в нем.

— Это член Верховного суда?

Джейми кивнул и, вопреки своим новым правилам закрыв оба глаза, сказал:

— Комиссия будет состоять из пятнадцати членов. Пятеро из сената. Из пяти сенаторов трое за Хейса и двое за Тилдена. Из пяти конгрессменов трое за Тилдена и двое за Хейса. Таким образом палата представителей и сенат взаимно уничтожаются. В комиссию назначены четыре члена Верховного суда. Двое за Хейса, двое за Тилдена. Эти четверо судей должны выбрать пятого члена Верховного суда в качестве независимого судьи, и им будет Дэвис... Он и решит исход выборов. Он из Иллинойса. Один из основателей республиканской партии, в Верховный суд его назначил еще Честный Хам. Однако Дэвис чаще всего высказывается как демократ, потому что сам

хочет в один прекрасный день стать кандидатом в президенты от демократической партии...

— Значит, он отдаст свой голос за Тилдена.

— Не исключено. Так или иначе, следите за ним. Это хитрая бестия.

Нордхофф подтвердил эту оценку.

— Однако делать выводы еще рано. Пока нет самой избирательной комиссии.— Это было вчера. Сегодня, двадцать пятого января, мы находимся на полпути к ее созданию.

Сорока семью голосами против семнадцати сенат одобрил законопроект. Я весьма приободрился, узнав, что шестнадцать из семнадцати сенаторов, проголосовавших против законопроекта,— республиканцы и среди них Блейн. Однако Конклинг горячо поддержал законопроект, и это уже добрый знак, поскольку он отнюдь не тайно желает победы Тилдену. Выступая от имени самого Хейса, сенатор Шерман резко высказался против комиссии. Как я понимаю, это означает, что всемогущий пятый член Верховного суда поддержит Тилдена.

Во всяком случае, уныние республиканцев вполне объяснимо: спорными остаются двадцать голосов. Для избрания президентом Тилдену достаточно получить из них всего один. Кажется невероятным, чтобы он потерял все двадцать, тем более что они принадлежали ему с самого начала!

Около полудня в гардеробе палаты представителей я встретил Хьюита. Он очень доволен итогами утреннего голосования в сенате.

Наш разговор прервал посыльный, вручивший Хьюиту телеграмму. Прочитав ее, Хьюит начал ловить ртом воздух, как выброшенная на берег рыба.

— О боже,— выдохнул он.

Так я одним из первых в Вашингтоне узнал, что законодательное собрание штата Иллинойс сегодня утром избрало члена Верховного суда Дэвиса в сенат Соединенных Штатов; демократическая партия оказала ему полную поддержку.

— Но Дэвис все равно может остаться в комиссии,— воскликнул Хьюит.— Он ведь должен занять свое место в сенате лишь в марте.

Однако захочет ли он остаться в комиссии?

Вечером я обедал у Гарфилдов с дюжиной республиканских лидеров. Улучив момент, когда гости были увлечены разговором, Гарфилд отвел меня в угол и тихо сказал:

— Завтра мы проиграем в палате. Это будет конец Хейса.

— Но разве Тилден не заслуживает избрания? Я хочу сказать: разве не таково обычное правило — тому, кто получил большинство голосов, гарантируется должность?— Мне вдруг пришло в голову, что на словах «гарантировать» и «Грант» можно неплохо скаламбурить, но я тут же прогнал эту мысль. Мы все настолько поглощены отчаянной борьбой за власть, что любая шутка будет сейчас воспринята как богохульство.

— Я не уверен, что он получил большинство. Клянусь вам.— Прекрасные голубые глаза, как всегда, излучали искренность, и я, как всегда, был ими заворожен.

— Но что вы скажете о Луизиане? Ведь Тилден победил значительным большинством.

Гарфилд покачал головой:

— Не думаю. Правда. Я же был там. Меня посылал президент. И я абсолютно убежден, что на честных выборах победил бы Хейс.

— Но ведь у Тилдена был перевес в двадцать тысяч голосов.

— Не исключено, что ошибки допускались с обеих сторон.

— Ошибки или преступления?

— И преступления тоже. В конце концов, это ведь Луизиана, я в жизни ничего подобного не видел. Знаете ли вы, что председатель счетной комиссии...— Он осекся.— Я не должен об этом рассказывать, поскольку мне предстоит работать в избирательной комиссии.

— И не рассказывайте. Я и без вас знаю, сколько этот человек стоит. Он просил четверть миллиона долларов, и я полагаю, что ваша партия их ему заплатила, коль скоро он отдал голоса вам.

— А вы заметили, до чего необъективна наша пресса! — воскликнул Гарфилд, быстро и непринужденно уходя от опасной темы.— Почему она не пишет о действительных нарушениях закона? Например, о том, что едва ли не в каждом округе Луизианы демократы не подпускали негров к избирательным участкам. Угрожали им.

Избивали. Запугивали. Поэтому, если даже первые результаты выборов в Луизиане точны, они отражают не истинное соотношение сил, а лишь бесчестный обман, поскольку негры практически не принимали участия в голосовании.

Все-таки Гарфилд — поразительный человек! Какое бы преступление ни совершила его партия, он непременно найдет способ...

4

Мы с Нордхоффом в помещении телеграфа Капитолия; Нордхофф передает корреспонденцию в «Нью-Йорк геральд».

Член Верховного суда Дэвид Дэвис (именно с него Джеймс велел не спускать глаз) только что объявил о своем отказе быть членом избирательной комиссии, хотя он и остается в Верховном суде до четвертого марта. «Не стану скрывать,— сказал он,— что избрание в сенат явилось для меня полной неожиданностью, поскольку я этого не добивался».

Слово «неожиданность» весьма забавляет Нордхоффа.

— Дэвис знал по крайней мере две недели назад, что будет избран в сенат. И конечно, он этого хотел.

— Но знал ли об этом две недели назад Тилден? Это его рук дело?

— Понятия не имею. Тилден ваш друг, спросите его. Я знаю только, что Хьюит бродил в потемках до вчерашнего дня.

Как и предсказал Гарфилд, законопроект об избирательной комиссии двадцать шестого января был принят палатой представителей. Сто девяносто один голос «за» и восемьдесят шесть «против», среди последних и голос самого Гарфилда.

Двадцать девятого января президент Грант подписал закон, и избирательная комиссия стала фактом. До вчерашней бомбы демократы пребывали в эйфории. Все их расчеты строились на том, что Дэвис подаст решающий голос в их пользу. Теперь Дэвис улетучился (загадочное ли это исчезновение?). Дэвис благочестиво всем говорит, что он не мог взять на себя ответственность за исход президентских выборов.

Бегство Дэвиса вызвало настоящее замешательство. Ведь демократы в конгрессе поддержали создание избирательной комиссии только потому, что верили в его решающее слово. По мнению Нордхоффа, республиканцам заранее было известно, что Дэвис откажется работать в комиссии, а Хьюит и демократы в конгрессе угодили в западню, которую Тилден сам себе подстроил, обеспечив место в сенате этому новому Макиавелли.

Если это правда, выходит, честные, лучистые голубые глаза Гарфилда мне снова лгали?

Двадцать девятое января. Отель «Уиллард».

Нордхофф утверждает, что Тилден еще тринадцатого января знал о предстоящем избрании Дэвиса в сенат. Почему Тилден не предупредил Хьюита? Может быть, Тилден втайне предпочитает не Дэвиса, а другого члена Верховного суда?

Остальные члены Верховного суда — республиканцы, по крайней мере номинально. Сейчас демократы хотят, чтобы пятым представителем Верховного суда в комиссии стал некий Джозеф Б. Брэдли из Нью-Джерси. В Верховный суд его назначил Грант; позади у него длинная и несколько темноватая карьера адвоката железнодорожных компаний и судьи где-то на Западе. В прошлом радикальный республиканец, Брэдли недавно председательствовал во время выездной сессии Верховного суда в южных штатах и был достаточно справедлив по отношению к белым.

Очевидно, Хьюит и Тилден уверены в Брэдли. Во всяком случае, все так говорят.

Двадцать девятое января. Отель «Уиллард».

Член Верховного суда Брэдли назначен пятнадцатым членом избирательной комиссии; именно его голос решит исход выборов, поскольку голоса четырнадцати членов комиссии (Гарфилд в их числе) разделились, как все уже знают, поровну и они не изменят своей позиции, какие бы доказательства ни были предъявлены им, этим благородным хранителям народной совести, которые под присягой поклялись разоблачить мошенничество при подсчете голосов и избрать девятнадцатого президента Соединенных Штатов Америки.

Глава тринадцатая

1

Восьмое февраля, два часа ночи. Отель «Уиллард».

Я только что от Хьюита. Мы победили!

Я снова чувствую себя юношей, хотя не знаю, почему принято считать, что любой юноша должен хорошо себя чувствовать. Лично я в юные годы чувствовал себя неважно.

Тридцать первого января избирательная комиссия в более или менее торжественной обстановке собралась в Капитолии в небольшом и довольно мрачном зале Верховного суда на свое первое заседание.

На высоком помосте стоят пустые троны членов Верховного суда. Над помостом галерея для прессы и заинтересованных сторон. Перед помостом за длинным столом сидят пятнадцать членов избирательной комиссии; председательствует старейший член Верховного суда Клиффорд. Адвокаты, представляющие Тилдена и Хейса, вручают ему свои пространные резюме.

Главная цель адвокатов Тилдена — подтвердить право комиссии «пересматривать итоги голосования». Иными словами, выслушивать свидетелей и изучать свидетельства, доказывающие мошенничество республиканцев.

Республиканцы отрицают какое-либо мошенничество и смиренно напоминают, что «пересматривать итоги голосования» означает посягать на суверенные права штатов! И это заявляет партия, которая вела одну из самых кровавых войн в истории ради того, чтобы утвердить абсолютную власть федерального правительства над любым отдельным штатом!

Мы с Нордхоффом сидели на переполненной галерее и смотрели вниз на комиссию; ни один из нас не был в состоянии понять суть того, что разбиралось на первом заседании.

Гарфилд помахал нам рукой. Он выглядел куда более веселым, чем позавчера вечером. Плохой признак!

Нордхофф показал мне судью Брэдли. Вершитель судеб страны (а также моей собственной) — довольно невзрачный человек с застывшей на губах полуулыбкой. Еще один дурной знак. Впрочем, я коллекционирую их с самого утра.

Первого февраля обе палаты конгресса собрались в зале палаты представителей. Поскольку галерея прессы переполнена, Гарфилд зарезервировал для меня место на галерее почетных гостей, где находился также едва ли не весь дипломатический корпус, в том числе барон Якоби; он сидел, зажатый между мною и британским посланником сэром Эдвином Торнтоном.

— Какую страну вы представляете, дорогой Скайлер? — шепотом спросил барон на своем бульварном французском.

— Королевство честного правительства,— тоже шепотом ответил я.

— Боюсь, что очень скоро вашу крохотную страну аннексирует эта блистательная и единственная в своем роде демократия.

Перед лицом взволнованного мира... наконец-то я начал писать, как подобает настоящему журналисту! Однако разрешите мне высказаться поточнее. Перед лицом тех взволнованных американцев, кто непосредственным образом заинтересован в избрании Тилдена или Хейса, в час дня началось торжественное действо. Привратник палаты представителей громким дрожащим голосом возвестил о приближении сената Соединенных Штатов Америки, и через центральную дверь стали входить сенаторы. Все глаза были устремлены на двух вечных соперников — Блейна и Конклинга; в этом последнем акте трагедии оба они оказались на заднем плане, хотя в первых актах играли главные роли. Конклинг, как всегда, выглядел превосходно. Говорят, что Кейт Спрейг в Вашингтоне, но я ее не видел. Конклинг желает победы Тилдену; тогда он сможет прибрать республиканскую партию к рукам и через четыре года либо сам станет кандидатом в президенты, либо, если верить слухам, попытается создать еще одну администрацию генерала Гранта. Если выберут Хейса, то один из ключевых постов в его кабинете, возможно, достанется Блейну.

Среди почетных гостей я увидел генерала Шермана; к счастью, он был в штатском. Барон Якоби показал мне историка Джорджа Бэнкрофта; сей ученый муж мрачно слушал Гарфилда, который, разумеется, красноречиво доказывал ему, что только

теперь, в наш восхитительно честный век газет и телеграфа, может быть наконец написана настоящая история.

Как только сенаторы и гости уселись на дополнительные стулья, расставленные в проходах, председатель сената Томас У. Ферри взобрался на высокий трон, где обычно сидит спикер палаты представителей. Сегодня спикеру отведена второстепенная роль, и он сидит слева от председателя. Кстати говоря, это уже не тот конгрессмен, который за взятки устраивал молодых людей в Вест-Пойнт, а некто С. Дж. Рендолл, демократ из Пенсильвании и друг Тилдена.

Все началось как на обычном совместном заседании обеих палат, на котором раз в четыре года оглашаются результаты голосования в коллегии выборщиков, выбирающей президента в соответствии с народным волеизъявлением. Итоги голосования по штатам в алфавитном порядке, начиная с Алабамы, передаются председателю сената, который в свою очередь передает их счетчику голосов, а тот объявляет их вслух и суммирует. Пока оглашались итоги голосования в Алабаме, Арканзасе, Калифорнии, Колорадо, Коннектикуте и Делавэре, члены конгресса, почетные гости и журналисты болтали не закрывая рта. Но как только прозвучало слово «Флорида», наступила мертвая тишина.

Сенатор Ферри подергал свою бороду и откашлялся.

— Председатель,— провозгласил он,— вручает счетчику сертификат штата Флорида, доставленный курьером, и еще один, присланный по почте.

Счетчик подошел к председателю, принял документы и громко объявил, что четыре голоса выборщиков Флориды отданы Хейсу и Уилеру.

Сенатор-республиканец Ферри выслушал это сообщение с очень довольным видом. Зал замер в ожидании. Затем, несколько помрачнев, Ферри вручил счетчику второй документ, и мы узнали, что четыре голоса Флориды отданы Тилдену и Хендриксу.

Тишина казалась нескончаемой. Затем Ферри с деланной небрежностью спросил:

— Есть ли возражения против этих сертификатов штата Флорида?

В один миг нарастающий шум захлестнул зал заседаний; схватка началась. Члены обеих палат повскакали с мест. Наконец слово было предоставлено конгрессмену из Нью-Йорка. Он опротестовал первый список. Конгрессмены из Калифорнии и Айовы опротестовали второй список. Председатель сената спросил:

— Есть еще возражения?

Таковых не оказалось; сенатор Ферри объявил, что вопрос передается на рассмотрение избирательной комиссии, спустился со своего трона и во главе колонны сенаторов покинул зал заседаний. Занавес. Конец первого акта.

Я только что вернулся после позднего ужина в доме Хьюита. Завтра, то есть сегодня, комиссия в первый раз проголосует по вопросу о том, станет ли она пересматривать итоги голосования. Все зависит от Брэдли. Если он проголосует вместе с демократами за пересмотр, то Тилден — президент.

Два часа назад Хьюит послал к Брэдли их общего друга Стивенса. Стивенс вернулся с доброй вестью.

— Брэдли прочитал мне свое заключение. Он считает, что комиссия обязана пересмотреть итоги голосования.

— А выборщики от Флориды? — нервно спросил Хьюит.

— За Тилдена!

— Значит, мы победили.— Хьюит облегченно вздохнул, расслабился и велел открывать шампанское.

Сегодня я засну без снотворного.

2

Восьмое февраля.

Если верить Нордхоффу, сразу после ухода Стивенса к дому Брэдли подъехали сенатор-республиканец Фрелингайзен (член избирательной комиссии) и военно-морской министр Робсон. Это близкие друзья Брэдли; все они из Нью-Джерси. Говорилось об интересах железнодорожных компаний и патриотических чувствах; миссис Брэдли рыдала, умоляя мужа поддержать Хейса (как Нордхофф все это узнаёт — ума не приложу).

Верна информация Нордхоффа или нет, но сегодня Брэдли проголосовал против пересмотра итогов голосования.

Семь республиканцев, голосующих единой партийной фракцией, превратились теперь в республиканскую фракцию из восьми человек против демократической фракции из семи человек.

Хьюит обескуражен и растерян.

— За ночь Брэдли словно подменили,— грустно сказал он.

3

Десятое февраля.

Избирательная комиссия заседала при закрытых дверях большую часть дня. Только что объявлено, что список хейсовских выборщиков от штата Флорида утвержден восемью голосами против семи. Брэдли продался.

Нордхоффа интересует, какую форму приняли тридцать сребреников.

— Я слышал, что ему заплатили двести тысяч долларов. Однако это неподтвержденный слух,— признался он.

Каждая газета по-своему откликнулась на разыгравшийся скандал. «Нью-Йорк таймс» превозносит благородство Брэдли. «Сан» зловеще намекает, что тут не обошлось без денег, и напоминает стране о другом случае продажности Брэдли: когда он был окружным судьей в Техасе, хозяева железных дорог купили его с потрохами. Пятый член Верховного суда вовсе не Брэдли, пишет «Сан», а «Тексас энд Пасифик»— железнодорожная компания, которая хочет посадить в президентское кресло Хейса. «Сан» утверждает, что возле дома Брэдли после отъезда Стивенса останавливались семнадцать экипажей с лидерами республиканской партии и представителями «Тексас энд Пасифик».

Шестнадцатое февраля.

Избирательная комиссия утвердила список хейсовских выборщиков от штата Луизиана. Восемь против семи.

«Тилден или кровь!» — кричит кто-то у меня под окном. Грамерси-парк молчит.

А тем временем Грант вызвал войска (защищать Капитолий?), и в городе повсюду попадаются на глаза солдаты. Некий чересчур нервный журналист написал, что если Хейсу удастся целым и невредимым добраться до Белого дома от Капитолия, где состоится инаугурация, то жители Соединенных Штатов — самые настоящие рабы. Сегодня утром этого журналиста арестовали. Ему предъявлено обвинение в подстрекательстве к мятежу.

«Тилден или кровь!». Я сторонник второго — в том случае, если в результате заговора мы не получим первого.

Глава четырнадцатая

1

У меня не хватило духу продолжать свои записи после того, как вечером девятнадцатого февраля мне вручили телеграмму: «Дениз скончалась сегодня утром мы убиты горем ее сын жив похороны завтра здесь на плантации любящая тебя и разделяющая твою боль Эмма».

Да, такова уж природа вещей: старея, мы постепенно теряем все, что было нам дорого, пока сами не приближаемся к концу пути, где ждет нас мрак, столь же банальный, сколь и неизбежный.

Я послал телеграмму соболезнования Сэнфорду и Эмме.

Такое чувство, словно умерла моя дочь.

Я упрямо продолжаю работать на «Геральд», на Тилдена, на свое собственное... было бы глупо, однако, написать теперь — «будущее». Больше уже ничего не будет; осталось только то, что было.

Сегодня второе марта, письма до сих пор нет. Пришла вторая телеграмма: пятого марта Эмма возвращается в Нью-Йорк.

Я стараюсь не думать о Дениз. К счастью, слишком многое отвлекает меня от этих мыслей: на моих глазах притязания этой нелепой республики одно за другим рассыпаются в прах.

Сначала казалось, что Тилден победил в Орегоне. Однако затем его большинство в пятьсот голосов куда-то улетучилось (вполне допускаю, что оно явилось следстви-

ем ошибки при подсчете бюллетеней), и три голоса выборщиков штата были отданы Хейсу. Но по закону выборщиками не могут назначаться лица, находящиеся на государственной службе. Поскольку один из трех выборщиков Хейса оказался почтмейстером, он был дисквалифицирован. Губернатор штата — демократ — назначил на его место другого выборщика, обещавшего голосовать за Тилдена, и тем самым доказал, что демократы точно так же склонны к мошенничеству, как и республиканцы.

Пока шло это неприглядное соперничество, южных демократов в конгрессе ежедневно обхаживали республиканские лидеры в тандеме с лоббистами железных дорог, и кое-кто из тех, кого обхаживали, сдался.

Начиная примерно с девятнадцатого февраля течение повернуло в сторону Хейса. Быть может, Тилден и победил на выборах, но партия, шестнадцать лет находящаяся у власти, не собирается уступать президентство. Помимо Брэдли, подкуплено и немало членов конгресса; сколько — знает один всевышний да еще «Тексас энд Пасифик». Республиканцы разжигают страсти, каждый день напоминая, что демократы Юга, однажды уже поднявшие мятеж, могут сделать это еще раз.

В то же время республиканцы нахваливают «хороших» южных политиков, не желающих, чтобы драгоценный Союз штатов, на алтарь которого принесено столько жертв, был разодран на части новой гражданской войной. Даже Джейми клюнул на эту гнусную риторику. Несколько дней назад он похвалил южных конгрессменов за их «патриотическую покладистость».

Двадцать четвертого февраля спикер палаты представителей Рендолл вместе с южными демократами переметнулся на сторону Хейса. Тогда Хьюит назвал избирательную комиссию сплошным жульничеством; тем не менее он вынужден был признать, что затянувшийся политический кризис оказывает вредное воздействие на все сферы американской жизни, и прежде всего на бизнес. Другими словами: лучше четыре года Хейса, чем четыре года гражданской войны.

Двадцать седьмого февраля несколько демократов-южан встретились с лидерами республиканцев в номере отеля «Уормли». На следующий день агентство Ассошиэйтед Пресс распространило официальный отчет о встрече, в котором среди прочего подчеркивалось, что Хейс поддержит притязания демократического кандидата на пост губернатора Луизианы!

Нордхофф сообщил мне, что Гарфилд присутствовал на встрече и что у него хватило порядочности возмутиться. В самом деле, он рано ушел из «Уормли». Все же его ждет хорошая награда. При поддержке демократов-южан он будет избран спикером палаты представителей.

— И все равно,— говорит Нордхофф,— Гарфилд — член избирательной комиссии; запротоколированы его слова о том, что в Луизиане победили республиканцы. Теперь ради избрания Хейса он вынужден говорить, что все-таки в этом штате победили демократы. Ничего не скажешь, красивая сделка!

Двадцать восьмого февраля, когда было объявлено, что выборщики от Вермонта отдают свои голоса Хейсу, кто-то спросил (из чистого любопытства?), нет ли из этого штата альтернативного списка выборщиков.

Хьюит вскочил со своего места, в лучших блейновских традициях размахивая толстым конвертом. «Я держу в руке пакет, в котором находится список выборщиков от штата Вермонт. Этот пакет был доставлен мне срочной почтой в середине декабря прошлого года». Очевидно, точно такой же пакет был отправлен председателю сената, который отрицает факт его получения. «Тогда же я вручил ему этот пакет, с которого еще не были сорваны печати. Он отказался его принять!» Громкие крики и большая неразбериха в зале.

Нордхофф объяснил:

— Один из трех выборщиков Хейса — кто бы вы думали? — конечно, почтмейстер. Он должен быть дисквалифицирован. Список отправлен Хьюиту выборщиком-демократом, который не был избран, а теперь считает себя избранным, коль скоро его соперник дисквалифицирован.

— Значит, это ерунда?

— Нет, если бы хватило времени. Тилдену нужен только один из двадцати спорных голосов. Это вполне мог быть голос вермонтца.

Совместное заседание прервало работу. Теперь на раздельных заседаниях палат предстоит рассмотреть вопрос об итогах голосования в штате Вермонт.

2

Первое марта. Совместное заседание обеих палат конгресса продолжается уже восемнадцать часов подряд. Вне сомнения, это самое бурное и беспорядочное заседание за всю историю страны. Галереи переполнены, публика неистовствует. В зале такие толпы лоббистов, что члены конгресса тонут в море своих хозяев. Около полуночи кое-кто из присутствующих начал открыто прикладываться к бутылке. Около часа ночи были замечены два-три револьвера.

Наконец слово взял конгрессмен Леви из Луизианы; он призвал своих коллег-южан согласиться на возобновление переклички штатов, поскольку его «торжественно, серьезно и искренне заверили в том, что в случае избрания президентом Хейса по отношению к южным штатам будет проводиться политика примирения...». Вывод федеральных войск с Юга был гарантирован не только Хейсом, но вчера и самим Грантом. Сделка свершилась.

Заседание кончилось в пятницу второго марта 1877 года в десять минут пятого. Когда наступила развязка трагедии, мы с Нордхоффом клевали носом.

Сенатор Ферри встал. Он бросил взгляд на сонную и подвыпившую публику на галереях и твердым голосом произнес:

— Приступая к оглашению окончательных результатов подсчета голосов выборщиков, председатель выражает надежду, что все присутствующие равно в зале заседания и на галереях будут сохранять спокойствие и сдержанность...

Сидевший рядом со мной Нордхофф тихо засмеялся.

В наступившей тишине результаты подсчета голосов были оглашены и затем суммированы. Большинством в один голос Хейс избран президентом.

— Таким образом,— нараспев объявил Ферри,— Резерфорд Б. Хейс из Огайо, получив большинство голосов в коллегии выборщиков, в соответствии с законом избран президентом Соединенных Штатов сроком на четыре года, начиная с четвертого марта тысяча восемьсот семьдесят седьмого года.

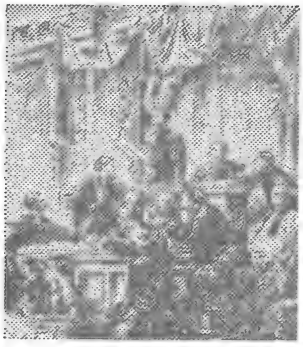
Аплодисментов не было. Только долгий усталый вздох завершил битву. Затем раздался неожиданный глухой удар.

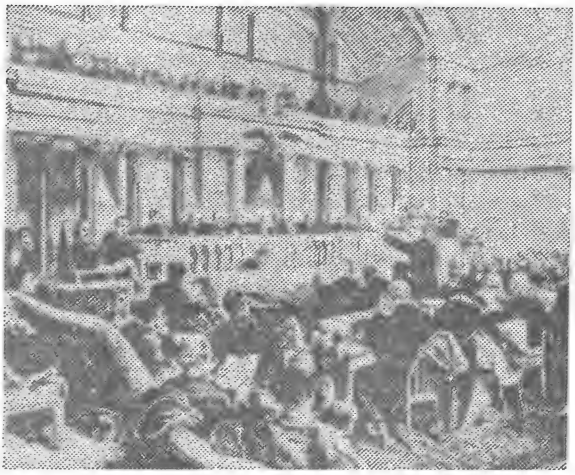
Прямо под нами рухнул Эбрам С. Хьюит. Словно Гамлета в последнем акте шекспировской пьесы, его вынесли из зала. В общем и целом Хьюит проявил примерно такую же сообразительность в политике, как и шекспировский принц, но произнес гораздо меньше хороших речей.

3

Третье марта. Сегодня впервые после убийства Линкольна первая полоса «Нью-Йорк сан» обведена траурной рамкой. Ходят слухи, что генерал Макклеллан собирает войска, чтобы обеспечить послезавтра инаугурацию Тилдена. Если Макклеллан проявит такую же расторопность, как во время Гражданской войны, он успеет как раз к инаугурации 1881 года.

Выборы президента в 1876 г. Заседание избирательной комиссии. Провозглашение Хейса президентом.





4

Пятое марта. Сегодня мой последний вечер в Вашингтоне. Чемоданы уже упакованы. Завтра утренним поездом я уезжаю в Нью-Йорк.

Несколько часов назад Резерфорд (ныне хорошо известный под кличкой «Резервор») Б. Хейс вступил в должность президента на церемонии, состоявшейся в Капитолии перед толпой тысяч в тридцать республиканцев — искателей мест и должностей. Но вправе ли я осуждать тех, кто ищет теплое местечко? Я ведь тоже пытался его добыть, однако мой кандидат проиграл.

Устрашающего вида солдаты перекрыли все подступы к Капитолию. В воздухе пахнет бунтом — впрочем, только в воздухе.

Новый президент похож на провинциального проповедника; он и говорит как проповедник. Хейс явно нервничал, и когда рядом разорвалась хлопушка, он отчаянно заморгал, вероятно подумав о вооруженных и накачавшихся виски конгрессменах-южанах, ступивших на тропу войны.

Примирительная речь Хейса была обращена как к южанам, так и к реформаторам. Создается впечатление, что он собирается приукрасить политику Гранта риторикой Тилдена.

Уходящий президент выглядел еще более изумленным и обиженным, чем обычно. У миссис Грант было такое лицо, словно она только что заглянула в гроб и увидела там собственные останки. Sic transit gloria Grantum [1].

Мы с Нордхоффом обедали сегодня в «Уэлчере». Из сентиментальности мы сели за тот же столик, за которым познакомились год назад. Всего год! Он кажется мне веком.

Обеденная зала была переполнена, ибо город наводнен искателями должностей; это явление наблюдается только в Вашингтоне и только раз в четыре года, и более всего оно напоминает мне нашествие саранчи. Сейчас алчная саранча пожирает обед в «Уэлчере».

Невзирая ни на что, мы хорошо пообедали и были в отличном расположении духа. Не знаю уж почему. Наверное, чем тяжелее испытание, тем радостнее его конец. Выпили, правда, больше, чем следует.

Под первое блюдо (сложное кушанье из мэрилендских крабов с мидиями) мы с Нордхоффом выпили рейнского вина, которое я заказал в честь Тилдена: это любимое вино губернатора.

— За честное правительство! — Лающий смех Нордхоффа перешел в рычание. Почему-то слова «честное правительство» показались нам настолько нелепыми, что мы хохотали над ними до слез.

После этого мы выпили за «Его Мошенничество», как Нордхофф окрестил Хейса. Он рассказал мне, что Хейс приехал в Вашингтон второго марта и прятался в доме генерала Шермана, дожидаясь часа своей проблематичной инаугурации.

— Собственно, особых сомнений не было. Вечером третьего марта Грант пригласил Хейса на обед. Когда Хейс пробрался в Белый дом, он обнаружил, что приглашен еще и председатель Верховного суда. Грант с сыном провели Хейса в пустую гостиную, где верховный судья на всякий случай принял у Хейса президентскую присягу.

— Значит, сегодня был просто...

— Религиозный обряд. А настоящая свадьба состоялась в субботу вечером, когда республику уложили в постель. Давайте выпьем за будущих деток этого брачного союза. За карлика — Реформу...

— За горбуна — Права штатов.

— За выродка — Твердую валюту.

— За близнецов «Тексас» и «Юнион Пасифик».

— Ну и семейка!

В разгар этого мрачного веселья в дверях вдруг возникла знакомая фигура Гарфилда. На мгновение он остановился в нерешительности, но, увидев, что мы его заметили, решил идти напролом. С улыбкой он подошел к нашему столику и присел.

— Я собирался наверх.

— В отдельный кабинет. Чтобы отпраздновать с республиканскими лидерами великую победу и приступить к дележу трофеев...— Нордхофф уже изрядно захмелел.

---

[1] Так проходит слава Грантов *(лат.)*.

— Увы, все гораздо прозаичнее.— Гарфилд, как всегда, был даже приветлив. При виде его я начинаю глупо сиять, как престарелый отец рядом с красавчиком сыном.— Я принимаю своих избирателей. Чуть ли не все мои знакомые из Огайо сейчас в городе.

— Ищут работу? — Нордхофф через силу заставил себя улыбнуться.

— Исключительно pro bono publico.— Напускная серьезность Гарфилда была почти под стать блейновской.— Двое-трое из них признались мне, что готовы взвалить на себя бремя государственной службы, хотя это и потребует от них громадных личных жертв.

Нордхофф немножко оттаял. Я наслаждался обществом блистательного сына.

— Ужасные времена,— заметил Гарфилд.— Я знаю, что вас не радуют результаты выборов.

— А вас? — мгновенно парировал Нордхофф.

— Меня — да. Я уверен, что спорные штаты были бы за нами, если бы неграм позволили голосовать...

— Но вряд ли вы обрадованы тем, что демократа выбрали губернатором Луизианы...

Гарфилд посмотрел на нас невинными голубыми глазами.

— Но нас уверили, что он и в самом деле победил...

— В отеле «Уормли»?

— В отеле «Уормли». Вот мы и не стали оспаривать его избрание.

— Но как мог демократ победить, если, по заключению избирательной комиссии, членом которой вы являлись, Луизиана подавляющим большинством проголосовала за республиканцев?

Лицо Гарфилда ни на мгновение не изменило своего обезоруживающе-искреннего выражения.

— Мистер Нордхофф, когда карты розданы, вы ими играете.— Так мог сказать Цезарь, устранив республику.

Нордхофф не нашелся что ответить. Официант подлил в наши бокалы вина. В голубых глазах Гарфилда запрыгали отраженные огни свечей.

Нордхофф предложил тост:

— За честное правительство.

Гарфилд кивнул:

— За честное правительство. И за президента Хейса.

Гарфилд выпил, я тоже. Но Нордхофф не пил; он продолжил тост:

— Да, за президента Хейса. За Джеймса Блейна. За Роско Конклинга. За генерала Гранта. За счетные комиссии Луизианы, Южной Каролины и Флориды. За Джея Гулда. За железнодорожную компанию «Тексас энд Пасифик». За федеральную армию. За генерала Шермана...

Гарфилд весело смеялся, не желая чувствовать себя оскорбленным.

— Так вы меня, чего доброго, споите, мистер Нордхофф,— у вас получается слишком большое честное правительство.— Он поставил бокал и поднялся. Я тоже встал. Мы пожали друг другу руку.

— Я завтра уезжаю,— сказал я ему.— Кланяйтесь от меня миссис Гарфилд...

— А вы, пожалуйста, засвидетельствуйте мои нежные чувства своей дочери.

— С удовольствием.— Что-то шевельнулось в памяти, и я наконец вспомнил фразу, которая давно уже преследовала меня и ускользала, вертелась в голове, не давая покоя: — Brevis hic est fructus homullis [1].

Гарфилд нахмурился:

— Гораций?

— Нет. Лукреций.

— Мне полагается ответить. Увы...— Гарфилд покачал головой.— Вся моя латынь осталась дома в библиотеке. Помню только Gaudeamus igitur [2]. Подойдет?

— Почему бы и нет? Это всегда уместно.

Когда Гарфилд ушел, мы с Нордхоффом долго еще не могли угомониться и продолжали пить.

---

[1] Краток миг наслаждения *(лат.)*.

[2] Возликуем же *(лат.)*.

К полуночи я добрался до своего номера, взял vase de nuit [1] и освободился и от вина, и от обеда.

Я трезв, утомлен, встревожен. Как жить дальше? И зачем?

Глава пятнадцатая

1

Вопреки тому, что нередко высокопарно именуется «здравым смыслом», я разрешил Эмме остаться в доме Сэнфорда на Пятой авеню; я при ней в качестве своего рода компаньонки.

Думаю, что мы поступили правильно. И сделали, конечно, доброе дело. Сэнфорд со слезами на глазах умолял нас к нему переехать. Он совсем растерялся. Мрачная молчаливость сменяется у него неестественной болтливостью; что еще хуже, он то и дело отводит меня в сторону и рассказывает, как Дениз была мне предана, как звала перед смертью. После этого у меня всякий раз колотится сердце, повышается давление, по лицу текут слезы, хотя я вовсе не плачу,— явление чисто возрастное, болезненное.

Перед сном Эмма пришла ко мне. Наши спальни расположены рядом; их разделяет только гостиная, стены которой обтянуты серым шелком à la Pompadour [2].

Эмма бледна и апатична. Хотя я не хочу знать никаких подробностей, она пытается рассказать мне все:

— Схватки начались рано утром. Дениз кричала. Разбудила нас всех. С ней была сиделка. Дениз запаздывала. На неделю. Может быть, даже на две. Я уже начала волноваться. И Сэнфорд тоже. Но Дениз оставалась спокойной. Лишь однажды, говоря о ребенке, она вдруг сказала: «Мне кажется, он недоволен. Он уже такой взрослый». И все. Никакой паники. Слава богу. Когда приехал доктор, она была без сознания. Он сделал операцию... спас ребенка... и вот...

Эмма сидела очень прямо, намеренно не поднимая глаз на свое отражение в зеркале.

— Что же будет теперь? — прервал я молчание.

— О-о... теперь...— Она покачала головой, как бы давая понять, что никакая жизнь теперь невозможна.— Не знаю. Ты видел Сэнфорда. Я должна остаться, чтобы помочь ему. В память о Дениз. Он рухнул.

— Мужчины не так сильны, как женщины.

Эмма посмотрела на меня долгим задумчивым взглядом и кивнула.

— Ты прав, папа. Поэтому мы останемся, пока он не придет в себя.

— А Джон?

— Нет никакого Джона. Заупокойная служба по княгине д'Агриженской откладывается на неопределенный срок.

— И что же мы будем делать? — спросил я; наверное, это было бестактно.

— Это очень плохо, да?

— Хуже некуда,— подтвердил я.— Тилден не стал президентом. А я — американским посланником во Франции.

— «Геральд»...

— Джейми покидает Америку. Навсегда.

— Из-за этой истории с кнутом? Забавно.— Эмма наконец улыбнулась; пора возвращаться к жизни.

Вот уже несколько недель кряду я настойчиво и отчаянно пытаюсь вернуться к нормальной жизни.

— Все кончено. Чарли. Ничего больше не осталось,— сказал Джейми. Мы сидели с ним за его постоянным столиком в баре Хоффмана, и он повторял эти слова, как рефрен, чуть не после каждой фразы. Даже появление элегантного таможенного инспектора нью-йоркского порта лишь ненадолго отвлекло Джейми от мрачных мыслей.

Артур похвалил мои статьи о выборах.

— Благодаря им я словно сам присутствовал в Капитолии.

---

[1] Ночной горшок *(франц.)*.

[2] В стиле Помпадур *(франц.)*.

— Вы вполне могли быть там, Чет. Однако вы предпочли прятаться в отеле «Уормли»,— насмешливо, как в прежние дни, заметил Джейми.

Однако Артур вовсе не обиделся.

— Боюсь, что вы меня переоцениваете. Все это время я сидел здесь, налегая главным образом на портвейн... А в Белом доме, рассказывают, вода лилась как вино.

Мне было приятно, что Артур похвалил мои статьи в присутствии Джейми. Однако все это уже не имеет значения. Я могу писать для «Геральд» из Парижа, как писал для «Ивнинг пост», но, увы, на эти гонорары не разгуляешься.

Я продолжаю обход Нью-Йорка. На второй день я зашел к Брайанту в редакцию «Пост». Он стал совершенно прозрачным от старости, но хватки не теряет. Я выслушал еще одну порцию похвал моим статьям о выборах.

— Я полагаю, вы скоро отбываете в Европу? — спросил он.

— Да. Если не найду чем заняться здесь.

Голова библейского пророка повернулась ко мне.

— Вы хотите жить среди нас?

— Я хочу жить, дорогой Брайант. Для этого я должен писать.

— Но вы наш постоянный и высокоценимый европейский корреспондент.

— Весьма признателен. Однако у меня дочь и двое внуков, которых надо кормить.

— Понимаю, дорогой мой. Если бы только выбрали Тилдена...

— Его выбрали. Просто не сделали президентом. Вы, конечно, голосовали за него?

В глубине синайского куста вспыхнула улыбка.

— Я никому не рассказываю, за кого голосую. Что же касается газеты...— и так далее.

Мы договорились, что, пока я в Нью-Йорке, я буду писать на различные темы, представляющие интерес для публики, а вернувшись в Париж, возобновлю свою столь ценимую всеми корреспондентскую деятельность, если, конечно, не умру от голода. Несмотря на очевидное неприличие нашего пребывания в доме Сэнфорда, оно, должен признаться, спасло нас, потому что сегодня, после года тяжких трудов, в кармане у меня ровно столько денег, сколько их было в тот день, когда я сошел на нью-йоркский берег; нет только перспектив, какие брезжили тогда.

На прошлой неделе я обедал на Грамерси-парк у Тилдена. Меня тепло встретил не девятнадцатый президент, а богатый холостяк, адвокат, счастливый среди своей родни, своих книг и бесчисленных долларов.

— Должно быть, вы изрядно повеселились в Вашингтоне,— сказал Тилден, сопровождая нас с Эммой в гостиную, где собрались его немногочисленные, но самые верные друзья и соратники.

Биглоу пожал мне руку. Он тяжелее всех переживает поражение. Не тяжелее меня, однако: я один остался без гроша за душой и без видов на будущее.

— Биглоу согласился быть моим чичероне по Европе,— сказал Тилден.— Мы хотим отплыть в июле, когда в Атлантике не бывает штормов.— Биглоу рассказал, что они заказали билеты еще в тот день, когда избирательная комиссия утвердила список хейсовских выборщиков от Флориды.

Мы заговорили о будущей встрече в Париже (но она состоится только в том случае, если я не окажусь в долговой тюрьме). Биглоу посоветовал мне написать книгу о выборах.

— Тем более что она практически вами написана. Я имею в виду ваши статьи в «Геральд».

Сначала я отнесся к этому предложению без особого интереса, но через несколько дней после обеда на Грамерси-парк мне стало ясно, что оно заслуживает внимания. Когда я предложил такую книгу моему издателю Даттону, он пришел в восторг. Вчера в клубе «Лотос» я сказал об этом Гилдеру, который попробует заинтересовать ею Скрибнера. Превосходно! Пусть дерутся из-за меня, как из-за Марка Твена!

На прощание Тилден сказал мне:

— Я слышал, что предложил вам Биглоу. Такая книга была бы очень интересна.

— Вы мне поможете?

— Да.— Его верхняя губа выгнулась в печальнейшей улыбке.— У меня есть немало материалов. Скажу больше — улик. К примеру, один из пятнадцати членов избирательной комиссии получил за свой голос сто тысяч долларов. Меня это несколько

удивляет, потому что обычная цена на этих выборах была двести тысяч. Но может быть, он просто не знал?

— Как бы я хотел, чтобы ему заплатили вы! — сказал я искренне.

— Слава богу, я этого не сделал. Четыре года — не так уж долго. Да и Хейс утверждает, что будет служить только один срок.

Я не мог ему ответить, что четыре года для меня равны вечности. Пусть Тилден думает о следующих выборах — я не в состоянии позволить себе такую роскошь.

Между тем я решил написать эту книгу. Биглоу обещает рассказать мне все и кое-что уже рассказал. Оказывается, после того как палата представителей приняла резолюцию, провозгласившую Тилдена президентом, Хьюит убеждал губернатора издать прокламацию о том, что четвертого марта он явится в Капитолий для вступления в должность законно избранного президента США. Как уверял Хьюит, в пятнадцати штатах войска готовы к походу на Вашингтон. В ответ Тилден попросил Хьюита подать в отставку с поста председателя национального комитета демократической партии, что тот и сделал.

2

Сегодняшний день был прекрасным и полным тревог одновременно. В полдень в гостиной дома Сэнфорда католический епископ крестил Блэза Делакруа Сэнфорда.

Мы с Эммой присутствовали в качестве крестных младенца, который очень мило попискивал. Сэнфорд был в приподнятом настроении; мне он показался противнее, чем обычно, из-за своей благоприобретенной религиозности. Он то и дело и в самые неподходящие моменты восклицал: «Слава всевышнему». Хорошо еще он не предложил нам пасть на колени и вместе с ним вознести молитву, но я думаю, что это только вопрос времени.

После церемонии гости, человек около пятидесяти, проследовали к обеденному столу. По моему настоянию на крестины пригласили Гилдеров. Я усердно — может быть, даже слишком усердно! — общаюсь с литераторами, сегодня в клубе «Лотос», завтра в «Сенчури», без устали заигрываю с издателями и получил, как говорит Гилдер, царское предложение от Скрибнера.

— Он заплатит вам пять тысяч долларов за права на вашу книгу о выборах.— Гилдер радовался не меньше меня самого.— Надеюсь, вы разрешите мне напечатать ее в «Скрибнерс мансли» с продолжением?..

Я с головой ушел в работу над книгой. Биглоу снабжает меня информацией, а Тилден обещал внимательнейшим образом просмотреть готовую рукопись.

Я уже привык к мысли о том, что голодная смерть мне не грозит, но сегодня моя жизнь неожиданно круто изменилась.

После ухода гостей мы сидели с Сэнфордом и Эммой в гостиной с видом на Пятую авеню, очень светлую и казавшуюся новехонькой в лучах апрельского солнца. Мы с Сэнфордом пили шампанское, а Эмма все подливала себе кофе из массивного серебряного кофейника.

— По-моему, прием удался,— сказал Сэнфорд, закуривая длинную сигару.— Слава всевышнему! — Восклицание было обращено к потолку, который, вероятно, отделяет Сэнфорда от столь обожаемого им бога.

Эмма поставила кофейную чашечку на стол.

— Папа, Уильям и я обвенчались сегодня утром.

— Слава всевышнему на небесах! — На сей раз восклицание было адресовано не потолку, а мне.

— О боже! — воскликнул я, словно заразившись бесчисленными призывами к всевышнему.

— Нас обвенчал епископ еще до прихода гостей.— Эмма нервничала. Наверное, из-за кофе, подумал я, не найдя лучшего объяснения.

— Почему же вы меня не предупредили? — донесся как будто откуда-то издалека мой собственный голос; признаюсь, он показался мне старческим брюзжанием.

— Потому что...— Эмма запнулась.

— Потому что мы боялись, что вы будете против,— сказал Сэнфорд.— Так... скоро... после...

— Да. Вы немного поторопились...— жестко сказал я. С одной стороны (к чему отрицать?), я рад, что Эмма спасла себя, а попутно и меня от бремени, грозившего

раздавить нас, и все же, с другой стороны, я не могу не думать о Дениз, которая умерла только три месяца назад.— Почему вы не подождали?

— Из-за ребенка. Ему нужна мать,— сказал Сэнфорд.— А мне...— Его маленький изящный рот неожиданно изогнулся в улыбке, которая мне показалась по-девичьи кокетливой.— А мне нужна Эмма.

— Я думаю, мы поступили правильно, папа.— Эмма перешла на французскую скороговорку, и Сэнфорд, наверное, нас не понимал.— Уильям хочет уехать. В Париж. Как можно скорее. С ребенком. Со мной. Разумеется, я не могу ехать с ним, не обвенчавшись. Поэтому на прошлой неделе мы обратились к епископу... он был так любезен. И все устроил.

— Я не педант, но мне это кажется чересчур поспешным. И... оскорбительным для Дениз.

— Ты хочешь, чтобы я разрыдалась? — Глаза Эммы и вправду наполнились слезами.

— Извини.

— Я думаю, что Дениз бы нас простила. Она любила нас обоих, Уильяма и меня. И тебя тоже, папа. Если бы ты был там, с нами, ты бы лучше понял мой шаг.

— Ладно.— Я заговорил по-английски: — Что ж, поздравляю вас, Сэнфорд.

Мой зять вскочил на ноги.

— Слава всевышнему! — закричал он и бросился пожимать мне руку.

Я поцеловал Эмму. Она была в слезах. Итак, в этот прелестный апрельский день мы наконец похоронили знаменитую княгиню д'Агрижентскую и присутствовали при рождении второй миссис Сэнфорд, которая на следующей неделе отбывает во Францию со своим супругом на борту его собственной яхты.

Я остаюсь в доме — писать книгу и купаться в неслыханной роскоши. Впервые за много лет я свободен. Я чувствую себя как узник, с которого неожиданно спали тяжелые оковы.

3

Мы расстались сегодня утром. Мой зять крепко пожал мне руку и очень удивился, что мы с Эммой не обнялись. Эмма пристально на меня посмотрела, начала было что-то говорить, но замолчала и села в поджидавший их экипаж. Для сэнфордовских чемоданов потребовалось два фургона.

— Вы ведь скоро к нам приедете. Да? — Счастье еще, что он не называет меня «папа».

— Скоро приеду. Как только закончу книгу.

— Слава всевышнему.

Они уехали, а мы с дворецким стояли молча в серых утренних сумерках; день обещал быть дождливым.

...По натуре я не любопытен; я не читаю чужих писем, не подслушиваю. Так как я с легкостью умею вообразить худшее, мне не нужно о нем знать. Я избегаю признаний и ненавижу секреты. Я полагаю, что даже в жизни людей, которых любишь, есть некая темная сторона, и я не из тех, кто требует во что бы то ни стало выставлять ее на всеобщее обозрение.

Чем выше подъем, тем ниже падение. Да. Любая банальность правдива; любая правда банальна. К несчастью, чтобы это понять, требуется целая жизнь; понимание приходит в конце.

Мое перо медлит... останавливается. Зачем об этом писать? Зачем эта летопись? Отвечу: привычка. Превращать жизнь в слова — значит приручать эту жизнь, обращаться с нею по своему усмотрению. Слова преобразуют и меняют грубую жизнь, позволяют вынести невыносимое. Итак, в конце, как и в начале, только Слово. Кажется, я начинаю писать максимы.

Джейми повел меня к мадам Рестел; в ее богатом уютном салоне, как обычно, были очаровательные женщины и энергичные мужчины.

Джейми тотчас же скрылся в карточной комнате, оставив меня с хозяйкой; мадам Рестел как будто была рада меня видеть. Уговорила выпить рюмку коньяку, хотя он плохо действует мне на сердце.

— Мы теперь соседи,— усмехнулась мадам Рестел; ее лучистые глаза были похожи на двух прожорливых хищных птичек.

— Все-то вы знаете...

— Я вижу, как вы входите в дом Сэнфорда и выходите оттуда. Но я знаю отнюдь не все.— Она нахмурилась.— Например, что случилось с очаровательной миссис Сэнфорд? Она мне очень нравилась.

— Что же вы хотите узнать?

— Ну... она ведь умерла.

— Увы. Это ужасно.

— Но почему она умерла?

— Это могли бы рассказать вы,— холодно ответил я.— Вы это знаете, я — нет. Я знаю, что Дениз хотела ребенка и что вы сказали ей, что она сможет родить, если будет точно следовать предписанному вами режиму. Она следовала ему — и умерла.

Несколько минут мадам Рестел молчала. За ее плечом мне была видна комната для карточной игры. Красивые женщины стояли за спинами сосредоточенных картежников, без сомнения подавая сигналы своим партнерам.

Наконец мадам Рестел сказала:

— В последний раз я видела миссис Сэнфорд год назад, когда она пришла ко мне и спросила, сможет ли она когда-нибудь иметь детей. Я объяснила ей, что это невозможно. Я была откровеннее, чем обычно, потому что она мне нравилась.

Все поплыло у меня перед глазами. Я подумал, что сейчас потеряю сознание или, еще лучше, умру.

— Однако прошлым летом, когда вас навестила моя дочь, вы ей сказали...

— Я никогда не встречалась с вашей дочерью, мистер Скайлер.

Здесь мне следовало остановиться, потому что в этих старых лучистых птичьих глазах мелькнул отблеск правды, которую никто не должен знать. Но остановиться я уже не мог.

— А сиделка? Ее ведь послали вы?

— Я не посылала никакой сиделки. И я не имею никакого отношения к тому, что произошло.

Не помню, как я дошел до дома. Я был не пьян, но и не трезв.

Я направился прямо в комнату Эммы. Она читала в постели. Увидев меня, она очаровательно улыбнулась.

— Я от мадам Рестел.

Эмма отложила книгу и посмотрела на меня; выражение ее лица не изменилось.

Я сел на стул, потому что ноги больше меня не держали. Я посмотрел на Эмму и увидел ее, какой она была в тот филадельфийский вечер, за столом в сэнфордовском вагоне. Увидел сплетенные фигуры в летней беседке. И понял все. Я понял, что́ сделала Эмма. Или так мне казалось.

Однако Эмма не ушла от ответа.

— Мадам Рестел не любит неудач, папа. Они плохо отражаются на бизнесе.

— Она мне солгала?

Эмма вздохнула, заложила гребнем страницу.

— Если бы только тебе, я бы с этим смирилась. Ты знаешь правду. Ты знаешь, как я любила Дениз, и если бы мне дано было выбрать между ней и Сэнфордом...— Эмма замолчала, вынула гребень из книги и заложила страницу пальцем.— Чтобы оградить свою профессиональную репутацию, мадам Рестел выдумала эту ужасную версию. Теперь об этом будет говорить весь Нью-Йорк. Вот почему мы уезжаем во Францию.

— Так что же произошло?

— Ничего, кроме того, что ты уже знаешь. Мадам Рестел сказала, что при соблюдении осторожности у Дениз есть шанс благополучно родить.

— Всего лишь шанс?

— Да. По настоянию Дениз мы сделали вид, будто никакого риска нет. Но риск был. Вот почему я умоляла ее... Но она не послушалась.

— Мадам Рестел говорит, что она никогда никого не посылала к Дениз.

— Эта женщина, которую она не посылала, взяла за свои услуги слишком много денег. Ее можно было бы разыскать... хотя я не хотела бы увидеть ее еще раз.

— Мадам Рестел говорит, что она никогда с тобой не встречалась.

Эмма улыбнулась.

— Никогда не встречаться с людьми — это обычная форма такта мадам Рестел. Может быть, мне следует описать ее ужасную гостиную?

— Нет.— Мне стало легче. Я встал. Эмма послала мне воздушный поцелуй, и тут я увидел — это продолжалось всего один миг и было похоже на галлюцинацию,— как между нами, медленно крутясь, точно летняя снежинка, опускается крохотный белый лепесток.

— Bonne nuit, cher Papa [1].

— Спи спокойно,— сказал я искренне. Эмма раскрыла книгу. Я вернулся в свою комнату и принял двойную порцию лауданума.

4

Я переехал в отель «Букингем» (семнадцать долларов в день за номер и отличную еду) напротив собора св. Патрика. Окна моего номера выходят на громадный сад, раскинувшийся к западу от Пятой авеню.

Я тружусь над книгой. Биглоу мне помогает. Время от времени я пишу в «Пост». Каждый вечер меня куда-нибудь приглашают обедать, но я, как ни странно, не прибавляю в весе (даже наоборот!) и иногда чувствую себя почти молодым. Разумеется, поддержание формы способствует успеху моих сигарных интерлюдий.

Боюсь, Брайант недолго протянет, но ведь ему — восемьдесят два? Да нет, уже восемьдесят три. А что я буду делать когда его не станет? Ведь «Геральд» для меня больше не существует: Джейми, подобно Кориолану, удалился в изгнание, а молодые редакторы «Пост» со мной незнакомы.

Сегодня, прекрасным майским утром, я выступал в роли журналиста и мемуариста одновременно — меня пригласили сказать несколько слов на открытии памятника Халлеку в Центральном парке.

Кроме меня выступали Брайант и почетный гость — Его Мошенничество, президент Соединенных Штатов Резерфорд Б. Хейс собственной персоной, истинный ценитель, как он заявил во всеуслышание, наших отечественных псаломщиков, или сладкопевцев.

Мы сидели на деревянной трибуне возле бронзовой статуи, которая ничуть не похожа на Халлека, каким я его знал, однако ведь лучшие памятники, в отличие от лучших слов, всегда лгут.

Я произнес очень короткую речь, вспомнил наш кружок в таверне «Шекспир», где Халлек считался признанным гением. Я удивительно легко держался на ногах и теперь почти решил отправиться наконец в лекционное турне, как только будет закончена книга.

Мне не удалось побеседовать с президентом. Брайант предусмотрительно расположил свои длинные ноги таким образом, что подойти к президенту было нельзя, не отдавив их.

Хейс — дородный человек с застывшей на лице свирепой гримасой. Я смотрел на него с восхищением, потому что он в конечном счете мое создание, главное действующее лицо книги, которую я пишу. Не часто писателю доводится увидеть во плоти своих вымышленных героев...

Специальное сообщение для «Нью-Йорк ивнинг пост»
От Уильяма Каллена Брайанта

С невыразимой печалью я сообщаю о скоропостижной кончине Чарльза Скермерхорна Скайлера, друга, коллеги, одного из последних — вместе со мной — свидетелей давних времен города Никербокеров.

Я видел моего старого друга утром в день его смерти, 16 мая 1877 года, в Центральном парке, где мы оба присутствовали на открытии памятника, увековечившего нашего общего, давно умершего друга — поэта Фицгрина Халлека. В момент своей кончины мистер Скайлер писал для нашей газеты отчет об этой торжественной церемонии.

Мне всегда особенно больно, когда уходит коллега, с которым связывает столь многолетнее сотрудничество. Я познакомился с мистером Скайлером лет пятьдесят назад, когда он впервые начал писать для «Ивнинг пост». Но истинную славу ему принесли те бесценные исторические сочинения, которые созданы им за годы жизни в Европе. Быть может, самой замечательной его работой явилась захватывающая и колкая книга «Париж под коммунистами»...

[1] Спокойной ночи, папочка *(франц.)*.

■ ■ ■

В двухсотлетний юбилей Соединенных Штатов, необычайно пышно отмеченный в этой стране в 1976 году, сделал свой вклад и Гор Видал. Он выпустил роман «1876» — промежуточный по хронологии том трилогии, открытой «Бэрром» и завершенной «Вашингтоном, округ Колумбия». Обе книги переведены на русский язык. Теперь трилогия превратилась в тетралогию: в 1984-м году Видал издал роман «Линкольн», а пока советский читатель получает перевод романа «1876». В определенной степени эта книга развивает видаловскую концепцию национальной истории и свидетельствует, что писатель по-прежнему настроен критически к тому, что превозносится в США как высшие достижения американской «цивилизации» в сфере дел государственных.

Работая над романом, Видал, несомненно, думал прежде всего о проблемах сегодняшнего дня в Америке. В авторской заметке к роману он говорит: «1876 год был, вероятно, самой низкой точкой в истории нашей республики; знать кое-что о происходившем тогда... нам очень полезно сейчас, потому что времена становятся снова не слишком утешительными».

Материал книги «1876» как бы обрамляют два политических романа: «Позолоченный век» Марка Твена и Чарльза Дадли Уорнера (1874) и «Демократия» Генри Адамса (1880). «Позолоченный век» — острая сатира на политические нравы тогдашних США. Самим названием романа мыслящие американцы стали называть период отечественной истории, который наступил после Гражданской войны 1861—1865 годов, в пику самодовольной буржуазии, именующей его «золотым веком».

«Демократия» вышла анонимно и наделала немало шуму. Авторство приписывали членам кружка Генри Адамса, Джона Хея и Кларенса Кинга, весьма приметных в высшем американском обществе деятелей. Г. Адамс — маститый историк, правнук и внук двух президентов Адамсов. Дж. Хей — литератор и дипломат, К. Кинг — видный публицист. Но все они тогда открестились от «Демократии». Загадка разрешилась только в 1918 году, после смерти Адамса. Выяснилось, что историк, автор многих книг (в том числе девятитомной истории США в эпоху Джефферсона и Мэдисона), написал и роман. Написал отнюдь не из любви к изящной словесности, а по повелительной необходимости, как представлялось дело в его кружке.

Они, плоть от плоти высшего класса Америки, были обеспокоены: страна стояла на распутье. Прошло полтора десятка лет от Гражданской войны. Победа Севера над Югом, за которую было пролито море крови, обернулась торжеством грубого индивидуализма, оргией разнузданной капиталистической наживы, богатые становились богаче, бедные беднели, хотя у них и без того мало что было. Происходила резкая поляризация общества. Не надо было обладать острым зрением, чтобы увидеть: положение чревато социальными взрывами. Если так, рассудил Адамс с друзьями, то каковы перспективы демократии, способна ли она стать надежной дамбой против «опасных классов», как Хей впоследствии именовал пролетариат.

Реалисты до мозга костей, они прекрасно понимали, что те, кому в первую голову адресована книга, умеют и любят считать, а не читать, и отложат в сторону философский трактат. Посему Адамс и облек свои идеи в форму романа с незамысловатой, а попросту банальной интригой. Влиятельный сенатор Ретклиф, метящий в президенты, по-деловому влюбляется в Мадлен Ли, старшую из двух сестер-красавиц, приехавших в Вашингтон провести зимний сезон и заглянуть на вашингтонскую политическую кухню. Мадлен насела на конгрессмена Гора с коварным вопросом: «Неужели вы считаете демократию самой лучшей формой правления, а всеобщее избирательное право — достижением?» Гор объяснил ей и читателям: «Я допускаю, что демократия всего-навсего эксперимент, но ведь это единственный путь, по которому стоит следовать обществу...»

«А что, если ваш эксперимент не удастся? — спросила миссис Ли.— Что, если общество уничтожит себя всеобщим голосованием, коррупцией и коммунизмом?»

Гор ответил: «Я живу верой... Если нашему веку суждено поражение, мы должны принять смерть в строю. Если же нам уготована победа, мы возглавим шествие».

Вот где причина того, что роман «Демократия» впервые увидел свет анонимно! Проницательный американский историк Вернон Л. Паррингтон в двадцатые годы нашего века пришел к выводу: в лице резонера и либерала Гора «Адамс явно изобразил самого себя», именно в его уста вложил «свои политические убеждения» [1]. Находку эту Паррингтон обнародовал не из-за профессорского любомудрия, а по иной, весьма существенной причине — он исследовал развитие либерализма в Соединенных Штатах.

Таким образом, уже в семидесятых — восьмидесятых годах минувшего столетия люди, причислявшие себя к политическим мыслителям правящего класса, задумались о том, как встретить на дальних подступах «коммунизм». У них выкристаллизовывалась доктрина буржуазного либерализма как комплекса очень сложных и внешне противоречивых мер, которые призваны были обеспечить долголетие американского капитализма.

---

[1] В. Л. Паррингтон. Основные течения американской мысли. М., 1963, т. III, с. 226.

Адамс, вероятно, сообразил, что ему не удастся развязать им же сплетенные сюжетные и идейные узлы. Поэтому он призвал на помощь вымышленных персонажей — например, блиставшего в высшем свете русского дипломата князя Попова или болгарского посланника барона Якоби. Адамса мало заботит, что в описываемое им время — начало семидесятых годов — Болгария еще не освободилась от османского владычества и, следовательно, не могла иметь посланника. Историческая достоверность, впрочем, в данном случае не нужна, ибо барон Якоби приглашен в книгу на должность адвоката дьявола, чтобы придать остроту пресным американским спорам о демократии. Тому свидетельство — филиппика Якоби: «За всю свою жизнь я не видел такой коррумпированной страны, как Соединенные Штаты... Вы, господа сенаторы, любите декларировать, что вашим великим США, возглавляющим цивилизованный мир, нечему учиться у остального мира. Вы правы — совершенно правы! Великим Соединенным Штатам в этом отношении никакого примера не нужно».

Когда мы вместе с героями Видала, включая взятого напрокат у Генри Адамса барона Якоби, переносимся в Вашингтон 1876 года, происходившее тогда в США переосмысливается с учетом случившегося в последующее столетие. Прогулка на машине времени дает возможность обстоятельно ответить на вопросы, поставленные, но далеко не решенные в кружке Адамса. При этом нужно помнить о существенном различии: если роман «Демократия» — это, скорее всего, один из первых опытов в жанре охранительной литературы, то Видал преследует иные цели.

Литературный прием автора романа «1876» аналогичен тому, к которому прибег Адамс в «Демократии»: в Вашингтон направляется основной герой книги. Видаловский американский публицист Чарльз Скайлер и его дочь Эмма наделены большим опытом — они приехали из Европы. Барон Якоби возвышен до дуайена дипломатического корпуса, аккредитованного в Вашингтоне.

Возвратившись в Соединенные Штаты в самой середине семидесятых годов, Скайлер видит, что обстановка в стране напоминает события во Франции. Ему довелось быть свидетелем рождения и поражения Парижской коммуны и даже написать об этом книгу. На родине Скайлер обнаруживает, что его книгу замолчали, хотя при встрече журналисты и издатели к месту и не к месту поминают ее, неизменно перевирая название.

На первых же страницах романа Скайлер размышляет: «Парижское восстание сильно напугало нью-йоркских бюргеров... Впрочем, мировая революция, начавшаяся в 1848 году, еще не кончилась». Поближе познакомившись с Нью-Йорком, он заключает: «У богатых горожан есть все основания бояться коммунизма. Здесь дела обстоят похуже, чем в Париже в 1871 году».

По всему роману рассыпаны зарисовки нищеты и отчаяния простых американцев и рецепты исцеления социальных язв. Их предлагали сытые. Дочь Скайлера, которая провела многие годы при дворе Наполеона III, делится мудростью, видимо, почерпнутой там: коль скоро в стране изобилуют «нищие», неплохо бы развязать войну против них, и поскорее. Сам Скайлер тоже видит «ужасающую бедность, мрачно контрастирующую с невероятной роскошью». Видал-литератор языком художественной прозы совершенно точно оценивает тот период в истории США. Прогрессивный американский историк Ф. Фонер в своей книге раздел об этих годах назвал так: «Контраст между богатством и бедностью углубляется» [1].

Исследуя политические нравы в США, Скайлер по ясно выраженной воле Видала (хотя, конечно, ставить между ними знак равенства не надо) видит исторический парадокс: победа северян в Гражданской войне трансформировалась в очередной политический кризис. К выборам 1876 года достаточно прояснилось, что скопище политических проходимцев и жуликов лишь прикрывается названием партии, выигравшей войну и отменившей рабство. Вслед за героями Адамса персонажи Видала скорбят о том, что «республиканская партия сделала свое дело и умерла». Разоблачения мошенников из администрации президента Гранта «свалили бы любое парламентское правительство». Администрация Гранта, однако, устояла, следовательно, непоколебим «этот сильный, уродливый, клокочущий мир, посвятивший себя заколачиванию денег любой ценой».

По мере приближения повествования к кульминационной точке — президентским выборам 1876 года — накапливаются рецепты упорядочения государственных дел или хотя бы обуздания самых наглых мошенников и казнокрадов. Планы и советы эти, однако, сводились в конечном счете к альтернативе: прибегнуть к оружию, испытанному в годы администрации Гранта,— взяткам и подкупам — либо употребить вооруженную силу.

На взгляд романиста, кандидат в президенты от демократической партии Тилден оказался государственным мужем, наделенным завидными качествами политика. Он сумел остановить самых ретивых своих сторонников у роковой черты, за которой следовало обращение к голой силе. Появление на выборах 1876 года демократической партии как равноправной политической силы восстановило баланс в политической жизни США. Двухпартийная система, потрясенная господством республиканской партии, вновь начала функционировать. Гальванизация ее, достаточно скромная в исторических рамках, очерченных в романе, сулила притупление опаснейших классовых антагонизмов, за которыми иным в США уже мерещилась Коммуна 1871 года. Если этого не случилось, если Новый Свет оказался избавленным от того, что потрясло Старый Свет, то за это нужно «благодарить» принципы «американизма» и больше всего двухпартийную систему.

[1] Ф. Фонер. История рабочего движения в США. М., 1958, т. 2, с. 14.

Читая роман, снова и снова задаешься вопросом о его исторической достоверности. В целом Видал описал эпоху правдиво, хотя и сделал это не как историк, а как романист. Однажды его герои затевают оживленный спор. Скайлер и барон Якоби высказывают в ходе разговора милые сердцу Видала идеи. Барон Якоби считает: «...то, что мы принимаем за историю, есть не что иное, как беллетристика». Скайлер воскликнул: «Вы правы, барон. Абсолютно точной истории не существует»...

— Как же тогда постичь прошлое?

— С помощью Данте, Шекспира, Скотта и других писателей.

— Но история Шекспира не всегда точна.

— Зато характеры его всегда правдивы».

Руководствуясь этим принципом, Видал рисует выразительные и контрастные портреты претендентов на президентское кресло — Сэмюэля Тилдена и Резерфорда Хейса. Оба политических деятеля неотделимы от выдвинувших их кандидатуры партий. Демократическая партия, бросавшая республиканцам увесистые и меткие обвинения в коррупции, сама отнюдь не была образцом нравственности.

В мае 1878 года палата представителей учредила комиссию под председательством конгрессмена К. Поттера для расследования злоупотреблений при подсчете голосов на минувших президентских выборах в штате Луизиана и Флорида. В распоряжении комиссии оказалось около семисот зашифрованных телеграмм, истребованных у «Вестерн юнион телеграф компани». Когда они были расшифрованы, выяснилось, что речь шла о попытках подкупить выборщиков в пользу Тилдена. Приглашенный в комиссию Тилден поклялся, что он знать не знал об усердии своих ревностных сторонников. На том дело и кончилось.

По горячим следам этих событий Дж. Блейн в 1884 году выпустил монументальную двухтомную монографию «Двадцать лет конгресса. От Линкольна до Гарфилда». Современник событий, он комментировал их так: «Президентская кампания (демократов.— **Н. Я.**), начатая с трескучего манифеста, призывающего провести «реформы» решительно во всех сферах правления и обвиняющего всех, кому в течение шестнадцати лет была доверена власть, во всяческих мошенничествах и коррупции, завершилась настойчивыми и бесстыдными попытками подкупить выборщиков в трех штатах!» [1].

Яростный спор между демократами и республиканцами вокруг выборов 1876 года не угасал во время правления Хейса. Он проходил на фоне невиданного обострения классовой борьбы в США. Всеобщая стачка железнодорожников летом 1877 года свидетельствовала о том, что терпение масс истощилось.

Бурный взрыв рабочего и фермерского движения на глазах размывал устои двухпартийной системы, создавалось впечатление, что эксплуатируемые вот-вот выступят против эксплуататоров. Тогда в Вашингтоне и поторопились помимо прочего заняться укреплением основ этой самой двухпартийной системы.

Роман «1876» на редкость злободневен. Литературный критик лондонской «Таймс» подчеркнул, что «параллели» между описанным в книге и «Уотергейтом и Вьетнамом настолько очевидны, что их нет необходимости подчеркивать. Даже самому мистеру Видалу». Да, это так. Читатель без труда проведет параллель между администрациями У. Гранта и Р. Никсона. Никсон попытался превратить исполнительные органы правительства в послушное орудие личной политики. В обстановке острейшего политического кризиса, вызванного долголетней войной во Вьетнаме, эти поползновения Белого дома были пресечены. Но и результаты Уотергейтского дела в общем-то свелись к восстановлению принципов двухпартийной политики. Никсону, правда, пришлось уйти под угрозой импичмента, но суд так и не состоялся, больше того, президент Форд простил «деяния» Никсона. Осталось впечатление незавершенности процесса — примерно так же, как сто лет назад.

Видал и обозреватели его романа на Западе блистательно подтвердили приверженность обеих главных политических партий США «американской политической традиции», принципы которой давно сформулировал историк Р. Хофштатер: «Вера в право собственности, в философию экономического индивидуализма, ценность конкуренции, в то, что экономические добродетели капиталистической культуры — неотъемлемые свойства людей... Святость частной собственности... гранитная основа символа веры американской политической идеологии» [2].

Видал поставил перед собой задачу показать один из политических кризисов этой системы и безобидность ее либеральных критиков и «разоблачителей», пекущихся в конечном счете о ее незыблемости. Объективно достигнутое автором во многом выходит за пределы его собственных взглядов. Роман вскрывает не отдельные недостатки, а коренные изъяны всего политического устройства американского общества, вскрывает с убийственной иронией, ибо написан он свойственной Видалу искрометной прозой, отвечающей его репутации проницательного писателя и критика общественных нравов.

Профессор Н. Н. ЯКОВЛЕВ

■

[1] J. Blain. Twenty Years of Congress. From Lincoln to Garfield. Norwich, 1884, v. II, p. 594.

[2] R. Hofstadter. American Political Tradition. N. Y., 1948, p. VIII.

Литературное наследие

МАРИЯ ПАВЛИКОВСКАЯ-ЯСНОЖЕВСКАЯ

Перевод с польского НАТАЛЬИ АСТАФЬЕВОЙ

Польские литературоведы, изучая лирику Павликовской, рассматривают ее в контексте польской поэзии первой половины XX века, сближая Павликовскую прежде всего с Ивашкевичем и Тувимом. Тем более что их обоих связывала с ней не только литературная, но и дружеская близость. «Вспоминаю,— писал Ярослав Ивашкевич в 50-х годах,— наше совместное с ним «открытие» Лильки Павликовской. Мы с ним вместе читали ее первую книгу — как он радовался и как быстро стал восторженным поклонником «старомодной дамы из Кракова», которая отнюдь не была такой уж старомодной».

«Лилька» — так звали ее в семье. Так стали звать ее и друзья по поэзии, как бы заботясь о том, чтобы и в литературе она чувствовала себя как дома. Урожденная Коссак, внучка и дочь польских художников, Юлиуша Коссака, исторического живописца, и Войцеха Коссака, блестящего портретиста, она росла любимицей в доме, где царила живопись, где собиралась краковская интеллигенция. Литературная биография Павликовской складывалась благополучно. Критики видели в ее поэзии и «откровение изящнейшей и очаровательнейшей женственности», и «безошибочный глаз в усматривании поэтических аналогий, мастерскую простоту разговорного, но способного все выразить языка». Особенно восторженно приняли Павликовскую ее сверстники, молодые поэты группы «Скамандр», только что взявшие штурмом польский Парнас. Ивашкевич и Слонимский пишут рецензии на ее книги стихов и на ее комедии (как драматург она выступила в 1923 году). «Сестре по лире — от собрата по перу»,— надписывает ей Тувим одну из своих книг.

Стихотворение Юлиана Тувима «К Марии Павликовской» (1923) начинается шутливым предупреждением: «О, старомодная молодая дама из Кракова! Берегись! Епископ взбешен...» В том же шутливом тоне Тувим грозит, что епископ, краковский синод и вся богобоязненная краковская паства, того гляди, отправят на костер моло-

---

МАРИЯ ПАВЛИКОВСКАЯ-ЯСНОЖЕВСКАЯ — MARIA PAWLIKOWSKA-JASNORZEWSKA (1891—1945)

Польский поэт и драматург. Автор книг стихов «Розовая магия» («Różowa magia», 1924), «Поцелуи» («Pocałunki», 1926), «Вечер» («Wachlarz» 1927), «Лесная тишина» («Cisza leśna, 1928), «Балет вьюнков» («Balet powojów», 1935) «Кристаллизации» («Krystalizacije», 1937) и других. Ее стихи переводились на многие европейские языки.

По-русски стихи М. Павликовской в переводах А. Ахматовой печатались в антологиях «Польская поэзия» (т. 2, М., 1963), «Польская лирика в переводах русских поэтов» (М., 1969) и в сборнике переводов А. Ахматовой «Голоса поэтов» (М., 1965).

Публикуемые стихи взяты из двухтомника «Стихотворения» («Poezje», t. 1, 2, Warszawa, Czytelnik, 1974).

дую «колдунью», варящую в своих стихах, как в стеклянных ретортах, любовные напитки из меда, выколдованного у цветов.

Действительно, любовная лирика составляла главное содержание первых книг Павликовской. Чаще всего это миниатюры. Иногда светлые, радужные, жизнерадостные, иногда, по выражению тонкого знатока поэзии К. В. Заводзиньского, «переполненные горьким медом». Такова книга четверостиший «Поцелуи» (1926). Это пейзажи и жанровые сценки, психологические этюды, окрашенные грустью женщины, теряющей любимого человека (стихи писались в пору, предшествовавшую окончательному разрыву Марии Павликовской с ее мужем Михалом Павликовским; лет шесть спустя она вышла замуж за летчика Стефана Ясножевского). Стихи эти популярны у многих уже поколений польских читателей и читательниц. В 1984 году книга вновь была выпущена — в подарочном издании, массовым тиражом. Горстью миниатюр из этой книги мы и представляем раннюю Павликовскую в предлагаемой публикации. Два четверостишия из книги — «Ураган» и «Ника» — уже знакомы русскому читателю в переводах Анны Ахматовой. Многое сближает эти миниатюры со стихами самой Ахматовой раннего периода: и разговорность интонации, лексики, синтаксиса, и ритм — колеблющийся, а иногда довольно резко меняющийся ритм нерегулярного тонического стиха.

С годами содержание лирики Павликовской расширяется. Ряд стихотворений в книгах 1928—1937 годов связан с двумя темами, характерными для Павликовской этого времени: темой «взлета» («крыльев») и темой авиации. Тема «взлета» как метафора беспредельности, космичности, торжества человеческого духа и его деятельности — давняя тема мировой поэзии. В XX веке — веке авиации — тема «взлета» и «крыльев» человека обретает новые формы. У Цветаевой, которая в стихотворении «Душа» сравнивает душу с «летчицей». Еще ранее — у Блока. Стихотворение Павликовской «Женщина и летчик» (1930) заставляет вспомнить блоковское стихотворение «Авиатор» (1912). Ощущение романтического восторга полета сменяется в последних строках обеих вещей ощущением ужаса: авиация может — «внезапно» — стать угрожающей и смертоносной. Так появляется в лирике Павликовской предчувствие надвигающейся второй мировой войны.

Во второй половине 30-х годов Павликовская все больше работает для театра. Социальные мотивы, с самого начала не чуждые ее пьесам, в это время усиливаются. Комедия «Заповедник», высмеивающая анахроничность и гротескность польского поместья, «заповедника» феодальной старины, не была принята ни одним из театров и появилась в печати лишь в годы народной Польши. Постановка другой ее пьесы, «Чудо-Баба», блестящего и беспощадного антифашистского, антигитлеровского памфлета, вызвала протест посольства гитлеровского рейха польскому министерству иностранных дел. Это было в 1938 году. Война была на пороге.

В годы второй мировой войны польская поэзия, польская культура понесли огромные потери. Многие поэты погибли. Многих польских поэтов война разметала по всему миру.

В 1946 году вернулся в Польшу Юлиан Тувим, привезя с собой поэму «Цветы Польши», написанную в Бразилии и США. Из Советского Узбекистана возвращался Влодзимеж Слободник, с Ближнего Востока — Владислав Броневский, из Румынии — Казимира Иллакович, из Англии — Антони Слонимский. Мария Павликовская-Ясножевская не вернулась: 9 июля 1945 года она умерла в онкологической больнице в Манчестере. Диагноз врачей был ей известен. Две операции оказались безрезультатны. Полупарализованная, полусожженная радием, она все еще продолжала верить в чудо Возвращения. Именно так, с большой буквы, она писала в последние годы жизни это слово. Но вернулись в Польшу — в новую, народную Польшу — лишь ее стихи военных лет.

В стихотворении «Английские впечатления» вновь и вновь повторяется навязчивый рефрен: «чужое», «чужие», «чуждо» — ощущение чужбины.

Тоской по родине рожден и цикл «Стихи о Кракове». В этих стихах, написанных на чужбине, Павликовская рассматривает издали родной город пристальнейшим взглядом. Как в стеклянном шаре, видны в каждой миниатюре цикла толпы краковян на городских гуляньях, и отдельные фигурки на скамейках бульваров, и каштаны краковских парков, и экзотические растения оранжереи краковского Ботанического сада.

Но Павликовская больна не только ностальгией, она больна войной. От переживания личных страданий беженки, скитающейся по Европе, она поднимается до переживания страданий народов Европы, до осознания войны как именно мировой, как общечеловеческой, планетарной катастрофы: «весь мир горит», «планета вся становится Сахарой». Изображая реальные ужасы второй мировой войны, Павликовская анализирует, размышляет, представляет себе возможность создания новых, еще более страшных и еще более глобальных (как мы теперь сказали бы) средств массового уничтожения. Этой теме посвящены и многие стихи, и многие фрагменты ее поэтической прозы военных лет — «Военные наброски».

В военные годы возвращается Павликовская и к четверостишиям. Она выделяет их под жанровым названием «Военные рубаи». Подобно миниатюрам Омара Хайяма, с чьим именем ассоциируется форма рубаи, четверостишия Павликовской военных лет — тоже размышления на вечные темы: о жизни и смерти. Но речь идет о жизни или гибели человечества в середине XX века, когда проблема войны и мира становится ключевой.

Антивоенные и антифашистские стихи Павликовской звучат сейчас как предвосхищение антивоенного и антифашистского творчества поэтов народной Польши. Например, ее стихотворение «Пленница» кажется теперь как бы кратким планом-сценарием известной антифашистской поэмы Тадеуша Ружевича «Первая любовь».

Растет интерес польских поэтов, исследователей, читателей, издателей и ко всему ее наследию в целом. Дважды издавались в народной Польше собрания стихотворений Павликовской, многократно выходили ее избранные стихи, в том числе четырежды — в серии «Национальная библиотека», включающей лишь главные сокровища польской классики.

Думается, что и русскому читателю пора познакомиться с лучшими страницами творчества одной из крупнейших польских поэтесс.

В. БРИТАНИШСКИЙ

Из книги «Поцелуи» (1926)

Чайка

Чайка над побережьем —
тоска надо мною злая.
Все та же? Та же, что прежде?
Не знаю. Не знаю...

Картинка

На песке — две девочки в купальных костюмах,
за спиной у них — облака.
Земля семицветна, как их радость жизни.
Море — как моя тоска.

Безопасность

Вы за меня боитесь? Почему же?
Жизнь бурлива и зла, без сомненья,
но разве спасательный пояс нужен
сирене?

Львы в клетке

Нагая и сонная львица не страждет в неволе,
лежит, заглядевшись на льва, что как царь на престоле.
Вот он приближается, в гриве, в мужской величавости,
какая-то женщина смотрит — и плачет. От зависти!

Ночная бабочка

Кресло, книги, свеча, окруженная мраком.
Вдруг вскрик взбудоражил мрак
Полуночница-бабочка в пламени ярком
сгорает, как Жанна д'Арк.

Коровы

Благодушны, толстокожи и здоровы,
вы пасетесь тут в блаженной слепоте,
как жующие траву коровы
рядом с тем, кто умирает на кресте...

Аэроплан

Аэроплан летит. Он белой птицы краше.
Под ним земля и серых туч пучины.
Крылат, как саранча. Как орел, бесстрашен.
А сердце и глаза — мужчины.

Роза

В этом парке поблекшем аллеи пусты,
только роза и я над ней.
Мы единственные свидетели красоты —
я ее, а она моей.

Сад

Когда весна наступает,
в саду — живописная смена картин.
Все что-то цветет, отцветает.
Вчера мое сердце. Сегодня жасмин.

Слепая

Я слепая. Ослепленная маем.
Только знаю, что пахнут цветы.
И губами только понимаю,
что ты — это не ты...

Октябрь

Берез золотые брызги.
Холодно, как от последнего письма.
А солнце — как кто-то близкий,
который, озябнув, уходит. Близится зима.

Из книг 1927—1937 годов

Тетки

Тетки будничны были, на фей непохожи.
Затрапезные, пресные, честные жены.
Ни волос золотистых, ни тоненьких ножек,
ни очей колдовских, ни ресниц изумленных.

Дом, усадьбу, семью содержали пристойно,
управляли мужьями, духи презирали,
даже в лунную ночь засыпали спокойно
в царстве пшенно-куриной стряпни и морали.

Лишь одна тетя Йола являлась как фея,
как парижская кукла и пахла фиалкой.
В птичьих перышках, легкими тюлями вея,
целовала, таясь под звездистой вуалькой.

И куда-то исчезла, за вихрями следом,
в пору молний весенних, и ливня, и града...
Тетки горько рыдали, но был им неведом
вкус любви роковой и... крысиного яда.

Танцующий колибри

Так кто же мне все расстроил?
Чья воля, чья мысль враждебны
дрожанью жил под кожей,
натянутых, как на лире?

Чему завидуешь, Боже?
Ты, могущий каждодневно
шутя накрыть меня шапкой,
танцующего колибри!

Женщина и летчик

Лежа навзничь в траве, средь шалфея и мяты,
ввысь гляжу на тебя, как в круженье лихом
ты жужжащим меня оплетаешь венком,
летчик, ты, мой святой, небом заживо взятый.

Как фарис[1], ты в небесной пустыне паришь,
но внезапно, с чужим, изменившимся ликом,
можешь прянуть, не ведая сам, что творишь,
и накрыть меня крыльями, в клекоте диком.

Внутренние крылья

Ты сквозишь изнутри временами
То в глазах, как лазурное пламя,
То в летящих волос позолоте,

О стрекозка, душа, о Психея,
Чьи прозрачные крылья в себе я
Ощущаю, тоскуя о взлете.

Слышу я, как летунья шальная,
В теле гусеницы изнывая,
Бьешься в стены груди моей узкой,

Ищешь выхода, вылететь силясь
Из меня, что за лист зацепилась
В жированье, в заботе капустной.

Сожженные рукописи

Когда на черных кострах
Жгли строки Сафо поблеклые,
Дымы взметнулись, как розы;
Тяжелые, хоть быстролетные,
Облаком плыли в веках.

[1] Фарис (арабское «всадник», «конный рыцарь») — герой касыды Мицкевича о наезднике-бедуине, несущемся вскачь на белоногом «летуне». *(Здесь и далее прим. перев.)*

Я с ветром вдохнула их в легкие —
Стихи не рассыпались в прах.

Из стихотворений 1939—1945 годов

Роза, леса и весь мир

О розе ли жалеть, когда горят леса —
Жалеть ли о лесах, когда весь мир горит,
Когда планета вся становится Сахарой...
Планету ли жалеть, когда разверзся хаос,

Бог, бомбой взрывчатой земного шара,
Попавшей прямо в грудь ему, убит
И львом восстал, от гнева задыхаясь! —
Когда чернеет ночь, наш траур углубя...
. . . . . .
И все же розу жаль мне... и себя...

В дождь на берегу моря

Окутанную мглой, как серой пряжей,
Кто отличит меня от хмурых пляжей?..

Я кроюсь в серость, птичью или мышью,
Богата грустью и нарядна мыслью.

Капли, что тщетно бы долбили скалы,
Стоят в глазах. И дождь идет, усталый.

Как будто польский дождь — на здешний берег.
На этот берег, что слезам не верит.

Английские впечатления

Старый храм — корона из камня
Сквозь деревья, за сизой мглою...
. . . . . .
Доля ты моя нелюдская,
До чего же тут все чужое!

Крепкий дом стоит вековечно,
Плющ ворота обвил большие —
Псы встречают меня сердечно,
Но не мои, чужие.

Служанки: Филлис, Ребекка —
Гольф: подстриженная лужайка —
Все тут ваше, ваше от века!
. . . . . .
До чего же я здесь чужая...

Каждый вечер усядутся дружно
Перед мраморным черным камином,
Очагом домашним заветным.
В полночь радио в доме старинном
Им сыграет «The National Anthem» [1] —
О, как же мне все это чуждо.

[1] Государственный гимн *(англ.)*.

Сколько лет подобного счастья
Вы расчислили? Жизнь повидавши,
Не хочу пугать, поучать вас.
. . . . . .
Какое все это в а ш е!

Но боярышник бесприютный,
Небо в лужице жестяной,
Ветер жалобный и ненастный,
Этот тракт бесконечный, грустный
На равнине плоской —
Это ваше все, но и мой
Беспросветный жребий цыганский,
Цыганско-польский...

Из цикла «Стихи о Кракове»

На краковских Блоньях

В каком ты городе найдешь такое чудо —
Гулянье на лугу для городского люда?
Полно ларьков, коров, коней, детишек, старцев
И наших земляков, теперь уже скитальцев,
Тогда в кругу семьи, беспечных и влюбленных,
Пришедших провести воскресный день на Блоньях.
И толпы горожан, прелестных, как картинка...
На Блоньях... в двух шагах от Ратуши и Рынка...

Планты [1]

Где найдешь еще город в кольце многолиственных Плант,
Черепичные кровли зеленой стрехой окруживших?
Там каштанов раскидистых сень —
Как тенистый ноктюрн в жаркий день —
Душно, к вечеру гро́зы...
Вдоль скамеек в серебряных лужах — вода дождевая,
На скамейке — профессор, уткнувшийся в свой фолиант,
На соседней — графиня в пенсне,
А на третьей — еврейская девушка, роза живая...
Сколько, сколько их было, прелестных. Ах, бедные розы!

Ботанический сад на ул. Коперника

Виктория Регия там расцвела — среди листьев,
Больших, как лохани, в удушливой оранжерее.
Стояли художники там в пелеринах форсистых,
Гривасты, как львы, и утонченны, как орхидеи.
Рисуя в альбомах растений диковинных виды,
К примеру, вот этот заморский дурман ядовитый,
Взорвавшийся мощным цветком прихотливейших линий,
С чудовищным запахом силой в полтысячи лилий...
Есть там и обсерватория в зданье старинном
(Обитель ученых),
Почти что заросшая розами и розмарином,
В созвездьях ромашек и в солнцах подсолнухов сонных...

[1] Кольцевой бульвар вокруг старого центра Кракова.

Безутешный куст

Гром отгремел, явился солнца лик,
Куст розы, куст жасмина ожил вмиг,
Один лишь куст — куст нервов человека —
После грозы изнеможенный, сник.

Смерть от лавины

Лавина зла ползет губить народы...
. . . . . .
Счастлив Карлович [1], что в иные годы
Погиб, что был убит в горах высоких снарядом снега,
Рукою чистой, девственной природы!

Гадания

Вещие карты, сон ли, примета...
Когда ж вернемся? Ищу ответа.
Или в то лето? Или в ту зиму?
Или вдруг завтра — но с того света?

Современный человек

Когда нелюдской, металлически-синий,
Шагал он к войне,— задрожала природа
И молвила, страх ощутив замогильный:
«Крылатый, одумайся,— слишком ты сильный!»

С чужбины

С чужбины вслушиваюсь. Тихо? Значит,
Вот-вот уж ворон «nevermore» [2] закрячет?
Весна весной сменяется... О, люди,
Там кто-то жив еще, там кто-то плачет!

Светопреставление

Поломались ступени в лестнице Творенья:
То не пчелы, а люди жалят, летя вслепую,
То не птицы, а дети прячутся в сень лесную,
И не цветы, а женщин
Кто-то на всех дорогах втаптывал в грязь, лютуя...

Современная женщина

Она теперь почти что марсианка,
Туч амазонка, вихрей маркитантка!
В огне зачатых роботов родит вам,
На службу авиации и танкам.

---

[1] Польский композитор и альпинист (1876—1909); погиб в Татрах.
[2] «Никогда» *(англ.)*; рефрен стихотворения Эдгара По «Ворон».

Отчаяние

Не спустятся за мною птицы с небосвода,
Ни крот мне не покажет подземного хода
Из Англии к дому,
Ни Бог с войны проклятой не скостит ни года.

Бомбовещание

Радиоящик, в мир кричащий дверка,
Алтарик злым богам... В эфире — треск
От слов твоих пустого фейерверка,
Бомбовещающая бомбоньерка!

Творенья человека

Люди родят машины. Как старшая к младшим,
Приглядывается Природа к нам и к твореньям нашим...
Ведь и Природа тоже (будучи помоложе)
Питала слабость к монстрам — но менее страшным!

Человеконасекомое

Вы замечаете, что даже со знакомым
Слов не найдешь теперь. Так изменился Homo.
Вид изменяется: в обмен на разум — крылья.
Мы насекомеем! Столкуйся с насекомым!

Из поэтической прозы 1939—1945 годов

Военные наброски

Природа не дала хищникам крыльев. Первые кошмарные видения летающих ящеров, зубастых птиц минули безвозвратно, как дурные сны ее детства.

■ ■ ■

Есть у природы как бы совесть, которая считается с правом на жизнь всех видов, которая ставит границы жестокости, в какой-то мере, увы, ею допускаемой. Ни одной из могучих бестий не дано было вознестись над другими, занять чересчур большое место. Только человеку — но он получил особые задатки, чтобы не быть бестией.

■ ■ ■

Вы скажете: орлы, стервятники, совы, летучие собаки — или вампиры. Нет, мы должны признать, что миру они чрезмерно не докучают. Орел, самый могучий из них, размножается мало и пребывает в своих поднебесных вотчинах, редко нападая на слабейших. Хуже был бы летающий тигр, крылатый крокодил, носорог, если бы при злобном нраве его он получил огромные крылья нетопыря, распростертые над безобразным и низким лбом. Но хуже всего было бы насекомое, саранча размером с наши теперешние бомбовозы, летающие крепости. Благодаря природе, благодаря ее чувству меры нет на свете такого чудовища. Мы можем быть ей благодарны, что она сделала малыми тех крылатых, которые злобны и агрессивны.

■ ■ ■

А теперь посмотрим правде в глаза и поблагодарим — с горьким сарказмом — человека, который ее создал, эту саранчу, вопреки законам природы! Современные боевые самолеты — вот она, саранча-гигант, и нельзя перестать сокрушаться, что люди ее создали и разводят.

■ ■ ■

Она есть и будет угрозой для всего человеческого рода. Для всего живого, не только для людей. Она везде досягнет, уничтожит все, что захочет. Земля падет в страхе, как овца перед волком.

■ ■ ■

Эта саранча подрезает под корень цивилизацию, пожирает плоды труда. А безжалостна она так, как только могло бы быть безжалостно к человечеству насекомое подобной величины и силы. Человек презирал удивительную архитектуру термитов. Насекомое-самолет презирает дома людей, которые с его высоты выглядят как купола и башни термитов, как сооружения муравьев и пчел. Ничто так не умалило труды человека, как самолет, ублюдочное его создание.

■ ■ ■

Люди с богатым воображением давно предвидели, чем будет эта новая война, которую непонятно даже, как назвать — потому что уже предыдущая носила титул «мировой»!

А поскольку они верили в человечество, то успокаивали себя и других, говоря, что развитие техники убило войну, потому что никто не осмелится расколдовать страшные силы, дремлющие в ожидании завтра...

«Ведь это был бы конец света!» — говорили они. И действительно так. В известной мере это своего рода конец света. Постепенное планетоубийство, начатое наиболее безумными.

■ ■ ■

Саранча, получив преимущества фантастической величины и мощи, торжествует в своем стальном панцире, твердокрылая, питающаяся человеческой кровью. Она стремится к хитиновой прозрачности, к бесшумности, к полетам на безграничных высотах и над самой землей, почти над колосьями хлебных полей. Есть в этой машине дикая ненависть к человеческому роду: она враждебна и тому, кто ею управляет, и намеченным внизу жертвам. Чужда, трижды чужда.

Есть в ней темная жажда независимости, чтобы уже без участия руки летчика затмить собою все небо, снижаться, истреблять по приказу невидимого военного штаба: люди против людей. Это не бред. В будущей войне она избавится от человека-пилота и, как почти свободное насекомое, вознесется над миром.

■ ■ ■

Десятиэтажное белое здание простых современных форм. На нем, высоко, единственное украшение: золотистая металлическая колесница и мраморные кони, застывшие в стремительной скачке.

Возничий, наклонившись вперед, понуждает их скакать и скакать.

Не могу предсказать этим скакунам вечной неподвижности, возничему — долгого мраморного жития.

Заколдованные в незавершенном движении, вырвутся эти кони, может быть, уже вскоре, из-под законов, которым подлежат предметы неодушевленные.

Подкошенные ударом бомбы, они оживут и прянут, испуганные, с фасада вниз, на улицу, влача за собой обломки колесницы и белое тело возничего.

Апофеоз надменной цивилизации, фронтон богатого здания в неогреческом стиле, рухнет на улицу, в пыль, на асфальт, на осколки стекла, в зияющие воронки, полные перекрученных рельс.

Ибо пришел час смирения для людей и вещей! Был час созидания, ныне час разрушения. А в грядущем нам уже строить не над собой! Ниже себя, кротовьи и крысьи рвы, убежища, пропасти. И не задирать голову — и опуститься на четыре лапы.

■

АСТАФЬЕВА НАТАЛЬЯ ГЕОРГИЕВНА

Советский поэт и переводчик с польского. Автор книг стихов «Девчата» (1959), «Гордость» (1961), «Кумачовый платок» (1965), «В ритме природы» (1977), «Любовь» (1982). В ПНР вышла книга избранной лирики Н. Астафьевой.

В «Иностранной литературе» публиковались ее переводы из К. Иллакович, Я. Ивашкевича, Х. Посвятовской, В. Слободника, А. Свирщиньской, Е. Харасымовича и др. За достижения в области перевода польской литературы на русский язык Н. Астафьевой присуждена польская премия ЗАиКС.

Публицистика

ГРЭМ ГРИН

МОЕ ЗНАКОМСТВО С ГЕНЕРАЛОМ,

ИЛИ

Как я оказался ко всему этому причастным

Фрагменты книги

Перевод с английского Д. АГРАЧЕВА и И. БЕРНШТЕЙН

Часть III 1978

Я жил далеко, в Антибе, и только по газетам следил за гражданской войной в Никарагуа. Не проходило и дня, чтобы какая-нибудь заметка не напомнила мне о моих друзьях-сандинистах в Панаме. Но однажды, совершенно неожиданно, Панама и Никарагуа сами объявились в Антибе в лице молодого математика Рохелио. Он направлялся в Италию и по дороге из Ниццы позвонил мне с вокзала. У него не было итальянской визы, но это его не слишком беспокоило: в конце концов, у него жена итальянка. Виза — дело нехитрое, сказал он мне по телефону, но он хотел бы прервать путешествие и встретиться со мной.

Я снял ему на ночь номер, и мы вместе поужинали. Мне не терпелось услышать, какие у них новости. Он рассказал, что Камило наконец «понюхал пороху»: вместе с отрядом сандинистов участвовал в операции по ту сторону коста-риканской границы. Набег оказался не слишком удачным, их атаковали с воздуха, а зениток у них не было. И вот теперь Рохелио послан добывать средства на вооружение. Он дал мне фамилию и номер счета в Панаме — на случай, если у меня найдутся богатые знакомые, симпатизирующие сандинистам. Со стрелковым оружием у них порядок, сказал Рохелио. Этого добра всегда можно отбить вдоволь у национальных гвардейцев Сомосы. Нужны зенитные пушки. Увы, я мало чем мог ему помочь — только послал в Панаму свой собственный скромный чек в надежде, что на него приобретут хотя бы несколько пуль, в том числе одну — лично для Сомосы.

Прошло еще несколько недель, и поздним июльским вечером в телефонной трубке раздался другой знакомый голос.

— Где ты, Чучу?

— В Панаме, где же еще? Ты каким рейсом прилетишь? Генерал интересуется. Билет тебя ждет.

Крайне удивленный, я начал быстро прикидывать в уме.

— Девять тридцать утра девятнадцатого августа. Годится?

Когда мы приехали, Омар лежал в постели с высокой температурой, но скоро он вышел к нам. Устроившись, по своему обыкновению, в гамаке, он много и охотно говорил.

После подписания договора о канале бывшему президенту Ариасу было разрешено вернуться в свое поместье в Чирики неподалеку от коста-риканской границы. Два месяца тому назад он по приезде выступил в столичном парке Санта-Ана перед большой толпой народа, собравшегося скорее из любопытства, чем из сочувствия к свергнутому президенту. Его речь изобиловала ядовитыми нападками на Торрихоса и по крайней мере служила доказательством того, что в Панаме есть свобода слова.

Теперь, глядя на Омара, мирно беседующего с нами, я вспоминал эту речь, прочтенную накануне в самолете. Ариас изобразил Омара тираном, который выбрасывал своих противников из летящего самолета и пытал заключенных. Фамилии «исчезнувших жертв» нигде и никогда не публиковались, и вдовы не ходили с их фотографиями по улицам Панамы, как это было в Буэнос-Айресе, потому что, разумеется, на самом деле никто не исчезал. В Панаме противнику

Окончание. Начало см. в № 4, 1986 г.

режима достаточно было перейти на другую сторону улицы, чтобы оказаться в безопасности. Журналисты сообщали о злодеяниях Виделы в Аргентине и Пиночета в Чили, а бывший президент Ариас, отсиживаясь в Майами, воспользовался этими материалами, чтобы живописать теми же красками жизнь Панамы. Омара он называл «психопатом, которому место в сумасшедшем доме», а «психопат» — вот он, преспокойно лежит в гамаке и с улыбкой говорит о будущем:

— Я готовлю политикам большой сюрприз. Хочу так устроить: создать политическую партию, чтобы иметь возможность уйти. А они-то думают, я устраиваю все так, чтобы остаться у власти. Не в ту сторону целятся. Только зря потратят порох, а потом сами же скажут: «Вот сукин сын, не поймешь, чего ему надо!» — Он озорно улыбнулся.— А мне всего только и нужно, что дом, ром да подружка

Его партия будет называться РДП — Революционно-демократическая партия, и о ее создании будет официально объявлено 11 октября, в день десятой годовщины военного переворота. Одновременно будет отменен запрет на другие политические партии, хотя по существу они и не были запрещены. Дело сводилось к тому, что на выборах каждый кандидат, будь он консерватор, социалист, либерал или коммунист, должен был выступать от себя лично, а не как представитель партии.

Омар продолжал:

— Я слишком стар, чтобы рассуждать о будущем. (Ему не было еще пятидесяти лет.) Будущее — за молодыми. Мне нужна партия, потому что сам я устал от политики — внутренней политики. Понимаешь, найдут себе люди лидера и пашут на нем, пока он не сдох нет,— ну, как крестьянин может заездить до смерти хорошего быка. Со мной крестьяне говорят откровенно, а глаз у них знаешь какой — увидят, что ты хром на одну ногу, даже если лежишь в гамаке или в постели под простыней.

Я спросил о договоре. Я знал, что поправки, внесенные сенатом США, явились для Омара большим разочарованием. Более того, они навлекли на него критику левых сил в Панаме.

Он ответил:

— Я так понимаю логику ультралевых: когда они видят невозможность с в о е й революции, то трусливо отворачиваются от действительности — строят несбыточные планы некой будущей фантастической революции.. У нас всего-то населения меньше двух миллионов. Я не сторонник радикальных решений для такой маленькой страны.

Я спросил:

— Теперь что же, землю в Зоне канала расхватают по участкам?

— Нет-нет,— ответил он — С природой Зоны мы будем обращаться бережно, в основном все должно остаться как было. Леса необходимы как водосборная площадь для канала.

Вернувшись в гостиницу, я перечитал речь бывшего президента Ариаса:

«В тот роковой день — 11 октября 1968 года — изменник, продавший душу дьяволу, обуреваемый похотью, алчностью и завистью, захватил нашу любимую родину, обратив все в стоны, боль и кровь...»

Я представил себе, как этот «изменник, продавший душу дьяволу», мирно качается в гамаке, и вспомнил одного рыбака, который имел привычку в те дни, когда Омар приезжал после трудовой недели на побережье, проходить по берегу мимо охранников, осыпая Омара пьяной бранью; обратно он шел уже молча, слегка протрезвев от прогулки. Этот еженедельный ритуал очень забавлял Омара, особенно когда свидетелями оказывались важные и серьезные гости вроде мистера Банкера и прочих членов американской делегации. Интересно, как бы реагировал на такое Ариас в дни своего президентства?

Друзья-сандинисты уговаривали меня съездить в Никарагуа, но я понимал: если меня там убьют, за это с радостью ухватится пропаганда. Одна сторона будет валить на другую, и выйдет, своей смертью я окажу единственно возможную услугу — да только, быть может, не тем, кому надо. И сам генерал был против этой поездки. Он считал, что в гражданской войне вот-вот наступит решительный момент. Поэтому я предпочел остаться обыкновенным туристом и на следующий день отправился вертолетом в Номбре-де-Дьос, город моей мечты, оказавшийся на поверку маленькой площадкой, где едва смог приземлиться вертолет, и индейской деревушкой в несколько дюжин домиков. Не сохранилось даже развалин порта, некогда превосходившего размерами Веракрус, порта, которому Колумб дал имя Пуэрто де Абастамиентос, «Порт продовольствия», и который потом был разграблен Фрэнсисом Дрейком, не прихватившим, по оплошности, только серебряные слитки.

Вернувшись в столицу, мы узнали, что прогноз генерала относительно войны в Никарагуа в какой-то мере оправдался. В Манагуа вспыхнули бои, и небольшой отряд сандинистов (немногим больше десяти человек), захватив Национальный дворец, удерживал в качестве заложников тысячу депутатов и правительственных чиновников, требуя освобождения своих товарищей из тюрем.

В ту ночь я видел крайне неприятный сон и проснулся в прескверном расположении духа. Меня потянуло назад в Европу, сам не знаю почему. Но до отъезда я должен был осуществить еще одну свою давнюю затею — слетать на Бокас-дель-Торо, о котором в путеводителе сказано, что туристов туда не возят. Чучу согласился меня сопровождать, и мы назначили поездку на завтра. Но из этого ничего не вышло. Омар нарушил наши планы и одновременно рассеял мои мрачные мысли. Каким-то образом ему удалось разыскать нас в итальянском ресторанчике, где мы никогда прежде не бывали. Чучу вызвали к телефону.

Вернулся он взбудораженный. Завтра спозаранку — часов в пять — генерал отправляет в Манагуа военный самолет, чтобы вывезти отряд сандинистов, их выпущенных из-под стражи товарищей и часть заложников. Мы с Чучу летим на этом самолете. Велено быть на аэродроме в четыре. Жизнь снова стала интересной.

Утром мы прибыли точно в назначенное время, но оказалось, самолет час назад уже улетел — Чучу то ли просто не понял, то ли не разобрал по телефону, что генерал советовал нам переночевать на аэродроме. На Чучу обрушился высочайший гнев. Ему было строго приказано «быть на проводе» — то есть сидеть дома у телефона как бы под домашним арестом. Мне же оставалось убивать время за чтением и сном, покуда наконец снова не появился Чучу. Он был как в воду опущенный. Нас вызывали к генералу в дом Рори Гонсалеса.

Мы решили для храбрости сначала пропустить по стаканчику пунша, так как ожидали серьезной выволочки. Но ничуть не бывало. Омар был в отличном настроении. Он решил послать меня и Чучу в Белиз с поручением к премьер-министру Джорджу Прайсу. В его намерения входило просветить меня в делах всей Центральной Америки, а не только Панамы. К Прайсу он относился очень тепло, и это была странная дружба, поскольку трудно найти людей, более разных по характеру, хотя в политике оба были умеренными социалистами. Дружба между ними существовала с того времени, когда Панама поддержала Белиз в ООН в конфликте с Гватемалой и еще склонила на сторону Белиза Венесуэлу: из всей Латинской Америки только эти две страны выступили против Гватемалы.

У генерала был министр иностранных дел, и он обрисовал нам обстановку в Белизе. В стране имелась консервативная оппозиция, выступавшая против независимости, которой добивался Прайс: высказывались опасения, что независимость повлекла бы за собой вывод тысячи шестисот английских солдат и тем самым открыла бы путь гватемальскому вторжению. Прайс хотел остаться в Содружестве наций, но предпочел бы заменить английские части войсками Содружества. Гватемала, возможно, удовлетворится небольшой территориальной уступкой, дающей выход к морю,— но ведь тогда и Мексика на севере потребует себе кусок земли. И в результате что останется от Белиза?

— Прайс тебе понравится,— сказал мне Омар.— Это человек в твоем вкусе. Он собирался стать священником, а не премьер-министром.

Путь в Белиз был долгим, с остановками в Манагуа, Сан-Хосе и Сан-Сальвадоре, где на аэродроме буквально впритирку стояли военные самолеты. Мне было немного не по себе, поскольку Чучу перед самой посадкой обнаружил, что паспорт у него просрочен на два года и нет белизской визы. Однако мы летели как представители генерала, и все обошлось.

Нас встретили и отвезли в город Белиз — бедный, но по-своему очаровательный город деревянных домиков, выстроенных на сваях высоко над мокрыми улицами в окружении заболоченных мангровых рощ. Я думаю, особое очарование Белиза связано с ощущением хрупкости, мимолетности жизни на краю гибели. Угроза исходит не только от Гватемалы, но и от моря, которое тихо, упорно просачивается в город, как партизаны в тыл врага, и рано или поздно овладеет им. Однажды это уже чуть не случилось: в 1961 году ураган «Хэтти» обрушил на город водяной вал высотой в десять футов.

Теперь опять приближался сезон ураганов, по городу были расклеены плакаты,— при взгляде на них вспоминались улицы Лондона во время бомбежек и опера Курта Вайля «Возвышение и падение города Махагонни».

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ г. БЕЛИЗ

Правила поведения в случае урагана (1978 год).

I стадия

Один красный флаг — Предупреждение об опасности.

II стадия

Один красный флаг с черной полосой по центру — Ураган приближается.

III стадия

Два красных флага с черной полосой по центру — В ближайшие часы ураган обрушится на побережье.

IV стадия

Зеленый фраг — Отбой. Ураган прошел. Можно приступать к поисковым и спасательным работам.

Следовал длинный перечень имен ураганов — большей частью малопривлекательных (интересно, кто их выбирает?). В этом сезоне ожидались ураганы: Амелия, Бесс, Кора, Дебора, Элла, Флосси, Грета, Хоуп, Ирма, Джульетта, Кендра, Луиза, Марта, Норин, Ора, Пола, Розали, Сюзан, Таня, Ванесса, Ванда Я порадовался, что пробуду здесь совсем недолго. В крайнем случае меня может зацепить одна Амелия, но пережидать, пока пронесутся Ванесса и Ванда, мне не придется.

Я, кажется, начал понимать, почему Омар так симпатизирует Джорджу Прайсу и его обреченному городу. Белиз был частью того мира, который избрал для себя Омар Торрихос,— это мир противостояния превосходящим силам, опасности и неопределенности, где каждый новый день грозит обернуться катастрофой; в случае Белиза — нападением Гватемалы или ураганом с Атлантики. Единственное, что можно было предсказать с полной уверенностью, так это салат из креветок на обед, другого съедобного блюда мы в Белизе не нашли.

Покончив с креветками, мы поехали в Бельмопан — новую административную столицу, построенную за пределами ураганно-опасной зоны. Бельмопан — это своего рода крошечная Бразилиа, обреченный стать в конце концов мертвым городом — вроде Вашингтона, но только без его красот.

В своем кабинете Прайс показался мне тихим, застенчивым человеком, с известной долей той смиренности, которую нередко встречаешь у священников (они словно непрестанно сомневаются в искренности собственной веры), но во время долгой поездки в старом «лендровере», его единственной машине, он говорил без умолку, как человек, изголодавшийся по самовыражению,— о теологии, литературе, о своей жизни. Оказалось, он разделяет мой интерес к иезуиту Тейяру де Шардену, которого заставила замолчать наша церковь, и к Гансу Кюнгу [1], и мое восхищение Томасом Манном. Мы сошлись даже в том, что ставим «Лотту в Веймаре» выше «Волшебной горы».

Прайс повез нас к гватемальской границе, мимо меннонитских поселений, где мы видели суровые, замкнутые немецкие лица; здесь женщины лишены свободы и смешанные браки запрещены. Мы остановились у развалин Ксунантунича — святыни майя, где Чучу предпринял тщетную попытку вступить в общение со своими предками. Мы отошли на время, предоставив ему в одиночестве обращаться к безмолвствующим каменным руинам с какими-то непонятными восклицаниями.

Прайс сказал:

— А я вам однажды написал письмо, несколько лет назад.

Я попытался припомнить, по какому вопросу мог ко мне обратиться премьер-министр Белиза. Но моя память безмолвствовала, как развалины храмов майя.

— Я спрашивал, что было в «Дорожной сумке».

«Дорожная сумка» — название рассказа, который я написал много лет назад. Я со стыдом подумал о том, сколько таких писем выбросил в корзину, не ответив на них, но, к моему большому облегчению, Прайс продолжал:

— Мне было очень приятно получить ответ.

— И что же я вам написал?

— Вы написали, что в сумке не было ничего.

Вероятно, ответить меня побудил экзотический обратный адрес: Белиз, потому что имя Джордж Прайс мне тогда ничего не говорило. Должно было пройти еще десять с лишним лет, прежде чем, стараниями Омара Торрихоса, я оказался вовлеченным в дела Центральной Америки. Странно подумать, что несколькими малозначащими словами я завоевал дружбу Прайса,— ибо во время этой длинной поездки к гватемальской границе и обратно я ощутил, что мы с ним друзья.

Эту дружбу я ценю, я считаю Джорджа Прайса одним из интереснейших политических лидеров в современном мире. В его приходе 140 тысяч человек: креолы, немцы, индейцы майя, черные карибы, арабы, китайцы и испаноговорящие беженцы из Гватемалы.

Я написал «приход», ибо таков, как мне кажется, Белиз в представлении Джорджа Прайса. Прайс — католик по религии и социалист по политическим убеждениям. Он вообще не собирался идти в политики, а мечтал стать священником и после школы поступил в семинарию, но вынужден был прервать учебу, когда умер отец и понадобилось кормить большую семью. Он и сейчас живет так, как мог бы жить священник — по-монашески, в домике на сваях. Каждый вечер он возвращается домой из Бельмопана и ложится спать не позже девяти, так как встает очень рано — в половине шестого,— чтобы поспеть на мессу и ежедневное причастие, а с восьми тридцати он уже за своим рабочим столом в новой столице. Он описал мне один свой сон, который уже пересказывал раньше В. С. Найполу, приезжавшему в Белиз: ему снилось, что он с завистью и негодованием наблюдает, как один священник — известный ему старый развратник — служит мессу и освящает дары, тогда как ему, Прайсу, в этом отказано.

Во время нашей поездки по стране я снова и снова узнавал в нем священника. Его приветственный взмах рукой очень походил на благословение, и если кто-то на дороге, будь то индеец или негр, просил подвезти, он обязательно останавливал свой старый «лендровер» — прямая противоположность фермерам-меннонитам, которые провожали нас хмурыми взглядами, негодуя на наше безбожие.

На границе один против другого стояли два щита с надписями — с белизской стороны по-испански, утверждая независимость Белиза: «Belice Soberano Independiente» [1], а с гватемальской по-английски, коротко и определенно: «Белиз — это Гватемала». Прайс, забавляясь, пригласил меня пересечь границу, мы заглянули поболтать в помещение гватемальской таможни, где его встретили как старого знакомца.

На обратном пути мы проехали городок под названием Орандж-Уок; он немногим больше деревни, но имеет собственный кинотеатр и несколько гостиниц. Прайс считал, что здесь хорошо было бы устроить международный кинофестиваль, тем более что ураганы сюда не доходят. Он даже рассказывал мне, что намерен пригласить нескольких кинозвезд мировой величины, но я сомневаюсь, чтобы его мечта осуществилась. Мне сразу представилось, как звезды величаво подкрепляются салатом из креветок, а потом собираются в кинозале, быть может, всего на двести мест

[1] Швейцарский теолог, который в своих трудах подверг сомнению непогрешимость папы римского и тем самым навлек на себя недовольство Ватикана.

[1] «Независимый, суверенный Белиз» *(исп.)*.

На переезде через Нью-Ривер нас остановил крестьянин и пожаловался на плохой прием радиопередач; Прайс записал это себе в блокнот. Он делал много подобных записей, а в перерывах мы продолжали обсуждать Ганса Кюнга с его концепцией непогрешимости и взгляды Томаса Манна на творчество Гёте.

В тот вечер мы с Чучу ужинали креветками в маленьком кафе с видом на океан под гневные выкрики темнокожего оратора, который витийствовал внизу на улице. Сначала мы думали, что это политический митинг сторонников консервативной оппозиции (мы видели, как они разъезжали по городу в джипах, украшенных британскими флагами). Но какое там! Это было религиозное собрание, и оратор высказывался по вопросам семьи и морали: неверные мужья — вот, считал он, проклятие Белиза. Казалось, от искушенных панамцев его отделяет целый континент.

Но на следующий день внешний мир нас настиг. Местные газеты сообщали: в Никарагуа предпринята попытка переворота, арестованы двенадцать офицеров национальной гвардии и более ста гражданских лиц, Сомоса грозится расстреливать бунтовщиков. А «Репортер» — орган белизской оппозиции — писал о «так называемом писателе по фамилии Грин», которого коммунист Торрихос прислал к своему собрату-коммунисту Прайсу с неизвестным, но безусловно злодейским поручением. Мы с Чучу прочли это сообщение, вернувшись из поездки в Коросаль — городок на севере, вблизи мексиканской границы.

Прайс говорил мне, что доктор Оуэн, тогдашний министр иностранных дел Великобритании, и британский верховный комиссар в Белизе предлагают договориться с Гватемалой, уступив ей кусок белизской земли, дающий доступ к морю. «Разве маленькая страна с населением в 140 тысяч может что-нибудь уступать?— спрашивал Прайс.— Мы можем только сражаться или капитулировать» Если отдать кусок Гватемале, то и Мексика потребует свою долю — этот вот самый район Коросаля, и что тогда останется от Белиза? А тут еще слухи, зачастую необоснованные, о запасах нефти, якобы обнаруженных на дне океана у белизского побережья.

Настал день, когда мы с Чучу должны были вылететь в Коста-Рику, где у Чучу была назначена встреча с одним из сандинистских лидеров. Перед отъездом мы присутствовали в Белизе на еженедельном приеме граждан, обращающихся с жалобами к своему премьеру. Старая крестьянка горько сетовала, что хижина у нее совсем развалилась и залатать прорехи уже нет никакой возможности. Был вызван полицейский, подтвердивший ее слова. Прайс обещал немедленно принять меры, и старуха, захлопав в ладоши, сказала, что справит в новом доме новоселье.

После типичного белизского обеда (на выбор: креветки и гамбургеры [1]) мы выехали в аэропорт, и то ли по рассеянности, то ли оттого, что Чучу снова попутал дьявол (но не алкоголь), я во второй раз в жизни сел не на тот самолет. В результате мы попали в Сан-Сальвадор и застряли там на несколько часов в ожидании подходящего рейса. Сидели в аэропорту безвылазно, призвав на помощь все свое терпение, и я только бога молил, чтобы поблизости не оказалось никого, кто бы знал Чучу в лицо и имел сведения о его связях с сандинистскими повстанцами.

Коста-Рику — единственное в Центральной Америке государство без армии — Чучу презирал, хотя для его тайной деятельности оно имеет очень удобное географическое положение, и он не раз на старом армейском самолете доставлял к границе Коста-Рики с Никарагуа партии оружия для сандинистов. По-моему, его даже злила та легкость и безнаказанность, с какой ему удавалось проводить такие операции. Но все-таки ему давно хотелось показать мне Коста-Рику, чтобы я мог понять и разделить его презрение.

Действительно, Сан-Хосе показался мне скучным и унылым. Шел проливной дождь, и я разозлился на сомнительного приятеля Чучу, который увел нас из гостиницы и поволок на другой конец города, чтобы, промокших до нитки, накормить в каком-то ресторане обедом ничуть не лучше, чем в Белизе. Коста-Рику часто называют центральноамериканской Швейцарией — чистейший поклеп на Швейцарию.

На следующее утро состоялось запланированное свидание: Чучу встретился в кафе с высоким черноволосым серьезным человеком. С ним была спутница — прелестная молодая женщина, лицо которой мне было как будто знакомо: как выяснилось, я видел ее в прошлом году в Панаме среди других эмигрантов. Мы сидели с ней и болтали за отдельным столиком, пока Чучу и его собеседник поодаль от нас неслышно вели важный разговор Четыре года спустя я снова встретил их в Манагуа: это были команданте Даниэль Ортега, ныне президент Никарагуа, и его жена Росарио.

В тот же вечер мы вернулись в Панаму, а двумя днями позже, отчитавшись генералу о поездке в Белиз, мы прощались с Чучу в аэропорту, опять, как думалось мне, навсегда. Собственно отчитываться генералу было не в чем, кроме того, что Прайс мне понравился и не понравились его враги, консерваторы, их злобные нападки, их яростное сопротивление независимости и фальшивая преданность британскому флагу.

Одним из замечательных свойств Омара был его интерес к мнению других людей о тех, кто ему нравился или не нравился. Когда я высказался неприязненно о его начальнике штаба полковнике Флоресе, Омар не обиделся, а просто принял к сведению мою антипатию. Вообще он с большим, быть может, даже чрезмерным уважением относился к писательскому чутью и бывал доволен, когда Гарсиа Маркесу или мне нравился

[1] Булочки с котлетой.

тот же человек, что и ему. «Ну как вам такой-то или такая-то?» — этот вопрос он задавал то и дело. Он был верен друзьям — Тито, которого почитал как отца, Фиделю Кастро, осуществившему в политике то, о чем сам он только мечтал,— и никакие наши слова не заставили бы его переменить мнение, но он был рад, если мы думали так же, как он. Его обрадовало, что Джордж Прайс пришелся мне по душе: он, возможно, только для того и посылал меня в Белиз, чтобы познакомить двух своих друзей.

Часть IV 1979, 1980

В 1979 году гражданская война в Никарагуа завершилась, Сомоса бежал из страны, и сандинисты пришли наконец к власти. Так что ждать нового телефонного приглашения в Панаму у меня не было ни малейших оснований.

И хотя я жалел об утраченной дружбе с Омаром и Чучу, были причины, удерживавшие меня во Франции: в марте я лежал в больнице — мне удалили часть кишечника, и в это же самое время в моей жизни и в жизни моих друзей начались события, приведшие меня в конечном итоге к написанию очерка «J'Accuse»[1].

Теперь мое поле битвы во Франции, а не в Центральной Америке; и битва шла в защиту молодой женщины, дочери моей очень близкой знакомой, и двух ее маленьких детей. Насилие подошло к самому порогу моего дома, и тут уж было не до политических проблем Центральной Америки. К тому же несколько месяцев после операции я испытывал глубокий упадок сил и принужден был расходовать их осмотрительно и понемногу, так что о долгом перелете до Панамы не могло быть и речи.

Но раз уж принимаешь сознательно чью-то сторону, значит, ты ее принял, чем бы это ни обернулось. Панама не отпускала меня. Пусть я не мог лететь в Панаму, она снова сама явилась ко мне. В канун первого мая в час ночи меня разбудил телефон, и я услышал голос Чучу:

— Грэм, а я уж думал, тебя нет дома.

— Я спал, Чучу. Где ты?

— В Панаме, ясное дело. Генерал просил тебе кое-что передать. Он посылает к тебе одного человека и очень хочет, чтоб ты с ним увиделся. Человек этот на днях будет в Антибе.

— Когда он приезжает?

— Не знаю. Он уже в пути Сейчас он, кажется, в Мексике. Вчера генерал спрашивал, когда ты приедешь.

— Я не могу, Чучу. В этом году никак. Я болел, и у меня тут сложности. Уехать невозможно.

— Но с посланным от генерала встретишься?

— Конечно.

Двумя днями позже, когда я ложился спать, опять зазвонил телефон. Голос в трубке сообщил, что ко мне есть поручение от генерала, и мы договорились о встрече на следующее утро. Когда мы встретились, я узнал молодого человека, которого однажды видел у Омара. Он спросил, читал ли я в газетах примерно с месяц назад, что сальвадорские повстанцы похитили двух английских банковских служащих.

— Да, помню.

— Генерал опасается за их жизнь. Банк, по-видимому, потерял контакт с похитителями. Генерал хочет, чтобы вы позвонили в главную контору в Лондоне и передали, что повстанцы готовы снять два своих условия. Первое — это освобождение из тюрьмы шестерых их товарищей; им стало известно, что тех уже нет в живых. И второе условие, которое они снимают, это публикация их воззвания в местной и международной прессе. Остается только третье — деньги Только смотрите, никому не открывайте, откуда у вас эта информация.

— Но о каком банке речь?

— «Лондонском».

Я знаю «Английский банк», но про «Лондонский банк» слышал впервые.

— Вы уверены, что он именно так называется?

— Да, да. Дело очень срочное.

Я был, как никогда, рад, что у меня на полке стоит «Уитекер»[1]. С его помощью я выяснил, что имеется в виду «Лондонский и монреальский банк» — филиал банковской корпорации «Ллойдз интернэшнл», с правлением в Нассау. Но все равно в этом мире международных финансов я чувствовал себя совсем беспомощным.

— Приходите ко мне ужинать в половине седьмого.

Я вспомнил, что мой племянник Грэм, директор издательства «Джонатан Кейп», принадлежит к банкирской ветви семьи Гиннесс, и по его совету я связался с мистером У., который занимался этим делом. У нас состоялся довольно неловкий, с заминками, разговор.

— Откуда вам все это известно?

— У меня очень надежный источник, но раскрывать его я не вправе.

Заминка на том конце провода выражала вполне естественное недоверие. Какое отношение мог иметь живущий в Антибе писатель к похищению в Сальвадоре?

Я попытался убедить мистера У.:

— Видите ли, за последние три года я неоднократно бывал в Центральной Америке. У меня там много знакомых.

— Как вы считаете, почему они снимают условия?

— По-моему, они не хотят убивать заложников.

Мистер У. сухо отозвался:

— У нас сложилось такое же впечатление.

[1] «Я обвиняю» *(франц.)* — очерк Грина о заправилах преступного мира Ниццы и об их связях с продажными судьями, адвокатами и бизнесменами, вышедший в Лондоне отдельной книжкой (см. «ИЛ», 1983, № 7)

[1] Ежегодный справочник общей информации об Англии и зарубежных странах.

— Я так понял, что вы потеряли контакт с похитителями?

— Да.

— Мне дали номер телефона в Мехико. Если вы по нему позвоните...

Когда молодой человек пришел ко мне вечером, я рассказал ему все как было. Он вскинул обе руки над головой и с удовлетворением произнес: «Mission accomplie [1]».

— Хотите позвонить в Панаму?

— Нет, но, если можно, я позвоню в Мехико.

Через несколько минут он положил трубку и сказал:

— Банк уже связался с ними.

За ужином я предложил ему встретиться завтра перед его отъездом: я мог бы показать ему старый город. Мой гость согласился, но утром не пришел. Я позвонил в гостиницу, однако он уже отбыл в Центральную Америку, а через несколько недель двух англичан освободили. Некоторое время я лелеял алчную надежду, что в награду за таинственный телефонный номер получу от «Ллойдз интернэшнл» хотя бы ящик виски, но тщетно. Должно быть, правление считало, что я получил от повстанцев комиссионные из тех пяти миллионов долларов, которые им, кажется, заплатили.

Не помню, как и когда я узнал имя посредника в Мехико: им оказался мой друг Габриэль Гарсиа Маркес.

Весь тот год я был занят своей личной войной и с трудом дописывал повесть «Доктор Фишер из Женевы»[2], так что когда настало лето и опять позвонил Чучу с вопросом, когда я приеду («Генерал интересуется»), я ответил:

— Только не в этом году. Я тебе говорил, это невозможно... Еще как хочу... Может, на будущий год...

18 августа 1980 года, сдавшись наконец под натиском Чучу, я снова отправился в Панаму; самолет вылетел из Амстердама в половине одиннадцатого вечера, а до этого я восемь часов провел в салоне «Ван Гог» для пассажиров первого класса, где теперь чувствовал себя совсем как дома.

Наутро Чучу встречал меня в панамском аэропорту. Он отрастил бороду, но в остальном совсем не изменился за прошедшие два года. Его переполняли новости. Генерал хочет, чтобы я через два дня вылетел в Никарагуа. Но, по панамскому обыкновению, все наши планы скоро расстроились — слишком много телефонных переговоров и слишком много стаканов пунша, как всегда плохо приготовленного и дорогого.

В Панаме оказался и Бернард Дидрих, и, поскольку Чучу был прикован к телефону в ожидании звонка генерала, мы взяли его машину и поехали в бывшую Зону канала. На вид там мало что изменилось, разве что на холме Анкон и на крыше здания администрации канала теперь развевался панамский флаг.

На следующий день мы с Чучу и Дидрихом вылетели в Манагуа на личном самолете Омара. Он решил во что бы то ни стало продолжить мое образование и устроил приглашение от Томаса Борхе[1].

Манагуа — почти несуществующий город, город без центра: все было разрушено землетрясением, которое обогатило Сомосу, поскольку он решил не тратить пожертвования международных организаций на застройку столицы, а попросту положил их себе в карман. В центре бывшего города остались лишь сильно пострадавший собор, отель «Интерконтиненталь», небольшой мексиканский ресторанчик, Национальный дворец и «бункер», в котором осажденный Сомоса провел свои последние дни. Жизнь переместилась на окраины Манагуа, и чтобы навестить кого-либо, приходилось ехать на машине не менее получаса...

В машине, когда мы возвращались в Панаму, мои мысли вновь обратились к так и не состоявшемуся роману «На обратном пути». Мне казалось, что я понял, в чем загвоздка, почему роман в конце концов застопорился. Я слишком привязал его к Панаме, тогда как следовало местом действия сделать вымышленную центральноамериканскую страну. В конце концов, я имел теперь некоторое представление и о Никарагуа, и о Белизе. «Обратный путь» должен означать не только дорогу домой, в которую журналистке суждено отправиться одной, без Чучу; эта фраза должна иметь и политический смысл: поражение революции. Главный злодей должен быть списан с сеньора В. — советника, оставшегося со времен Ариаса, которого в разговоре с генералом я обычно называл «Рыбьим глазом» Мне вспомнилась буржуазная публика в Манагуа и кислолицые официанты, вставшие на сторону богатства. Им также предстояло сыграть эпизодические роли. А в конце романа, пожалуй, умрет не Чучу, а генерал, которому часто снится смерть. Увы! Так оно и вышло...

На следующий день Чучу заехал за мной: Омар ждал нас к обеду. Чучу был сильно расстроен, так как у него пропала собака. Это была на редкость глупая собака, он сам мне много раз жаловался, и к тому же свирепая, соседи ее терпеть не могли. А тут она взяла да и ушла в неизвестном направлении, и Чучу все утро бродил по улицам, разыскивал ее.

— Ненавижу собак,— признался он мне.

— Зачем же держишь?

— Чтобы не давать воли своей ненависти.

А я подумал, что и для собаки непременно найдется место в романе «На обратном пути».

[1] Дело сделано *(франц.)*.

[2] См. «ИЛ», 1982, № 6.

[1] Министр внутренних дел Никарагуа.

В тот день, обедая у Омара, я, как никогда, почувствовал нашу близость. Он даже сравнил свое отношение ко мне с той дружбой, которая связывала его с Тито.

— Что-то есть общее,— настаивал он.

Тито и я — не слишком ли странное сравнение? Я думаю, Омар имел в виду, что в обоих случаях его дружба основывалась на доверии. Как я уже писал, он любил сопоставлять свое мнение о людях с моим. Мы заговорили с ним о госпоже Тэтчер и о ее позиции в отношении Белиза — она как будто выказывала готовность вести переговоры с Гватемалой Омар хотел устроить мне еще одну встречу с Джорджем Прайсом. Положение Белиза рядом с агрессивным авторитарным соседом становилось все сложнее. Колумбия и Венесуэла больше не поддерживали его. Теперь в рамках ОАГ Прайс мог рассчитывать лишь на Панаму и Никарагуа. В то время Прайс был в Майами, где встречался с министром иностранных дел Гватемалы — первый прямой контакт между двумя государствами. Сначала Омар хотел отправить нас с Чучу в Белиз, но теперь решил пригласить Прайса в Панаму и велел Чучу связаться с ним по телефону.

У меня в памяти осталось одно высказывание Омара (кажется, он говорил о госпоже Тэтчер и то ли осуждал ее, то ли защищал):

— Невежество в политике может быть полезным. Мы с Картером договорились о канале, потому что не подозревали, какие сложности возникнут потом. Если бы не наше невежество, мы никогда бы в жизни не подписали договор.

Внезапно все наши планы переменились. Прайс не приедет в Панаму, и мы не полетим в Белиз: Омар согласился удовлетворить мое давнее неразумное желание посетить Бокас-дель-Торо.

На следующий день мы с Чучу вылетели на небольшом военном самолете. Погода была ужасная: сильный ветер и ливень стеной — видимость почти нулевая. Я был рад, что с нами нет Омара: он обожал летать в такую погоду и, конечно, велел бы пилоту продолжать путешествие, несмотря ни на что. А в его отсутствие пилот мог проявить известное благоразумие. Мы сели в Давиде, рассчитывая переждать непогоду, прежде чем лететь дальше над горами Чирики в сторону атлантического побережья. Пока мы ждали, страх подсказал мне аргументы против дальнейшего полета. Почему бы нам не продолжить путь на машине, предложил я, и не посетить еще раз очаровательное горное селение Букете, где такой свежий воздух и молодая хозяйка гостиницы мила, как Уна Чаплин? Но в характере нашего летчика было что-то от упрямства Омара Он жаждал принять вызов стихий и уже через полчаса объявил нам, что буря пошла на убыль и мы можем лететь дальше

Я лично никакого улучшения погоды не заметил, хотя время от времени облака под нами теперь разрывались и внизу мелькали вершины гор, а потом открылось кипящее море. Наконец мы сели под проливным дождем на маленьком островке, который, казалось, под натиском шторма вот-вот уйдет под воду. Это и был тот самый Бокас, куда я так рвался.

По щиколотку в воде мы добрели до гостиницы против пристани, где раньше швартовались фруктовозы Одного взгляда на это заведение было достаточно, чтобы я с радостью воспринял известие о том, что свободных мест нет. На этом богом забытом островке, оказывается, проводилась сельскохозяйственная выставка, на нее даже съехались гости с других островов. Значит, какая бы ни была погода, мы полетим обратно, с облегчением подумал я. Однако пока мы, мокрые насквозь, стояли и обсуждали, что делать, снова появился хозяин гостиницы — один номер, объявил он, для нас нашелся, но что это оказался за номер! Две железные кровати и один стул — вот и вся мебель. С потолка свисала голая лампочка без абажура, и ни кондиционера для защиты от влажного зноя, ни сетки от москитов на окнах Я даже позавидовал летчику, который должен был в шторм лететь обратно в Панаму. Он обещал вернуться за нами в 9.30 утра. Но я поневоле подумал: а что, если погода еще больше испортится и мы застрянем на этом ужасном островке?

Голая лампочка, как выяснилось, перегорела — с наступлением темноты мы могли пользоваться только светом из ванной. Я лег и попробовал увлечься «Регтаймом» Доктороу, но вскоре читать стало совсем невозможно. И спать тоже. Я лежал и тосковал по антибскому дому и своим близким. Как ни привязан я к Омару и Чучу, все-таки я прежде всего нужен в Антибе. Я оставил друзей в Ницце один на один с врагами. И если им сейчас требуется моя помощь, здесь меня никакая телеграмма не найдет. У меня в кармане уже лежал обратный билет, я должен был вылететь через несколько дней, но сейчас, на Бокас-дель-Торо, у меня было такое чувство, что я застрял здесь навсегда. Сам виноват, непременно мне нужно было увидеть своими глазами эту крайнюю точку, откуда Колумб повернул назад. Побывать там, куда не добираются туристы. Я дважды пробовал — не получалось. Значит, перст судьбы. Надо было послушаться.

Спал я в ту ночь плохо, однако утром проснулся в превосходном настроении. Я вообразил,— увы, я ошибался,— что теперь работа пойдет у меня на лад. Снова ожили мысли о романе. Теперь, когда я знаю, что местом действия будет не Панама, а некая вымышленная страна, я могу отделить действующих лиц от их прототипов. Чучу в книге перестанет быть реальным Чучу, Омар будет не Омар. Дорога кончится в Бокас-дель-Торо. Чучу даже придумал для него подходящее новое название· Куно-дель-Торо. И Чучу не погибнет от взрыва в машине, он просто исчезнет, уйдет на поиски не-

любимой собаки и не вернется, а генерал пошлет за героиней своего советника по кличке Рыбий Глаз.

Счастливый, возбужденный, я оделся, вышел — сияло солнце, Бокас-дель-Торо совершенно преобразился. Улицы каким-то образом успели высохнуть, домики на сваях и с балкончиками напоминали мне теперь Фритаун в Сьерра-Леоне — город, который я когда-то любил. В 9.15, минута в минуту, за нами прибыл вчерашний военный самолет, и назад в Панаму мы долетели не за два с половиной часа, а за час с четвертью. На небе не было ни облачка, и можно было любоваться гигантской мозаикой крошечных островов: их очертания и в самом деле напоминали кусочки расколовшейся картинки.

На этот раз в расставании не было грусти: садясь в самолет, я твердо знал, что в будущем году прилечу опять. Снова зазвонит в Антибе телефон и голос Чучу сообщит мне, что билет для меня уже готов. Я назначу день, где-нибудь в августе, во время судейских каникул, когда нельзя ожидать новых событий в нашей частной войне, и снова буду пить джин в амстердамском аэропорту, а в полдесятого утра приземлюсь в Панаме. Чучу встретит меня, и я уже заранее слышал, как он скажет: «Генерал ждет нас в Фараллоне к обеду. Полетим на моем самолете». Или, может быть,— к моему облегчению, потому что я побаивался его самолета: «Я на машине. Пошли».

Эпилог 1983

Я сижу в небольшом военном вертолете, подо мной панамские горы и сельва. Рядом со мной Кармен — дочь Омара, ее глаза напоминают мне честные, широко распахнутые глаза отца. Чучу, разумеется, тоже с нами. Пилот показывает лес между двумя горами, принявший смертельное падение Омара и его спутников. Погода скверная — как раз такую любил Омар: шквалистый ветер и дождь, нас мотает вверх и вниз и из стороны в сторону. Наверное, мы все трое думаем, как странно было бы встретить тот же конец на том же самом месте, где погиб любимый нами человек.

Я не хотел больше возвращаться в Панаму. Я был уверен, что Панама без Омара Торрихоса покажется мне мертвой и пустой. Сейчас январь 1983 года; мое знакомство с Панамой началось в 1976-м — почти семь лет тому назад. Когда в августе 1981-го я узнал о смерти Омара, из моей жизни словно вырезали целый пласт. Я считал, что лучше не бередить воспоминания. Чучу часто звонил из Панамы и все уговаривал меня приехать. Он говорил, что мой билет, не использованный в 1981 году, по-прежнему дожидается меня в Амстердаме, что со мной хочет встретиться президент, что меня хочет видеть семья Омара, что я могу быть «полезен» — хотя каким именно образом, он ни разу не пояснил... Я упрямо отказывался. У меня были достаточно веские основания: моя война с тем негодяем из Ниццы все еще тянулась, и теперь против меня было возбуждено три судебных дела.

— Никарагуанцы хотят тебя видеть,— уговаривал Чучу. В это я, впрочем, нисколько не верил и снова и снова отвечал «нет». и уже не помню, что именно заставило меня в конце концов через силу согласиться.

— Ладно,— сказал я.— Но только на две недели. Дольше я быть в отъезде не могу.

Оставив позади просторы Атлантики, самолет компании «КЛМ» полетел над Дарьенской сельвой в сторону Тихого океана. и я впал в глубокое уныние, которое попытался развеять двумя бокалами шампанского и джином «болс». Легче, однако, мне не стало.

На здании нового международного аэропорта красовалась надпись: «Омар Торрихос» — но мне было скорее грустно, чем приятно видеть его имя, увековеченное в огромных мертвых буквах. Чучу, конечно же, ждал в зале прилета. Он отвез меня в шикарный новый отель, которого не было в мой прошлый приезд.

— А почему не «Континенталь»? Мне всегда нравилось в «Континентале».

— Здесь удобнее парковать машину.

Мне стало совсем нехорошо, когда я увидел президентский «люкс» на четырнадцатом (на самом деле тринадцатом) этаже: гостиная с баром больше всей моей квартиры в Антибе плюс почти такая же спальня и три отдельных выхода в коридор.

— Ты видел парня, с которым я разговаривал в холле? — спросил Чучу.

— Да.

— Это твой телохранитель. Шеф службы безопасности полковник Диас поручил ему круглосуточно быть при тебе.

Все было так непривычно! При жизни Омара я никогда не жил в подобной роскоши и не нуждался в охраннике из «Г-2»: мне вполне достаточно было Чучу и его револьвера — тем более что, как сказал Чучу в тот далекий вечер в мотеле Сантьяго: «Револьвер — плохая защита».

После долгой разлуки мы никак не могли наговориться.

Чучу был убежден, что Омара убили — что в самолете была бомба; он говорил о таинственных событиях, предшествовавших катастрофе, но в качестве примера сослался на две публикации, содержавшие нападки президента Рейгана на Омара,— доказательства, прямо скажем, слабоватые. Меня он не убедил. Омар был в хороших отношениях с Картером и служил для Соединенных Штатов удобным посредником, несмотря на свою приверженность идеям социальной демократии; только военные власти Сальвадора и, может быть, кое-кто из консерваторов в самой Панаме могли быть заинтересованы в его смерти.

Впрочем, есть одна тайна, о которой мне позже поведал его друг Рори Гонсалес (кстати, не согласный с версией о подложенной бомбе): последние четыре ночи перед смертью Омар провел с женой. Он словно бы предчувствовал конец и хотел показать, что верность прошлому куда сильнее и глубже его увлечений.

Я разговаривал с Чучу, потом с президентом, Рори Гонсалесом и полковником Диасом, и — странная вещь — складывалось впечатление, что в Панаме Омар Торрихос по-прежнему жив. Чучу сказал, что после катастрофы он снился ему каждую ночь, и президент — молодой Рикардо де ла Эсприэлья, который за два года до этого понравился мне — тогда он еще был вице-президентом,— тоже рассказывал, что видит Омара во сне («Когда он умер, я потерял отца и брата»). В этих снах повторялась одна и та же ситуация: случалась какая-то большая беда, и Рикардо, как президент, чувствовал, что не в состоянии с ней справиться,— и вот, когда уже, казалось, все пропало, являлся Омар. Однажды ему приснилось, что произошло лобовое столкновение двух поездов. Погибла масса народа, и президент метался, не зная, что делать, но тут подошел Омар и сказал ему: «Не бойся. Ты все уладишь». И, удаляясь, добавил: «Я ухожу отдыхать». Еще президент рассказал мне, что однажды ночью ему почудилось, будто кто-то вошел в спальню, и жена шепнула ему: «Тут кто-то есть». Она тоже слышала шорохи, но не видела того, что увидел он. Омар полулежал в кресле, небрежно перекинув ногу через подлокотник.

Словом, вопреки опасениям, Панама не показалась мне такой уж мертвой и пустой. Но проблем хватало. Чучу обрисовал их мне уже в то первое утро. Самой серьезной проблемой был, пожалуй, новый глава Национальной гвардии генерал Паредес. Паредес, быстро сменивший Флореса (того самого, который не выпускал изо рта жвачку и не внушал мне доверия), был из «правых». Рассказывали, что он дружен с американским генералом Наттингом, командующим базой США в бывшей Зоне канала, намерен баллотироваться в президенты на выборах 1984 года и отнюдь не дружески относится к сандинистам в Никарагуа. Мечта Торрихоса о социал-демократической Центральной Америке, независимой от США, но никому не дающей повода для агрессии, вряд ли могла осуществиться стараниями генерала Паредеса. И еще одна мечта так и осталась мечтой. Закрыли медные прииски — по крайней мере на время.

Тот первый вечер мы с Чучу провели в обществе полковника Диаса — шефа службы безопасности. Разговоры начались еще до ужина и продлились за полночь; в этом скромном и внешне мягком человеке я почувствовал скрытую твердость и решимость идти по пути, намеченному Омаром. В своей оценке Паредеса он был более сдержан, чем Чучу. Это верно, сказал он, Паредес дал крен вправо, но ему нелегко ладить с консервативной олигархией — отчасти потому, что в нем течет африканская кровь,— и перемены, конечно же, еще возможны.

Сам Диас очутился в нелегком положении. Подписанием договора о канале и смертью Омара окончились героические дни в истории маленькой Панамы; кто теперь смог бы на равных разговаривать с крупными лидерами — так, как Омар разговаривал с Тито, Фиделем Кастро, Картером, папой римским и главами государств, которых он посетил во время поездки по Западной Европе в 1977 году после подписания договора?[1]

Говорили и о Сальвадоре: Диас очень сомневался в победе повстанцев, но считал, что затяжной кризис может оказаться даже выгоднее победы.

Диас предложил мне следующую программу. Он хотел, чтобы я снова слетал в Никарагуа: руководители сандинистского правительства знали о моей дружбе с Омаром, и мой визит показал бы им, что дух Торрихоса все еще жив в Панаме. Затем мне предлагалось с той же целью посетить Фиделя Кастро на Кубе (кубинский посол в Панаме вручит мне приглашение). И еще был план свозить меня в деревушку, известную как Сьюдад-Ромеро: ее построили сальвадорские беженцы, которых Омар спас от зловещего изгнания в Гондурасе. Чучу немедленно вызвался доставить меня туда на своем стареньком самолете, а у меня не хватило мужества возразить, но тут, к моей радости, Диас сказал, что в Никарагуа надо лететь на военном самолете, чтобы это было больше похоже на официальный визит, а в деревню можно добраться только вертолетом.

И все-таки именно Чучу больше всех дал мне почувствовать, что дух Торрихоса по-прежнему жив в Панаме. Однажды утром он зашел в гараж, где обычно покупал бензин, и очень долго не выходил. Когда он, наконец, появился, я спросил, чем он там занимался.

— Фотографировал,— ответил он.

— Фотографировал?

— Понимаешь, Эден Пастора купил в Панаме катер. Он сейчас стоит у пристани, его видно из гаража. Хочу захватить этот снимок в Никарагуа.

В другой раз он сказал мне, что после ужина должен заехать в какой-то дом:

— Надо кое-что отдать одному человеку.

— Что?

— Два пулемета, они у меня в машине.

— Зачем ему пулеметы?

— Это не ему нужны пулеметы, а мне нужна тысяча патронов для стрелкового оружия. Он может их достать, но только в обмен.

— Для сандинистов?

— Нет-нет, у них все есть. Для Сальвадора.

[1] Чучу присутствовал на встрече с папой римским, и Омар представил его: «Мой министр обороны» *(прим. авт.)*.

Вид профессора Хосе де Хесуса Мартинеса, математика и поэта, занимающегося своим настоящим делом, доставил мне истинное удовольствие.

На следующий день я познакомился с сеньором Бландоном — сотрудником министерства иностранных дел, которому было поручено создание группы, впоследствии названной Контадорской: идея состояла в организации дипломатического наступления, чтобы предотвратить войну в Центральной Америке. Эта группа и сейчас немало делает для сохранения мира, но первоначальные планы шли много дальше. Помимо Панамы, Колумбии, Венесуэлы и Мексики предполагалось участие Кубы и Соединенных Штатов. Я спросил сеньора Бландона: неужели он и в самом деле думает, что Рейган согласится вступить в одну организацию с Кубой? Да, ответил он, в преддверии выборов Рейган может счесть участие в этом процессе политически выгодным. Его планы тайной войны не получили поддержки в конгрессе, а что до явных военных действий между Гондурасом и Никарагуа, ему наверняка известно о брожении среди младших офицеров гондурасской армии; сальвадорские повстанцы достаточно сильны, чтобы отвлечь часть армии Гондураса на свою границу; наконец, превосходство Гондураса в танках и самолетах не имеет большого значения для той местности, где развернулись бы основные бои. Этот дипломатический план, правда, не нравился генералу Паредесу, но президент Панамы его одобрил, и завтра прилетает для переговоров кубинская делегация. Он повторил, что Фидель Кастро приглашает меня в Гавану и мне необходимо увидеться с кубинским послом.

Я отправился к послу, хотя и не верил в приглашение Кастро. Как я и думал, приглашение исходило от «Дома Америк» и речь шла о каком-то «культурном мероприятии» в Гаване. Я сказал послу, что меня интересует только политическая обстановка — у меня нет времени для «культурного» визита.

Позже президент пригласил меня, чтобы обсудить предстоящую поездку в Никарагуа, которая все более начинала походить на официальную миссию. Он хотел передать руководителям страны следующее послание: не делайте агрессивных заявлений, а обратитесь в Совет Безопасности с просьбой послать войска ООН на границу с Гондурасом. Панама как член Совета поддержит такую просьбу, а если США воспользуются правом вето, для Никарагуа это будет пропагандистской победой. Идея показалась мне разумной.

После визита к президенту мы встретились с начальником штаба полковником Нориегой. Он тоже связывал немалые надежды с моим визитом в Никарагуа. Было очевидно, что крен вправо полковника Паредеса ему так же неприятен, как и президенту, и еще его расстроил мой рассказ о встрече в кубинском посольстве. Он сказал, что сам побеседует с послом. Он уверен, что приглашение было не «культурного» свойства.

Перед отъездом в Никарагуа я стал виновником торжественной церемонии в президентском дворце: президент наградил меня Большим Крестом Ордена Васко Нуньеса де Бальбоа. Мне было неловко от сознания, что я не заслужил эту награду, да еще, к стыду своему, я запутался в ленте и звездах. Я стоял перед президентом, как рождественская елка, которую увешивают подарками. Единственная моя заслуга заключалась в том, что я был другом Омару Торрихосу, и я представил себе, как бы он хохотал при виде моих отчаянных попыток развесить звезды по местам. Впрочем, эта церемония могла иметь тактический смысл — своего рода сигнал сандинистам, что мне и моей миссии можно доверять. Как бы там ни было, в конечном итоге я был все-таки счастлив, потому что почувствовал себя чуточку ближе к стране, родившей Омара Торрихоса.

Я знаю, в Соединенных Штатах найдется немало людей, которые сочтут, что мною «воспользовались», но это меня нисколько не беспокоит. Могут сказать, что мною «воспользовались» и на Кубе в 1958 году, когда я отвез в Сантьяго теплую одежду для бойцов Кастро, находившихся в Сьерра-Маэстра, и через своего друга, ирландского члена парламента, задал в палате общин вопрос правительству консерваторов о продаже старых самолетов Батисте — но я ни о чем не жалел тогда и не жалею теперь. Я всегда без колебания давал себя «использовать» ради дела, в которое верил, даже если мой выбор мог привести лишь к меньшему из зол. Никто не может с точностью предвидеть будущее.

Среди встречающих на аэродроме в Манагуа были знакомые лица: министр культуры падре Карденаль и жена Даниэля Ортеги красавица Росарио, с которой мы в последний раз виделись в коста-риканской столице Сан-Хосе, где Чучу и лидер сандинистов оставили нас вдвоем за столиком, а сами удалились для переговоров в противоположный конец кафе. Начиналась вереница дней, наполненных до предела.

В тот первый день мою сиесту в доме Кастильо прервал старый монсеньор, которого еще в Европе мне рекомендовал один ирландский профессор, проживший несколько месяцев в Никарагуа. С этим посетителем мы обменялись мнениями о странной позиции архиепископа Обандо.

В начале гражданской войны архиепископ проявил немалое мужество. В каком-то смысле он «узаконил» войну в глазах католиков, опубликовав антисомосовское послание, за которое мог бы запросто поплатиться жизнью. Когда Эден Пастора захватил Национальный дворец, архиепископ полетел в Панаму

вместе с Пасторой и освобожденными революционерами, в числе которых был Томас Борхе, чтобы обеспечить их безопасность. Однако теперь, как и Пастора, он пошел против сандинистов. Только ли потому, что в состав правительства вошли и марксисты? Я напомнил, что в Чили в правительстве Альенде среди министров были коммунисты, но при этом архиепископ Сантьяго до конца поддерживал Альенде. В день национального праздника в 1972 году архиепископ отправлял в соборе — я тому свидетель — экуменическую службу. Присутствовали все члены правительства, включая коммунистов. Евангелие читал протестант, молитвы произносил раввин, а с проповедью к собравшимся обратился иезуит. Даже китайское посольство прислало своих представителей.

У старого монсеньора была своя теория, почему архиепископ Обандо переметнулся на другую сторону. Он считал, что дело в уязвленном самолюбии. Раньше каждое воскресенье по телевидению передавали мессу, которую архиепископ служил в Манагуа. Новое правительство решило — с полным на то основанием,— что воскресная месса должна по очереди транслироваться из разных приходов — из Гранады, Леона, а также деревенских церквей. Архиепископ не пожелал расстаться со своей монополией, и тогда правительство вообще отменило телемессы.

Сандинистское руководство, как могло, старалось вознаградить архиепископа за мужество, проявленное в начале войны. Ему предложили помочь восстановить собор, пострадавший от землетрясения. Он отказался от помощи, причем без убедительных доводов. Правительство выделило большой участок под строительство нового собора, но он опять отказался — на том основании, что поблизости строится военный городок. А разве церковь запрещает солдатам слушать мессу?

— Он такой консерватор,— с мягкой грустью заметил старый монсеньор. (Сам он, будучи простым приходским священником, с риском для жизни укрывал в своем доме сандинистов, спасавшихся от Сомосы.) — Он всегда носит сутану.

Можно подумать, что архиепископ Обандо не знает о реформах Иоанна XXIII и о 2-м Ватиканском соборе.

На следующий день я посетил Центр экуменических исследований. Кроме одного священника-пресвитерианина из США, молодого дипломата, откомандированного правительством в Ватикан, и переводчика, все сотрудники центра были католическими священниками и отзывались об архиепископе еще более сурово, чем монсеньор. Взять хотя бы странную историю «потеющей богородицы» в Куапа.

В 1981 году архиепископ торжественно объявил на всю страну о церковном походе во славу девы Марии и 28 ноября объявил днем Непорочного сердца богородицы. Вряд ли в такой кампании была необходимость, ибо Никарагуа, подобно Польше, и так страна католиков. Активным пропагандистом кампании выступила газета «Пренса» — орган консервативной оппозиции, и вообще вся эта затея сильно отдавала политикой.

В декабре «Пренса» напечатала сообщение о «чуде потеющей богородицы». Прихожане куапской церкви видели капельки пота на деревянной статуэтке богородицы, и скоро к импровизированному алтарю сплошным потоком потянулись набожные католики, жаждущие оросить кусочек ваты священным потом. Позже пот переименовали в слезы (вероятно, это звучало более возвышенно), стали поговаривать о слезах скорби по несчастной Никарагуа, которой правят сандинисты. Не странно ли, что богородица не пролила ни одной слезы по Никарагуа во времена правления Сомосы?

Обычно церковь с большим подозрением относится ко всякого рода «чудесам» и тщательно их проверяет. В данном случае не было никакой проверки. Архиепископ посетил церковь в Куапа, и его приспешник, консервативный епископ Вивас, объявил, что пот (или слезы) не поддается рациональному объяснению.

Тем не менее рациональное объяснение вскоре нашли. Каждую ночь статуэтку окунали в воду, а затем помещали в морозилку — не мудрено, что в течение дня она «потела». Однако ни «Пренса», ни архиепископ с Вивасом не сделали заявлений о раскрытом обмане. В конце 1982 года их преосвященства планировали официально объявить Куапа святыней.

В экуменическом Центре обсуждали и предстоящую поездку папы римского в Центральную Америку. Высказывались по этому поводу и опасения (как позже выяснилось, не напрасные). Недавно было объявлено о назначении нового кардинала — южноамериканского архиепископа крайне правой ориентации, а правые в Латинской Америке — это отнюдь не то же самое, что консерваторы-правые в Европе. Здесь правые заодно с сальвадорскими батальонами смерти и убийцами архиепископа Ромеро. Может быть, именно под влиянием нового кардинала папа выдвинул в качестве условия своего визита отставку двух священников, входящих в правительство: министра иностранных дел д'Эското и министра культуры Карденаля. В экуменическом Центре все считали, что условие это неприемлемо. Оно затем было снято, однако падре д'Эското на время визита папы отбыл с сугубо дипломатической миссией в Индию, а телезрители во всем мире видели, как убеленный сединами Карденаль, известный и любимый в Центральной Америке поэт, преклонив колени перед папой, пытался поцеловать его руку, но папа отдернул руку и погрозил ему пальцем — безобразная сцена, вызвавшая неудовольствие собравшихся, равно как и то, что папа не упомянул о похоронах семнадцати молодых сандинистов — жертв «контрас», хотя похороны состоя-

лись накануне на той же самой площади.

Попрощавшись со священниками из экуменического Центра, я поехал в город с новым названием Сьюдад-Сандино на встречу с двумя американскими монахинями, принадлежащими, как и падре д'Эското, к ордену Марии Нолл. Население города — около 60 тысяч человек, в основном беднота. Монахини жили так же, как и бедные горожане: в домике с жестяной крышей и колонкой во дворе вместо водопровода. Особенно сильное впечатление произвела на меня одна из них, еще совсем молодая женщина. Она прожила в городе десять лет, то есть застала времена и диктатуры Сомосы, и гражданской войны.

Она рассказала мне о переменах, происшедших при сандинистах. Во времена Сомосы на весь город был только один врач, да и тот никуда не годился. Теперь у них три больницы, есть курсы акушерок, значительно улучшился уход за детьми. При Сомосе ни один житель города не имел права собственности на свой домик и клочок земли, где стоял этот домик. Все принадлежало сомосовцам, и те могли самовольно изгнать любую семью, так что не было смысла возделывать участки. Теперь, как я сам убедился, почти все горожане выращивали овощи и даже цветы.

Я спросил об индейцах племени мискито. Противники сандинистов подняли большой шум по поводу их изгнания с атлантического побережья. Этот район стал зоной постоянных вторжений «контрас» во главе с сомосовскими национальными гвардейцами, укрывшимися в Гондурасе. Министр внутренних дел Томас Борхе сам признался в разговоре со мной, что сандинисты не все сделали правильно. Индейцам не разъяснили толком, почему их переселяют на новые места — за пределы опасной зоны. Однако моя собеседница — американская монахиня — побывала в новых поселениях и назвала безосновательными утверждения о якобы скверном обращении с индейцами. Она сказала, что их обеспечили жильем, питанием и медицинским обслуживанием, которого они были лишены в прошлом.

На следующий день мы встали очень рано и в 6.45 выехали в другую военную зону на северной границе с Гондурасом. Нас было шестеро: мы с Чучу, толстый бородатый врач, кубинский журналист, женщина-фотограф и армейский капитан, возглавлявший нашу «экспедицию».

Когда, миновав город Чинандегу, мы въехали в опасную зону, к нам присоединилась машина сопровождения. На главном шоссе «контрас» взорвали мост — теперь его ремонтировали с помощью кубинских инженеров.

Мы остановились в Сомотильо, где помещался военный штаб, и посмотрели, как проходят подготовку члены местной milicia — отрядов самообороны крестьян и ремесленников. Дело было в воскресенье, и за занятиями наблюдало множество ребятишек с матерями. Мне стало не по себе, когда я увидел, как восьмилетний мальчик позирует для фотографа с винтовкой в руках — хотя ребенку все равно, какая у него в руках винтовка: настоящая или игрушечная. Подросток лет четырнадцати побежал, бросился на землю и открыл огонь по мишени, а рядом с ним то же самое проделал старик, которому на вид было под восемьдесят. Я заметил, что крестьяне в Никарагуа рано старятся, но когда узнал, что этот старик воевал еще с Сандино против Сомосы и американской морской пехоты, я понял, что правильно определил его возраст, ибо Сандино был убит в 1934 году. Держался он с большим достоинством и, услышав, что я писатель, завел серьезный разговор о Гарсиа Маркесе. Когда я сказал, что «Габо» — мой друг, старик пожал мне руку.

Мы поехали дальше вдоль границы. На дороге почти не было машин; с гондурасской стороны высилась сплошная цепь холмов. Наш капитан сказал, что беспорядочная минометная стрельба с территории Гондураса почти ежедневно уносит две-три жизни, а ответный огонь исключается, поскольку Никарагуа немедленно обвинили бы в военных действиях против Гондураса. И это при том, что нас, как я предполагаю, возили в наиболее спокойную часть военной зоны. Наконец мы приехали в городок под названием Санто-Томас, расположенный в трех километрах от границы; одна его окраина, где у местной milicia был штаб (на полу, подложив винтовку под голову вместо подушки, спал старый ополченец), находилась лишь в трехстах метрах от Гондураса. Для отражения возможного нападения был вырыт полукруг траншей, и специально для нас провели показательные учения. Раздался сигнал тревоги, и ополченцы заняли позиции в траншеях: среди них были старики и юноши,— конечно, не все прыгали одинаково ловко. Все были настроены по-боевому, но не каждый был достаточно гибок.

Это зрелище позабавило бы и порадовало Омара. Все эти дни мне очень его не хватало, и я часто говорил о нем с Томасом Борхе, Даниэлем Ортегой — главой национального руководства, Умберто Ортегой — министром обороны и командующим вооруженными силами, с Ленином Серной — начальником госбезопасности, с падре Карденалем, который в свое время нашел убежище в Панаме. Иногда я задавал себе вопрос: отвернулся бы Эден Пастора от своих товарищей, если бы был жив Омар?

На следующий день я побывал в гостях у Томаса Борхе и познакомился с его женой и ребенком. Оказалось, что моя миссия не так уж проста, как мне представлялось: Томас Борхе критически отозвался и о полковнике Диасе, и о полковнике Нориеге. Возможно, он считал, что на них бросает тень уже то, что их официальный шеф — генерал Паредес.

Генералу Паредесу, другу американского генерала Наттинга, недолго предстояло возглавлять Национальную гвар-

дию: он должен был выйти в отставку, чтобы выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах 1984 года. (На следующий год он и вышел в отставку накануне выборов). Как сказал Диас, героические дни Панамы остались позади — дни, когда Омар готов был, если сорвутся переговоры, саботировать канал и воевать в горах и сельве. А героические будни Никарагуа продолжались: борьба с Сомосой сменилась конфронтацией с «контрас», с Пастурой и Гондурасом, за которыми стояла вся мощь Соединенных Штатов. Быть может, в глазах Борхе Панама без Омара была лишь страной 163 банков, роскошных иностранных яхт, плавающих под панамским флагом, и олигархии, с которой мне лично еще не пришлось столкнуться: кроме Омара и «диких вепрей» конфронтация с Соединенными Штатами впрямую касалась лишь студентов, городских трущоб и barrios — кварталов бедноты, таких как Чоррильо. Для многих панамских крестьян политика, как я убедился, сводилась к цене на юкку, тогда как в Никарагуа весь народ поднялся на войну с тираном и его армией.

Вместе с Борхе мы съездили к Ленину Серне, шефу госбезопасности, который показал мне небольшой музей, где собраны доказательства американского вмешательства: маскировочные костюмы с наклейками американских фирм и такие весьма неприятные экспонаты, как взрывчатые устройства, замаскированные под карманные фонарики или того хуже — под сумку для пикника в виде Микки-Мауса (с подписью «Уолт Дисней продакшнз»), которая крепится к стенке автомобиля с помощью магнита,— какой ребенок устоит перед таким сокровищем? Незадолго до этого в Никарагуа приезжал шеф американской военной разведки: во время обеда с Умберто Ортегой я спросил его, показывали ли он эти бомбы американскому генералу.

— Да,— ответил Ортега.— Он сказал, что к армии они не имеют отношения.

По словам Умберто Ортеги, генерал начал переговоры с попытки шантажа, но закончил более дружелюбно признав, что между Пентагоном и госдепартаментом есть некоторые разногласия. Я вспомнил, как Пентагон уведомил Картера, что для охраны канала и Зоны потребуется 100 тысяч солдат. А сколько потребуется для захвата Никарагуа?

На следующий день начался завершающий этап моей программы. Умберто и Даниэль Ортега связались с Кубой и заверили меня, что я получил приглашение не от «Дома Америк», а от Фиделя Кастро. Никарагуанцы дали мне для поездки небольшой самолет — в прошлом, как мне сказали, личный самолет Сомосы,— и, когда я выбрал себе место, летчик рассмеялся:

— Вы выбрали кресло Сомосы.

Вечером мы поехали на встречу с Кастро в тот дом, где поселили моего друга Гарсиа Маркеса. Кастро приехал с Габо из испанского посольства, где они были на званом обеде. Я не видел Кастро с 1966 года: тогда мы провели с ним вечер, и он подарил мне картину моего друга — художника Рене Портокарреро. Фидель похудел, помолодел и казался менее озабоченным. Его развеселило мое приветствие: «Я не посланник, я послание»

Иными словами, полковники Диас и Нориега отправили меня в Никарагуа, а оттуда Ортега послал меня на Кубу как друга Омара Торрихоса, дабы продемонстрировать, что, вопреки генералу Паредесу, идеи Торрихоса в Панаме живы.

Кастро заметил:

— Хорошо бы Паредес победил на выборах — в качестве президента он не сможет принести большого вреда. Куда хуже, если его обставит консервативный кандидат. Вот тогда будет консервативный президент и опасный консервативный генерал.

В отношении Сальвадора Кастро был настроен оптимистически. Он считал, что повстанцы должны победить к концу 1983 года. Теперь-то мы знаем, что ближе к истине был полковник Диас, предполагавший затяжную войну.

Кастро прочитал,— вероятно, по совету Габо — примерно треть моего романа «Монсеньор Кихот», и в этой связи разговор зашел о вине: неожиданно оказалось, что эта тема его интересует. Он читал также о моих сложностях с правосудием Ниццы.

Затем Габо заговорил о русской рулетке [1], в которую я играл мальчишкой (Габо, как всегда, все перепутал и заявил, что я играл в нее во Вьетнаме). Кастро пожелал знать точные обстоятельства: сколько раз я играл и с какими перерывами. Затем он сказал мне:

— По идее вас не должно уже быть в живых.

— Вовсе нет. С математической точки зрения каждый раз шансы одни и те же — пять к одному. Они не меняются от того, сколько раз вы играете.

— Нет-нет. Вы ошибаетесь. Шансы неодинаковы.— Он произвел какие-то непонятные мне расчеты и повторил: — Вас не должно быть в живых.

Потом он спросил меня, какую диету я соблюдаю.

— Никакой диеты. Ем и пью все, что хочу.

Он явно был поражен (сам он соблюдал строжайшую диету) и быстро переменил тему разговора.

Как и в 1966 году, мы расстались далеко за полночь. На пороге он обернулся и сказал с улыбкой:

— Передайте: послание я получил.

Несколько часов спустя я снова был в Панаме. Я без малейшего сожаления узнал, что меня выселили из роскошных апартаментов: в них жил теперь гость

[1] Азартная игра, где играющий вставляет в барабан один патрон, затем вращает барабан и спускает курок, направив револьвер себе в висок. Считается, что эту «игру» изобрели в России офицеры царской армии.

поважнее, а именно мистер Киссинджер. Сожаление у меня вызвало лишь то, что пропал золотистого цвета галстук, подаренный близким мне человеком,— быть может, он тоже перешел по наследству к мистеру Киссинджеру. Мой симпатичный телохранитель охранял теперь Киссинджера.

Нанес мне визит полковник Диас, и я отчитался о поездке. Он уверил меня, что мои знания о Панаме будут неполными, если я не увижу, как живет крупная буржуазия — та самая, для которой Омар был хуже дьявола. Вечером я должен пойти с ним на новоселье к одному его знакомому.

— Только, пожалуйста, никому не говорите, что вы были в Никарагуа и на Кубе.

Прием был такой, что может разве только привидеться в страшном сне, и я был один — без Чучу. Шум и гам были слышны на соседних улицах. В саду поставили стол с едой, но я к нему так и не пробился: отделяющее меня пространство было заполнено сотнями гостей, орущих что есть мочи, дабы перекричать оркестр, который со своей стороны силился заглушить всех и вся. Один из гостей проорал мне в ухо:

— Только что из Англии?

Я поддался соблазну и пренебрег советом Диаса:

— Нет, с Кубы.

— Что-что? — в изумлении переспросил он.

— Я был на Кубе,— заорал я ему в ухо,— и в Никарагуа!

Он поспешно нырнул назад в толпу, а я с облегчением вынырнул из нее. И вот эти люди, подумал я, будут выбирать следующего президента?

Так я и оказался с дочерью Омара в вертолете, который трясло и швыряло из стороны в сторону. Мы возвращались из деревни, названной в память убитого архиепископа сан-сальвадорского — первого архиепископа со времен Фомы Бекета, который пал от руки убийцы прямо на алтаре, в момент богослужения.

Сьюдад-Ромеро находится в низине посреди сельвы — неподалеку от горной деревушки Коклесито, где Омар построил себе скромный домик и куда я ездил за три года до этого в гости к буйволам. Здесь живут четыреста двадцать беженцев из Сальвадора, причем почти половина из них — дети. Некоторые тут и родились. Их дома на родине разбомбили и сожгли. Они бежали в Гондурас, но жить там им было почти так же плохо и опасно, как в Сальвадоре. Уж не знаю, как Омару стало известно об их мытарствах, но он снарядил специальный самолет, который привез их в Панаму. Беженцев доставили в военный лагерь в Симарроне и дали время отдохнуть, а потом их старосте предложили выбрать место для деревни. Он решил рубить сельву и строиться здесь, поскольку здесь плодородная почва, неистощимый запас дерева для строительства и река, по которой можно доставлять с моря необходимые припасы, ибо дорог в сельве нет.

Все сельчане собрались в деревенскую школу, чтобы приветствовать нас — и прежде всего дочь Омара, так как память об Омаре чрезвычайно им дорога. Всякий раз, бывая у себя в Коклесито, он залетал на вертолете в деревню, предварительно набив карманы конфетами для детей. Один из сельчан сказал, что написал стихи в память об Омаре, и я спросил, нельзя ли их послушать. Выяснилось, что другой крестьянин написал к ним музыку, и вот теперь поэт спел свою балладу в сопровождении барабана, гитары и скрипки.

Наверняка сельчане успели уже выучить эти стихи наизусть, но все равно внимали благоговейно, в торжественной тишине. Они слушали повесть о собственной жизни. Баллада целиком состояла из восьмисложных строк, и звучные испанские полурифмы придавали ей грубоватую прелесть (Чучу перевел мне слова).

Слушайте мой рассказ,
Как мой народ страдал
Из-за хунты убийц,
Лишенных состраданья.

Помню, первого мая
На нас сбросили бомбы,
Потом солдаты сожгли
Наши домишки.

Мы ушли в Гондурас.
Прибыли в Лас-Эстансиас,
Там нас держали полгода
Под строжайшим надзором.

Тогда мы ушли в Панаму
И, придя в Симаррон,
Там на время остались,
Чтобы отдохнуть.

Нас приютило правительство
Республики Панамы
И сеньор Омар Торрихос —
Дивизионный генерал.

Сегодня Панама скорбит,
Это и наша боль.
Мы потеряли героя,
Человека большой души.

Генерал был не просто лидер —
Лидер всемирно известный,
Он защищал бедных
И был горячо любим.

Я люблю и славлю
Добрый народ Панамы,
Его Национальную гвардию,
Этот народ нам брат.

Мы, латиноамериканцы,
В один голос скажем:
Нам никогда не забыть
Дорогого генерала.

Примите прощальный поклон
От нас — бедных крестьян,
Живущих здесь, вдали
От родины, где правят убийцы.

Мое внимание привлекла одна юная крестьянка: у нее были удивительно красивые грустные глаза. На вид ей было лет шестнадцать, и я решил, что она — мать ребенка, которого держит на коленях, но, когда она встала, я понял, что она сама еще ребенок, не старше двенадцати,— это бомбы, огонь и смерть заставили ее повзрослеть до срока.

Едва закончилась встреча в школе, как крестьяне стали настойчиво звать нас куда-то. Пока мы шли за ними на

край деревни, я то и дело слышал: «алтарь», «алтарь», и в самом деле нас привели к своеобразному алтарю, на котором в центре была установлена фотография убитого архиепископа Ромеро, а по краям — фотографии Омара. Мне вспомнилась заброшенная церковь в Коклесито, где между скамьями разгуливали куры, и еще я вспомнил слова Омара о деревенских кладбищах, произнесенные им при нашей первой встрече почти семь лет назад: «Тому, кто не заботится о мертвых, и живые не дороги».

Эти люди, безусловно, заботились о мертвых.

Пришло время прощаться, но прежде необходимо было выполнить долг вежливости. Генерал Паредес, разумеется, не принадлежал к тем, кто стремился сохранить жизнь идеям и идеалам Торрихоса, но я не мог уехать из Панамы, не поблагодарив его за предоставленные для моих путешествий самолет и вертолет. Он пригласил меня на обед в новом ресторане, названном «Charlot» в честь Чарли Чаплина, и я принял приглашение, но позже меня предостерег хозяин ресторана: среди гостей будет некий журналист — кубинский эмигрант,— прибывший из Майами освещать визит Киссинджера. Я по опыту знаю, что ни одному журналисту нельзя доверять до конца, а тут еще кубинский эмигрант... Бог знает, что он наплетет о моей поездке к Фиделю Кастро! Я послал Паредесу записку с извинениями, что не смогу прийти на обед, если в числе приглашенных будет этот журналист. Генерал изменил список гостей. Надо отдать ему должное, он не упрекнул меня за поставленное условие.

Я испытал странное чувство, вновь оказавшись в доме, где Омар так часто гостил у Рори Гонсалеса,— теперь здесь жил генерал Паредес. На первый взгляд мало что изменилось, но нельзя было не почувствовать щемящую пустоту. Тщетно искал я глазами австралийского попугайчика: нет Омара — нет и попугайчика. Среди гостей были полковник Диас и полковник Нориега: последнему я вручил приглашение Ленина Серны посетить Никарагуа. Паредесу я передал от имени Фиделя Кастро пожелание победы на президентских выборах. Он, кажется, принял его за чистую монету и, довольный, улыбнулся.

Возможно ли, что добрые пожелания Кастро повлияли на его взгляды? За обедом я с удивлением услышал от него критические реплики по поводу политики Рейгана в Центральной Америке и даже несколько теплых слов по адресу сандинистов. Видно, ему очень хотелось продемонстрировать, что он последователь Торрихоса: посреди обеда вручил мне вдруг дорогие часы с выгравированной надписью: «Английскому брату генерала Омара Торрихоса от генерала Паредеса». Я знал, что не принять подарок невозможно, хотя мне было весьма неловко. Я не мог не почувствовать цинизма в оживлении других гостей, знавших, в чем заключалась моя миссия.

После этого обеда генерал Паредес недолго оставался последователем Торрихоса. Несколько месяцев спустя я прочел в газете, что во время визита в Коста-Рику он высказывался против политики своего президента и против деятельности Контадорской группы, а потом с ним произошло нечто таинственное: через несколько месяцев после того, как он вышел в отставку, чтобы баллотироваться в президенты, было объявлено, что он покидает политическую арену. Прошло еще несколько месяцев, и ситуация запуталась окончательно. Появились сообщения, что он отказался от участия в выборах, поскольку в случае его поражения это нанесло бы вред Национальной гвардии. Быть может, он понял скрытый смысл пожеланий Кастро, и теперь существовала та самая угроза, о которой предупреждал Фидель? Однако на днях я разговаривал по телефону с Чучу, и он успокоил меня. Он сказал: «Паредесу — капут».

В тот вечер я устроил в перуанском ресторане прощальный ужин для своих друзей...

На следующий день, когда я дожидался самолета в зале для официальных гостей, вдруг под аккомпанемент стрекочущих камер и фейерверка вспышек вошел Киссинджер. Мне хотелось спросить его, не у него ли мой золотистый галстук, но я поспешил скрыться, поскольку приближался кубинец-журналист, летевший вместе с Киссинджером в Майами,— он явно направлялся ко мне. У входа пил кофе мой симпатичный телохранитель — еще одно прощание. Мне показалось, что непринужденное общение со мной и Чучу было ему больше по душе, чем жизнь в тени Киссинджера.

Так состоялось мое прощание с Панамой — маленькой страной, к которой я за семь лет очень привязался. С тех пор, как я начал писать эту последнюю главу, пять или шесть раз звонил Чучу и уговаривал меня приехать снова. «Тебя ждут никарагуанцы»,— всякий раз добавляет он в качестве приманки, но я в это не слишком-то верю. И все равно не могу твердо сказать ему: «Нет, больше не приеду». Хотя Панама принадлежит к прошлому, к завершенной части моей жизни, я все колеблюсь, тяну время. Может, месяца через три, говорю я... или четыре... может быть, в будущем году... ибо окончательно ответить «нет» — значило бы навсегда захлопнуть книгу и отправить на полку память о погибшем друге, которого я любил,— Омаре Торрихосе.

Постскриптум

Возможно, я излишне скептически воспринял мнение о причастности ЦРУ к гибели Омара Торрихоса. Когда эта книга была уже написана, в мои руки попал один документ,— по всей видимости, текст доклада некоего меньшинства от 11 июня 1980 г., адресованный госдепартаменту США.

Автор или авторы пишут, что Панама имеет жизненно важное значение для Соединенных Штатов в связи с Сальвадором. «Генерал Торрихос, который продолжает контролировать вооруженные силы и имеет право вето по отношению к политическим акциям правительства, характеризуется в нашем досье как «капризный, непредсказуемый... популист-демагог, отличающийся глубокой предубежденностью против США... и пристрастием к спиртному», т. е. некто, весьма далекий от надежного союзника. В качестве подтверждения шаткости нашего положения в Панаме можно привести недавнее публичное осуждение президентом Ройо нашей программы подготовки сальвадорцев.

Предлагаем рассмотреть также следующие факторы, устанавливающие связь между Панамой и Сальвадором:

Первоначально поддержав переворот 15.10.79 [1], генерал Торрихос — и правительство Панамы — затем улучшили отношения с левоумеренной группировкой ФДР/ДРУ [2].

Экономические трудности Панамы и ее зависимость от банков США обеспечивают потенциальную податливость в ответ на наше давление. Однако этот же фактор в сочетании с известной грубостью, зачастую свойственной нашим методам, может вызвать всплеск «антиимпериалистических» настроений.

За последние полгода Панама неоднократно выражала неудовольствие в связи с так называемыми нарушениями в процессе выполнения договоров.

Положение генерала Торрихоса позволяет ему установить контроль над двумя ключевыми тактическими компонентами прямых военных действий США в регионе: каналом и базами».

В другом документе, выпущенном за месяц до этого Советом по межамериканской безопасности, помещающимся в доме номер 305 по 4-й улице в Вашингтоне, говорится о «крайне агрессивной левоэкстремистской диктатуре Омара Торрихоса» и подвергаются критике дружественные отношения президента Картера с Торрихосом. Ни один из этих докладов не повлиял бы на позицию Картера: он был в состоянии оценить их полную необъективность и вольное обращение с фактами — но к концу года к власти пришел Рейган.

Вот я и начинаю думать: а стоит ли так уж отмахиваться от слухов, которые ходят в Панаме, будто бомба была запрятана в магнитофон, который внес на борт самолета ничего не подозревавший охранник Торрихоса? Мне невольно вспоминаются взрывающиеся карманный фонарик и сумка для пикника, «подписанная» Уолтом Диснеем, которые я видел в Манагуа. Самолет был канадского производства, и канадские специалисты провели экспертизу обломков. Я бы очень хотел прочесть их заключение. Мне сказали, что они не обнаружили признаков поломки двигателя, но тогда остается одно из двух: ошибка летчика или бомба.

Омар Торрихос

[1] Переворот, совершенный молодыми офицерами сальвадорской армии с ведома госдепартамента США.

[2] Речь идет о Революционном демократическом фронте Сальвадора и Объединенном революционном руководстве.

Е. ГЕНИЕВА

ЦЕНОЮ ЖИЗНИ

Грэму Грину и Омару Торрихосу, что называется, на роду было написано встретиться и стать друзьями. Казалось бы, такие разные: известный, наверное, самый известный в наши дни английский писатель, старый, повидавший жизнь человек, католик, убежденный противник любой несправедливости— и полный сил и энтузиазма сорокавосьмилетний глава панамского государства, лидер панамской революции,— эти люди оказались единомышленниками, братьями по духу. Контакт возник мгновенно, при первой же встрече; с каждым новым приездом Грина в Панаму близость росла. Смерть Торрихоса, точнее, его гибель стала для Грина невосполнимой потерей, огромной личной трагедией.

Однако, когда зимой 1976 года в квартиру Грина во французском городе Антибе принесли телеграмму, где говорилось, что генерал Омар Торрихос Эррера хотел бы видеть английского писателя своим гостем, приглашение показалось неожиданным. И все же Грин без промедления принял его. Не потому ли, что он,

наделяющий искусство даром предвидения, понадеялся на встречу с литературным героем в жизни? Ведь среди персонажей его первых, давно позабытых книг был испанец, некий генерал Торрихос — человек отменного мужества и щедрого сердца, не терявший надежды даже в самых отчаянных обстоятельствах, рано погибший.

С другой стороны, почему именно его пригласил Торрихос? Конечно, всему миру, а значит и в далекой Панаме, известно, какой неутомимый путешественник Грин. Ему уже за восемьдесят, но, как и в молодости, он легок на подъем, по-прежнему убежден, что самая нужная ему вещь — чемодан. Никакие силы и никакие обстоятельства: недомогание, усталость, угрозы мафиози — не мешали его поистине ненасытной жажде странствий.

Сама идея путешествия встречается в названии многих его книг: «Дороги беззакония», «Путешествие без карты», «Поезд идет в Стамбул», «Путешествие с тетушкой». Без дороги, движения обходится мало какой роман Грина — скитаются по охваченной революцией Мексике священник-пропойца и лейтенант в «Силе и славе», бежит в далекий африканский лепрозорий, спасаясь от лицемерия и суеты современной цивилизации и от мучительного разлада с самим собой, архитектор Кверри, надеясь хотя бы в этом богом забытом месте обрести покой и внутреннюю свободу («Ценой потерь»). Не так уж много у Грина романов, где действие происходит в Англии: из ранних,— пожалуй, «Ведомство страха», «Брайтоновский леденец» и «Конец любовной связи», из поздних, и то с оговорками,— «С поправкой на человека».

Конечно, Грэм Грин не обычный турист, коего влекут лишь экзотические страны, красоты пейзажа, древние памятники архитектуры и комфорт роскошных отелей. «Охоту к перемене мест» он узнал рано — еще в молодости. Тогда это было упорное стремление преодолеть скуку бытия, от которой в университетские годы он порой сходил с ума. «Скука», «тоска» — не бытовые, напротив, философские, чрезвычайно широко трактуемые Грином категории. Сюда он относит и столь ненавистную ему размеренность, «правильность» образа жизни обывателя, и стереотипы мышления современного человека, умерщвляющие душу. Борясь со скукой, Грин в те далекие годы перепробовал разные средства: отчаянно пил, пытаясь таким образом забыться; в поисках острых ощущений, испытывая судьбу, играл в «русскую рулетку»; в общем, из тех же соображений стал сотрудником британской разведки; с одержимостью, азартом странствовал. Шли годы. Грин исколесил весь мир. Но с возрастом дороги, которые выбирал писатель, обретали все более определенную направленность: они вели в самые «горячие» точки планеты, туда, где кипение страстей — политических, религиозных, человеческих — достигло наивысшего предела, где проливается кровь, где народы отстаивают свое благородное право на свободу. Из этих поездок в борющийся против колонизаторов Индокитай, на Гаити под пятой Дювалье, в страны Латинской Америки рождались книги — «Тихий американец», «Комедианты», «Почетный консул».

Сам Грин так объясняет это пристрастие: «В этих краях политика, как правило, не соперничество партий на выборах, а вопрос жизни и смерти... Политика то и дело сменяющихся правительств — либеральных, консервативных, более или менее прогрессивных, каждое из которых что-то видоизменяет, но при этом страшно похожих друг на друга — никогда меня не привлекала. Ни в жизни, ни в литературе. Привлекали п е р е л о м ы. Я находил их в Азии и в Африке, в Южной и Центральной Америке. Литература всегда помогает бороться с диктаторскими режимами. И я вносил посильный вклад в эту борьбу. На самом деле в моих латиноамериканских сюжетах легко прочитывается европейская проблематика. Терроризм в наше время не что иное, как наследие гитлеризма, именно этой зараженной кровью Европа поделилась с остальным миром».

Поступки Грина — и личные, и творческие, его общественные выступления и его книги — не раз убеждали, что интерес к политике не случайный эпизод в его биографии, не преходящее увлечение и уж тем более не игра, как, скажем, у некоторых его коллег.

Автору «Тихого американца» долгие годы отказывали в визе в США, ЦРУ завело на Грина весьма пухлое досье, диктатор Дювалье, без труда узнав себя в папе Доке из «Комедиантов», взялся за оружие отнюдь не из своего арсенала — перо — и обвинил писателя во всех смертных грехах. Среди давних знакомых Грина — советский разведчик Филби и погибший президент Чили Альенде. После выхода в свет острообличительного памфлета Грина «J'accuse» («Я обвиняю») мафиози не забывают время от времени напоминать писателю, что в поезде, которым он поедет, или в самолете, на котором полетит, может оказаться бомба, а в номере отеля — малоприятный незнакомец. Впрочем, такой «славой» и такими угрозами Грин гордится. Убеждение, что писатель «политически ангажированный» многое может изменить в сегодняшнем трудном мире, что его слова способны устрашать тиранов и призывать людей разных политических и религиозных воззрений к диалогу, в его случае выстрадано.

При этом было бы весьма опрометчиво пытаться «пережать», «выпрямить» политический облик Грина. Чтобы понять его своеобразие, надо совершить вместе с Грином и его героями — преступником Пинки («Брайтоновский леденец»), полицейским Скоби («Суть дела»), авантюристкой Августой («Путешествие с тетушкой»), «почетным консулом» Чарли Фортнумом из одноименного романа, мультимиллионером Фишером («Доктор Фишер из Женевы, или Ужин с бомбой») — увлекательное, головокружительное, полное опасностей путешествие по «Гринландии», особой стране на литературной карте, имеющей столь же выраженные характерные черты, как, скажем, Йокнапатофа Уильяма Фолкнера. Это название придумали кри-

тики. Довольно долго Грин относился к нему скептически, хотя оно и в самом деле передает особую атмосферу мира писателя. Постепенно название закрепилось, и Грин стал, правда не без иронии, им пользоваться. Очертания и рельеф этой страны узнаются каждым, кто знаком хотя бы с несколькими романами писателя. Странствующие по ней нередко напоминают друг друга, как братья или сестры: праведник в глазах общества оказывается грешником, осужденный законом преступник — чуть ли не святым, верующий — безбожником, атеист бережно хранит в своей душе искренние ростки веры.

В 1926 году Грин, надеясь обрести внутренний стержень, принял католичество. То же и по тем же причинам и приблизительно в то же время сделали Томас Стернз Элиот и некоторые представители западной интеллигенции. Однако правоверным католиком Грин так никогда и не стал: молодой неофит сразу же начал сомневаться в справедливости, а главное—человечности многих теологических положений. Поэтому что удивляться: католику Грину, ходящему к мессе, исповедующему тайну причастия, оказался близок французский палеонтолог, философ и теолог Пьер Тейяр де Шарден. Его учение о ноосфере (понятие, часто употребляемое Грином) как духовном универсуме и человеке как привилегированном носителе эволюции, неразрывно связанной с богом, не раз подвергалось самой суровой критике со стороны официальной католической церкви.

Впрочем, и самому Грину случалось быть жертвой церковников-догматиков. Один из лучших, ключевых для понимания его этики, довоенный роман «Сила и слава» был занесен в список запрещенных Римской курией книг. Традиционной религиозной морали трудно, даже невозможно было принять образ главного действующего лица этого романа — безымянного священника-пропойцу, живущего в смертном грехе (у него, давшего обет безбрачия, есть ребенок).

А сколько раз в произведениях Грина мы сталкивались с резкой критикой самого института католической церкви! С иронией, а то и гневом Грин пишет о пастырях, позабывших о своем долге, о подстроенных, мнимых чудесах, рассчитанных на простодушных верующих, о заброшенных церквах, о кладбищах, заросших сорной травой. В поздних романах, например «Путешествии с тетушкой», сатирические «эскапады» писателя стали столь сокрушительными, что так и кажется: массивное здание католического храма рухнет у нас на глазах. Сила обличений Грина в том, что они исходят от человека верующего, заинтересованного, причастного.

Не только «честный вор, нежный убийца, суеверный атеист», о которых Грин пишет в первой части своей автобиографии «И такая жизнь», обретаются в «Гринландии». Здесь отчетливо проступает «опасная грань вещей». Иными словами, коллизии, в которые попадают герои, сродни переломным, «судьбоносным» ситуациям. Его герои непременно оказываются перед лицом необходимости принять решение, от которого по большей части зависит будущее близких, друзей, любимых, единомышленников, врагов.

Истина в «Гринландии» всегда на стороне униженных, гонимых, отверженных, едва ли не главная философская категория — сострадание. Ценность поступков и всей жизни человека измеряется не на стезе деяний общественных, но нравственными, духовными победами, путь к которым чаще всего идет через поражение. Недаром один из рассказов Грина символически назван «Проигравший получает все», а роман — «Ценой потери».

Любое проявление догматизма, любой вариант закостенелого, «формализованного» сознания неприемлемы для Грина. По его этике, добродетель, нравственное совершенство не в холодно-рассудочном или же горячечно-фанатическом соблюдении правил, но в следовании главному закону, квинтэссенции христианской этики — любви. А уж кто будет носителем этой животворной силы — никому не нужный «почетный консул», волей провидения заброшенный на задворки глухой латиноамериканской провинции, или нескладная, особенно по сравнению с блестящей авантюристкой Августой, жалкая мисс Патерсон, или же торговец наркотиками, негр со странным прозвищем Вордсворт («Путешествие с тетушкой») — Грину не столь уже важно.

Нелепость, а то и ущербность внешнего облика, странности поведения, никак не соответствующего представлениям о должном и общепринятом, для писателя — способ контрастного выделения, подчеркивания внутренней цельности таких людей. Здесь все та же гриновская игра парадокса. В концентрированной, лаконичной форме гриновская философия выражена и в названии романа «С поправкой на человека» или, если перевести это заглавие буквально,— «Человеческий фактор». Испытанию на человечность, проверке, жестокой и беспощадной, Грин подвергает не только поступки *отдельно взятого* человека, политического и религиозного деятеля, но политические и социальные *системы*, как таковые.

Эта «поправка» — одновременно сильная и слабая сторона политических и нравственных воззрений и представлений Грина, основа гармонии его этико-философской системы и в то же время источник ее уязвимых и парадоксальных моментов. Категории «сострадания», «помощи», возведенные Грином, как уже говорилось, в ранг постулата, предполагают участие в судьбе каждого страждущего. «Я не политик, но вынужден заниматься политикой, когда на карту поставлена судьба детей»,— говорит Грин. При этом он отказывается различать виды насилия: оно для него почти всегда одинаково и отвратительно, когда речь идет об отдельном человеке. Неважно, диктуется ли оно в одном случае исторической необходимостью или в другом, напротив, является следствием диктаторских, тоталитарных режимов. Страдает человек, а для Грина это самый громкий сигнал «SOS».

Тут, по его понятиям, важны не политические, религиозные, этические взгляды жертвы. Помощь должен получить и узник, томящийся в застенках Пиночета, и сальвадорские беженцы, и умирающий от рака сотрудник английского банка, которого выкрали сальвадорские повстанцы. (Сознавая уязвимость такой позиции, но не отказываясь от нее, Грин как-то с известной долей самоиронии заметил, что, если бы в западном обществе вдруг принялись преследовать ненавистную ему мораль вседозволенности, он бы, скорее всего, оказался среди ее защитников.)

В обширном творческом наследии Грина есть и путевые заметки, и томики автобиографии, и сборники эссе, в которых он размышляет над различными литературными проблемами. Так что книга об Омаре Торрихосе, в жанровой форме которой, как полагает сам писатель, «произвольно соединились воспоминания, автобиография и путевые заметки»,— встреча с уже знакомым Грином. И все же это произведение занимает особое место среди его книг. Пожалуй, ни в одном другом «политическая ангажированность», о которой часто говорит в интервью и публичных выступлениях Грин, и документально-публицистический характер его прозы не проявились так отчетливо.

Они очевидны с первых же строк книги — с посвящения: «Друзьям моего друга Омара Торрихоса в Никарагуа, Сальвадоре и Панаме». Сказано лаконично, но весьма определенно: книга — дань памяти и уважения латиноамериканским патриотам, многие из которых за время семилетних странствий писателя по государствам Центральной Америки стали и его друзьями.

Пять раз побывал Грин в Панаме с 1976 по 1981 год. Торрихос предоставил ему уникальную возможность познакомиться изнутри с жизнью, общественным укладом, политическим строем, трудностями не только Панамы, но и других стран Центральной Америки. Грина всюду принимали как друга Торрихоса и Панамы и показывали и рассказывали то, что вряд ли бы открыли европейскому писателю, приехавшему с официальным визитом в Сальвадор, Никарагуа, Белиз. Торрихос включил Грина, к немалому удивлению писателя, в официальную делегацию Панамы, присутствовавшую на подписании нового договора о Панамском канале в ОАГ в 1977 году. Грину был выдан панамский паспорт — в противном случае он, автор «Тихого американца», не слишком желанный гость в США, не мог бы въехать в страну. Новому договору о Панамском канале Торрихос придавал первостепенное значение, в полной мере осознавая политическую и экономическую важность этой акции, с которой, как он справедливо полагал, было связано дальнейшее развитие страны, ее фактическая независимость от США. Договор стал главным делом его жизни.

Хотя Грин говорит об этом бегло, с излишней скромностью, сам он оказался не только сторонним наблюдателем происходящего, но и советчиком при подготовке проекта договора и «тронной» речи Торрихоса в ОАГ. Торрихос же, в свою очередь, полагал, что присутствие на церемонии подписания договора Грэма Грина, известного как друзьям, так и недругам своей бескомпромиссностью, придаст вес его делегации и всему его делу.

Дружба — так, как ее понимает Грин,— предполагает «involvement». Это труднопереводимое на русский язык слово, стоящее в подзаголовке книги, можно понимать как «участие», «причастность», «ангажированность». Но как бы его ни переводить, важна суть, которая для Грина — в активной, действенной помощи. Читая воспоминания о Торрихосе, мы убеждаемся, что не раз без лишних слов и неуместных вопросов Грин выполнял различные поручения сандинистов, с готовностью отвечал на просьбы Чучу и других друзей Торрихоса.

С другой стороны, Грин по-прежнему верен себе: парадоксальность его взглядов, противоречивость поступков, может быть, особенно выпукло проступают на страницах этой очень личной, очень откровенной книги. Осуждая насилие, Грин активно помогает сальвадорцам и сандинистам, переводит на их имя деньги, причем знает, что они непременно пойдут на покупку оружия, необходимого им в борьбе.

Однозначность отсутствует и в образе Омара Торрихоса и его ближайшего соратника и друга — Чучу. В них нет ничего от иконописных изображений. Этим людям известны слабости, тяжелые минуты сомнений и раскаяния о сделанном или, напротив, несвершенном. Принимая решения, они страдают, в полной мере отдавая себе отчет в том, что власть накладывает на них серьезные нравственные обязательства за судьбы людей.

Они могут ошибаться и жестоко расплачиваться за свою наивность, идеализм или же близорукость: Торрихос верил в искреннее отношение и дружеское расположение к себе Картера.

И Торрихос, и Чучу не безупречны в личном поведении: генерал нередко нарушал верность жене; бывал неразборчив в своих симпатиях и привязанностях Чучу.

Объем журнальной публикации не позволил включить все эпизоды, где показаны разные грани облика и характера Торрихоса. Но главное — в другом: он явился для писателя примером современного политического деятеля-гуманиста. Революционер, он как-то признавался Грину, что мечтает постепенно создать в Центральной Америке содружество стран, которые, однако, не будут представлять военной угрозы США. Он верил в действенность искреннего слова, считал, что диалог между соперниками и даже идейными противниками возможен. Вдохновитель и умелый руководитель панамской революции, имевший в своих руках всю полноту власти, Торрихос тяготился ею. Он действительно был демократичен, близок народу, и не потому, что искал популярности. Он поступал так, как ему велело его чувство долга, подсказывало сердце.

Грину довелось побывать на собраниях,

где простые панамские крестьяне делились с Торрихосом своими бедами. Торрихос нередко привозил с собой министров и заставлял их держать ответ перед этой немудрящей, но весьма строгой аудиторией, которую не обманешь высокопарными речами. Демократия панамской республики показалась Грину демократией в действии — живой и динамичной.

В политическом и человеческом лексиконе Торрихоса чуть ли не первое место занимал глагол «помочь». Помогал Торрихос, часто рискуя жизнью, и героям сандинистской революции, и сальвадорским патриотам, нашедшим в годы его правления надежный приют в Панаме. Торрихос, в котором не было ничего от бюрократа, был готов оказать помощь всякому, кто просил его о ней. А не это ли, с точки зрения писателя, высшая добродетель? Уже после трагической гибели Торрихоса Грин попадает в деревушку, затерявшуюся в сельве, где Торрихос поселил беженцев из Сальвадора — половина из них были дети. Крестьяне показали Грину самодельный алтарь, на котором он без труда узнал портреты Торрихоса, а песня, которую по его просьбе исполнили крестьяне, потрясла Грина своей искренностью: в ней пелось о добром и самоотверженном генерале, всю свою жизнь отдавшем служению людям.

Не сразу Грин нашел ответ на вопрос, почему из всех европейских писателей Омар Торрихос выбрал именно его и, не таясь, делился с ним замыслами, планами, сомнениями, друзьями. Недаром он послал писателя в Белиз, маленькое государство, больше напоминающее церковный приход. Руководит им Джордж Прайс, мечтавший стать священником. Ежедневно ранним утром он ходит к мессе, а в 8 часов уже занят решением государственных проблем, взмах его руки больше похож на благословение. Впрочем, это второчно: Прайс, как и социал-демократ Торрихос, выдерживает суровый экзамен Грина — на человечность. Это еще один обитатель «Гринландии».

В Грине, этом европейце, большую часть жизни проведшем в странствиях по Африке, Вьетнаму, Центральной Америке, в католике, подвергающем сомнению основополагающие религиозные догмы, нелицеприятном критике функционеров всех мастей и оттенков — от президентов США до римских пап,— в писателе, создавшем из своего «отчаянного» отношения к жизни веру, главные опоры которой — сострадание, помощь, надежда, любовь, честь — понятны любому человеку в н е з а в и с и м о с т и от его политических убеждений и вероисповедания,— в этом европейце Торрихос нашел единомышленника.

Казалось, что эти два человека обрели друг друга и, преодолев время (разницу в возрасте), пространство (англичанин — панамец), заговорили о том, что́ определяет суть жизни человека. Торрихос знал, какое важное место в книгах и мыслях Грина занимает тема и проблема смерти. Однажды известный английский писатель Энтони Бёрджесс выразил удивление, почему Грин до сих пор не лауреат Нобелевской премии. «Мне мало этой награды»,— сказал писатель. «А какую же вам надо?» — удивился Бёрджесс. «Смерть»,— кратко ответил Грин.

Мысль о неизбежности, неотвратимости конца Торрихоса, как и Грина, преследовала с юности. Жизнь, проходящая под знаком смерти, приобрела особый смысл. В латиноамериканской ситуации смерть становилась не просто метафизической проблемой, но каждодневной реальностью: шальная пуля на улице, яд, подсыпанный в вино, бомба, подложенная в самолет, подстроенный несчастный случай. Надо было торопиться сделать задуманное, довести до конца мучительную процедуру подписания договора, на которую американская сторона пошла с большим скрипом, а подписав, уже через некоторое время начала вносить унизительные для Панамы поправки и добавления. Надо было, не щадя сил, улучшить положение своего народа.

Несомненно, отчетливые политические позиции Грина («Я осуждаю политику Рейгана в Центральной Америке,— заметил Грин в одном из последних интервью в «Санди таймс».— Соединенные Штаты поддерживают диктаторские режимы, на совести которых тысячи и тысячи невинных жертв. Америка, ослепленная животным, патологическим антикоммунизмом, защищает палачей и убийц»), его дружба с Торрихосом, и то, с какой откровенностью, теплом и гордостью Грин рассказывает о ней, вызывали недоумение, а то и неприкрытое возмущение некоторых западных рецензентов.

Одни сделали вид, что эта дружба — очередная причуда известного писателя, случайный эпизод в его полной событиями и встречами жизни. Анализируя книгу, они сочли нужным говорить преимущественно об истории Панамы и постарались, насколько это возможно, уйти от оценки идейной ее стороны. А вот Оберон Во, маститый критик, постоянный обозреватель солидного английского литературного журнала «Букс энд букмен», забыв о приличиях, связанных с юбилеем писателя (Грин приурочил выход книги к своему восьмидесятилетию), не смог скрыть раздражения. Как это Грин, с его знанием людей, его чутьем, проявил такую политическую близорукость и позволил «мелкому панамскому диктатору» (так Во аттестует Торрихоса) «одурачить себя»?

Нет у него и сомнений в том, что Торрихос приглашал Грина не потому, что чувствовал в нем родственную душу (эти доводы Во даже не принимает во внимание), но исключительно из-за корыстных интересов: лестно, если классик одобрительно отзовется о Панаме и ее лидере. Действительно, с каждым приездом в Панаму Грин чувствовал себя все более и более вовлеченным в панамские дела, причастным ко всему происходящему здесь с его друзьями. Впрочем, Грин ответил своим оппонентам сам: он ничего не имеет против, когда его используют в деле, в которое он верит.

■

Найдя в жизни свой идеал политического деятеля, Грин сначала примеривал его на роль героя романа, но потом отказался от этой идеи. Торрихос и Чучу были для него слишком живыми, причастность к их судьбам слишком личной, чтобы все это могло стать материалом для романа. Тут требовалась отстраненность, дистанция, художественная отрешенность. А о какой отрешенности могла идти речь, когда гибель Торрихоса была свежей, кровоточащей раной. Вот тогда-то писатель решил, что его друзья — герои жанра документального, мемуаров, а его долг перед Торрихосом будет выполнен, если он воссоздаст его портрет, восстановит шаг за шагом возведение моста между их душами, моста столь надежного, что не рухнул и после смерти Торрихоса.

В нашу публикацию вошел рассказ об этом ненаписанном романе, которому Грин придумал характерное, конечно же, символическое заглавие — «На обратном пути». Эти слова становятся своеобразным лейтмотивом в тексте: слишком часто мы надеемся на этот «обратный путь», на спасительное, обманчивое «потом», а ведь судьба далеко не всегда и не всем предоставляет эту возможность. У Торрихоса этого «обратного пути» не было — был лишь путь навстречу неминуемой смерти.

Этот ненаписанный роман нам очень интересен,— пожалуй, ближе, чем когда-либо, Грин допускает нас в свою творческую лабораторию. Главным действующим лицом в романе должен был стать Чучу (попытка, пусть и слабая, отстранения от личности генерала) — это ему предназначено погибнуть от подложенной в машину бомбы.

И все же «настоящий» роман, в котором художественно преломились годы странствий Грина по Центральной Америке и годы его дружбы с Омаром Торрихосом, был создан. Это «Монсеньор Кихот»; он вышел за год до книги воспоминаний — в 1983 году.

Место действия — родина великого Сервантеса. Да и его вечные герои мгновенно узнаются в персонажах Грина — в монсеньоре Кихоте, приход которого, конечно же, находится в местечке Тобосо, в его друге коммунисте Санчо. Но не только мифологические черты зримо проступают в героях Грина: мы узнаем в них и наших недавних знакомых — Омара Торрихоса, Чучу, Прайса и, безусловно, самого Грина. И хотя странствуют они не по Центральной Америке, а по Испании, идея дороги, идея движения, не только внешнего, физического, но и внутреннего, когда все яснее видится мир, твой собеседник, и, наконец, ты сам — положена в основу «Монсеньора Кихота».

Сюжет романа удивительно прост. Священника Кихота, впавшего из-за своих в высшей степени неортодоксальных взглядов в немилость у архиепископа, вынуждают уйти в длительный отпуск; в его отсутствие молодой, решительный священник, который не мучит ни себя, ни окружающих нелепым с точки зрения официальной догматики вопросом, почему в христианстве, «этой религии любви», такое значительное место занимает идея ада и наказания, наконец наведет в приходе порядок. В длительный «отпуск» вынужден отправиться и испанский коммунист Санчо, потерпевший поражение на выборах. Хотя после смерти Франко коммунисты перешли на легальное положение, его преследует гражданская гвардия, иными словами, испанская жандармерия — организация, «политические симпатии» которой мало изменились при новом режиме.

Эти два такие непохожие друг на друга человека — как, впрочем, непохожи Грин и Торрихос — отправляются в путешествие на небольшой машине Кихота, которая, конечно же, зовется Росинант. Как и всегда, Грин поражает читающего точностью наблюдений. К лучшим страницам книги относится посещение Кихотом и Санчо усыпальницы Франко. Франко здесь не только тиран, под игом которого столько лет томилась Испания. Это собирательный образ диктатора: в нем узнается Пиночет, Дювалье, Стресснер и «иже с ними». Парад этих монстров Грин имел возможность наблюдать при подписании договора о Панамском канале.

Как всегда, любое проявление догматизма (политического, религиозного, идеологического) становится мишенью для иронии писателя. Он безжалостен к католическим функционерам, превратившим храм в «дом торговли»— как не вспомнить чудо о «потеющей богородице». Но главное в этой книге — диалог священника Кихота и коммуниста Санчо, выросший из диалогов Грина и Торрихоса, Грина и Прайса, Грина и никарагуанских патриотов.

Проходит немало времени, пока они привыкают слушать и слышать друг друга. Процесс познания человеческой души совсем не прост, недаром в заглавии книги о Торрихосе есть довольно тяжелое, но очень точно передающее смысл постепенного узнавания, привыкания одного человека к другому «getting to know».

Поначалу нелегко было и Кихоту с Санчо. У них разное представление о жизни, разный словарь. Труднее Санчо: его стихия — диспуты, борьба, он категоричен и непреложен в суждениях, а уж тем более выводах. Легче Кихоту: у него давний навык выслушивать людей на исповеди. Санчо резко отрицает все, что кажется ему противоречащим марксистской идеологии. Кихот судит марксизм, опираясь на учения отцов церкви. Но общая жизнь под открытым небом Испании, страдания, которые выпадают на долю каждого: за Санчо гонится жандармерия, архиепископ объявляет Кихота безумным и грозит засадить в сумасшедший дом — учат их, людей разных идеологий, понимать друг друга.

К несчастью, Дон Кихотам и Торрихосам нет места в мире, где правит насилие, а революции, говорит Грин в своем ненаписанном романе, нередко терпят поражение. Но недаром Грин любит повторять строки Шелли: «Надеяться, пока надежда не создаст из собственных руин свое отображенье...» Самим фактом своей жизни, более того — смерти Торрихос,

как и герой последнего на сегодняшний день романа Грина, доказывает не доказуемый никакими рациональными построениями закон — неизбежность конечного торжества духа человека, нравственной его доблести.

Диалог Грина с Омаром Торрихосом продолжался и после смерти панамского лидера. У соратников Торрихоса оставалось все меньше и меньше приверженцев в правительстве Панамы. В надежде упрочить свое политическое положение они обратились к Грину с неожиданной для него просьбой: поехать с дипломатической миссией в Никарагуа, а затем к Фиделю Кастро на Кубу. Если поедете вы, друг Торрихоса, говорили они, нам поверят, что идеи генерала живы в Панаме.

Грин согласился не сразу. Приехав на Кубу, он сказал: «Я не посланник, я послание». Фидель Кастро оценил изящество слога Грина, понял он и тот двойной смысл, что скрывала эта лаконичная формула: «Я не разделяю ваши политические взгляды, как я не разделял и некоторые взгляды Торрихоса, но, если моя помощь нужна в справедливом деле — вот она». Прощаясь, Фидель Кастро сказал Грину: «Передайте: послание я получил».

■

У ирландского поэта Уильяма Батлера Йейтса есть строки, которые припомнились Грину еще при первой встрече с Омаром Торрихосом:

«Я знаю, что с судьбою вдруг
Я встречусь где-то в облаках,
Защитник тех, кому не друг,
Противник тех, кому не враг...
Я взвесил все и рассудил,
Что мне отныне не суметь
Бесцельно жить как прежде жил,
Какая жизнь — такая смерть».

(Перевод А. Сергеева)

Омара Торрихоса нет в живых. О причинах его гибели еще судят: подложенная в самолет бомба, ошибка неопытного пилота? Грин никого прямо не обвиняет. Правда, в его постскриптуме мы читаем: «Возможно, я излишне скептически воспринял мнение о причастности ЦРУ к гибели Омара Торрихоса». Сам же писатель, продолжая прерванный смертью диалог с другом, снова отправляется в свои восемьдесят с лишним лет в дальний путь — на этот раз в Никарагуа. Цель не визит дружбы, но политическая миссия. И снова классик преподает нам урок высокой нравственности: цена убеждений, готовая стать ценою жизни.

◆

Советская литература за рубежом

БОЛГАРИЯ

Документальная повесть СВЕТЛАНЫ АЛЕКСИЕВИЧ «У войны — не женское лицо» Издательство «Народна култура».

Сборник повестей ГРИГОРИЯ БАКЛАНОВА. Издательство «Христо Г. Данов».

Повесть ВАСИЛИЯ БЫКОВА «Знак беды» Партиздат.

Книги стихов ЮРИЯ ВОРОНОВА «Блокада» и «Долгое эхо». Издательство «Народна култура».

«Биография книги». Статьи, исследования, эссе ВЛАДИМИРА ЛАКШИНА. Издательство «Георги Бакалов».

«Стихотворения» ЮРИЯ ЛЕВИТАНСКОГО Издательство «Народна култура».

Роман ГЕОРГИЯ МАРКОВА «Сибирь». То же издательство.

ВЬЕТНАМ

Роман МИХАИЛА ШОЛОХОВА «Тихий Дон». Издательство «Так фам мой».

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Сборник рассказов ВАСИЛИЯ ШУКШИНА. Издательство «Мэрион Бойарс».

ВЕНГРИЯ

Повесть ЧИНГИЗА АЙТМАТОВА «Прощай, Гульсары!» Издательство «Европа».

Сборник избранных трудов МИХАИЛА БАХТИНА под названием «Проблемы содержания материала и формы в словесном художественном творчестве». То же издательство.

Роман ВЛАДИМИРА БОГОМОЛОВА «В августе сорок четвертого...» Издательство «Аркадия».

Повесть НИКОЛАЯ ДУБОВА «Беглец». «Издательство «Европа».

Сказочная повесть ВЕНИАМИНА КАВЕРИНА «Верлиока» Издательство «Магветё».

ГДР

Роман АРКАДИЯ АДАМОВА «На свободное место». Издательство «Фольк унд вельт»

Сборник рассказов ИСААКА БАБЕЛЯ. Издательство «Европа».

Сборник стихов ВЛАДИМИРА ВЫСОЦКОГО. Издательство «Нойес лебен».

Роман ИОНА ДРУЦЭ «Белая церковь». Издательство «Фольк унд вельт».

Книга ПАВЛА ТОПЕРА «Ради жизни на земле». То же издательство.

Культура и современность

В ЧЬИХ РУКАХ «МИКРОФОН АФРИКИ»?

Одной из главных задач освободившихся стран и, африканских в частности, в наши дни стала борьба за «новый международный информационный порядок». Именно Африке суждено было оказаться объектом «информационного империализма» в его, быть может, наиболее характерной форме.

С одной стороны, низкий уровень развития местных африканских средств массовой информации: на Африку (за исключением арабских стран) приходится около 1,4% всех выпускаемых в мире книг чуть больше 1% газет, 0,5% всех имеющихся в мире радиоприемников и 0,7% телевизоров.

С другой стороны, западные державы, прежде всего экс-метрополии, стремятся заполнить этот вакуум информацией, цель которой — удержать бывшие колонии в сфере своего влияния.

На информацию, поставляемую крупнейшими западными агентствами АП, ЮПИ, Франс Пресс и Рейтер, в ряде газет континента приходится от 60 до 80% всех сообщений; около 90% всех фильмов, демонстрирующихся кинопрокатом и телевидением,— западного производства; в некоторых странах западные телепрограммы занимают от 40 до 60% всего экранного времени; в большинстве случаев из каждых 60 минут теленовостей половина — сообщения корреспондентов западных теле- и радиостанций. Около 50% всех фильмов в государствах Африки к югу от Сахары составляют американские, 35% — французские и лишь 2% — африканские киноленты. Под фактическим контролем французского патроната действуют две крупнейшие в Африке радиостанции (в Габоне и Марокко).

Среди западных фильмов, поставляемых на континент, преобладают типичные образцы «массовой культуры», произведения же прогрессивного кинематографа остаются в основном за рамками этой экспортной политики.

«*Африканские страны все более противятся насаждению западных моделей в сфере культуры, доминирующему воздействию бывших метрополий*»,— так характеризовал выходящий в Дакаре (Сенегал) журнал «Ревю африкэн де коммюникасьон» главное направление усилий освободившихся стран континента в области средств массовой информации и культуры.

«Ревю африкэн де коммюникасьон» — сравнительно молодое издание, посвященное вопросам культуры и информации в Африке. Журнал выходит с марта 1981 года под эгидой СЕСТИ — Центра изучения научных и технических проблем информации при Дакарском университете, действующего в масштабах всего континента, и распространяется по всей Африке и за ее пределами. В редколлегию журнала, редактором которого является директор СЕСТИ, видный исследователь в области философии, культуры и информации в Африке Бабакар Син, входят такие деятели в сфере науки, искусства и журналистики, как Тьерно Диоп, известный африканский режиссер и кинокритик Поллэн Виейра и другие.

Долгое время СЕСТИ находился под сильным влиянием Франции — экс-метрополии Сенегала. Ее идеологические центры и институты оказали сильное воздействие на ориентацию журнала. Публикации в «Ревю» довольно точно отражают сложности борьбы различных политических сил и тенденций вокруг «нового международного информационного порядка» в Африке. С одной стороны, это стремление прогрессивных африканских деятелей развивать национальные средства массовой информации на антиимпериалистической основе — стремление, которое особенно характерно для стран континента, проводящих прогрессивные социально-экономические преобразования и поставивших информацию на службу ин-

тересам своих народов. С другой — в некоторых странах определенные политические круги все еще рассчитывают в решении этой проблемы на участие транснациональных корпораций, не принимая во внимание последствий этого участия.

Деятельность мощной пропагандистской машины империализма направлена на то, чтобы затормозить процесс роста национального самосознания народов Африки. По ее каналам разносятся мифы о так называемом «советском экспансионизме» в Африке, множатся клеветнические выпады против государств, чья политика не устраивает империалистов. В то же время вмешательство в дела африканских народов, западное военное присутствие на континенте преподносится как «помощь союзникам», а наращивание военной мощи попросту замалчивается. Ставка делается на воспитание в прозападном духе руководящих африканских кругов в странах капиталистической ориентации, которые Запад считает опорой свой внешнеполитической деятельности на континенте.

В искаженном виде империалистические средства массовой информации пытаются представить африканской аудитории и проблемы ее континента. Убедить африканцев в неспособности к самостоятельному государственному управлению, создать миф о политической нестабильности на континенте, свести проблемы укрепления богатых традиций, культурной целостности к упрощенному и зачастую примитивному представлению об африканской культуре — такова сущность этой пропагандистской политики.

Как пишет «Ревю африкэн де коммюникасьон»,

«*...изображение африканской культуры западными средствами массовой информации питают предвзятость и злоба — здесь правят дурная сенсационность, предрассудки — либо умолчание*».

На службу этой политике поставлена новейшая коммуникационная техника, спутники связи и прямого вещания. С апреля 1984 года информационное агентство ЮСИА начало использование сети АФНЕТ, которая позволяет передавать изображение из студий ЮСИА в дипломатические представительства США в странах Африки и осуществлять телевизионные встречи или пресс-конференции представителей американской администрации с африканской общественностью и журналистами.

Первая же программа наглядно продемонстрировала цели, которые преследовали США в африканском регионе, создавая АФНЕТ: защита интересов американского капитала в Африке, пропаганда политики Белого дома. Директор ЮСИА Ч. Уик, не жалея красок, расписывал «преимущества системы свободного предпринимательства» и «выгоды» афро-американского «сотрудничества».

Особенно мощным каналом вторжения бывших метрополий и США в Африку стало радиовещание. В условиях массовой неграмотности именно радио является одним из главных источников информации о событиях в мире и на континенте.

Как справедливо заявляют представители африканских органов информации, в частности главный редактор тунисской газеты «Пресс» Слах Мауи,

«*...средства массовой информации Запада навязывают народам колоний идеологию, с помощью которой эти народы удобнее было бы эксплуатировать... Сегодня миллионы обманутых людей воспринимают через чужое слуховое окно (то есть радиовещание) картину рая, именуемого Западом*».

Западные радиостанции, утверждает «Ревю африкэн де коммюникасьон», «штурмуют континент».

Однако в наши дни невозможно не учитывать рост национального самосознания африканцев, активизирующуюся борьбу за деколонизацию информации. И потому западные «радиоголоса» предпринимают попытки специализации передач, приспособления их к запросам аудитории. Увеличивается число национальных языков народов Африки, на которых ведется вещание. По данным «Ревю африкэн де коммюникасьон», африканская служба «Немецкой волны», к примеру, вещает на семи европейских и африканских языках. Более половины всех языков, на которых ведет вещание Би-би-си,— это языки народов Африки и Азии. Региональная африканская служба Би-би-си передает программы на суахили, хауса и сомали, а также на французском и английском языках. Более чем в 30 африканских стран Би-би-си рассылает программы, подготовленные с целью психологической обработки аудитории. Упор делается на то, чтобы создать видимость учета интересов африканских стран; наряду с «лобовыми» радиоатаками в арсенале западных «голосов»— и более тонкие и изощренные методы обработки слушателей.

«*Передачи строятся со все более нюансированной ориентацией на социокультурный контекст регионов, на которые ведется вещание*»,

— констатирует «Ревю африкэн де коммюникасьон». Кроме радиожурналов, подготовленных «Радио-Франс-энтернасьональ» специально для Африки, типа «24 часа в Африке», широко освещающего такие темы, как «отношения Север — Юг», сельское развитие, вопросы технологии, значительное место занимают и передачи о культурной жизни континента. Однако, как подчеркивает журнал,

«*...эта адаптация программ к социокультурному контексту африканской аудитории не мешает западным станциям выполнять роль, которую отводят им владельцы,— пропагандировать, разъяснять, отражать их интересы и политику как по внутренним, так и по международным вопросам*».

«Штурмуя континент», западные радиоголоса изо всех сил стараются внушить слушателям, что «они — единственный источник правдивой информации», противопоставляя «свободные радиоголоса» с Запада «обузданным правительствами африканским станциям».

«Ревю» опровергает этот миф, показывая, что

«пропагандистская линия западных станций вырабатывается на государственном уровне — как правило на уровне внешнеполитических ведомств».

Как пишет «Ревю африкэн де коммюникасьон»,

«выбор западных голосов, обращенных к Африке, как тематический, так и лингвистический, далек от бескорыстия — он полностью соответствует стратегическим, военным и экономическим интересам стран, ведущим вещание».

«Ревю» указывает на разницу в подходах западных радиостанций и «Радио Москвы»:

«Необходимо видеть отличие в характере информации Би-би-си, «Голоса Америки», с одной стороны, и «Радио Москвы» — с другой. И африканская аудитория его видит».

Как подчеркивает журнал, программы московского радиовещания составлены в духе упрочения мира, международного взаимопонимания, уважения национального суверенитета, независимости африканских народов, их права на выбор своего пути; в отличие от западных радиостанций «Радио Москвы» чуждо использование приемов манипуляции сознанием, методов разжигания враждебности и клеветы.

Как видим, критика в адрес западной пропаганды звучит на континенте достаточно внятно. И потому в обращение пускают новые тезисы и мифы, призванные замаскировать экспансию под «сотрудничество», «равное партнерство». К этому не без участия капитала прилагается и весомый денежный куш, и новейшая коммуникационная техника, предоставляемая, как правило, военно-промышленно-информационными конгломератами.

Конечно, необходимо учитывать, что в таких случаях западный патронат делает ставку на поддержку определенных кругов в странах капиталистической ориентации, под крышей которых он и рассчитывает расположиться. Стремясь облечь в различные формы «помощи» свое информационное вторжение в Африку бывшие метрополии и США пытаются внушить слушателям, что идут навстречу требованиям африканских стран «деколонизовать информацию». Нередко при этом им удается ловко спекулировать на престижных амбициях ряда государств континента, их желании заполучить самые современные и мощные средства массовой информации.

И — при «соблюдении приличий» — механизм «капкана» срабатывает. Обладание новейшим оборудованием (хотя обслуживать его зачастую способны лишь техники западных корпораций), мощной станцией (где ключевые, но не первые посты — ведь «приличия соблюдены» — занимают административные, финансовые и журналистские «киты» Запада), современной студией арендуемой «партнерами» и возможностью передавать на полмира информацию (поставленную преимущественно корреспондентами «Монд», «Фигаро» и западных агентств на континенте) создает иллюзии того, что западные «партнеры» пошли навстречу. И развеять эти иллюзии не всегда так уж легко.

Характерен в этом смысле пример радиостанции «Африка-1» в Габоне, созданной при участии западного частномонополистического капитала. Самая мощная на континенте радиостанция (передачи ее могут принимать даже в Южной Америке) является, по выражению «Ревю»,

«...символом прогресса в области коммуникационной техники в мире».

Африканской музыке отведено здесь более 40% времени; большое внимание уделяется спортивным репортажам. Однако дает ли это право утверждать, будто

«Африка-1» — микрофон в руках Африки»,

как сообщает в одном из материалов цитируемый журнал?

Да, «микрофон» — то есть мощные технические средства в наличии. Но чьи голоса он разносит? Для передач западных радиостанций арендуется специальное время и его объем ежегодно возрастает, как и число претендентов на аренду. Посредством мощных передатчиков эфир заполняют не столько «голоса Африки», сколько голоса западных партнеров, приложивших руку к созданию радиогиганта.

Констатируя известные успехи в борьбе за «микрофон Африки», «Ревю африкэн де коммюникасьон» справедливо замечает:

«...Существует разница в ориентации «Африки-1» и Панафриканского информационного агентства ПАНА».

Созданное в 1983 году в Дакаре, ПАНА основывает свою деятельность прежде всего на активизации агентств всего континента и, несмотря на технические и финансовые трудности, старается строить ее на антиимпериалистической основе. Есть в Африке и другие примеры эффективного сотрудничества государств в сфере информации. В частности, активно содействует развитию национального африканского радио- и телевещания УРТНА — Союз национальных африканских радио- и телекомпаний. С 1974 года на континенте действует Союз африканских журналистов, устав которого определяет как основную задачу этой организации борьбу против расизма и апартеида, любых форм колониализма и неоколониализма, за укрепление единства стран и народов Африки на антиимпериалистической основе. Учреждены Межафриканский консорциум по производству фильмов, Панафриканская федерация кинематографистов, в цели которой входит развитие производства национальной кинопродукции в Африке — в особенности полнометражных художественных лент — и укрепление сотрудничества между странами.

Не так давно прогрессивные деятели киноискусства континента приняли решение об организации Комитета африканских кинематографистов. Главными его задачами провозглашены «защита культурной самобытности и интересов африканских народов в аудиовизуальной сфере», противодействие засилию западных корпораций, патерналистскому характеру «помощи» бывших метрополий, «фольклорной экзо-

тике», которая не имеет ничего общего с подлинной африканской культурой.

Как гласит сенегальская пословица, «один браслет не звенит». Не случайно, в «Ревю африкэн де коммюникасьон» неоднократно подчеркивается роль ЮНЕСКО в борьбе за «новый международный информационный порядок». Символично, что, несмотря на кампанию клеветы и бойкота, развязанную США и Великобританией по отношению к этой организации, представители ряда африканских стран в прошлом году на встрече в Дакаре обратились к мировой общественности с призывом о поддержке ЮНЕСКО.

Только объединив свои усилия, используя помощь международных организаций, а также государств, которые поддерживают и применяют в своей международной практике принципы укрепления мира и взаимопонимания, невмешательства и уважения суверенитета народов, страны Африки обретут подлинную независимость в сфере информации — тогда «микрофон Африки» зазвучит голосами ее народов.

«Выработка основных направлений политики в области информации по вопросам экономического и социального характера ...охрана и возрождение традиционных ценностей африканских народов открывают путь для поиска моделей развития, которые в корне отличны от западных, доминирующих и распространяемых элитой, воспитанной по образцу ее колониальных «мэтров»... главная задача — борьба за всестороннее национальное развитие»,

— так формулирует журнал цели в сфере информации на континенте.

Как подчеркивается в одной из редакционных статей под названием «Коммуникация и синдром апартеида»,

«...важной частью борьбы за «новый информационный порядок» с ее главным требованием — установить более равноправный и сбалансированный обмен информацией — является отпор всем видам расизма и апартеида».

Итак, с одной стороны, объективное стремление поставить информацию на службу всестороннего национального развитию, использовать ее для борьбы с неграмотностью, расизмом и апартеидом, для преодоления отсталости и пережитков. Именно это стремление преобладает в настроениях прогрессивных африканских деятелей культуры.

С другой стороны, принимая «помощь», которая ведет к усилению зависимости африканских структур от западных партнеров, страны континента становятся жертвами их гегемонистских устремлений, одним из эффективных орудий осуществления которых является «культурный империализм».

Поэтому все чаще звучат со страниц журнала ноты тревоги:

«Всем нам необходимо спросить себя: что же станется с культурными ценностями африканских народов в условиях массированного проникновения западных средств информации?»

И тут нельзя не вспомнить африканскую пословицу: «Тот, у кого есть силы спросить дорогу, дойдет до цели».

Т. ЛЕБЕДЕВА

◆

Советская литература за рубежом

ИСПАНИЯ

Роман ЧИНГИЗА АЙТМАТОВА «И дольше века длится день». Издательство «Планета».

«Одесские рассказы» ИСААКА БАБЕЛЯ. Издательство «Алианса».

«Мастер и Маргарита» и «Театральный роман» МИХАИЛА БУЛГАКОВА. То же издательство.

НИДЕРЛАНДЫ

Повесть ВИКТОРА АСТАФЬЕВА «Последний поклон». Издательство «Мейленхоф».

ПОЛЬША

Роман ГРИГОЛА АБАШИДЗЕ «Лашарела». Издательство «Выдавнитство литерацке».

Повесть ВИТАУТАСА БУБНИСА «Арберон». Издательство «Чительник».

Повесть КИРА БУЛЫЧЕВА «Миллион приключений». Издательство «Наша ксенгарня».

Повесть И. ГРЕКОВОЙ «Вдовий пароход». Издательство «ПИВ».

Повесть ДИНЫ КАЛИНОВСКОЙ «О, суббота!». То же издательство.

ФРАНЦИЯ

Роман ИЛЬИ ИЛЬФА и ЕВГЕНИЯ ПЕТРОВА «Двенадцать стульев». Издательство «Скарабе э компани».

Роман БУЛАТА ОКУДЖАВЫ «Свидание с Бонапартом». Издательство «Альбен Мишель».

ФРГ

«Хатынская повесть» АЛЕКСАНДРА АДАМОВИЧА. Издательство «Паль-Ругенштайн».

Повести ВАСИЛИЯ БЫКОВА в двух томах. То же издательство.

Повесть АЛЕКСАНДРА ГРИНА «Алые паруса». Издательство «Арена».

Повесть ВЛАДИМИРА МАКАНИНА «Предтеча». Издательство «Малик».

Киноповесть ВАСИЛИЯ ШУКШИНА «Калина красная». Издательство «Лухтерханд».

Критика

ИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ БОРЬБА И ЛИТЕРАТУРА

А. САРУХАНЯН

ОЛЬСТЕРСКИЙ КРИЗИС В ЗЕРКАЛЕ ЛИТЕРАТУРЫ

Начало ольстерского кризиса условно датируют октябрем 1968 года, когда в Дерри полицейские разогнали демонстрацию в защиту гражданских прав. С этого времени к «горячим точкам планеты» добавилась еще одна, в отличие от всех других, расположенная не в Африке, Азии или Латинской Америке, где вторая мировая война ускорила пробуждение национально-освободительных сил, а в самóй «старой» Европе, на северо-востоке Ирландии — здесь бурные события продолжаются уже почти два десятилетия и не обнаруживают тенденции к затуханию.

Для того, что происходит в Северной Ирландии, трудно найти краткое и достаточно исчерпывающее определение. Не случайно в ирландской и английской историографии североирландские события принято обозначать словом «волнения», «беспорядки» (англ. troubles). Так называли и ирландскую национально-освободительную революцию 1919—1923 годов. В широкой употребительности этого слова, легко прикрепляемого ко всему, что происходит в Ирландии (там вечные «беспорядки»), несомненно, есть оттенок пренебрежения. Но, как и многие слова каждодневного языка, в применении к истории Ирландии оно получило за неимением лучшего статус термина и право писаться с заглавной буквы.

Ольстерский кризис вызвал на Западе настоящую идеологическую войну, которая с необычайной активностью ведется средствами массовой информации. Газетные полосы и телеэкраны пестрят репортажами о взрывах бомб и убийствах. Как документальные свидетельства, они претендуют на создание вполне объективной картины, но тенденциозный отбор этих свидетельств призван внушить читателю мысль об иррациональности происходящего. Вопрос о том, как складывается представление о событиях на севере Ирландии, имеет политическое значение. От него в конечном итоге зависит позиция английского рабочего класса по «ирландскому вопросу». Поэтому так велико стремление правящих кругов выработать у английских рабочих безразличие к тому, что происходит в Ирландии. Все сменявшиеся за годы ольстерского кризиса администрации прекрасно понимали: чтобы сохранить поддержку народа, надо сделать так, чтобы он пребывал в неведении; чтобы вести колониальную войну, нужна эффективная пропагандистская война.

О том, как она ведется, о технологии дезинформации общественности можно судить по социологическому исследованию Лиз Кертис «Ирландия: пропагандистская война. Британские средства массовой информации и битва за сердца и умы» (1984). С середины 70-х годов, как констатирует Л. Кертис, средства массовой информации особенно старательно «затемняют североирландскую ситуацию. С ольстеризацией политики безопасности пришла ольстеризация информации... Английской публике предоставляется возможность видеть только худшее у «вражеской» стороны и только луч-

САРУХАНЯН АЛЛА ПАВЛОВНА

Советский литературовед и критик, кандидат филологических наук. Автор книг «Творчество Шона О'Кейси» (1965), «Современная ирландская литература» (1973) и многих статей об английской и ирландской литературах.

шее у своей. В результате причина и следствие оказываются перевернутыми с ног на голову — насилия со стороны ИРА[1] оказываются альфой и омегой всей проблемы, тогда как историческая и современная ответственность Англии остается в тени».

Передачи, касающиеся Северной Ирландии, находятся в Англии под особым контролем. По отношению к ним под прикрытием борьбы с терроризмом действует строжайшая цензура. Контроль над такой «деликатной» темой, как Северная Ирландия, подчеркивает Л. Кертис, действует во всех областях — от передачи новостей до инсценировок, но он осуществляется в лабиринтах радиовещательных организаций и поэтому для широкой публики остается невидимым. Еще в брошюре «Британские средства связи и Ирландия», изданной в Лондоне в 1979 году, приводились многочисленные случаи цензурных запретов, наложенных на материалы об Ирландии, подготовленные для передачи по английскому радио и телевидению. Среди них — и документальные фильмы, «расходящиеся с официальной линией».

Л. Кертис, значительно расширяя список материалов, погребенных в сейфах, рассказывает о судьбах журналистов, коснувшихся запрещенных тем, попытавшихся дать хоть сколько-нибудь объективную картину происходящего на севере Ирландии.

Говоря о том, что преподносят широкой публике средства массовой информации, Кертис отмечает прежде всего отсутствие анализа, оторванность от контекста, как современного, так и исторического.

Те же качества, точнее их отсутствие, характерны для массовой литературы на североирландскую тему.

Первыми, еще в начале 70-х годов, к новой «горячей точке планеты» обратились авторы детективов. В духе так называемого психологического «триллера» написаны произведения Шона Херрона. Герой его романа «Сквозь густой и темный лес» (1972) — отошедший от дел агент английской разведки Миро, поселившийся в Ирландии и решивший посвятить жизнь разведению коров. Приехав в Ольстер с чисто деловой целью приобрести племенного быка, он уступает просьбам своего бывшего начальника, полковника английской разведки Боуэна, разоблачить провокаторов, организующих убийства. Бесстрашный Миро выходит победителем из самых отчаянных ситуаций. Рискуя жизнью, он предотвращает кровопролитие и тем выполняет долг перед английской армией, которая пытается якобы развести враждующие стороны.

Дискриминацию католического меньшинства Херрон называет хитрой выдумкой одинаково выгодной Ирландской республиканской армии и правым экстремистам: республиканцы стремятся создать атмосферу страха и таким образом внушить населению уважение к своим «защитникам» — правые пользуются тем же оружием, чтобы пробиться к власти, убедив сограждан в необходимости «сильного» правительства. И те и другие хотят развязать гражданскую войну, используя примитивную, якобы извечно существующую между ирландцами племенную вражду. Как пытается убедить автор, еще в большей степени кровопролитие нужно рабочим — это они натравливают друг на друга католиков и протестантов, чтобы, воспользовавшись их противоборством, уничтожить эксплуататоров. Рабочие изображены грубыми, невежественными, погрязшими в предрассудках людьми, от их лица действуют отчаянные головорезы, во имя «революции» убивающие ни в чем не повинных людей. Об ирландцах в целом говорится как о людях, живущих иллюзиями: самообман стал частью их натуры, а «ирландский экстаз ненависти» — привычным состоянием.

В романе «Распутная мать» (1973) того же автора уже нет речи о правых экстремистах, беззастенчиво действующих в Ольстере. Весь свой гнев автор теперь обрушивает исключительно на ирландских республиканцев, которые, как он пытается показать, ведут борьбу не с юнионистами — сторонниками союза с Англией — и не с английской армией, а со своими собственными товарищами, подозреваемыми в предательстве или отступничестве.

В психологических «триллерах» Херрона напряженность действия поддерживается серией погонь и убийств. Психологический же клубок оказывается не таким уж запутанным. Он сплетен из двух нитей, якобы определяющих все поведение человека: тяги к насилию и секса.

В романе «Осторожно! Маленькие дети!» (1976) известного автора детективов Питера Ван Гринвея утверждается, что никакой политической, а тем более социальной проблемы в Северной Ирландии не существует, есть лишь религиозный конфликт, фанатическая вражда двух религиозных общин. Поэтому главное — образумить католиков и протестантов, заставить их помириться во имя собственных детей. Для этой цели главный герой романа, школьный учитель Джон Макстед, вместе со своими коллегами проводит смелый эксперимент. Под видом загородной прогулки они отвозят учеников двух классов католической и протестантской школ в хорошо укрепленный старинный замок в окрестностях Белфаста. Здесь дети остаются в качестве добровольных заложников, а «террористы»-учителя объявляют свое требование: прекратить насилие. Дети вернутся домой, как только создастся обстановка, в которой им не будет грозить смерть от случайной пули.

Как стремится показать Ван Гринвей, в своем отношении к эксперименту Макстеда протестанты и католики едины. Англичанам, которые якобы делают все, чтобы установить мир в Ирландии, писатель противопоставляет ирландцев вообще. Главари военизированных организаций, как католиков так и протестантов, одинаково возмущены Макстедом: ведь даже временное прекращение огня может привести к тому, что он совсем угаснет, и тогда их «военная игра» будет закончена. Они спокойно обсуждают «два великих дела — ваше и наше. Никаких компромиссов, это английский, а не наш путь. Уничтожайте нас, если можете,— к этому мы привыкли. Это лучше, чем Мак

[1] Ирландская республиканская армия — военизированная организация ставящая своей целью создание единой Ирландской республики силой оружия. Ее террористическая тактика осуждена ирландскими коммунистами. *(Прим. авт. статьи.)*

стед, такой может уничтожить само дело... он опаснее, чем английская армия».

Авторами «ольстерского детектива» нередко выступают профессиональные журналисты, хорошо осведомленные в английской закулисной политике и собственными глазами видевшие то, что происходит в Северной Ирландии. Главным героем их книг, как правило, представлен вездесущий и всезнающий агент английской разведки, действующий внутри республиканского подполья. Таков Симон Воон, от лица которого ведется повествование в романе Джека Хиггинса «Жестокое время» (1972). Ему предстоит под видом поставщика оружия войти в доверие лидеров Ирландской республиканской армии и вернуть золото, похищенное ими.

Выбор падает на него не только потому, что мать Симона Воона ирландка, а дядя герой ирландской национально-освободительной революции — обстоятельство, которое, несомненно, облегчит выполнение задания. Надежду на успех внушает его послужной список, включающий участие в операциях по обезвреживанию партизан в Малайе, Кении, Адене, на Кипре и Борнео — в общей сложности двадцать лет «солдатской жизни». Как и следовало ожидать, Симон успешно проводит и североирландскую операцию. Но далась она ему, как подчеркивает автор, ценой немалых душевных переживаний. Сказалось чувство «корней». Да и «солдатская честь» могла быть задетой. Ведь, отправляясь в Ирландию, он шел на войну, уверенный, что «все очень просто, английская армия воюет с ИРА». Однако среди республиканцев он встречает не только тех, кто смотрит на борьбу как на «увлекательную игру в насилие», он знакомится и с «революционером старого толка» Майклом Райаном, который считает главным условием победы единение народа, и с девятнадцатилетним Бинни Галлахером, беззаветно преданным идеалу свободы. На какой-то момент у Симона Воона возникает непривычное для него сомнение и чувство стыда за свою тайную предательскую роль. Но автор помогает ему освободиться от укоров совести, представив этих людей далекими от жизни, обреченными на гибель идеалистами, которые, сами того не сознавая, способствуют царящей вокруг жестокости. Тема жестокости вынесена в заглавие романа, поддержана эпиграфом, она проходит через все повествование. И получает свое достаточно обычное оправдание: всякое противоборство может быть разрешено только силой, и поэтому оно всегда сопровождается грязью и жестокостью.

Питер Дрисколл, автор романа «В связи с Килшоу» (1974), руководствуется другой, не менее ложной посылкой. Североирландский конфликт изображен в романе как вспышка старой междоусобицы, трайбализм, обусловленный разным происхождением, религией, темпераментом — «две нации, несовместимые, как полюсы». Эту точку зрения высказывает «специалист по ирландским делам», руководящий разведывательной операцией англичанин Партингтон. Но и герой романа, и сам автор молчаливо соглашаются с нею. Идея расхожая, и она бесконечно сужает картину действительности в романе. Хотя объективно изображенное по ходу повествования противоборство сил скорее оспаривает, нежели подтверждает эту мысль.

В романе Дрисколла не без критического прицела изображена деятельность английской разведки. Хитроумный руководитель операции Партингтон оправдывает свой откровенный аморализм «великой» целью умиротворения Ирландии, ради которой стоило пойти на обман, предательство, убийство. Жертвой обмана должен стать и его собственный агент, старый служака английской разведки Гарри Флинн: он выполнил задание и теперь должен погибнуть, чтобы не оставалось улик, свидетельствующих о тайных связях английской разведки с ирландскими республиканцами.

Герой ольстерского детектива до крайности однотипен. Гарри Флинн у Дрисколла — также полуирландец и почти с таким же послужным списком, что и у Хиггинса. Те же географические названия значатся в досье заглавного героя романа Джеральда Сеймора «Гарри ведет игру» (1975). В прошлом, как и Дрисколл, корреспондент лондонского телевидения, Сеймор вел «репортажи с места событий» — из Ирландии, стран Ближнего Востока, Италии. «Гарри ведет игру» — первый роман, принесший ему чрезвычайно широкую известность. Сеймор начинает с посылки, типичной для типичного «шпионского романа»: шпионы — те же солдаты на войне, которую они, как и все люди, не любят. Но вскоре, меняя ракурс, он заставляет героя иначе посмотреть на то, что происходит в Северной Ирландии, понять, что сам он — лишь пешка в игре лондонских политиков.

80-е годы не принесли сколько-нибудь заметных произведений детективного жанра на ольстерскую тему. Затянувшийся, углубившийся здесь кризис потерял для их авторов прелесть новизны. Ну, а уж если вспоминают об Ольстере, то пытаются накрутить такое, что могло бы поразить воображение совсем уж нетребовательного читателя и компенсировать отсутствие всякого намека на реальную ситуацию.

В романе Н. Демилле «Собор» (1981) боевики ИРА действуют уже на территории США. В центре Нью-Йорка они захватывают собор святого Патрика вместе с самим архиепископом и грозят взорвать его, если не будут освобождены узники, находящиеся в концлагере Лонг-Кэш. С той же целью у Хардимена Скотта в «Операции 10» (1982) террористы похищают саму Маргарет Тэтчер. И конечно же, в обоих случаях они терпят полное поражение, как моральное, так и физическое.

Сходность произведений, о которых шла речь, не ограничивается сюжетным построением и выбором героя. В основе ее — определенный угол зрения, позиция авторов, выступающих в роли сторонних наблюдателей, в поле зрения которых глубинные корни событий в Ольстере, да и сам психологический аспект их развития не попадают.

Пересечение частных судеб с судьбами страны, переживание общей трагедии как личной — характерная черта лучших произведений собственно ирландской литературы ольстерской проблематики. Между произве-

дениями таких известных ирландских авторов, как Бенедикт Кили, Кевин Кейси, Дженнифер Джонстон, Юджин Маккейб, Дэвид Мартин, Бернард Маклэверти, много общего. Прежде всего позиция писателей — она определяется знанием североирландской действительности, основанным на собственном опыте. Почти все они родились здесь и выросли. Маккейб и сейчас живет на самой границе с Северной Ирландией, так что в силу причудливой искусственности разделения территорий, чтобы попасть к нему, нужно трижды пересечь государственную границу. Немаловажное значение имеет и то, что они католики, хотя в творчестве это проявляется, пожалуй, только у Кили и Маклэверти. Но в Ирландии и атеисты «делятся» на католиков и протестантов. Эти факты личной биографии сообщают их произведениям чувство особой ответственности за происходящее, чувство боли, но одновременно те же книги говорят о неготовности или неумении их авторов увидеть картину в цельности, во взаимосвязанности ее частей. Порой писателей захлестывает чувство вины, охватывает отчаяние перед лицом «вечного проклятия насилия». Сила их — в способности задавать бесконечные вопросы, обращенные к истории страны и к самим себе.

Дающие художественный анализ сложнейшего, внутренне противоречивого комплекса явлений, проявившихся в современном североирландском кризисе, произведения этих писателей помогают увидеть ольстерскую проблему прежде всего в ее психологическом измерении. Подавляющее число ирландских писателей занимают позицию безусловного осуждения всякого насилия как способа освобождения Ирландии от английского колониального гнета. Они вносят большой позитивный вклад в понимание неупрощаемой ольстерской проблемы, вокруг которой, повторим, ведется острая идеологическая борьба. В ее условиях и создавались произведения, о которых пойдет речь,— не в вакууме, не путем правильных, но абстрагированных расчетов.

Произведения эти противостоят массовой литературе, представляющей события в Северной Ирландии, как уже говорилось, цепью нескончаемого насилия. Противостоят, однако, не тем, что переключают внимание читателя на другие сферы жизни, которая действительно и в самые худшие для Северной Ирландии времена не ограничивалась одним насилием. Их авторы обращаются к тем же фактам, о которых трубит официальная пропаганда, но показывают их в причинно-следственных связях, с глубоким психологическим проникновением в то, как они срабатывают.

Бенедикт Кили, писатель старшего поколения, родился и вырос в Ольстере, где и происходит действие большинства его произведений. Многие высказывания Б. Кили свидетельствуют о том, как остро он воспринимает разыгравшуюся здесь трагедию, хотя в художественном творчестве обратился к ней не сразу.

Название его романа «Проксопера» (1977) составлено из слов, означающих «операция по доверенности». Именно так определяет возложенное на него страшное задание старик Бинчи. Его семья захвачена активистами из ИРА и погибнет, если он не отвезет в город бомбу — ответ республиканцев на действия правых экстремистов. Во время поездки Бинчи вспоминает о прожитых годах, размышляет о природе чувства ненависти. Он мучительно ищет ответ на вопрос о происхождении насилия, но видит не истоки его, а механизм «цепной реакции», когда один акт насилия неизбежно влечет за собой следующий. Приходит неутешительное сравнение Ольстера с Алабамой; здесь, как и там,— «неразрешимая проблема». Повсюду протянулись линии раздела, линии раскола. Вот Бинчи проезжает кладбище, где похоронены его близкие. Оно поделено двумя главными перекрещивающимися, как распятие, дорожками: «Протестанты налево, католики направо: крест, который разделял их при жизни, разделял и в смерти».

Бинчи не доезжает до города. Свернув с дороги, он сбрасывает бомбу в болото. Позже, пройдя через все выпавшие ему испытания, он возвращается к вопросу о том, что же толкает людей на путь насилия. У него по-прежнему нет ответа, но в поисках его он выстраивает цепь событий и осознает собственную вину: «Ирландия. Давняя история. Англия. Империя. Король. Вильгельм. Папа. Ян Пейсли. Я сам. Я был учителем истории». Ответа нет и у автора. Но, посвящая роман «памяти безвинно погибших», тех, кто стал жертвой террористических актов, Б. Кили призывает разорвать порочный круг насилия.

В романе Кевина Кейси «Мечты об отмщении» (1977) вынесенное в заглавие слово «отмщение» в тексте дополняется синонимичным рядом слов: месть, возмездие, реванш, ревность. Ими передается эмоциональная реакция, перемещенная на объект, причинно не связанный с ее возникновением. В романе показано развитие чувства мести как разрушительного психологического механизма, не только вызывающего личные конфликты, но и закрепляющего национальные и религиозные предрассудки.

Роман написан как исповедь дублинского учителя Майкла Уолдрена, который хотя и заинтересованно, но как бы со стороны следил за ходом событий на севере. После трагической гибели любимой женщины от взорвавшейся в автомобиле бомбы общественная трагедия становится для него личной. Но жажда мщения, которую вызывает она в герое,— его чисто эмоциональная реакция.

К. Кейси показывает человека, обуреваемого сомнениями, чувством вины, жаждой мщения. Писатель анализирует эти чувства, создающие особое эмоциональное состояние, своего рода самообман, попытку уйти от решения сложных проблем. На какой-то момент его герой и сам осознает сложность своей позиции, и тогда проблема вины переходит в другой диапазон, становится проблемой ответственности. Когда же он снова разжигает в себе чувство мести, обвиняя всех вокруг, он подготавливает путь к отступлению на прежние позиции. «Я так и не знаю, почему она умерла, но теперь я редко задаю этот вопрос. Разрушающая рутина обыденной жизни сделала свое дело, и ответ на него уже не кажется таким важ-

ным» — этим признанием героя и завершается роман. «Мечта об отмщении», как подчеркивает писатель, в одних случаях порождает акт насилия, в других приводит к самоуспокоению и в обоих — уводит от сознания собственной ответственности, которое только и может правильно определить действия человека.

Это же доказывает и пример ирландского революционного демократа Майкла Девитта, над политической биографией которого работает герой романа. В 70-е годы прошлого века, осознав несостоятельность заговорщической террористической тактики фениев, Девитт выступил за сочетание массового крестьянского движения с парламентской борьбой, а позже воспринял социалистические идеи и обнаружил горячие симпатии к революционному движению в России.

Из биографии Девитта в романе извлекается важный исторический урок. Личный жизненный опыт, как выясняет в процессе исследований Майкл Уолдрен, мог породить в нем жажду мести, то есть чисто эмоциональную реакцию. Он же встал на путь организованных, планомерных действий. Легче «верить в этическое превосходство жертв», но плоды приносят лишь действия, направленные на единение народа.

Психологические проблемы, сходные с теми, которые ставят в своих произведениях Б. Кили и К. Кейси, в романе Дженнифер Джонстон «Тени на нашей коже» (1977) раскрываются в более выявленном социальном контексте. Свой роман Дж. Джонстон посвящает известному ирландскому драматургу Брайану Фрилу[1]. И это не случайно В пьесе «Почетные граждане» Б. Фрил, пожалуй, одним из первых ирландских писателей акцентировал социальную подоплеку североирландского кризиса, подчеркнув, что суть его не только в бесправном положении католического меньшинства, но в бесправном положении бедняков, составляющих большинство и на севере Ирландии, и во всем капиталистическом мире.

«Тени на нашей коже» заставляют вспомнить и о пьесе Шона О'Кейси «Юнона и павлин», в которой знаменитый ирландский драматург показал разрыв между высокими национальными идеалами и элементарными социальными правами людей. Мать в романе Джонстон, как и мать в пьесе О'Кейси, выражает точку зрения простых тружеников. Ей надоели рассуждения о свободе вообще, она хочет знать, будут ли люди обеспечены работой и жильем. Жизнь в семье Логанов удивительным образом напоминает жизнь Бойлей у О'Кейси. Мать кормит всю семью. Отец не работает, неустанно бахвалится своими прежними заслугами. В 20-е годы он был участником национально-освободительной революции, теперь же это его прошлое стало не только легендой, но и удобной маской. Он превозносит свой мятежный дух, а жена отвечает ему с горьким сарказмом, что единственное, против чего он всегда восставал,— это работа.

Действие романа происходит в Дерри, где напряженность обстановки достигает крайней степени. Североирландский конфликт показан писательницей изнутри, глазами юного героя Джо Логана, трудные обстоятельства жизни которого рано делают его взрослым. Через восприятие мальчика писательница мастерски передает гнетущую обстановку многолетней борьбы, когда едкий дым, обволакивающий город, стал самым привычным запахом, а выстрелы и взрывы — самыми привычными звуками. Сцены ночных налетов и арестов, повальных обысков, во время которых английские солдаты планомерно разоряют дом за домом, изображены в их страшной реальности. Улицы со слепыми домами — разбитые окна наскоро заколочены фанерой. Солдаты на перекрестках, подозрительно оглядывающие прохожих. Для отца и старшего брата Джо они враги, в них надо стрелять. Для матери — несчастные дети. Для Кэтлин Дохерти, дружба с которой так много тепла внесла в жизнь Джо,— мальчишки, находящиеся здесь не по своей воле, как ее жених, тоже английский солдат, не по своей воле отбывающий службу где-то в Европе. Отношение к ним Джо конкретнее и точнее — такие же солдаты обыскивали ночью дома в их квартале, выгоняли на улицу стариков и детей. Личное и общественное выступают здесь в сложном взаимодействии. В романе не преувеличивается мера личной вины каждого человека в разыгравшейся на его страницах драме. Вина лежит на тех силах, которые провоцируют в стране террористические действия, рождающие страхи и подозрительность. Писательница не дает прямых ответов на нелегкие вопросы, поставленные ирландской действительностью. Но всем строем повествования утверждает веру в дружбу, в силу гуманистических устремлений, способных объединить людей.

Североирландская ситуация вызывает глубокие раздумья и у Юджина Маккейба. Он видит коварство все обостряющейся болезни, занесенной сюда вирусом британского колониализма с его принципом «разделяй и властвуй». В рассказе «Рак» (сб. «Наследие и другие рассказы», 1978) писатель сравнивает ее со злокачественной опухолью, которая может не проявляться и пятьдесят лет, а потом быстро развиться и убить человека. Картина военно-полицейского режима угадывается по отдельным, уже ставшим обычными приметам: контрольным пунктам на дорогах, патрулирующим вертолетам. Как и в других своих произведениях, Маккейб выступает здесь скорее в роли психолога, занятого исследованием скрытых до поры процессов, ведущих к убийственному насилию. Он как бы хочет обратить внимание на то, что социальные причины, далеко не всегда такие уж очевидные, не только вызывают психологические конфликты, обостряющие взаимные подозрения, но и находятся с ними в сложнейшем взаимодействии. Казалось бы, у католика Динни Мак-Мэхона и протестанта Джилберта Уилсона общие заботы. Соседи, они нередко после работы встречались в пивной, говорили о торфе, земле, пенсиях. Откуда же теперь у Джилберта берутся слова ненависти, которые он бросает в лицо соседу, как оплеуху? И надо ли удивляться, что Динни, подвергающийся постоянным оскорблениям, видит единственный выход в том, чтобы

[1] О творчестве Б. Фрила подробнее см. в статье Н. Прозоровой «Театр надежды и отчаяния» («ИЛ», 1983, № 11).

«уничтожить всех этих мерзавцев». Маккейб не предлагает объяснения истинных причин углубляющейся ненависти, он лишь фиксирует признаки запущенной стадии болезни, не даюшей, как он считает, надежд на излечение

Порочный круг насилия как социально-психологический феномен с большим художественным мастерством выявляется и в повести Ю. Маккейба «Наследие», давшей заглавие всему сборнику. В ней намечена широкая картина расстановки общественных сил, на фоне которой происходит, казалось бы, вполне локальный эпизод. Эта картина складывается и из упоминания о нищих фермерах-католиках, предки которых были согнаны колонистами на бесплодные земли («Для них сотня лет — это вчера, а две сотни — позавчера»), и из описания протестантского семейства Армстронгов (его члены гордятся своим либерализмом, так как не отказывают католикам в работе, но это скорее приличествующая обстоятельствам игра, на самом деле «они не верят ни во что, кроме земли, биржи, акций и сохранения существующего порядка вещей»). Однако это лишь два полюса. Основное внимание писателя направлено на то, что находится между ними, на простых соседей-фермеров, протестантов и католиков, людей с достатком, испытывающих на себе воздействие психологического механизма закрепления негативных представлений друг о друге двух общин. Негативные представления рождают взаимную вражду и ненависть, а вражда и ненависть находят выход в террористических действиях, превращающих людей, как будто бы не способных на жестокость, в потенциальных убийц.

Любящей матери из протестантской семьи было бы легче видеть своего сына мертвым, чем женатым на католичке. Отец лишен предрассудков, но после убийства двух протестантов — хотя он и не представляет, кто из его соседей-католиков мог сделать такое,— начинает «сомневаться в них всех, всех их ненавидеть: вот что случается — людей толкают к ненависти». Милая девушка отказывается принимать участие в охоте на выдр, так жаль ей несчастных животных. Но на дежурстве в детской больнице эту «сестру милосердия» одолевает мысль что, если поджечь палату, на тридцать католиков сразу станет меньше. Главному персонажу повести, молодому протестанту Эрику О'Нейллу, который хочет жить в мире с соседями-католиками, в равной мере чужд фанатизм матери и ненависть невесты к католическим младенцам. Но он все же надевает форму военизированной организации протестантских экстремистов, чтобы его не заподозрили в трусости, хотя с горечью признается: «Я не знаю, почему на мне эта форма, с кем я воюю и ради чего ведется борьба». После трагического столкновения группы, в которую он входит, с католиками, боевики ИРА включили его имя в список приговоренных к смерти. Но обрек себя на гибель он сам.

В ночном кошмаре после того, как он стал свидетелем зверской расправы над двумя католиками, ему видится сковавшая всех бесконечная цепь, символизирующая надо думать, цепь насилий, и, больной ненавистью и страхом, он бежит из дому, чтобы погибнуть от пули английского солдата, действующего по принципу: сначала стреляй, потом спрашивай.

В пограничных графствах происходит действие повести Маккейба «Жертвы» (1976). Небольшая группа из ИРА захватывает дом протестантского помещика, отставного полковника Армстронга. Хозяева и их гости становятся заложниками. Им грозит смерть, если английские власти не освободят трех узников Лонг-Кэша. Однако действие романа Маккейба развивается отнюдь не по законам детективного жанра. И здесь писатель выступает в роли психолога, занятого исследованием скрытых процессов, которые привели к грубому насилию. Террористы и заложники, в течение многих часов вынужденные находиться лицом к лицу в одной комнате, настороженно присматриваются друг к другу. На сознании тех и других сосредоточено внимание писателя. В обеих группах персонажей он показывает людей, плохо понимающих происходящее и свою роль в нем.

Участница операции, двадцатитрехлетняя Лайнем, пребывает в состоянии духовного кризиса, вызванного не столько страхом, сколько сомнением в правомерности операции. Ее история, выписанная наиболее подробно, характерна для той части студенческой молодежи Запада, которая, пытаясь найти свой путь к активному действию, увлеклась левой фразеологией. Лайнем презирала отца, депутата парламента и пьяницу, мать, вечно окруженную иезуитами. Она устала от рассуждений об «особых ирландских условиях, от пьяной, бессмысленной болтовни, за которой не следовало ничего кроме следующего прилива болтовни».

Но ее не удовлетворяет и простая вера старой женщины, матери братьев Макалиров, тоже участвующих в операции по захвату Армстронгов, готовой героически пожертвовать сыновьями, «чтобы освободить Ирландию». Лайнем надо знать: «для кого», «от кого» и кто такие «мы» и «они».

Насилие, когда оно из исключительной меры, обусловленной безвыходными обстоятельствами, становится обычным и единственным средством борьбы и даже некой философией, превращается в неконтролируемую разрушительную силу. Маккейб показывает, как в ходе операции между членами группы, ее осуществляющей, исчезают последние следы товарищеской солидарности. Выбрав заложниками случайных людей, не так трудно сделать следующий шаг и принести в жертву собственных товарищей.

Но и сами заложники — фигуры не однозначные. Писателя интересует, кто они, в какой мере лежит на них вина, личная или историческая. В течение веков Армстронги силой и хитростью, жестокостью и холуйством приумножали свои богатства. И если в прошлом веке их предки помогали крестьянам во время голода, то ведь и «великая королева Виктория дала пять фунтов в помощь голодающим ирландцам и на той же неделе пожертвовала пять фунтов в фонд защиты английских собак» В семействе Армстронгов католиков не отказывались брать в слуги, к религиозным различиям не относились слишком серьезно, но считали полезным поддерживать религиоз-

ную рознь. И вот теперь она вылилась в дикий фанатизм.

Беспомощный, глухой старик Алекс Бойд-Кроферд — наследник старинной ольстерской фамилии, где к католикам всегда относились с презрением, а «когда слышишь о чем-то с детства, правда оно или ложь, это уже пристает к тебе навсегда». Поставив персонажей лицом к лицу, террористов и заложников, Маккейб подводит читателя к мысли об ответственности тех и других за сложившуюся в стране ситуацию, они ее виновники и моральные жертвы.

Упомянутые произведения Маккейба прочитываются как триптих о болезни, ее происхождении и возможном исходе.

В действие романа Дэвида Мартина «Церемония инициации» (1977) вовлечено значительно большее число персонажей, и развивается оно на более длительном отрезке времени. Нарастание кризиса (опять же по преимуществу в его психологическом преломлении) показано в динамике: с военных лет и до конца 60-х годов. Недавние друзья, не придававшие прежде особого значения религиозным различиям, оказываются в разных лагерях, несущих друг другу смерть. Обречены на гибель и те, кто, как главный герой Колм, пытаясь сохранить «невинность», берут на себя роль посредника, не понимающего, что происходит, и потому бессильного объединить людей.

В обеих общинах писатель видит людей, пытающихся разобраться в социальной и экономической сути конфликта, проявляющегося в форме религиозной и национальной вражды. Пресвитерианца Уилли Макалистера и католика Джерри Харрисона объединяет интерес к социализму. Оба понимают губительность распрей внутри рабочего класса, подогреваемых католической церковью и протестантским оранжистским орденом, «двумя самыми реакционными силами в нашей стране сегодня». Понимают националистическую узость ирландского республиканизма и шовинизм имперских притязаний Британии. Но у них нет конструктивной политической программы, и они не находят путей к тем, кто может ее предложить.

В их позиции отсутствуют четкие ориентиры. И потому Уилли не исключает того, что, будь он моложе, он мог бы «оказаться в одном стане с протестантскими экстремистами, которых презирает», а Джерри, еще недавно пытавшийся образумить брата, активиста ИРА, теперь случайно оказавшись втянутым в стычку, испытывает «сильный прилив мятежности», стреляет в английских солдат и сам погибает от пули одного из них. Потрясенный гибелью друга, Уилли напрасно пытается со ступеней таможни обратиться с проповедью мира к согражданам — «слушать было некому», проезжающим на машинах был виден только «глупый старый дурак, беззвучно раскрывающий и закрывающий рот».

Первым эпиграфом к роману Д. Мартин поставил слова К. Маркса из работы «Восемнадцатое брюмера Луи Бонапарта»: «Люди сами делают свою историю, но они ее делают не так, как им вздумается, при обстоятельствах, которые не сами они выбрали, а которые непосредственно имеются налицо, даны им и перешли от прошлого. Традиции всех мертвых поколений тяготеют, как кошмар, над умами живых»[1]. Слова эти многое объясняют в авторском замысле, и не только этого произведения.

Роман Бернарда Маклэверти «Лэм» (1980), хотя сюжетно и не связанный с ольстерскими событиями, прочитывается как притча, как вызванное ими размышление о трагедии общественной и личной, о справедливости исторической и человеческой. О цели, оправдывающей средства, об истории, требующей жертв, в романе разглагольствует настоятель монастыря, в подчинении которого находится исправительная школа для малолетних правонарушителей,— человек жестокий и коварный. Демагогически апеллируя к страданиям Ирландии, к справедливой борьбе за ее единство, он говорит о неизбежности жертв, якобы подтверждаемой ходом истории: «Когда речь идет об истории, брат мой, мы не можем оплакивать отдельных лиц. Жестоко звучит, но тем не менее это так. Кто станет оплакивать жертвы французской революции?»

Другой священник, Майкл Лэм, учитель той же школы, противопоставляет ненависти, порождающей зло, любовь, творящую добро. Во имя этой любви он готов принести искупительную жертву: посвятить жизнь спасению хотя бы одного-единственного человека — двенадцатилетнего Оуэна, страдающего эпилепсией, самого несчастного мальчишки в школе. В Лондоне, куда он увозит мальчика, Лэм, скрываясь от полицейской погони, счастлив мыслью, что дает Оуэну то, чего тот никогда не имел: хорошую одежду, вкусную еду, дорогие игрушки. Но идея самопожертвования незаметно искажается в его сознании, превращаясь в идею жертвоприношения. И когда становится понятно, что от полиции им не спастись и что у Оуэна нет будущего, которого он ему желал бы, Лэм предпочитает убить мальчика сам (раньше его пыталась убить ненавидевшая его родная мать), но не возвращать в мрачную атмосферу исправительной школы. Свой поступок Лэм оправдывает бескорыстной любовью. Почти ритуальная сцена убийства описана сдержанно, почти спокойно, и тем сильнее пробуждается мысль о том, что принесение в жертву другого человека — будь то во имя любви, ненависти или исторической справедливости — всегда противно человеческой морали.

Следующий роман Б. Маклэверти, «Кэл» (1983), уже непосредственно посвященный североирландской драме, говорит о судьбе обыкновенного человека в мире, объятом войной. Писатель исследует характер пассивный, даже безвольный. Девятнадцатилетний Кэл не властен над собственной судьбой, она определяется окружающей обстановкой. Сам он хочет только одного — чтобы его оставили в покое. Ему страшно. Страшно жить в протестантском квартале североирландского городка, где они с отцом остались единственными католиками и где им угрожают расправой, если они не съедут. Страшно участвовать в операциях местных активистов ИРА, но еще страшнее отказать им в помощи. День за днем, за-

[1] К. Маркс, Ф. Энгельс. Соч., 2-е изд., т. 8, с. 119.

крывшись в спальне, Кэл вслушивается в пугающую тишину дома, вздрагивает от шагов почтальона. Лишь магнитофон и гитара помогают на время забыться, «заглушить тишину».

Время относительного покоя наступает для Кэла после того, как протестантские экстремисты привели в исполнение угрозу и сожгли его дом. В заброшенной хижине на ферме протестантов Мортонов, где он батрачит, Кэл, казалось бы, может чувствовать себя в безопасности и от полиции, и от ИРА. Но страх его неизбывен и еще усиливается от сознания собственной вины: его согрела любовью невестка Мортонов — вдова полицейского-резервиста, невольным пособником убийства которого Кэл оказался год назад. Вот почему он почти рад аресту и даже испытывает облегчение оттого, что теперь его «изобьют до полусмерти». Этими словами заканчивается роман Маклэверти о еще одной жертве Ольстера. Его герой не бог весть какой мыслитель, но, разговаривая с людьми, представляющими противоборствующие силы, он порой задает самые простые вопросы, звучащие, однако, как вечные вопросы о человечности.

Волонтер ИРА Скеффингтон, вставший на путь террора, учит Кэла «думать о деле, а не о людях», апеллируя к праву угнетенных бороться любыми доступными им способами: «Если кто-то наступит тебе на горло, ты вправе сломать ему ногу». «Мясничным молотом?» — спрашивает Кэл, намекая на то как сам Скеффингтон расправился с шестнадцатилетним парнем. Для протестанта Данлопа, рабочего фермы, вполне сочувственно относящегося и к Кэлу, и к его отцу, война оправдывает все, в том числе гибель невинных. Сам бы он всех узников Лонг-Кэша превратил в заложников: за каждого убитого полицейского или солдата он «ставил бы к стенке двух негодяев». «Ну, а если убит католик, с лоялистскими заключенными ты поступал бы так же?» — спрашивает Кэл. На этот вопрос Данлопу ответить трудно. Но извращенность обыденного сознания, отравленного религиозным фанатизмом, обнаруживается сполна, когда он объясняет, чем его не устраивает объединенная Ирландия: «— Ольстерцы скорее умрут, чем будут жить под игом римского католицизма. Серьезно, Кэл, я скорее умру, чем это допущу.— Кэл ему поверил и замолчал».

В романах Маклэверти, как и в произведениях других ирландских писателей, о которых шла речь, не найти активно действующих положительных героев. Но вряд ли можно сомневаться, что сами писатели выступают активными участниками «битвы за сердца и умы», учат искусству жить вместе. Ольстерская действительность показана в их книгах без прикрас, в ее реальной сложности. Подвергая пристальному анализу стихийные чувства людей, возникающие в таких условиях, эти ирландские писатели способствуют воспитанию эмоций и формированию сознания. Они не предлагают рецепта скорого лечения «североирландской болезни», но ставят диагноз и отметают то, что препятствует выздоровлению. Для них Ольстер — не «горячая», а болевая точка, отзывающаяся страданием собственного сердца. Их книги противостоят фальсификаторским сочинениям и предупреждают об опасности упрощения того, что на самом деле очень сложно.

◆

Критика

К 125-летию со дня рождения РАБИНДРАНАТА ТАГОРА

В. ИВБУЛИС

ВЕЛИКИЙ СОЗИДАТЕЛЬ

Автопортрет Рабиндраната Тагора.

7 мая 1861 года в Калькутте родился художник — в самом широком смысле этого слова,— которому было суждено прославить Индию, быть может, больше, чем любому другому писателю на протяжении всей тысячелетней истории страны. Мы не располагаем данными о том, произведения каких индийских писателей на Западе чаще всего переводились в начале 20-х годов, но думаю, что Рабиндранат Тагор (Робиндронатх Тхакур) занимал среди них одно из первых мест, если не первое. Тогдашние немецкие газеты «жаловались», что бенгальский поэт был более популярен в Германии, чем Гёте. Начиная с 1913 года, когда Тагор, получивший Нобелевскую премию, оказался в центре внимания мировой прессы, и по сей день он широко читаем и в нашей стране. На каждой шестой индийской книге, изданной на русском языке, стоит имя Тагора. И русский язык прочно занимает первое место в мире по числу опубликованных на нем вне Индии произведений поэта. Причем, в отличие от, скажем, французов, испанцев, от жителей других стран почти всей Западной Европы, советский читатель знакомится с переводами поэзии, прозы и драматургии Тагора с бенгали, языка оригинала, а не с английского.

Тагор всегда был большим другом Советского Союза. Еще в 1918 году он заявил, что революционная Россия держит в своих руках знамя истинных идеалов. После поездки в Москву в 1930 году поэт издал до сих пор хорошо известные в Бенгалии «Письма о России» которые начинаются словами: «Наконец я в России Все, что вижу, поражает как чудо. В других странах нет ничего подобного. Они разбудили и подняли на ноги весь народ»

Посвятив многие годы изучению жизни и творчества Тагора, я десять месяцев проработал в университете Вишва-бхарати, созданном в 1921 году[1] Тагором для всех желающих, без различия каст. На это время я поселился в насчитывающем лишь несколько тысяч жителей поселке Шантиникетон в 165-ти километрах севернее Калькутты, где в 1901 году Тагор основал в имении отца на свои средства школу (на ее базе и был позднее организован уни-

[1] Тогда же в одной из деревень близ Шантиникетона Тагор организовал просветительский центр для распространения среди крестьян сельскохозяйственных, технических и медицинских знаний *(Здесь и далее прим. авт.)*.

ИВБУЛИС ВИКТОР ЯЗЕПОВИЧ (род. в 1933 г.)

Советский востоковед, доктор филологических наук. Автор книг «Рабиндранат Тагор» (на латышском языке, 1978), «Литературно-художественное творчество Рабиндраната Тагора» (1981).

верситет). И я пришел к выводу, что наиболее характерная черта его многосторонней деятельности — непрерывное созидание. Уже в зрелом возрасте поэт писал: «Художник должен провозгласить свою веру в вечное «да», заявляя: «Я верю в то, что над нашей Землей и в ней существует идеал, идеал рая, являющегося не плодом фантазии, а, напротив, абсолютной реальностью, в котором все существует и движется. Я верю в то, что этот рай можно разглядеть в солнечном свете и зелени земли, в красоте человеческого лица и богатстве человеческой жизни, даже в вещах, которые кажутся незначительными и незаметными».

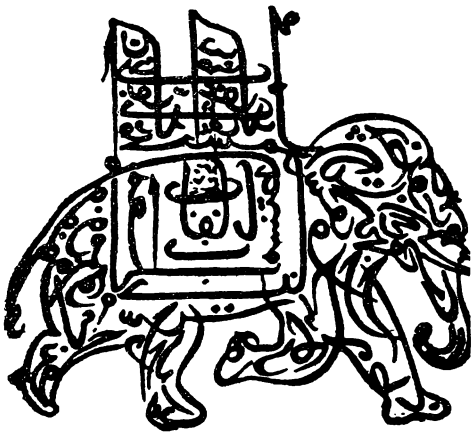
Верой в «вечное «да» освещена вся жизнь Тагора. Глубинный оптимизм был свойствен ему даже в 1910—1912 годы, когда вышли в свет такие сочинения, как, например, пьесы «Раджа» и «Почта», свидетельствовавшие о кризисном состоянии души поэта и поиске им ценностей за пределами земных радостей и огорчений. Бог поэта в основе своей и тогда оставался Личностью, созданной им самим, а не заимствованной из священных книг. Выдающийся немецкий индолог Мориц Винтерниц, длительное время живший в Шантиникетоне и пользовавшийся большим уважением Тагора, отмечает: «Мысли о боге и мире, о человечестве приходят к нему словно вдохновение, подобно тому как рождается песня или мелодия. Он часто признается, что не находит исчерпывающего ответа на так называемые религиозные и теологические вопросы, как и на вопрос о том, что является причиной зла в мире или что происходит после смерти». Но Тагор все же определенно заявляет, что его религия — «вера поэта»: «Бог не далеко от нас, не в храмах, он в нас. Он незримо пронизывает рождение и смерть, счастье и страдания, грех и благочестие, соединение и расставание. Земля — его храм. Это живое, вечно бодрствующее, огромное святилище все время пересоздается в новых формах. В нем нет ничего совершенно нового и ничто не устаревает. Нет и покоя — все подлежит неустанному превращению и все же не уничтожается основополагающее единство, истинное существование и постоянство, потому что в изменяющемся разнообразии проявляется Вечная Истина». Под этой Вечной Истиной можно подразумевать не только Брахмана из упанишад [1] (высшее объективное начало) в единстве с Атманом (высшим субъективным началом в душе человека), но и верховное божество любой религии. Не зря сочиненная Тагором песня «Джаганаганамана», ставшая гимном его страны, воспевает «бога удачи Индии», не зря на стихи Тагора создан гимн и другого государства — Бангладеш, не зря главный герой его наиболее крупного и важного романа «Го́ра» говорит Порешу (символ религиозной и социальной свободы): «Сделайте меня своим учеником. Дайте мне теперь мантры (священные слова.— *В. И.*) такого бога, который является богом всех — индусов, мусульман, христиан и брахмаистов, храм которого открыт для всех каст и всех наций и двери которого никогда не закрываются, ибо это бог не только индусов, но и бог Индии». В стихотворении «Ребенок» (единственное стихотворение, написанное Тагором на английском языке) поэт воспевает день рождения Иисуса Христа, в других сочинениях многократно восславляет Будду. Песни «Гитанджоли», которые в переводе воспринимались европейцами как гимны богу (такими они по форме и являются), на родине поэта религиозной поэзией не считались.

Такова вера Тагора, дающая ему полную свободу мысли, допускающая острую критику религиозных догм и связанных с ними таких норм поведения, которые унижают человеческую личность. В романе «Четыре жизни» автор с гораздо большей симпатией высказывается об атеизме, чем о религии в ее реально существующих формах, в «Письмах о России» восхищается революционерами, которые с корнем вырвали старое, включая религию как государственный институт. Лишь на рубеже двух веков, когда Тагор пытался сблизиться с ортодоксальным индуизмом, надеясь найти в нем идейную опору борьбы за национальную самостоятельность страны, в его публицистике можно было встретить такие выражения, как «яд мирской жизни».

Рабиндраната Тагора без каких бы то ни было оговорок можно назвать великим гуманистом. Он не просто любил людей, не просто верил в бесконечные возможности каждого человека и прогресс общества в целом, он считал личность высшей ценностью, обожествлял ее. В 90-е годы прошлого столетия он находил «божество жизни» лишь в собственной душе, то есть в душе художника. Постепенно его концепция расширяется, становится концепцией «Вечного человека», «Универсального человека», «Человека-бога», не признающего ни биологической ограниченности своего существования, ни каких-либо этнических или социальных границ. Такой человек прозревает будущее, его земля не определенное географическое понятие, но место обитания всех людей. «Религия Человека» и означает для Тагора беспрестанный поиск вечности в самом себе.

Тагор легко и быстро завоевал признание на Западе. Среди причин, обусловивших необыкновенную его популярность, видимо, следует учесть то, что, раздираемая шовинистическими амбициями накануне первой мировой войны и потрясенная бессмысленной империалистической бойней после нее, Европа, да и Северная Америка нуждались в жизнеутверждающей философии, в идеях, опирающихся на единство человеческого рода и общность его судеб. На приеме в Лондоне, организованном в его честь, поэт как-то сказал, что встреча Востока и Запада должна привести к их «священному союзу перед алтарем человечества». Он имел право так говорить, потому что вырос в атмосфере уважения ко всему лучшему, чем могли гордиться индийская и западная культуры. Его собственная деятельность и творчество представляют собой непрерывное стремление к синтезу духовных ценностей, выработан-

[1] Упанишады (санскритское «упанишад» — букв. «тайное учение») — общее название различных по характеру философских сочинений древней Индии.



ных народами разных регионов нашей планеты.

Но разумеется, больше всего он учился у своих соотечественников. Всю жизнь Тагор с глубоким уважением ссылался на мудрость упанишад. Однако — это убедительно показано в фундаментальной работе бенгальской исследовательницы Помпы Моджумдар («Индийский характер и истоки культуры Рабиндраната») — как правило, упоминал одни и те же немногочисленные наиболее близкие его мировоззрению короткие высказывания древних сочинений и к тому же переводил их свободно. Он широко использовал сюжеты великих эпосов «Махабхарата» и «Рамаяна», буддийских сочинений, но вкладывал в них новый смысл. В пьесе «Читрангада», например, он призывает к эмансипации женщины (жена божественного воина Кришны должна разделять его жизнь в роли друга и товарища), что было бы невозможно в соответствующем эпизоде «Махабхараты». Любовь человека к богу и бога к человеку (именно к этому сводится вишнуизм — поклонение богу Кришне, одному из воплощений Вишну)— тема, часто встречающаяся в творчестве и особенно в публицистике Тагора. В стихотворениях, написанных в 1910—1912 годах, прямо-таки звучит божественная флейта Кришны. Не поклонявшийся этому очень популярному в Бенгалии богу, поэт, однако, использовал богатую образность вишнуитской лирики.

Нередко в поэзии и драматургии Тагора появляется и образ Шивы. Этот Сверхкудожник, создающий и разрушающий мир, вечно танцует. Его танец, в котором — воплощение человеческого счастья и страдания, жизни и смерти, покорял поэтическую душу Тагора. Однако в его пьесах «Свободное течение» и «Красные олеандры» грозный актер Шива играет роль, не имеющую прецедента в индийской традиции,— он как бы становится вдохновителем борьбы против Машины, олицетворяющей враждебный человеческой жизни механизм буржуазного западного государства, под которой можно подразумевать и британскую власть в Индии. Это один из немногих случаев в творчестве Тагора, где богу, которому поклоняются его соотечественники, как бы предоставляется возможность повлиять на развитие мировой истории. Подобной способностью он наделял лишь Будду.

Поэт знал и очень высоко ценил богатый бенгальский фольклор, собирал и публиковал народные песни. В величественном здании его литературного наследия можно обнаружить и элементы творчества народных певцов — баулов. Они находятся вне официальной социальной лестницы, не испытывают никаких ограничений во взаимоотношениях с людьми любых каст и религий. Вероятно, именно поэтому Тагор подражал баулам, сочинял песни, выступал в роли баула на представлении пьесы «Фалгуни» и, может быть, даже позаимствовал у них название своей «Религии Человека».

Думаю, можно утверждать: в разнообразном идейном и культурном наследии Индии Тагора больше всего привлекало то, что имело наибольшую общечеловеческую ценность и соответствовало его собственным устремлениям.

С молодых лет поэт чаще и убежденнее, чем кто-либо в Индии, призывал уважать национальную культуру и родной язык, сделать бенгальскую литературу по идейному содержанию и художественному мастерству равной произведениям лучших западных писателей — таких, как наиболее полюбившиеся индийцам во второй половине XIX века Шекспир, Скотт, Шелли, Гёте, Гюго и другие. На долю Тагора выпала и нелегкая задача осуществлять «обратную связь»— быть знаменосцем новой литературы Востока за рубежом. Он много путешествовал по всем (за исключением Австралии) континентам, и его воспринимали повсюду как неофициального посла просвещенной и свободолюбивой Индии. Признавал Тагор также влияние западной культуры на собственное творчество. В 1933 году он писал: «Динамизм Европы взял приступом наши пассивные умы. Он подействовал на нас, как ливень из тучи, пришедшей издалека, действует на пересохшую землю, пробуждая в ней жизнен-

ные силы». Поэт знал сочинения многих передовых мыслителей и писателей Европы и Северной Америки, которые воздействовали на него, может быть, не меньше, чем великий Калидаса. Тагор работал почти исключительно в жанрах, свойственных западной литературе: романы, рассказы, пьесы. Значительно отходит он от требований традиционной индийской эстетики и в своей необыкновенно многообразной лирике. Он пишет поэмы, баллады, элегии, сонеты, но чаще всего создает собственные поэтические формы. Поэт использует традиционные бенгальские стихотворные размеры, но изобретает и свои. Из более чем двух тысяч написанных им песен основная часть находится в постоянном «культурном обороте» и сегодня. В программах калькуттского радио я насчитывал в день до семи песен Тагора. С ними каждый бенгалец — наш современник — утром встает и вечером ложится.

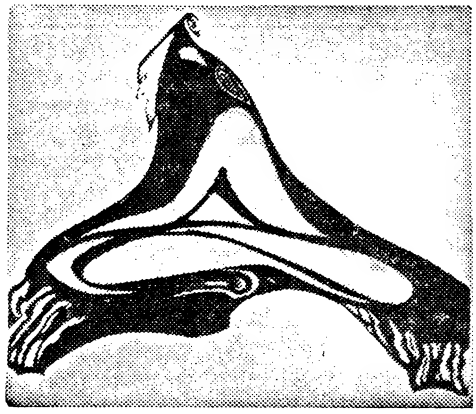
Думаю, одна из основных причин огромной популярности и жизнеспособности мелодий Тагора — гениальный синтез элементов древней индийской, народной бенгальской и европейской музыки. Этот синтез обнаруживает себя и в танцевальных драмах поэта, где органически сливаются музыка, танец и литература.

А вот в тех видах искусства, которые Тагор освоил лишь под конец жизни,— в графике и живописи,— он, по мнению индийских специалистов, почти полностью отошел от национальных традиций. Его работы, отмеченные несомненной печатью таланта и самобытности, имеют много общего с европейским экспрессионизмом, в чем читатель имеет возможность убедиться по нескольким рисункам Тагора, которые воспроизведены здесь.

Отрицая древнеиндийское понятие о мире как о «неистинной реальности», поэт говорит, что все окружающее должно стать объектом нашего познания, он призывает писателя, художника к отображению простого и будничного в жизни человека. Но в то же время подчеркивает: «Нельзя гордиться литературой, в которой за всем, что прискорбно и дурно, не видно величия человека. Ведь в литературе он запечатлевает себя, свой слепок, в долговечном материале. Вечный человек не просто человек, а созерцатель; желания, явно или тайно владеющие его душой, устремлены ввысь, к райским сферам, они озарены светом неодолимого мужества». «К райским сферам» устремляется у Тагора и страстный борец за свободу Индии — герой такого произведения, как роман «Гора», где превалирует реалистическое художественное восприятие реальности, где создано широкое полотно общественной жизни Бенгалии 70-х годов XIX века.

Но доминанта творческого метода Тагора, по моему глубокому убеждению,— поздний романтизм, обогащенный достижениями критического реализма и символизма, то есть еще один синтез, причем, может быть, наиболее сложный из всех созданных Тагором.

В многочисленных, развернутых сочинениях Рабиндраната Тагора по эстетике нет высказываний, в которых он разделяет мысль реалистов о том, что искусство пре-



образует жизнь, изучая ее и отражая. В сочинениях двадцатилетнего поэта встречаемся с утверждением, что художник сам создает новую реальность, а к концу жизни он пишет: «Абстрактную истину можно отнести к науке и метафизике, но мир реальности принадлежит искусству»; «...наша Вселенная является суммой всего того, что Человек чувствует, знает, воображает, о чем рассуждает, и того, что надлежит ему узнать в настоящее или в другое время». В искусстве человек выражает себя, а не объекты своего внимания. Объекты внимания находят место в книгах справочного и научного характера, где он должен полностью спрятать свое «я». «Литература призвана связывать сердца воедино, в этом ее конечное назначение».

В эстетике Тагора выражена основополагающая мысль: как едина и гармонична Вселенная, созданная Божественным Художником, так един и гармоничен должен быть мир, созданный человеком-творцом, ибо, творя, он становится подобным богу.

Таким художником-созидателем был сам Тагор, действительно преобразовавший и поднявший индийскую литературу на новую ступень, глубоко понимавший, что будущее страны — в преодолении религиозных и кастовых барьеров, в единении всех сил. «Единство — высшая истина человечества, и мы должны сделать так, чтобы эта истина восторжествовала в нашей стране. Только тогда, когда она будет усвоена нашей историей, кончатся все наши беды и страдания» — писал Тагор, призывая к творческой активности как высокому жизненному идеалу.

Но заслуги Тагора перед родиной были бы менее значительными, если бы он ограничился лишь призывами высвободить творческие возможности человека. Поэт же приложил огромные усилия, чтобы на практике воплотить свои благородные идеи, воспитывая молодежь в созданных им в Шантиникетоне учебных заведениях в духе гуманистического мировоззрения, любви к национальной культуре, уважения ко всем народам, непримиримости к расовой и кастовой дискриминации. Девиз университета Вишва-бхарати — «Где мир становится единым гнездом». И сегодня в нем обучаются студенты из разных частей Индии и других стран. Они обычно носят желтую форму, введенную Тагором, жи-

вут в общежитиях, вместе отмечают праздники, почитавшиеся поэтом, вместе наблюдают, как меняются со сменой времен года деревья, которые хорошо помнят его, человека, посадившего и любившего их как живые существа. В стенах этих учебных заведений, как и при жизни поэта, запрещена пропаганда какой-либо из реально существующих религий.

После смерти Тагора 7 августа 1941 года многое, конечно, изменилось в Шантиникетоне: школа и университет стали больше походить на обычные, искусство и литература в них занимают теперь менее видное место, чаще практикуются занятия в классных комнатах, учащиеся больше пользуются учебниками. Однако в той мере, в какой это возможно в условиях быстро изменяющегося современного мира, Шантиникетон чтит заветы создателя учебных центров, которым во всем мире не найдется аналогов, потому что они воплощают собой жизненную философию одной из ярчайших индивидуальностей XX века.

Поэт когда-то убеждал соотечественников: «В хорошую погоду занятия следует проводить в тени деревьев. Полезно также вести обучение в форме беседы между учителем и учениками во время прогулок, по вечерам наблюдать за звездами, заниматься музыкой, слушать исторические сказания и легенды». Сегодня, спустя много десятков лет, в любимой им манговой роще и вокруг нее на земле сидят мальчики и девочки и внимательно слушают учителя. Поздно ночью, когда замолкают даже бродячие собаки, в «Обители покоя» (Шантиникетоне) или рядом с ним, в «Обители процветания» (Шриникетоне), идут представления народного театра — джатры — или звучат индийские национальные музыкальные инструменты и голоса певцов, приезжающих сюда со всех концов Индии. А весной жители окружающих сел собираются на многолюдную ярмарку, которая кончается удивительно живописным восточным фейерверком. Все это — традиции, начало которым было положено когда-то поэтом.

Он не представлял себе жизни без красоты, без необыкновенного. Его дом, выстроенный в начале 20-х годов, из которого под конец жизни он переходил во все более и более скромные жилища, разместившиеся рядом, можно с полным основанием назвать застывшей музыкой, непрерывно звучавшей в душе поэта. Это прекрасное здание выделяется среди скромных и неприметельных домов поселка своей красотой и изысканностью. Мне оно всегда представлялось символом того, как сам Тагор «вписывался» в индийскую действительность своего времени: он высоко поднимался над уровнем современного ему образа жизни и мышления.

Учебные заведения, созданные Тагором, не зажгли огонь просвещения в окружающих селах, вопреки его надеждам. Более того, сегодня его «остров счастья и благополучия» раздираем противоречиями, свойственными индийскому обществу. Но и сейчас в стране много людей, унаследовавших мечту Тагора о воспитании всесторонней личности в тесном единстве с природой.

Особо следует сказать об отношении Тагора к национально-освободительной борьбе в Индии и ее руководителям. Рассматривая этот вопрос, нельзя забывать о том, что из трех столпов, на которых зиждилось его мировоззрение — Истины, Красоты и Добра,— наиболее важным была для него Красота. Стремление во всем найти красоту порой заставляло поэта призывать к единству, гармонии и согласию даже там, где могла идти речь лишь о бескомпромиссной политической борьбе. Никто не рискнет обвинить Тагора в равнодушии к судьбе родины. В 1904—1905 годах он был среди идейных вдохновителей патриотического движения свадеши[1]. После жестокого расстрела колониальными властями безоружной толпы в Амритсаре в 1919 году отказался от титула баронета и всех привилегий, дарованных ему британским правительством. До конца жизни Тагор поддерживал самые теплые отношения с Махатмой Ганди.

Поиски Тагором путей к национальной самостоятельности страны отражают наиболее известные романы — «Гора» (1907—1910), «Дом и мир» (1915—1916). Размышления о том, как сплотить силы и сбросить колониальное иго, воплощены во многих стихотворениях Тагора. И почти после каждого всплеска политической активности поэта следовал его уход в педагогическую деятельность и художественное творчество. Он не примкнул к организованной национально-освободительной борьбе под руководством Махатмы Ганди, хотя цели ее в общем были, несомненно, близки ему. Тагора, по-видимому, пугало это гандистское «не»: *не*сотрудничество с британскими властями, *не*уплата налогов, гражданское *не*повиновение, *не*посещение созданных англичанами учебных заведений, бойкот иностранных товаров... Поэт ведь непрерывно строил мосты между Индией и Европой. Возможно, ему казалось, что несотрудничество с британским колониальным режимом равносильно отказу от связей с английским народом вообще, что для Тагора было неприемлемо.

Необходимо отметить и то, что историю Индии Тагор рассматривал как историю непрерывного развития по пути к единству и синтезу ее разнородных, даже противоборствующих элементов. И кроме всего прочего, поэт был столь ярко выраженным индивидуалистом, что вряд ли смог бы подчиниться воле других, даже таких высокочтимых людей, как Ганди.

Великий Тагор много содействовал повышению чувства собственного достоинства соотечественников, укреплению международного авторитета своей родины. Независимая Индия унаследовала и песни Тагора, и его картины, и его педагогические идеи вместе с созданным им комплексом учебных заведений. Поэтому и сегодня Тагор любим и почитаем всеми народами Индии.

---

[1] Свадéши (букв.— отечественный) — лозунг сторонников развития национальной промышленности Индии. Принят как программное требование партии Индийский национальный конгресс на Калькуттской сессии 1906 года.

Трибуна переводчика

Л. ЧЕРКАССКИЙ

НАЧНЕМ С ЗАГЛАВИЯ...

Редакция «Иностранной литературы» пригласила своих авторов включиться в разговор о «сути переводческого труда», о том, каковы «компоненты», способные сделать перевод «явлением отечественной литературы»[1]. Именно о «компонентах» мне и хотелось бы поговорить, причем на материале переводов русской классики на языки стран зарубежного Востока.

Бытует расхожее мнение, что удачно переведенное произведение как бы автоматически включается в принимающую литературу в качестве ее органической части (оно становится, как говорят, «явлением отечественной литературы»). Но подобное определение лишено реального смысла, ибо в лучшем случае констатирует лишь следствие сложного и неоднозначного процесса. Во-первых, каковы критерии образцового с точки зрения принимающего языка перевода? Конечно, дурно выполненный перевод вряд ли имеет основание претендовать на особую роль в иноязычной литературе. Но главное в другом: в необходимости определения внутренних предпосылок, ведущих к сближению русского произведения с часто далекой от него по многим параметрам инонациональной литературой.

Изначальной и непременной предпосылкой превращения произведения русской классики в часть инонациональной литературы (кроме высоких художественных достоинств самого перевода, как такового) явились социальная, нравственная и эстетическая значимость и притягательность этого произведения для принимающей литературы. На этой основе происходил и происходит процесс вживания, превращения русской литературы в фактор других национальных культур.

Здесь и уместно вспомнить превосходную статью С. Апта, посвященную приобретшей в наши дни особую остроту проблеме «выбора объекта работы», заметив при этом, что при переводе на восточные языки (и на западные тоже) всемирно значимой русской классики проблема отбора решалась и решается сравнительно просто. С. Апт пишет о миссии переводчика как первооткрывателя неизвестных читателю авторов и книг, о его «социальной культурности», «не терпящей отстранения от эпохи, в которую живешь», и о многом другом. Полагаю, что «эмоциональная культурность» переводчика также имеет прямое отношение к проблеме отбора.

Любой из нас имеет основанье
добавить, беспристрастие храня,
в чужую скорбь свое негодованье,
в чужое тленье своего огня.—

писал когда-то Л. Мартынов.

[1] См. статью С. Апта «Время и переводчик» («ИЛ», 1985. № 9).

ЧЕРКАССКИЙ ЛЕОНИД ЕВСЕЕВИЧ (род. в 1925 г.)

Советский литературовед и переводчик, доктор филологических наук. Автор монографии «Поэзия Цао Чжи» (1963), «Новая китайская поэзия» (1972), «Маяковский в Китае» (1976), «Китайская поэзия военных лет» (1980), многих статей по проблемам истории китайской литературы и теории художественного перевода. В его переводах вышли сборники китайской классической и современной поэзии и прозы «Семь печалей» (1962, 1973), «Красный прибой» (1964), «Дождливая аллея» (1969), «Пятая стража» (1975), «Сорок поэтов» (1978), «Китайская поэзия» (1982), «Трудны сычуаньские тропы» (1983) и др.

Многим эти — задушевные, полные неравнодушия — строки пришлись по душе. Однако мне они кажутся противоречивыми и неточными. Мысль поэта об активной роли личности переводчика, конечно, верна, но дальше все вызывает возражение. Как можно «добавить» «в чужую скорбь свое негодованье», декларируя при этом «беспристрастие»? Какое уж тут «беспристрастие»! И потом, как можно совместить «беспристрастие» с активностью переводчика? Но самое важное заключено в последней строке. Итак, переводчик имеет «основанье» (заметим: не право, но даже основанье) «добавить» «в чужое тленье своего огня». Надо понимать: «в тленье» оригинала. А как тогда быть с принципом отбора, а также точности, аутентичности перевода? Нет, переводчик не имеет ни права, ни основания добавлять «в чужое тленье своего огня»! Перевод — международное признание, а какого признания заслуживают тлеющие строки?

Не могу согласиться и с утверждением болгарского теоретика перевода С. Флорина, что, мол, отбором книг для перевода «занимаются другие инстанции» и, стало быть, проблемы отбора для переводчика как бы не существует. Меня настораживает такая его фраза: «По-моему, для переводчика нет сто́ящих и несто́ящих авторов — есть только а в т о р, будь он великан или пигмей. И задача переводчика, раз уж он взялся его переводить, именно представить великана великаном, а пигмея — пигмеем»[1]. С. Флорин решительно возражает против «добавления» «в чужое тленье своего огня». Но он впадает в иную крайность, считая возможным «представить пигмея пигмеем», то есть, иными словами, донести до иноязычного читателя все то же «чужое тленье»!

Могут сказать, что у Л. Мартынова словом «тленье» обозначено не качество оригинала, но состояние души лирического героя оригинала. Но это еще хуже: представлять изображенную в подлиннике тлеющую душу душой пламенной — значит искажать подлинник, давать о нем ложное представление. «Это декларация переводческих вольностей»,— заметил К. Чуковский по поводу цитируемых стихов, хотя он и укорял Л. Мартынова с несколько иных позиций[2].

Мне ближе принцип, сформулированный Б. Слуцким:

Перевожу с монгольского и с польского,
С румынского перевожу и с финского,
С немецкого, но также и с ненецкого,
С грузинского, но также с осетинского.
Работаю с неслыханной охотою
Я только потому над переводами,
Что переводы кажутся пехотою
Взрывающей валы между народами.
Перевожу смелее все и бережней
И старый ямб и вольный стих
теперешний.
Как в Индию зерно для голодающих,
Перевожу правдивых и дерзающих...[3]

«Правдивых и дерзающих», но не «тлеющих»!

Заметим: проницательная М. Лорие, великолепная переводчица, вдруг решила, что в процитированных выше стихах проявляется «поразительная всеядность переводчика»[1], хотя слишком очевидно, что речь идет о собирательном образе переводчика — гражданина и патриота, постигшего социальную сущность переводческого дела в наши дни.

Верный в социальном и эстетическом отношении отбор, таким образом, является решающей предпосылкой для превращения иноязычного произведения в явление отечественной литературы, первый шаг в этом процессе, но если этот шаг сделан «не в ту сторону», все последующие усилия интерпретатора текста окажутся напрасными и бесплодными. Если же чутье, знания и гражданская позиция не подвели переводчика, он на верном пути. Тут начинается самое трудное.

Как передать, скажем, на восточном языке стиль оригинала, стилистически окрашенные части речи? Как сделать, чтобы чуждые читателям перевода привычки, обычаи, особенности быта и взаимоотношений между людьми, свойственные героям оригинала, не оттолкнули читателей своей «несовместимостью» с их представлениями и взглядами на жизнь? Как относиться к воздействию принимающей литературы на стиль перевода,— к дидактической традиции и плеоназму, к влиянию фольклора и стереотипам в изображении природы, к введению в перевод отсутствующих в оригинале стихотворных вкраплений и синонимических рядов? Каковы пути перевыражения художественного образа? И как переводить «непереводимое» — фразеологические единицы, пословицы, реалии?.. Без решения этих и других вопросов нечего и думать об утверждении перевода на иноязычной почве в качестве весомого слагаемого национальной литературы.

Мы ограничим себя разговором о заглавиях хотя, строго говоря, заглавия переводятся обычно в последнюю очередь,— но я ведь рассматриваю не сам процесс перевыражения оригинала, а, так сказать, беру логически первый из длинного ряда компонентов, способных, повторяю, «сделать перевод явлением отечественной литературы».

Заглавие формулирует тему, философскую или социальную идею, служит камертоном эмоционального настроя, сообщает место и время действия, демонстрирует наиболее существенную деталь будущего повествования, иногда как бы очерчивает масштабы сочиненного («Война и мир», «Хождение по мукам»); многие заглавия туманны, носят обобщенно-абстрактный характер, состоят из пословиц, поговорок, фразеологических единиц. Заглавие редко дает исчерпывающую характеристику произведению или возможность понять конкретное его содержание.

В состав заглавий антропоним входит более чем часто: это может быть имя героя со значением субъективной оценки (ласкательно-уничижительной, к примеру) или без нее, имя героя с дополнительной его характеристикой, фамилия героя, имя и фамилия, групповой антропоним («Братья Ка-

[1] С. Флорин. Муки переводческие. Практика перевода. М., 1983, с. 180.
[2] К. Чуковский. Высокое искусство. М., 1968, с. 54.
[3] Б. Слуцкий. Сегодня и вчера. М., 1963, с. 49.

[1] Вопросы теории и практики художественного перевода. Рига, 1968, с. 43.

рамазовы»), разного рода прозвища. Имена входят в более распространенные заглавия («Повесть о том, как поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем»).

Для переводов на восточные языки характерно наличие многих и разных заглавий одного и того же произведения. Принципы перевода, его цели и задачи формировались в странах зарубежного Востока в конце XIX — начале XX века под непрекращающимся воздействием традиционной эстетики и западных новаций; принципы эти не могли удовлетворить переводчиков и пропагандистов русской литературы, приходящих на смену пионерам; новые поколения, обогащенные знанием русской культуры, в свою очередь, опровергали предшественников, заимствуя одновременно их полезный опыт. Этапы постижения русской литературы в разных странах по разным причинам не совпадали, наполнялись неодинаковым содержанием, отличались разной интенсивностью и глубиной. В наши дни в Японии, в Китае, в странах Ближнего и Среднего Востока многие произведения русской классики стали фактом отечественной культуры, имея при этом устоявшиеся, вполне определенные заглавия. В других же странах серьезная переводческая работа началась лишь в 50-е годы. Поэтому переводчики не стремились (на первых порах они и не имели такой возможности) воспользоваться уже имеющимися названиями произведений и всякий раз предлагали свой вариант перевода.

На начальном этапе ознакомления читателей с русской классикой предпринимались попытки приспособить русское заглавие к привычным традиционным нормам и вкусам принимающих литератур. В первом опыте перевода 23 глав «Войны и мира» на японский язык (1886) эпопея Л. Толстого получила название «Последний крах кровавых битв в Северной Европе. Плачущие цветы и трепещущие ивы». Продублированное здесь же русское название свидетельствовало скорее о принципах перевода, чем о бессилии переводчика. Китайский перевод «Капитанской дочки» (1903), известный под названием «Русская романтическая история. Сон бабочки среди цветов» был позаимствован из более раннего (1883) японского. На арабском языке повесть называлась «Дочь офицера» (1953) или «Дочь командира» (1957), на бирманском — «Война и любовь» (1956). Переделка заглавий, причем заглавий, легко поддающихся точному переводу, практиковалась в прошлом и практикуется в наши дни в странах зарубежного Востока: явное свидетельство живучести и цепкости традиций, от которых по мере все более углубленного ознакомления с русской литературой принимающие литературы будут освобождаться, чему есть множество примеров.

Соображениями вкуса и привычек читающей публики объясняется замена, например, названий чеховской «Драмы на охоте» («Девушка в красном») в Турции, «Выстрела» («Выстрел в правителя», 1956) и «Станционного смотрителя» («Родительская любовь», 1956) Пушкина в Бирме.

Изменения заглавий порой диктовались несовпадением грамматических форм. Название рассказа Чехова «Спать хочется», выраженное безличным оборотом, на японском языке (1969) передано с помощью разговорного слова «нэмуй», означающего состояние сонливости. Таким же семантически близким аналогом «Сонная» — заменил оригинальное название арабский переводчик (1953).

Иногда заглавия менялись в связи с трудностями поисков реалий «Дело с застежками» Горького превратилось на арабском и бенгальском языках (40-е годы) соответственно в «Ключи» и «Обыкновенный случай».

С «Метелью» Пушкина на бирманском языке произошла более серьезная, но логически объяснимая метаморфоза. Повесть получила название «Знак судьбы из бури». Комментируя эту переделку, Е. Западова отмечает, что, во-первых, не совсем верно отождествлять понятие «судьбы» в России и Бирме. Во-вторых, жителю Бирмы трудно себе представить русскую метель. Однако, стараясь все же передать идею заглавия, переводчик сохранил в названии слово «буря», очень популярное в Бирме, встречающееся в названиях оригинальных произведений бирманских авторов[1].

Переводчики в разное время стремились улучшить существующие переводы заглавий, передать их с большей смысловой и стилистической точностью. В Японии «Семейное счастие» Л. Толстого в ранних переводах называлось «В весеннем ветре», «Супруги». В Иране рассказ Горького «Девочка», повествующий о детской проституции, выходил в свет под названием «Несчастная девочка» (1942) и «Тяжелая доля детей». Столь пристальное внимание к этому небольшому рассказу З. Османова объясняет созвучностью произведения одной из самых острых социальных проблем Ирана того времени[2], и этим же можно объяснить социальную заостренность и типизацию заголовков рассказа. «Хан и его сын» Горького на пушту переводился дважды: в 1961 году он вышел в свет под названием «Русская девушка», в 1970 году — «Возмездие за любовь».

Нелегко было найти эквивалент или аналог заглавию-фразеологизму, пословице, поговорке, другим устойчивым словосочетаниям.

Горьковский рассказ «Страсти-Мордасти» был превращен в «Колыбельную» (бенгальский), «Баю-бай» (персидский); в Китае рассказ был подвергнут национальной адаптации и вместе с заголовком приобрел чисто китайское звучание. Повесть Горького «В людях» в Иране известна под названием «В поисках хлеба». «Бог правду видит, да не скоро скажет» Л. Толстого в Турции читали под названием «Страдалец Иван», а индийский писатель Премчанд, который изменял названия многих «религиозных рассказов» Л. Толстого, этот назвал «Милосердный».

Количество примеров можно легко увеличить: тенденция переосмысления заглавий очевидна и, вероятно, еще длительное время в ряде стран будет иметь место.

[1] Пушкин в странах зарубежного Востока. М., 1979, с. 46.
[2] З. Г. Османова. Горький и литература Ирана. М., 1961, с. 50.

Переводчики с большой охотой переделывают названия, состоящие из антропонимов любого типа, снимают имена, заменяя их «содержательными» заглавиями. Я оставляю в стороне национальную адаптацию, при которой русские имена в заглавиях и текстах превращаются в имена того языка, на который текст переводится. «Макар Чудра» после национальной адаптации получил афганское имя «Садо-Лала», а в переводе на китайский язык (1921) название дано описательно — «Ночные беседы в степи». Горьковский «Челкаш» на бирманском и бенгальском языках (40-е годы) стал «Вором»; роман «Фома Гордеев» под пером иранского переводчика получил заглавие «Наследство»; первый перевод «Тараса Бульбы» в Японии (1895) был известен под названием «Старый воин».

Роман Тургенева «Рудин» в переводе известного японского писателя и переводчика Симэя Фтабатэя назывался «Перекати-поле». Фтабатэй вообще возвел в принцип замену названий русских произведений, состоящих из имен собственных, поскольку, по мысли переводчика, русские имена и фамилии ничего не говорят японскому читателю. Не будем забывать, что принцип этот был сформулирован не в наши дни, а на заре переводческого дела в Японии, в конце XIX века. В своих заголовках Фтабатэй стремился отразить основную идею произведения. Слово «перекати-поле» Фтабатэй взял из текста романа, придав ему большую смысловую нагрузку.

Рассказ «Дед Архип и Ленька» Горького в раннем японском переводе назывался «Нищие», а в персидском переводе 40-х годов — «Двое нищих».

Традиционное сознание народа и общекультурный фон неизбежно и естественно оказывают влияние на восприятие произведения и, разумеется, его заглавия. Если легендарно-фольклорные образы «Старухи Изергиль», ее экзотика и романтическая приподнятость были, к примеру, психологически близки и созвучны литературной традиции и вкусам иранцев, то для корейского переводчика и читателей-корейцев многое в поведении, в отношении героев друг к другу и в самой обстановке рассказа было чуждо и казалось странным — в этом и проявлялась амбивалентность, двойственность восприятия рассказа Горького: он привлекал корейского переводчика свободолюбивым пафосом и одновременно отталкивал тем, что переводчику под влиянием сложившейся в его сознании ценностной системы казалось непонятным или идущим вразрез с собственными его представлениями. Не случайно поэтому на персидском языке рассказ вышел в свет под заглавием «Горячее сердце», а на корейском — «Дьявол». Ясно, что первый вариант ближе к идее писателя, а второй ограничивает повествование чувственно-эмоциональной сферой.

Приближение к подлиннику — процесс длительный; мы являемся свидетелями и участниками этого процесса, глубина и стремительность которого зависят прежде всего от все интенсивнее развивающихся связей культур, прямых творческих встреч деятелей литературы и искусства, в конечном счете — от сближения стран и народов, ибо только таким путем люди смогут лучше и вернее понять друг друга.

Рассказ Горького «Каин и Артем» японский переводчик в начале XX века назвал «Жизнь еврея», а бенгальский — в наши дни придумал для рассказа заглавие «Коробейник». Первый вариант верен сути рассказа и его обертонам, второй — от них читателя уводит: коробейник — реалия русского деревенского быта (по Далю — даже локальная по месту: «...большей частью ковровцы (Владим. губ.)». Важно и другое. Прозвище одного из героев рассказа «Каин» не должно исчезать из заглавия, так как в отличие от имен-знаков, это — аллюзивное имя, не требующее специальных пояснений; ветхозаветное предание о судьбе Каина и Авеля, сыновей первой человеческой пары, широко известно и в христианских, и в иудейских, и в мусульманских преданиях.

Следовательно, переводчики обязаны были протранскрибировать имя Каина сообразно принятой в их языке для этого мифологического слова традиции и в крайнем случае снабдить его кратким комментарием. Тем более что в тексте рассказа автор подчеркивает значение прозвища своего героя: «Имя еврея было Хаим, но его звали Каин. Это проще, чем Хаим, это имя знакомо людям, и в нем есть много оскорбительного». Подобные акценты существенны для понимания гуманистической идеи трагического рассказа Горького.

Аллюзивные имена в заглавиях художественных произведений, носящие интернациональный характер, подлежат транскрибированию. Если такие имена даются в сочетании с именем-меткой, естественно, следует дать транскрипцию и второго имени, как в рассказе «Каин и Артем».

Заголовком произведения может служить имя героя или его прозвище. Однако не всякое прозвище, подобно Каину, понятно читателям. Переводчик должен осмыслить прозвище и решить, как с ним поступить; в тексте произведения перевод прозвища имеет свои особенности.

В «Бирюке» Тургенева («Записки охотника») трудности вызывает перевод необычного прозвища, которое сам автор счел необходимым прокомментировать: «Бирюком называется в Орловской губернии человек одинокий и угрюмый». По Далю, бирюк имеет значение «волк» (в некоторых местах, отмечает Даль, этим прозвищем кличут и других животных); современные словари русского языка дают два значения этого слова — «волк» (обл.) и «одинокий, нелюдимый человек» (разг.). Выражения «смотреть бирюком» (угрюмо, исподлобья) и «жить бирюком» (одиноко, ни с кем не знаться) широко вошли в современный разговорный язык.

Бирюк — прозвище, характеризующее образ жизни и характер лесника Фомы, но в широком смысле в этом прозвище заложено зерно полемики писателя-гуманиста с привычными представлениями о нравственных чертах человека из народа, индивидуальных особенностях крестьянства крепостной России. Как оказалось, угрюмому и жестокому человеку («зверь, зверь», «душегубец окаянный» — называл его пойманный

им браконьер) свойственны и человеческие порывы, и отцовские чувства, и недюжинный ум, и наблюдательность.

Прозвищу этого человека и необходимо найти аналог на восточном языке, потому что слово это значимо, это поэтическое имя, и пренебречь им без нарушения художественной целостности всего произведения невозможно.

Китайский переводчик-ригорист, ориентируясь исключительно на основную коллизию рассказа (столкновение неумолимого лесника, которого «окрестные мужики» «боялись как огня», с бедняком, срубившим господское дерево) и пренебрегая концовкой, слово «бирюк» передал словосочетанием «одинокий волк», сохранив при этом авторское примечание, чем привнес в понимание прозвища дополнительную путаницу (1921). В разных переводах на японский язык мы также сталкиваемся с «волком», но поскольку первый японский перевод был выполнен известным писателем Токутоми Рока еще в 1898 году, о чем стало известно совсем недавно благодаря разысканиям Л. Громковской в библиотеках Японии, не исключено, что в Китае была подхвачена интерпретация заглавия, принадлежащая японскому переводчику.

Токутоми Рока к иероглифу «волк», как рассказала автору этих строк Л. Громковская, дает фонетическое чтение прозвища («бирюку») и в скобках почти дословно цитирует примечание автора, которое сохранено и в последующих переводах рассказа. В переводах 1903 года и в двух переводах 50-х годов слово «бирюк» передается слоговой азбукой катаканой, используемой для записи заимствованных слов, или хираганой, применяемой для собственно японских слов. В переводе Накаяна (50-е годы) примечание Тургенева отсутствует. В первом переводе непосредственно с русского языка, сделанном Сюдзином Саганоя и опубликованном в 1903 году, слово «бирюк» не сопрягалось с «волком»; Саганоя передает слово «бирюк» фонетической катаканой и дает в скобках примечание Тургенева, исключая лишь упоминание Орловской губернии.

По-видимому, этот перевод и следует считать наиболее приближенным к заголовку подлинника, так как сопряжение «бирюка» с «волком» вряд ли вызовет верные ассоциации у читателей тургеневского рассказа; «бирюк» (на это указывает сам автор!) вовсе не должен вызывать представление о «волке» в том смысле, в каком неизбежно поймут это слово читатели перевода на восточные языки, не имеющие в арсенале своих языковых средств фразеологизма «выть волком» или выражения «смотреть волком», где смысл слова «волк» «стерт» и незамечаем.

Многих переводчиков поставил в тупик заголовок широко известного на Востоке рассказа Горького «Болесь» — так называла героиня рассказа Тереза не существовавшего в природе, придуманного ее горячечным воображением «жениха». Очевидно, Болесь — производное от имени Болеслав с ласкательно-уменьшительным оттенком (что-то от «лепетного», детского имени); стало быть, прозвище обладает не только номинативной, но и стилистической функцией, и игнорировать это обстоятельство не следует.

В раннем японском переводе произошла омонимическая путаница: рассказ получил название «Боль» («Страдание»). Звучание имени героя действительно ассоциируется со словом боль, а содержание рассказа как бы подтверждает такое прочтение заглавия (болесь — боль). Но если углубиться в этимологию слова «Болеслав», от которого, скорее всего, возникло производное «Болесь» (правда, не зафиксированное «Словарем русских личных имен»), то окажется, что это слово происходит от «боле» (больше) и «слав» (славы) и, значит, японский перевод неверен с любой точки зрения.

Переводчик заголовка на арабский язык (1927) связал «Болесь» с «Болеславом», оставил последнее имя в заголовке и дал его транскрипцию, что тоже не вполне правильно ввиду его семантической значимости в оригинале; в арабском переводе 1930 года личное имя снято вообще, как ничего не говорящее арабскому читателю, и заменено названием, определяющим тему рассказа,— «Фантазия женщины». Но и такой заголовок нельзя признать удачным: он снимает драматизм повествования. Заглавие «Болесь», впрочем, тоже не обладает окказиональным оттенком большой силы, но оно и не отвергает его; арабский вариант предлагает иное, нежели задуманное автором, событийное, а не психологическое звучание рассказа.

Повесть «Поликушка» Л. Толстого (в тексте чаще — Поликей, производное от Поликарп) в раннем японском переводе вышла в свет под названием «Одинокие слезы». Как и в рассказе Горького, в этой повести в заголовок вынесено имя главного героя, но теперь не воображаемого, а реального в каждом своем движении, слове, действии вплоть до рокового шага — самоубийства из-за случайной потери барских денег.

Поликей — коновал, отец большой семьи, почитаемый женой как «первый человек в свете». «Но в восприятии других — существо «незначительное и запятнанное», неоднократно уличенное в воровстве и всегда подозреваемое в возможности повторить его... Потеря денег и тщетные поиски их осознаются героем как окончательное крушение надежды стать человеком. Самоубийство Поликушки предстает в художественной системе повести как суд над властью социального зла»[1]. Уменьшительно-ласкательное имя «Поликушка» в тексте повести произносится лишь однажды его женой, в остальных случаях героя называют Поликей, иногда — Поликей Ильич. И значит, заголовок несет в себе и оценочный смысл, толстовское отношение к «миру рабства», в котором только и могла произойти рассказанная писателем человеческая драма. «Поликушкой» называет своего героя, жертву «социального зла», сам Лев Толстой.

Для переводчика подобные соображения крайне важны: они определяют его творческую сверхзадачу. Японский переводчик предпочел отказаться от транскрибирования малознакомого японцам, тем более производного от основного имени и заменил его значимым заголовком, отражающим эмоциональный настрой произведения.

[1] История русской литературы, т. 3. Л., 1982, с. 809.

Аналогичным образом поступили переводчики с прозвищем «Зазубрина», заглавием рассказа Горького, имея на то еще большие основания. «Зазубрина», в сущности, не таит в себе никакого подтекста и ничего (или почти ничего) не говорит о его носителе — «самом веселом» человеке «из населения тюрьмы», где происходит действие рассказа. Происхождение прозвища неясно; автор краток: «назывался — Зазубрина»; события рассказа прозвища также не проясняют. Вообще прозвища рождаются весьма прихотливо, и не всегда можно понять, какой гранью своей они повернуты к их носителям; с Зазубриной происходит что-то похожее, и, кстати, при чтении рассказа прозвище воспринимается лишь как забавное слово, не задерживая внимания и не вызывая прямых ассоциаций с выемкой, щербиной на лезвии или ребре предмета, со всем тем, что называется «зазубриной» в прямом значении, хотя при сильном желании связать прозвище с изначальным его смыслом возможно. При чтении рассказа омонимической переклички не возникает, и поэтому было бы неверно пытаться перевести прозвище, выявляя его несуществующий подтекст (щербина, выемка). Поступи переводчик таким образом, акценты в рассказе были бы смещены и читатель волею переводчика стремился бы связать события рассказа со щербинкой (фигурально или вещно), хотя этот смысл уловим едва-едва и особого значения не имеет для повествования, живописующего обитателей тюремной камеры, которые вряд ли отличаются друг от друга именно тем, что у одних в поступках и характере отсутствует эта самая щербинка, а для других она определяет их образ действий. Китайский переводчик, работавший с английским текстом (конец 20-х годов), оставил английское название «Зеленый котенок» — это было резонно по соображениям, высказанным выше, а также и потому, что случай с котенком, которого Зазубрина на потеху арестантам выкрасил зеленой краской (и животное сдохло), является в рассказе центральным эпизодом, круто изменившим к худшему отношение к герою окружающих. Возможно, именно этот поступок (бездумная жестокость Зазубрины) свидетельствовал о тех скрытых чертах характера, которые проявляются в человеке неожиданно, вызывая подчас инстинктивный протест даже людей, не отличающихся высокими добродетелями. Реконструируя жизнь героя, мы можем предположить, что Зазубрина получил когда-то свою кличку за проступок или проступки, похожие на тот, который описан в рассказе. И все же наши предположения не дают оснований для перевода прозвища прозвищем же, в котором была бы заложена идея ущербности или изъяна. Переводчик рассказа на пушту непосредственно с русского языка понял прозвище как обычное имя, не стал его переводить, а затранскрибировал без пояснения[1] и поступил правильно, вероятно, именно потому, что не понял, что Зазубрина не имя, а кличка.

Как показывает практика, в ряде случаев переводчики заменяют заглавия — личные имена другими названиями, снимая таким образом саму проблему их перевода; при работе непосредственно с текстом произведения поступать так уже нельзя: имена героев должны быть выражены языком перевода.

Теоретически стоит та же задача, что и при переводе заглавий — личных имен, с той лишь разницей, что здесь ни о какой замене или подстановке не может быть речи, если, конечно, произведение не подвергается национальной адаптации.

Таков первый «компонент» в длинном ряду «компонентов», позволяющих переводу ощутить себя «своим среди чужих», нужным и даже родным. Только первый...

[1] Литература стран зарубежного Востока и советская литература. М., 1977. с. 48.

◆

Заметки писателя

Е. КНИПОВИЧ

ПОЛЕТ К СВОБОДЕ

Вагнер Александра Блока

Общеизвестен огромный интерес читателей к самым различным аспектам жизни, творчества, мировоззрения великого русского поэта Александра Блока. Поистине тут нет «второстепенных» тем.

Вопросу о связях Блока, человека энциклопедически образованного, с мировой культурой посвятила ряд работ Е. Книпович, лично знавшая в свое время поэта (см., например, ее статью «Шекспир Александра Блока» в журнале «Вопросы литературы», 1985, № 12). В этот же контекст входит и предлагаемое эссе, также принадлежащее перу Е. Книпович.

Музыкальное и литературное наследие Вагнера, как известно, сложно и противоречиво — оно давало основания и для реакционных интерпретаций. Блока в нем привлекало отнюдь не все. Но яркость и смелость художественной манеры, антибуржуазная направленность, гуманизм, пафос борьбы за свободу были ему весьма близки,— в творчестве Вагнера Блоку слышалась музыка революции. Русскому поэту оказались созвучны и мысли Вагнера о назначении художника, о связи искусства и революции.

Тема «Вагнер — Блок», рассматриваемая Е. Книпович, своего рода «перекличка культур», как нам представляется, обратит на себя внимание читателей «Иностранной литературы».

Среди стихотворений 1900 года, не вошедших в канонический текст стихов о Прекрасной Даме есть одно ни в чем не похожее на все — опубликованные и неопубликованные — стихи этого времени. Оно названо «Валкирия»[1] подзаголовок — «На мотив оперы Вагнера» Текст — точно схваченная сущность первого акта оперы: встреча будущих родителей Зигфрида — Зигмунда и Зиглинды первая мысль о «мече Вельзе»— его оставил им в наследие бог Вотан. под именем Вельзе пребывавший среди людей. К концу XIX века «социальная грагедия «Кольцо Нибелунгов»[2],— пишет Блок в 1918 году,— вошла в моду; долгий ряд годов до войны мы в столицах России могли наблюдать огромные театральные залы, туго набитые щебечущими барынь ками и равнодушными штатскими и офицерами — вплоть до последнего офицера, Николая II-го».

[1] В цитатах сохранена орфография А. Блока. *(Здесь и далее прим. ред.)*

[2] Имеется в виду тетралогия Р Вагнера «Кольцо Нибелунга» («Золото Рейна». «Валькирия» «Зигфрид». «Гибель богов» 1852—1874) Сам автор называл ее трилогией с прологом.

КНИПОВИЧ ЕВГЕНИЯ ФЕДОРОВНА

Советский литературовед и переводчик, лауреат премии имени Н. А. Добролюбова АН СССР. Автор книг «Генрих Гейне» (1931), «В защиту жизни» (1958), «Разгром» и «Молодая гвардия» А. Фадеева» (1964), «Сила правды» (1965), «Художник и история» (1968), «Мужество выбора» (1975), «За 20 лет» (1978), «Жизнь и память» (1983) и многих статей по советской и зарубежной литературе.

«Моду» Блок считал оскорблением Вагнера, вернее, попыткой старого мира оскорбить революционного художника. И тут же отмечал всю бесплодность как этой, так и других аналогичных попыток, потому что у гения все это «на вороту не виснет».

В залах столичных театров, конечно, бывали не только щебечущие и равнодушные. Всей семьей — по свидетельству Любови Дмитриевны Блок — слушали оперы немецкого гения Менделеевы. И много лет, даже десятилетий спустя, вспоминая начало еще полуосознанных, еще молчаливых отношений с будущим женихом, Любовь Дмитриевна говорит, что ясно это прошлое она видит и понимает только сейчас: «Тогда все было в дымке. Вечно перед глазами какой-то «романтический туман». Тем более Блок и окружающие его предметы и пространство. Он волновал и тревожил меня, в упор его рассматривать я не решалась и не могла.

Это ведь и есть то кольцо огней и клубящихся паров вокруг Брунгильды, которое было так понятно на спектаклях Мариинского театра, ведь они не только защищают Валькирию, но и она отдалена ими от мира, от своего героя, видит его сквозь эту огненно туманную завесу».

Может, это и «ретроспекция». Но в 1903 году уже не суженый, а нареченный, жених пишет невесте из Бад-Наугейма, именуя ее сопровождающей его повсюду розовой и золотокосой дамой. Дама эта, по его словам, «способна не только понять, но и разделить «сверхнемецкую» (т. е. уже, значит, германскую страсть Валкирий и Богов (богов)». О странной на первый взгляд «ретроспекции» — 1921 года — есть беглая запись в моих заметках тех лет, о разговоре, в котором Блок вспоминал пронзительный и торжественный гнев похоронного марша «Гибели богов», говорил о странной своей жалости к Миме — пусть коварному, но все же воспитателю Зигфрида — и главное, что пробуждение Валькирии Зигфридом всегда казалось ему событием печальным и ненужным, что все свершения таят в себе печаль и несут беду свершившему.

Очень любопытно, что в первом наброске статьи об Ибсене и Стриндберге Блок также говорит о родстве победительной силы героя с отсутствием для него личного счастья.

«Рукопожатие Стриндберга, вероятно, рукопожатие рабочего или атлета; едва ли есть какая-либо мягкость в его руке, которая, ломая перья, постоянно сменяет их новыми и потом берет тигель и покрывается ссадинами и болячками — в возмездие за добывание золота алхимическим путем?.. Стриндберг — пример ума сильного, не боящегося противоречий (тут снова под страницей: «Противоречие»— понятие, созданное слабыми умами, которые боятся богатства, предпочитают нищету.— *Е. К.*). Лаборатория Стриндберга веселая, но сам-то он печальный, «несчастный» (Вельзунг)».

Вельзунг — сын Вотана, под именем Вельзе пребывавшего среди людей, и смертной женщины — это Зигмунд, который может поднять меч, оставленный отцом, но обречен погибнуть в бою с Хундингом. Вельзунг — тот, кто одновременно способен на подвиг и обречен. Ведь в конечном счете Вельзунг — это и сын Зигмунда (а следовательно, внук Вотана), солнечный Зигфрид.

И все же слово «несчастный», определяя судьбу Вельзунгов, Блок берет в кавычки, потому что в сложном переплетении людских и божеских распрей и преступлений «за святое дело мертвым лечь» есть «несчастье» особого рода, несчастье героическое, отнимающее только личное право героя на счастливую судьбу и жизнь.

В поздних наших разговорах о Вагнере (в том же в 1921 году) мне запомнилось еще одно.

И полет Валькирий, и погребальный костер Зигфрида для меня «прозвучали», как это ни странно, в одном из стихотворений «Снежной маски»:

И взвился костер высокий
Над распятым на кресте.
Равнодушны, снежнооки,
Ходят ночи в высоте.

Молодые ходят ночи,
Сестры — пряхи снежных зим,
И глядят, открывши очи,
Завивают белый дым.

И крылатыми очами
Нежно смотрит высота.
Вейся, легкий, вейся, пламень,
увивайся вкруг креста!

«Как Вы догадались?»— спросил меня Блок. «По ритму, звуку, музыке»,— честно ответила я.

Вагнер работал над музыкой тетралогии почти двадцать два года — от первого наброска «Золота Рейна» до «Гибели богов». Не только либретто[1], но, что в тысячу раз важнее, музыка прошла огромный и сложный путь. Не моя задача рассказывать о путях Вагнера-либреттиста, устанавливать, что им взято из старой «Эдды», из прозаической песни о Вельзунгах или «Песни о Нибелунгах». Моя задача понять, что и почему брал у самого Вагнера Блок, и сейчас — через шестьдесят с лишним лет — мне может быть и понятно то, что он сказал о смысле, сущности пробуждения Брунгильды.

У Вагнера (этого нет в немецком эпосе) она — дочь Вотана и Эрды, «подземной богини судьбы». И на сцене она впервые появляется как вестница смертного приговора, вынесенного Вотаном Зигмунду,— ребенка от которого ждет его жена (и сестра) Зиглинда: Брунгильда нарушает волю отца, но спасти Зигмунда не может — меч Вельзе разлетается в куски, ударяясь о копье Вотана. А разгневанный отец богов лишает дочь божественности и пророческого дара и, опоясав ее ложе огнем, погружает Брунгильду в сон, из которого ее может пробудить тот, кто не знает страха и вновь скует разбитый им, Вотаном, меч Вельзе.

Брунгильду пробуждает герой-змееборец, звуком рога вызвавший на бой дракона-оборотня, братоубийцу Фафнера. Победу герою принес Нотунг — меч, выкованный им из осколков разбитого меча Вельзе. А выковать меч Зигфрид мог потому, что человек, не знающий страха, могущественней, чем царь богов, разбивший

[1] С Вагнером-публицистом читатель может познакомиться, обратившись к тому его избранных произведений, вышедшему в 1978 году в издательстве «Искусство».

заклятое оружие и пытавшийся преградить дорогу герою.

Пробуждение Валькирии, брак ее с Зигфридом — это не счастье, а всего лишь вступление к трагедии и всеобщей гибели. Зигфрид, надев на палец любимой проклятое кольцо Нибелунга, о роковых свойствах которого он не знает, уходит в широкий мир, в жажде странствий и познания. Опоенный напитком забвения, он становится мужем Гудруны, не узнает разыскавшую его Брунгильду и гибнет от предательского удара копья коварного Хагена. А пламя его погребального костра, куда бросилась Брунгильда, становится пожаром, ввергающим мир в отчаяние и хаос — рушится обитель богов, Валгалла, гибнут люди и боги.

Сложная эволюция замысла и либретто тетралогии, в сущности, не отражена в творчестве Блока. В нем живет другое — «первый импульс», которым в 1848 году был рожден образ вагнеровского героя, не знающего страха змееборца, способного вновь сковать меч, разбитый волей отца богов. «Импульс», идущий от революции 1848 года, от дрезденских баррикад, 1849 года, на которых сражался юный Вагнер, Блок ощутил и принял. А пестрая толпа хищных нибелунгов, глуповатых и простодушных великанов — строителей Валгаллы, «глупых рыб» — русалок, «дочерей Рейна», ссоры, преступления богов, тяжкий лёт Валькирий — сестер Брунгильды, любовь и конечная гибель — все это воплотилось и растворилось в музыке, в том, что Блок назвал однажды «*мой* Вагнер».

«Вагнер в Наугейме,— признается он в записной книжке 1909 года,— нечто вполне невыразимое... Музыка творит мир. Она есть духовное тело мира, мысль (текучая) мира... Слушать музыку можно только закрывая глаза и лицо (превратившись в ухо и нос), т. е. устроив ночное безмолвие и мрак — условия «предмирные». В эти условия ночного небытия начинает втекать и принимать свои формы — становится космосом — дотоле бесформенный и небывалый хаос».

Вот этот «хаос», не столько «расшифрованный», сколько «обузданный» и «упорядоченный» музыкой, и живет в «вагнеровских» темах творчества Блока.

Начать здесь снова приходится с «ретроспекции», причем с ретроспекции, отягченной тем, что происходит она не совсем на своей территории и что многое в ней «задано» предшествовавшим докладу Блока «О современном состоянии русского символизма» докладом Вячеслава Иванова. Оба они в два вечера (апрель 1910 года) выступили в Обществе ревнителей художественного слова, оба доклада в переработанном виде были опубликованы в журнале «Аполлон». Выступил Блок, сдавшись на настойчивые просьбы и убеждения Вячеслава Иванова. «Заданность» доклада Блока, о которой я упоминала, заключается прежде всего в том, что он построен по схеме, предложенной Ивановым. И кризис символизма, и предыстория современного состояния «школы», или течения строится на противопоставлении его «тезы» и «антитезы», причем «теза», если говорить по существу, лежит не в области искусства, а в области религии. Вячеслав Иванов, говоря о русском символизме, начинает издалека, первые символисты, с его точки зрения,— это и Тютчев, и Баратынский, и Пушкин.

Но Блок в своем докладе не пошел по филологическому и теологическому пути своего предшественника. В схему «тезы — антитезы» и вывода от их столкновения он просто вложил свои «творческие сны», сны художника, стремящегося постигнуть внутренний смысл реальности, времени через свою жизнь, опыт, свою судьбу художника и человека. Некоторые исследователи до сих пор «обижаются» на нерасшифруемый субъективизм той борьбы красок и туманов, каким отмечено в докладе изображение тезы, то есть времени ощущения себя, художника, как теурга, пророка. Правоту такой обиды очень скоро признал и сам Блок. «Многие недоумевали и негодовали,— пишет он через несколько месяцев после опубликования доклада,— на мое описание «лиловых туманов» и были, пожалуй, правы, потому что это самое можно было сказать по-другому и проще. Тогда я не хотел говорить иначе, потому что не видел впереди ничего, кроме вопроса — «гибель или нет», и самому себе не хотел уяснить. Когда чувствуешь присутствие нездешнего существа, но знаешь, что все равно не сумеешь понять, кто оно и откуда,— не надо разоблачать его лица».

Этот страх «повредить», «ранить», эта органическая невозможность наступить на горло собственной песне рождены в сознании и творчестве Блока не самолюбием и тем паче не самомнением, а исступленной любовью к искусству и великим уважением к делу художника, там, где он в этом деле не лжет, не приспособляется, не играет.

И может, точнее всего Блок сказал об этом, вспоминая в 1920 году один эпизод своего путешествия по Италии в 1909 году. Это даже не случай — а просто память о луге на вершине горы, о встрече с пастухом овечьего стада, о мимолетной грозе, пронесшейся над головами русских путников.

«...Тихие сумерки помогли сохранить в памяти ни с чем не сравнимое видение горы. Я мог бы остановиться на этом. Пожалуй, было бы гораздо приятнее сохранить в неприкосновенности свежее и сильное впечатление природы. Пускай бы оно покоилось в душе, бледнело с годами; все шел бы от него тонкий аромат, как от кучи розовых лепестков, сложенных в закрытом ящике, где они теряют цвет и приобретают особый тонкий аромат — смешанный аромат розы и времени... И вот я записал его... Для чего? Не для того, чтобы рассказать другим что-то занятное о себе, и не для того, чтобы другие услышали что-нибудь, с моей точки зрения, лирическое обо мне; но во имя третьего, что одинаково не принадлежит ни мне, ни другим; оно, это третье, заставляет меня воспринимать все так, как я воспринимаю, измерять все события жизни с особой точки и повествовать о них так, как только я умею. Это третье — искусство; я же — человек несвободный, ибо я ему служу.

Я человек несвободный, и хотя я состою на государственной службе, это состояние

незаконное, потому что я не свободен; я служу искусству, тому третьему, которое от всякого рода фактов из мира жизни приводит меня к ряду фактов из другого, из своего мира: из мира искусства». Не искусство — религия, но искусство — служение жизни своими, ему одному присущими и доступными средствами. Вот смысл этой записи 1920 года. И потребность делиться с другими и вместе с тем сознавать и оберегать свою «несвободу» глубоко демократична, она пронизывает всю многообразную работу Блока — во всех областях литературы и культурного строительства он всегда оберегает чужую «несвободу» с такой же убежденностью, как свою.

«Книгу надо бы автору самому обработать,— пишет он в 1919 году о сборнике стихов крестьянского поэта Дмитрия Семеновского.— Я боюсь взяться за это. Отмечал я довольно скупо, часто стал бы сам выкидывать целые строфы, не только строки, может быть даже менять слова, а этого постороннему лучше не делать: как бы ни казалось слабо и ненужно, может быть, за этим у автора стоит нераскрытый образ, который раскроется впоследствии. Посторонний человек всегда недостаточно бережно относится, что я испытывал и на себе когда-то».

Вот почему, «ненавидя, кляня и любя», Блок говорил в стихах как будто бы несовместимое.

Вот почему, не считаясь с формальной логикой, с «естественной» так сказать, жизнью образа, «золотой меч» в статье о символизме вонзается в сердце художника-теурга (период тезы) и меркнет в период антитезы, потому что его золотой свет был, так сказать, «заемным». И тут же — без логики и вопреки сказанному раньше — стоят слова не только о том, что уже в тезе был прежде всего дан золотой меч; а сейчас — в современном состоянии остался выбор: или гибель в покорности, или подвиг мужественности. «Золотой меч был дан для того, чтобы разить». Связь «золотого меча» статьи о символизме с темой Вагнера, с Нотунгом и Зигфридом, лежит, так сказать, на поверхности, об этом свидетельствует и пролог к поэме «Возмездие», и статья «От Ибсена к Стриндбергу», и многое другое — вплоть до написанного в 1918 году предисловия к работе Вагнера «Искусство и революция». Но «первый импульс», введший впоследствии тему «меча» и пробуждения спящей в творчестве Блока, лежит гораздо глубже.

Мне уже приходилось об этом говорить и писать, но, пожалуй снова следует напомнить, что этот первый импульс получен в раннем детстве, почти в колыбели и источник его — Пушкин, что еще раз подтверждает правоту слов одного из любимых «спутников» Блока Аполлона Григорьева: «Пушкин — наше все». И мне снова надо напомнить свою запись 1923 года, связанную со стихотворением «Сны» из цикла «Родина»: «Первая мысль о подвиге и о пробуждении спящей царевны — от Пушкина. И у Блока это именно подвиг, потому что перед теремом царевны — битва. И ей спящей «в хрустальной кроватке» (так в сознании ребенка живет «гроб хрустальный»), сквозь сны слышно, «как звенят и бьют мечами о хрусталь стены», как гневный конник побеждает неведомого врага, как «о тюремные засовы звякают ключи».

И об этом надо помнить, потому что от детских снов о подвиге тянется золотая нить к циклу «На поле Куликовом». Блок сопроводил его следующим примечанием: «Куликовская битва принадлежит, по убеждению автора, к символическим событиям русской истории. Таким событиям суждено возвращение». И этот цикл, созданный в 1908 году, проступает, опять-таки через пушкинское, в поэме «Возмездие» скорее не в «Прологе»—«Пролог» пронизав вагнеровской темой:

Познай, где свет,— поймешь, где тьма.
Пускай же все идет неспешно,
Что в мире свято, что в нем грешно,
Сквозь жар души, сквозь хлад ума.
Так Зигфрид правит меч над горном:
То в красный уголь обратит,
То быстро в воду погрузит —
И зашипит и станет черным
Любимцу вверенный клинок...
Удар — он блещет, Нотунг верный,
И Миме карлик лицемерный,
В смятеньи падает у ног!

Кто меч скует? — Не знавший страха.
А я беспомощен и слаб.
Как все, как вы,— лишь умный раб.
Из глины созданный и праха,—
И мир — он страшен для меня.
Герой уж не разит свободно,—
Его рука — в руке народной,
Стоит над миром столб огня,
И в каждом сердце, в мысли каждой —
Свой произвол и свой закон...
Над всей Европою дракон.
Разинув пасть томится жаждой...
Кто нанесет ему удар?
Не ведаем: над нашим станом,
Как встарь, повита даль туманом,
И пахнет гарью. Там — пожар.

А в первой главе поэмы, там, где в повествование властно входит история Родины и времени — уже прямо раскрывается тождество образа «светлой жены», или спящей царевны, с Родиной, Россией, Русью. И если в «Поле Куликовом» поэт восклицает: «О, Русь моя! Жена моя! До боли/ Нам ясен долгий путь!», то в «Возмездии» пушкинские образы спящей царевны сливаются с образом Родины, России Пушкин снова и снова проступает там, где по-разному живет тема Родины, подвига, будущего...

В публицистику, критические работы Блока революционных лет, как основа для понимания роли и значения культуры, войдет много художников — старых и верных «соратников» прошлых лет, русских и зарубежных. С разной силой меры и точности возникнут на их страницах Шекспир и Гёте, Герцен и Гейне, Ибсен, Стриндберг, Вагнер.

Но речь-завещание «О назначении поэта» будет посвящена Пушкину, и ему же будет отдан последний поклон с белой площади Сената в стихотворении «Пушкинскому дому».

Не забывая об этом, можно вернуться к теме Вагнера, вся прочность связи с которой раскрылась для Блока в годы революции. Так или иначе пронизаны ею не только предисловие к трактату Вагнера «Искусство и революция», но и статья «Гейне в России», и «Крушение гуманиз-

ма», и целые страницы дневников и записных книжек революционных лет.

Умнейший и артистичнейший критик-марксист Анатолий Васильевич Луначарский так отмечает слабые стороны концепции, лежащей в основе статьи «Крушение гуманизма»: «Ошибался Блок в том, что к революции можно подходить как-то без головы, а только сердцем, еще более ошибался, полагая, что голова тут помеха. Но конечно, он был прав, когда полагал, что революцию понимает и принимает только тот, кто не только более или менее понимает ее умом, но кто видит в ней красоту». Вот эту «красоту» революции Блок снова и снова открывает в творчестве Вагнера. Культура будущего — не в разрозненных усилиях цивилизации поправить непоправимое, говорит он, а в синтетических усилиях революции, в этих упругих ритмах, в музыкальных потягиваниях, волевых напорах, приливах и отливах, лучший выразитель которых есть Вагнер.

Свое предисловие к тому избранных произведений Рихарда Вагнера А. Ф. Лосев открывает большой цитатой из статьи Блока «Искусство и революция», а затем излагает (во многом соглашаясь с ними) ее основные положения. Любопытно, что для «зачина» автор предисловия обратился к работе шестидесятилетней давности, к характеристике творчества Вагнера, принадлежащей не философу или музыковеду-германисту, а великому русскому поэту.

Итог тетралогии Вагнера — это тема неизбежного, предуказанного появления героя, не знающего страха, которая вновь возникает уже после огненного самоубийства Брунгильды, гибели богов и Валгаллы, то есть того, в сущности, «старого мира», в котором протекало действие тетралогии. И чуткость Блока к *существу* такого явления, как Вагнер, объясняется тем, что он, не только не музыковед, но и человек, не обладавший музыкальным слухом (в чем сам многократно признавался устно и в письмах, в частности к Андрею Белому), сердцем, интуицией ощущал воплощенное в том или ином музыкальном произведении время, историю, сегодняшний день, назревающие или совершающиеся события. Вот почему «синтетические усилия революции» слышались ему в упругих ритмах, в музыкальных потягиваниях, волевых напорах, приливах и отливах музыки Вагнера

И если Блок не обладал музыкальным слухом, то у него было другое — музыкальность в крови, поистине кровь в его жилах переливалась певуче.

Статья Блока написана уже почти семьдесят лет тому назад — и, сохраняя всю свою убежденность и свежесть, она, естественно, не может дать представления обо всех ухищрениях, предпринятых «старым миром», силами реакции, чтобы уморить голодом или сломать, опошлить Вагнера.

Сейчас мы знаем, что Вильгельм II, приделавший к своему автомобилю сирену, играющую лейтмотив бога Вотана, был невинным младенцем по сравнению с теми, кто стремился, говоря словами Блока, «пожрать и переварить («усвоить, приспособить») художника», приспособить Вагнера к своим целям, извратить вагнеровскую тему героизма, рожденную революцией 1848 года, через два примерно десятилетия после того, как была написана статья Блока,— мы знаем также, что не всегда спасительным был тот «яд противоречий», которым было насыщено творчество Вагнера и который так страстно защищал Блок...

Бесспорно «заемный» характер противопоставления культуры и цивилизации в статье «Крушение гуманизма» и на страницах других статей, писем, записных книжек Блока уже достаточно обговорен и определен в работах многих блоковедов. Для меня сейчас существенно другое — не тема разрыва между великим прошлым и настоящим и будущим, а тема преемственности, диалектического единства мировой культуры. «Гёте останется один — без юного Шиллера и без старого барокко,— говорил Блок,— он различит во мраке очертания будущего; будет наблюдать языки огня, которые начнут скоро струиться в этом храме на месте солнечных лучей; Гёте будет слушать музыку этого огня. Он, застывший в своей неподвижности, с загадочной двойственностью относящийся ко всему, подает руку Рихарду Вагнеру, автору темы огней в «Валкирии», через голову неистовствующего, сгорающего в том же огне будущего Генриха Гейне».

Вагнер и Гейне не случайно стоят для Блока рядом — под одним знаком «огня будущего», в котором сгорает старый мир.

И не случайно же в речи «О романтизме», которую Блок произнес в 1919 году для труппы Большого драматического театра, также естественным представителем нарождающегося романтизма — не как школы, а как мироощущения — предстает Вагнер.

В 1849 году, когда Вагнер писал свой трактат «Искусство и революция», ему было тридцать шесть — почти столько же, сколько тридцатисемилетнему автору предисловия к этой работе. Несмотря на многие просчеты, Вагнер все-таки подошел к центру проблемы, возникшей перед искусством современного ему мира. «Мы вовсе не станем заниматься здесь абстрактными дефинициями искусства,— говорит Вагнер в начале трактата,— но ставим себе иную, на наш взгляд, вполне естественную задачу: обосновать значение искусства как функции общественной жизни, политического устройства... Беглый обзор разных эпох в истории искусства в Европе окажет нам в этом отношении большую услугу...»

В мою задачу не входит анализ данного Вагнером «беглого обзора», его сильных и слабых сторон. Мне важно отметить главное — общую линию эволюции европейской культуры, какой ее видел автор «Искусства и революции»: невозвратимый образ свободного и гармонического человека, воплощенный искусством Греции и уже извращенный в искусстве Рима, сложная и по существу «античеловечная» роль христианства в дальнейшей эволюции искусства Европы и, наконец, сегодняшний его день, когда со всей силой сказалась зависимость искусства от денежного мешка.

Эволюция, приведшая к сегодняшнему

положению вещей, началась, по мнению Вагнера, очень рано — достаточно привести его экскурс в историю «усвоения» греческой мифологии Римом.

Прекрасен был для Вагнера греческий бог Гермес, на крыльях спускавшийся с высот Олимпа, чтобы возвещать вездесущность верховного божества... Он присутствовал также при смерти человека, он сопровождал тень умершего в тихое царство ночи. Везде, где ясно проявлялась великая необходимость природы, Гермес действовал и словно олицетворял претворяемую в дело мысль Зевса.

Римляне сравнивали с греческим Гермесом своего бога Меркурия. Но его крылатая деловитость приобрела у них чисто практическое значение, стала символом промышленной предприимчивости. Римляне считали торговлю в то же время каким-то плутовством, и, хотя торгашеский мир казался им необходимым злом, они тем не менее питали глубокое презрение к его служителям, и бог торговцев Меркурий стал для них также богом обманщиков и плутов.

Но презираемый бог, по мысли Вагнера, отомстил гордым римлянам и занял их место, покорив себе мир: «Увенчайте главу его ореолом христианского лицемерия, украсьте его грудь бездушным знаком ордена усопших феодальных рыцарей — и вы получите бога современного мира, святейшего, благороднейшего бога пяти процентов, хозяина и распорядителя нашего современного искусства... Вот вам *Меркурий* и его послушный слуга — *современное искусство*»...

Нет, Вагнер прекрасно понимал, что «реставрировать» великое прошлое, вновь обратить продувного Меркурия в крылатого Гермеса и невозможно и бессмысленно.

«Только *Революция*, а не *Реставрация* может дать нам вновь... величайшее произведение искусства. Проблема, которую мы имеем перед собой, неизмеримо более сложна, чем та, которая была уже некогда разрешена. Если произведение искусства греков воплощало собой дух великой нации, то произведения искусства будущего должно заключать в себе дух всего свободного человечества... Нет, мы не хотим вновь сделаться греками, ибо то, чего греки не знали и что должно было привести их к гибели, мы это знаем... Мы хотим сбросить с себя унизительное иго рабства, всеобщего ремесленничества душ, плененных бледным металлом, и подняться на высоту свободного артистического человечества, воплощающего мировые чаяния подлинной человечности...»

О пути такого преображения «наемников Индустрии» в граждан «свободного человечества» и говорил в своей работе Вагнер.

Объективно основной пафос его «Искусства и революции»— резко антикапиталистический, и недаром в одном из писем к друзьям Вагнер утверждал, что самого злого и самого опасного из нибелунгов — Альбериха — ему легко представить себе с портфелем банкира в руке.

В одноименной статье-предисловии — «Искусство и революция»— Блок горячо и страстно «пропагандирует» могучее и жестокое творение Вагнера. Но в очень кратком и довольно точном блоковском изложении, так сказать, «фабулы» работы Вагнера отсутствует самое основное в ней — ее резкая антикапиталистическая направленность. Есть у Блока слова о цивилизации мещанства, старом мире, но нет «бледного металла», денежного мешка, «пяти процентов», поработивших искусство. И кульминацией статьи Блока становится свое, личное преломление смысла тех тревог и беспокойства, которые бушуют в душе художника в «минуты роковые» человеческой истории.

В связи с судьбой Вагнера Блок снова возвращается к вопросу о праве художника на творческие противоречия, которое он защищал в разных произведениях и в разные периоды жизни.

«Яд ненавистнической любви», который Блок захотел увидеть в работе композитора, яд любви, непереносимой для мещанина даже «семи культурных пядей во лбу», и спас Вагнера, по мнению Блока, от погибели и поругания. «Этот яд, разлитый во всех творениях, и есть то «новое», которому суждено будущее».

«Новое»? Но ведь классика России и Европы дает десятки, а может быть и сотни, образов ненавистнической любви к «родителям», «жене», прочим. Что касается Родины, то и тут выстроится весьма внушительный ряд — от лермонтовского «Прощай, немытая Россия» до размышлений Волгина в романе Чернышевского «Пролог» во время званого обеда либералов, сторонников реформ («Очень надо любить свою родину, чтобы хоть в мыслях сказать о ней: «Рабы, одни рабы, страна рабов сверху донизу»).

И все же во вневременную непримиримость противоречий Блок не верил. «Спасительный яд творческих противоречий», хотя на деле он и не новый, как полагал Блок, действительно ведет в будущее и лишь «мещанской цивилизации» их «до сих пор не удалось примирить... и... примирить ей вообще никогда не удастся, ибо их примирение совпадает с ее собственной смертью». Но *свое сегодняшнее право* на свободу «творческих противоречий» Блок защищал в борьбе с «мещанской цивилизацией», еще ведущей подпольное существование во многих областях послереволюционной жизни.

Блок знал работу Вагнера уже много лет, он лишь вернулся к ней в 1918-м.

В статье «О театре», написанной в черные годы реакции (в 1908 году), Блок, опираясь на «замечательную статью А. Луначарского» об «Искусстве и революции» Вагнера, приводя обширные цитаты из этой работы, предъявляет суровый счет не только современному театру, но и зрителям. «Россия колеблется между двумя крайностями,— говорит Блок.— ее театр как бы готов уже упасть до вкусов интеллигентной толпы, но непосредственное чувство истории говорит нам, что мы предпочтем другое устремление русского театра: к пышному расцвету высокой драмы с большими страстями, с чрезвычайным действием, с глубоким потоком идей. Это случится только тогда, когда театральную интеллигенцию, которой не нужно теат-

ра, сменит новая, молодая интеллигенция со свежим восприятием, с бодрым духом, с новыми вопросами, с категорическим и строгим «да» и «нет». Непосредственное чувство истории не обмануло художника — то, на что он надеялся, начало сбываться меньше чем десять лет спустя.

Через пятнадцать лет после того, как была написана статья Блока, Луначарский откликнулся на полувековую дату смерти Вагнера статьей, куда вошли и мысли и положения из предисловия к изданию «Искусство и революция» в 1918 году (оно заменило написанное для этой цели предисловие Блока).

Любопытно, что, отбирая материал для маленького сборника «Юбилеи», из всех своих работ о музыке Луначарский включил туда только два портрета — Вагнера и Римского-Корсакова,

При всем уме, таланте и артистизме управиться с «ядом противоречий» Луначарскому было нелегко. Вагнер слишком властно вошел в «золотой фонд» того поколения, к которому Луначарский принадлежал. Сказалось это и на отношении к Вагнеру тех, кто был несколько младше первого нашего наркома просвещения. Достаточно вспомнить, какое место Вагнер в течение долгих лет занимал в концертах Е. Мравинского.

Обоснованны ie справедливые и жестокие упреки, которые в статье Луначарского адресованы великому немецкому композитору, но автору приходится по сути обойти тетралогию Вагнера, потому что неистовая ненависть к золоту, к алчности, корысти, продажности, к преступлениям власть имущих и самих богов никак не укладывается в ту схему эволюции Вагнера от «Риенци» к «Парсифалю», которую пробует выстроить его умнейший критик.

«Попавший в плен реакции гений»— так определяет Вагнера Луначарский уже к концу статьи, уже подводя итоги. Правда в этих словах есть. И «плен» был не только «политической», но, я бы сказала, и «эстетической» реакции. Весь «дух баварско-байрейтской бутафории» я ощутила в резиденции Людвига Баварского, в предгориях Баварских Альп, неподалеку от знаменитой деревни Обераммергау. Внутреннее убранство обширных зал и покоев поражает поистине королевским размахом монументальной, претенциозной пошлости и безвкусия.

Сопровождавшие нас, двух советских литераторов, немецкие друзья-коммунисты рассказали, что под дворцом был расположен огромный бассейн или пруд. И высокий покровитель Вагнера — в качестве нового Лоэнгрина — плавал там в лодке, которую вез заводной лебедь (очевидно, с мотором?).

И меж детей ничтожных мира,
Быть может, всех ничтожней он...

Справедливо. Но «божественный глагол» вновь и вновь поистине вопиял в музыке Вагнера. «Описывал ли он любовь или бешеную ненависть, жадность и властолюбие или полет к свободе, он вкладывал все это в импонирующие большие образы и возвышал до таких обобщений, которые изображаемые им чувства делали общезначимыми».

И не просто, а *социально* общезначимыми. И художник Блок точнее, чем умнейший критик Луначарский, «учуял», что центр, золотое зерно творчества Вагнера,— это «социальная трагедия «Нибелунгов» и кончается она не гибелью мира, а гибелью *старого* мира, с его преступными богами и надеждой на будущее: ведь «под занавес» звучит тема, обещающая рождение героя-победителя.

Любопытно, насколько по-разному трактовали тему пожара Валгаллы и «гибели богов» Блок и Андрей Белый. Тема «Вагнер» буквально пронизывает их почти двадцатилетнюю переписку. Она возникает в первом же письме Блока к Белому. «Разве у Вагнера нет ужаса «святой плоти»? — пишет Блок.— Разве не одуряюще святы Зигмунд и Зиглинда и голос птички, «запевающей» Зигфриду, «манящей», инфернальной... о да! инфернальной!»

Сквозь своеобычный «жаргон» символистских кругов начала века все-таки и здесь ощущается стремление нащупать в Вагнере главное — «растворенное» не в либретто, а в музыке. А что касается «жаргона», то Блок уже два года спустя также в письме к Белому сам дает оценку этому способу выражения мыслей, причем начиная критику с себя самого: «...э т о — речи идиотские, бессвязные, понахватанные черт их знает откуда. Оправдываюсь я в этом (хотя и не нужно, потому что все равно глупо) только тем, что с первых моих писем к Тебе помню за собой такие витиеватые нагромождения. Эти нагромождения приходили совсем не для литературных завитков и не «просто так», а очень мучительно, и были мне всегда противны... и, несмотря на это, я их продолжал аккуратно писать до последнего письма... Отчего Ты думаешь, что я мистик? Я не мистик, а всегда был хулиганом, я думаю. Для меня и место-то, может быть, не совсем с Тобой, Провидцем, знающим пути, а с М. Горьким, который ничего не знает, или с декадентами, которые тоже ничего не знают». Несмотря на явные полемические заострения вопроса, в словах Блока — уже тогда!— в 1905 году, явственно звучит ощущение отделенности своего пути от путей тех, кто был «или числился» его товарищами и друзьями. Здесь же проходит и черта, разделяющая отношения Блока и Белого к теме гибели Валгаллы.

Для Андрея Белого — уже штейнерианца — тема «гибели богов» теснейшим образом слилась с учением «доктора» Штейнера, «пророка» антропософии. Вагнер и *гибель богов* навсегда останутся в биографии Белого, но он по-своему «брал под защиту» Валгаллу:

В твои роковые разрухи,
В глухие твои глубины,—
Струят крылорукие духи
Свои светозарные сны.

Блок же знал, что она должна или, точнее, ей должно сгореть, чтобы в родной стране и в мире изменилось все.

◆

Наши интервью

ОМАР КАБЕСАС (Никарагуа)

ПУСТЬ ЛЮДИ УЗНАЮТ ПРАВДУ О РЕВОЛЮЦИИ

Мой собеседник — человек легендарный. Бригадный генерал Сандинистской народной армии. Видный государственный деятель Никарагуа. И — писатель, известный всей Латинской Америке. Его книга «Дремучий лес нам дороже просторной равнины»[1] — такой перевод названия считает более точным сам автор — переведена на десять языков и выпущена более чем тридцатью изданиями в девяти странах Латинской Америки, США и десяти европейских государствах. В Никарагуа она вышла самым большим тиражом в истории страны и мгновенно была раскуплена.

— Команданте Кабесас, первый вопрос напрашивается сам собой. Чем можно объяснить такой успех вашей книги?

— Думаю, что дело примерно в следующем. Когда говорят о героях и революционерах, их обычно превращают в миф. Их показывают как угодно, но только не как обычных живых людей. Словно они никогда ни в чем не сомневались и слабостей никаких не имели, не ели и не пили. Родились абсолютно совершенными и с тех пор таковыми всегда и оставались. Подобным героям никто не верит. В конце концов над ними начинают смеяться. Моя же книга — именно о людях. О тех сомнениях, которые испытывали многие — в том числе и я — относительно перспектив задуманного предприятия. О колебаниях. О тяготах партизанской жизни. Герой — человек, и каждый из нас в принципе может стать героем. Я пишу о том, как боялся погибнуть. О том, как мы мучаемся сомнениями, как страдаем от боли потерь, какими одинокими чувствуем себя подчас. Очень много людей разделяют эти чувства и находят в себе черточки живых героев. Моя книга — это скорее не политический акт и не эпический опус на военную тему, а рассказ о том, как люди становятся революционерами и героями. Я писал правду о революции. Знать ее очень важно, особенно для воспитания молодежи, которая отвергает сладенькие мифы. Молодежь — это будущее революции, она должна верить в нее. А для этого — знать всю правду о ней.

Очень часто люди обращаются к литературе в сознательном или подсознательном поиске совета. Они ищут помощи в решении той или иной проблемы, которую поставила перед ними жизнь. Борьба против ненавистной диктатуры Сомосы, наше становление как революционеров заставляли нас постоянно, непрерывно преодолевать трудности, превозмогать, переделывать самих себя. Этот процесс я описал в книге. Вероятно, это тоже привлекает.

— Что-то вроде «руководства по преодолению трудностей»?

— Нет-нет, ни в коем случае, пути воздействия совсем другие. Человек читает о том, как мы годами жили в лесах, в нечеловеческих условиях, как нас травили словно диких зверей — и все же мы выстояли, и все же — победили. И постепенно осознает, что его проблемы в сравнении с этим не так уж непреодолимы, стыдится минутной слабости и опущенных рук и начинает бороться за свое счастье.

Я получил пять тысяч писем. Прочитав книгу, люди хотят поделиться своими мыслями, иногда — проблемами. Они очень откровенны и обращаются ко мне как к старому другу. Одно письмо просто потрясло меня. Его написал аргентинец, который совсем уже было собрался покончить с собой. Ждал только, чтобы жена и дети ушли — кто в школу, кто на работу. И чтобы скоротать время и сосредоточиться, наугад взял одну из книг с полки сына. Случайно это оказалась именно моя книга. Он начал читать — и решил прежде дочитать до конца. А когда перевернул последнюю страницу, прогнал все мысли о самоубийстве. Моя книга убедила его в том, что надо бороться, несмотря ни на что. Жизнь стоит того.

— Успех книги должен был неминуемо поставить вас перед соблазном продолжить работу на литературном поприще. Вы устояли перед ним?

— Увы. Но давайте сразу внесем ясность: не обвиняйте меня в том, что я писатель. Думаю, моя книга не обладает никакими литературными достоинствами. По соображениям элементарной честности должен признаться, что поначалу я и не собирался предавать гласности свои воспоминания.

— Так как же все-таки родилась ваша книга?

— Все началось следующим образом. Во время партизанской войны я воевал в составе одного из отрядов, носившего имя «Карлос Фонсека Амадор», который действовал

[1] В «ИЛ» публиковались фрагменты этой книги под названием «Уходя в горы...» (1983, № 11).

на севере Никарагуа. Многое выпало пережить. И вот после победы революции пришла идея — наговорить воспоминания на магнитофонную пленку. Для себя, в память о том, как мы шли к нашей победе. Решив придерживаться хронологической последовательности повествования, я начал с 1968 года — даты своего вступления в Сандинистский фронт национального освобождения.

Как-то раз, чтобы проверить, насколько точно отложились в памяти некоторые эпизоды, перепечатал на машинке часть пленок и дал почитать адъютанту моего боевого товарища команданте Байардо Арсе — наши кабинеты находились рядом. А он показал мои странички шефу. Байардо тут же заглянул ко мне и похвалил: «Слушай, это здорово написано»

Куда более серьезные последствия имела попытка проконсультировать несколько эпизодов у нашего министра культуры Эрнесто Карденаля. Тот взял рукопись, отредактировал ее и, не обмолвившись со мной ни словом, напечатал — под моим именем, разумеется,— в юбилейном номере журнала министерства культуры «Никарауак», посвященном первой годовщине победы сандинистской революции.

В связи с юбилеем в Манагуа приехало много известных латиноамериканских общественных деятелей — в том числе и писателей. И вот после торжественного митинга мы все двинулись домой к Байардо Арсе. Разговаривали обо всем подряд — в том числе и о литературе. Особенно много говорил Габриэль Гарсиа Маркес. Он агитировал за то, чтобы настоящий писатель по десятку раз переделывал свою работу, оттачивая стиль и содержание до безупречной остроты. «Хотя,— признал он, — молодые писатели Никарагуа идут по другому пути, и это тоже приносит хорошие результаты. Вот, к примеру, только что прочитал написанное одним из команданте, этим... Омаром Кабесасом...» Конечно, он не знал меня в лицо. Поэтому был очень удивлен, когда все засмеялись, глядя в мою сторону.

Вдохновленный оценкой Габо, я начал работать уже систематически. Друзья рассказали, что крупнейшее кубинское издательство «Каса де лас Америкас» проводит литературный конкурс, и посоветовали мне принять в нем участие. Поначалу я не хотел посылать свои записи. По двум причинам. Во-первых, потому что в конкурсе принимали участие все «гранды» испаноязычной литературы. Соревноваться с ними мне казалось просто смешным. И во-вторых, потому что меня совсем не привлекала идея выставлять на конкурс свою жизнь. Потому что моя книга не беллетристика. Мне казалось абсурдным, что моя жизнь будет состязаться с чьей-то вымышленной жизнью и что беспристрастное жюри будет решать, чья жизнь выглядит симпатичнее. Ситуация представлялась несколько неэтичной.

Друзья нашли мое слабое место. Они начали объяснять, что книга моя — произведение литературного искусства и как автору мне необходимо абстрагироваться от ее личного восприятия. Дескать, она уже принадлежит народу, она так нужна молодежи... Как только речь зашла о молодежи, вопрос был решен. Я согласился. И был невероятно удивлен, когда мою работу жюри единогласно признало лучшей из шестидесяти шести, представленных на конкурс. С этого момента все и началось... Руководству Сандинистского фронта национального освобождения пришлось срочно предоставить мне литературного агента, разбирающегося в авторских правах. Вы, наверное, думаете, что я уже миллионер? Нет, я революционер и потому все гонорары передавал в наш фонд помощи семьям погибших солдат и революционеров.

Самое удивительное, что книга продолжает оставаться на гребне популярности. Недавно вышло ее четвертое издание в Мексике. Издательство «Рэндом хаус» купило права на ее публикацию большим тиражом в США. Есть предложения об экранизации. Но больше всего я был взволнован, когда узнал, что моя книга подпольно издана в Чили. Охранка охотится буквально за каждым экземпляром, но, несмотря на это, она нарасхват.

— Команданте, давайте-ка вернемся к «соблазнам». Над чем вы работаете сейчас?

— История революции недописана. Поэтому некоторое время назад я начал готовить вторую книгу — продолжение первой, охватывающей период с 1968 по 1974 год. В новой работе я расскажу о последнем этапе партизанской войны и о победе революции в 1979 году. Несколько глав уже готово. А дальше — жизнь подскажет...

Пока дело идет очень медленно из-за тяжелой работы и большого нервного перенапряжения. Очень трудно переключаться на литературное творчество с борьбы против «контрас».

Накал борьбы не ослабевает. Обстановка внутренней и внешней, военной и экономической агрессии накладывает серьезный отпечаток на различные стороны нашей жизни. В стране — инфляция, не хватает продуктов и товаров. Да и как может быть иначе, если из каждых ста пар обуви, что мы шьем, 60 пар — солдатские ботинки.

Янки рассчитывают, что экономические трудности подорвут популярность идей сандинистской революции в массах.

Народ прекрасно знает, кто навязал нам эту войну. «Контрас» держатся исключительно благодаря тому, что им всячески помогает американское правительство — вооружает, одевает, кормит, лечит. Пополняет их редеющие ряды своими наемниками.

Повседневная борьба с врагом дает изумительные примеры героизма и самопожертвования, храбрости и милосердия. Как хочется рассказать и обо всем этом! Но даже если я не успею, кто-то обязательно продолжит летопись истории нашей революции, и нынешние герои останутся в памяти, как остались в ней бойцы партизанских отрядов, как остался в ней Сандино

А. КУВШИННИКОВ

◆

Среди книг

Издано в СССР

ГЕРМАН ГЕССЕ — ХРАНИТЕЛЬ ОГНЯ

Герман Гессе. Паломничество в Страну Востока. Игра в бисер. Рассказы. Перевод с немецкого. Составитель и автор предисловия Н. Павлова. М., «Радуга», 1984.

Герман Гессе, отшельник из Монтаньолы (деревня в итальянской части Швейцарии, где он прожил более сорока лет), обрел признание еще при жизни. К его книгам обращались не только в поисках эстетических впечатлений, но и за ответом на вопрос: «Как надо жить?». Подобно Ромену Роллану, высоко ценившему его творчество, Гессе всегда чувствовал себя «хранителем огня». Начиная с 1914 года, когда появилась его известная статья, озаглавленная словами Бетховена: «О, друзья, довольно этих звуков!» — Гессе не уставал предупреждать об опасности, которую несут человечеству мировые войны, разгул националистических страстей и безудержного варварства.

Примечательна судьба книг Германа Гессе в нашей стране. Впервые переведен на русский он был еще в 1910-е годы, но ни в дореволюционное, ни в первое послеоктябрьское время проза Гессе не привлекла к себе большого внимания и казалась чем-то экзотическим, далеким от суровой действительности тех лет. Лишь в последние десятилетия, когда состоялось новое открытие или несравненно более глубокое прочтение европейской и американской прозы (Томас Манн и Фолкнер, Камю и Кафка), возрос интерес и к этому писателю. После юношеской повести «Под колесами» (1961) одна за другой выходят книги Гессе, среди которых наиболее заметным было «Избранное» (1977), открывавшееся вступительным этюдом С. Аверинцева. Здесь был впервые опубликован на русском языке самый пронзительный и трагический роман Гессе «Степной волк»[1] Нынешнее издание — четвертое по счету — посвящено поздней прозе писателя. Особое внимание привлекают повесть «Паломничество в Страну Востока» (1932) и роман «Игра в бисер» (1943), который печатается в новом переводе. Повесть и роман тесно связаны идеей глубокой преемственности в развитии человеческого духа, той мыслью, которую Гёте запечатлел в бессмертных строфах философского гимна:

Жизнь нашу объемлет
Кольцо небольшое,
И ряд поколений
Связует надежно
Их собственной жизни
Цепь без конца.

(«Границы человечества», перевод А. А. Фета)

В повести «Паломничество в Страну Востока» перед нами — некое братство рыцарей духа. Здесь схоласт Альберт Великий, герои рыцарских романов и поэм — Парцифаль и Армида,— Тристрам Шенди и Генрих фон Офтердинген, художник Пауль Клее, друг Гессе, и герои его книг, и его жена, и он сам («музыкант Г. Г.»). А тайным руководителем братства оказывается скромный слуга Лео, ибо смысл братства — в служении людям.

В философском романе «Игра в бисер» идея служения возникает вновь, но в более сложной и диалектической форме. В сущности, главную тему романа следует сформулировать так: «На каком пути человек и человечество могут обрести себя?». Гессе считал, что такая всеобъемлющая тема может быть адекватно раскрыта в форме философской притчи. Перед нами — утопия, действие которой отнесено к далекому будущему. Служители духа объеди-

[1] Ценные научные комментарии к этому изданию принадлежат грузинскому филологу Р. Каралашвили, который внес большой вклад в изучение творчества Гессе. *(Прим. авт.)*

нились здесь в республику Касталию, подчиненную строгим законам; по своей структуре она подобна средневековому ордену. Название «Касталия» — античного происхождения (вспомним пушкинский «кастальский ключ»).Члены братства отрешились от внешнего мира. Главное их занятие — таинственная Игра. «игра со всеми смыслами и ценностями культуры», которая как бы символизирует охрану накопленных человечеством сокровищ искусства и науки.

Касталия воплощает многое, что было дорого Гессе: бескорыстную преданность духу, беззаветное служение культурным ценностям. И все же Касталия не была идеалом Гессе. Об этом свидетельствует судьба героя книги — Иозефа Кнехта (эта фамилия не случайно означает «слуга»). Ставши верховным руководителем Касталии — магистром Игры,— он в конце концов добровольно отрекается от своего поста. Подобно «Доктору Фаустусу» Томаса Манна (написанному почти одновременно с «Игрой в бисер»), роман Гессе утверждает мысль о том, что замкнутость духа в самом себе, его отъединенность от жизни — в конечном счете гибельна для самого духа.

В начальных главах романа Гессе с необычной для него страстностью и обличительным пафосом пишет о профанации культуры в буржуазном обществе, приводит примеры «унижения, продажности, добровольной капитуляции духа». Он называет время размена культуры на дешевые суррогаты «фельетонной эпохой». В сущности, он ставит диагноз тем явлениям, которые знаменовали зарождение «массовой культуры». Но Касталия, возникшая из оппозиции к ней, воспарила в слишком далекие от реальности выси.

Оценивая «Игру в бисер» как выдающийся философский роман XX века, богатый мыслью и написанный на редкость ясным и прозрачным языком, трудно умолчать и о том, что наряду с яркими, пластичными сценами, воссоздающими годы детства и юности Кнехта, в книге часты рассуждения на отвлеченные темы, которые нередко переводят важную проблематику романа в чисто умозрительный план. Отчасти это объясняется тем, что Гессе — надеясь напечатать свою книгу в Германии, чтобы ободрить тех, кто втайне противостоял гитлеровской тирании,— подверг роман своеобразной автоцензуре. Первоначально (как сообщает исследователь творчества Гессе из ГДР Эйке Миддель) роман отличался ярко выраженной антифашистской направленностью. Так, Кнехт должен был встретиться с вождем фашистской диктатуры, который требовал от Касталии безоговорочного подчинения «новому порядку» угрожая в противном случае распустить орден. В окончательном варианте Гессе устранил прямую полемику, считая, что защита бескорыстной духовности сама по себе является вызовом тотальной диктатуре нацизма

Основная часть романа («Жизнеописание магистра игры Иозефа Кнехта») дает более яркое представление о Гессе-мыслителе, чем о Гессе-художнике. Зато Гессе предстает как самовластный чародей слова во второй части романа — в «посмертных сочинениях» Иозефа Кнехта, которые он якобы издал,— в стихах и в «Трех жизнеописаниях». Здесь Кнехт то первобытный кудесник, то отшельник, настойчиво ищущий смысл жизни, то могущественный индийский князь, добровольно отрекшийся от власти. И в каждой из легенд поражает яркость красок, мощь и поэтическая интенсивность повествования.

Мастерство Гессе наглядно проявилось в рассказах. В книге их немногим более десяти; тем характернее их жанровое разнообразие. Сюжет отчетливо выражен лишь в тех рассказах, которые тяготеют к близкому Гессе миру волшебной сказки или притчи («Фальдум», «Ирис»). Но чаще Гессе избегает сюжета. Он или высвечивает какой-либо эпизод из своей жизни, или дает в рассказе своего рода конспект всей жизни человека («Воспоминание о Гансе»). Столь же постоянны у него небольшие созерцательные этюды и размышления в прозе. Их лаконизм и лирическая окраска могут напомнить нашему читателю о Пришвине, который довел подобный жанр миниатюры до совершенства.

Долгий путь Гессе начинался еще в XIX столетии (по возрасту он был почти ровесником Александра Блока). Читая его рассказы, невольно вспоминаешь то, что сказал Горький об их общем друге Р. Роллане: «...надо помнить условия, в которых воспитывались радикалы его поколения, люди по преимуществу «лирического строя души». Нелепо упрекать блондина за то, что он не брюнет» (М. Горький. «О Ромене Роллане». 1933). «Лирический строй души» был присущ Гессе еще больше, чем Роллану. Поэтому для него был мучительно труден выбор между чистым созерцанием (идеал его воплощен в тонко стилизованном под китайскую сказку рассказе «Поэт», где тайны искусства раскрываются лишь тому, кто отрешен от всех волнений жизни) и активным действием. Однако в решающие минуты истории он не колебался. В рассказе «Письмо в Германию» Гессе с ядовитой иронией разоблачает уютный самообман тех своих почитателей, которые утверждали, будто «в годы гитлеризма» ни один немец «ничем не смог бы воспрепятствовать Гитлеру: всякая попытка была бы безумием, стоила бы ему хлеба и свободы, а в конце концов даже и жизни». Он резко и прямо спрашивал их, «почему они с редким единодушием голосовали за Гинденбурга и позже за Гитлера, при котором как раз и сделалось опасно для жизни быть добропорядочным человеком?» Совесть всегда была и оставалась главным критерием поступков и творчества Гессе. И в этом он не изменил себе до конца жизни. Э. Миддель, уже упомянутый нами, приводит красноречивый пример тому. В 1956 году в ФРГ решили присудить премию имени Германа Гессе Фридриху Зибургу — одаренному критику, запятнавшему себя, однако, участием в фашистской прессе. Семидесятидевятилетний Гессе немедленно написал инициаторам этого решения: «Я требую, чтобы вы либо вынудили профессора Зибурга снять свою кандидатуру, либо не пользовались моим именем для нашей премии». Таков был «от-

шельник из Монтаньолы» — созерцатель и деятель, поклонник строгой гармонии Баха и противник бесчеловечных, истребительных войн, превыше всего ставивший заветы добра и служения людям. Таким он предстает и в этой книге, и не случайно эта книга стала важным литературным событием.

Новая книга дает отчетливое представление о нравственных и философских исканиях немецкого писателя, его отточенном мастерстве. Необходимо отметить удачные переводы (в том числе новый перевод «Игры в бисер» С. Апта). Не уступает ему и «Паломничество в Страну Востока», переведенное С. Аверинцевым, и рассказы Гессе в переводах Ю. Архипова, Н. Федоровой, безвременно ушедшего от нас Сергея Ошерова и других переводчиков. Вся книга — своего рода единый архитектурный ансамбль, в который органически вписывается вдумчивая вступительная статья Нины Павловой. К сожалению, не везде даны нужные примечания (что затрудняет для многих читателей понимание текста); стоит пожалеть и о том, что в издание не вошли хотя бы некоторые образцы эссеистики Гессе.

Г. РАТГАУЗ

ПЕРЕД РАССВЕТОМ

Пол Скотт. Жемчужина в короне. Перевод с английского М. Лорие. Предисловие И. Васильевой. Москва, «Радуга», 1984.

1942-й год... «Вон из Индии!» — эти три слова, брошенные Махатмой Ганди в лицо англичанам, в едином порыве подхватила вся огромная страна. Такова историческая реальность, представленная в романе английского писателя Пола Скотта «Жемчужина в короне».

Оценивая историческую реальность начала 40-х годов, автор задает как будто один-единственный, «наивный», вопрос «Почему?». Подробно и обстоятельно, неторопливо и внешне спокойно исследует Пол Скотт этот вопрос с разных сторон в своем романе, первой части тетралогии «Раджийский квартет» (1966—1975), описывающей Индию в решающие 40-е годы, накануне обретения независимости, перед рассветом, когда ночь колониализма особенно темна.

Сложный по структуре и образной системе роман Пола Скотта требует внимательного, вдумчивого чтения. Содержательное предисловие И. Васильевой помогает читателю войти в мир романа.

«Это будет повесть об одном изнасиловании, о тех событиях, что привели к нему, и тех, что за ним последовали, и о месте, где оно произошло»,— говорит писатель в самом начале романа. Изнасилование молодой англичанки Дафны Мэннерс группой хулиганов-индийцев и последующая расправа над индийцами, в этом преступлении заведомо неповинными,— тот стержень, вокруг которого вращается вся масса произведения. Это постепенно выявляющиеся обстоятельства и подробности, это причины и следствия, это широкий исторический фон, это характеры, мысли и чувства людей, прямо или косвенно втянутых в происходящее. Все вместе составляет ту общественную ситуацию, следствием и кульминацией которой явилось преступление в Бибигхарском саду в Майапуре. Если учесть, что географические названия условны, то становится яснее обобщающий смысл событий романа как воплощения англо-индийских отношений.

Слова автора «Это будет повесть об одном изнасиловании» сразу же вызывают в памяти «Историю одного преступления» — подзаголовок известного романа Э. Форстера «Поездка в Индию». Пол Скотт, несомненно, полемизирует с недостаточно глубоким, как ему кажется, представлением об англо-индийских отношениях у Форстера. Роман Скотта темнее по колориту, более мрачен и трагичен. То, что у Форстера только предполагается, но не совершается, в романе Скотта действительно происходит: и изнасилование, и осуждение невинных (у Форстера невинного оправдывают). Но Форстер был первооткрывателем: он первый сказал правду об англичанах в Индии, о справедливой, заслуженной ими ненависти, о необходимости и неизбежности освобождения страны. «Мы сбросим всех проклятых англичан в море» — это не из романа Скотта, это еще из книги Форстера. Так что Пол Скотт, конечно же, продолжает его традицию. Однако сорок два года, разделяющие оба романа («Поездка в Индию», 1924 — «Жемчужина в короне», 1966),— большой срок. За это время англо-индийские противоречия стали намного острее, и, разумеется, должна была появиться иная книга.

В романе Скотта широкий круг действующих лиц, англичан и индийцев. Это заядлые колонизаторы-расисты типа бригадного генерала Рида и начальника полиции Роналда Меррика; либеральные администраторы вроде комиссара округа Роберта Уайта, пытающиеся продлить колониальное господство Англии дипломатией и компромиссами; люди, которые, как школьный инспектор мисс Крейн, искренне стремятся к нереальной цели — делать добро индийцам в рамках колониальной системы; и наконец, те, кто подобно Дафне Мэннерс, не считаясь с расовыми предрассудками и барьерами, выламывается из существующей системы отношений. Среди героев романа, индийцев,— и участник национально-освободительной борьбы Видьясагар, и богатый подрядчик Гупта Сен, для которого бизнес всегда стоял на первом месте, а политика «ни на каком», но больше всего европеизированных, образованных индийцев из высших классов. К ним принадлежит леди Чаттерджи, вдова высокопоставленного чиновника, у которой гостит племянница бывшего губернатора провинции Дафна Мэннерс; окружной судья Менон, доктор Кришнамурти, адвокат Шринивасан, индийский юноша Гари Кумар, получивший воспитание в привилегированной школе в Англии и чужой в своей стране.

Роль Шринивасана в романе особая. Он — член комитета Индийского национального конгресса, подвергавшийся за политическую деятельность преследованиям и тюремному заключению. Именно этот герой по своим взглядам ближе всего писателю. Его суждения и размышления, его

анализ общественно-исторической ситуации во многом совпадают с авторскими. Писателю важно высветить расизм в чистом виде, когда людей, равных или сходных по образованию, воспитанию, даже служебному положению, разделяет только одно — цвет кожи. Именно расизм, его абсурдность и бесчеловечность, в первую очередь раскрывается в романе. Расизм — это рок в трагедии, составляющей ядро книги.

Узнав о надругательстве над Дафной Мэннерс, начальник полиции, Роналд Меррик, ложно обвиняет в преступлении своего соперника Кумара и его друзей, но даже допросом под пыткой начальнику полиции не удается вырвать у арестованных нужные «признания» в преступлении, которого они не совершали. И все-таки это не спасает их от расправы, хотя благодаря мужеству Дафны Мэннерс ложное обвинение в уголовном преступлении отпадает. Кумара и арестованных вместе с ним юношей заключают в тюрьму на основании «закона об обороне Индии». Издевательства над схваченными полицией индийцами становятся искрой, от которой вспыхивают волнения в Майапуре. Для подавления «мятежа» английские власти используют военную силу.

Описания истязаний и пыток в романе намеренно подробны, они воплощают самую суть английского правления в Индии. Весь ход событий заключает в себе ответ на авторский вопрос «Почему?». Господству англичан в Индии не может быть ни малейшего оправдания — таков идейно-эмоциональный пафос книги.

Пол Скотт бесстрашно исследует и такое сложное явление, как крайности индийского национализма. Справедливая ненависть к угнетателям-европейцам принимает уродливые формы, причем физическое насилие обращено большей частью на «предателей», тех, кто так или иначе сближается с англичанами. Любовь Дафны и Кумара вызывает ярость расистов с обеих сторон. Надругательство над Дафной Мэннерс — прежде всего месть Кумару: это его, связанного, избитого, с кляпом во рту, заставляют смотреть и все видеть. И все-таки жестокость индийских расистов, людей по ту сторону закона, меркнет перед изощренной жестокостью англичан, охраняемой силой закона. Логически разматывая клубок самых темных и низких страстей, писатель обнажает их причину и первоисточник: индийский расизм — следствие колониализма. Пол Скотт подчеркивает: все самое дурное прорывается в англичанах, когда они в Индии, но национальное высокомерие, убежденность в своем праве эксплуатировать чужую страну, варварское презрение к другому народу и чужой культуре, ненависть к людям с иным цветом кожи взращиваются еще там, дома.

В главе «Власти гражданские и военные» и конкретные события, и общие проблемы предстают с точки зрения официальных лиц, ответственных за кровопролитие в Майапуре: начальника гарнизона генерала Рида и окружного комиссара Роберта Уайта. Каждому из них автор дает возможность выговориться (и проговориться) или выдать себя умолчанием. В монологах героев вопреки воле говорящего проступает «момент истины». Именно генерал Рид рассказывает подробности расстрела безоружной демонстрации в Майапуре. А либеральный администратор Роберт Уайт объясняет страшную расправу над восставшими тем, что «таково было положенное по закону наказание для участников мятежа».

Роман Пола Скотта дает однозначный ответ на вопрос, почему англичане должны уйти. «Вон из Индии!» — справедливый и закономерный итог двухсотлетнего британского владычества.

Трагический роман Скотта не безысходно мрачен. Рушатся судьбы смелых и чистых душой героев трагедии, но остается Парвати, дочь Дафны и Кумара, грациозная индийская девушка с рыжеватыми бликами в черных волосах. С Парвати в роман входят свет и радость, надежда на будущее, торжество единения людей над рознью и враждой, и в этом актуальность исторического романа «Жемчужина в короне». Есть и другие причины современного звучания романа. В Англии, как и в других странах Запада, и сейчас сильны неоколониалистские устремления — достаточно вспомнить фолклендскую эйфорию в Англии и гренадскую в США. Эти настроения живы и в литературе. Ностальгия по временам Британской империи звучит во многих современных романах. Самый нашумевший из них — «Осада Кришнапура» Дж. Г. Фаррелла (1973). Англичане в Индии — герои и мученики, таков лейтмотив романа Фаррелла, имевшего сенсационный успех. Демагогической романтизации британского владычества в Индии противостоит суровая и горькая книга Скотта.

М. ГОРДЫШЕВСКАЯ

СИЮМИНУТНОЕ И ВЕЧНОСТЬ

Человек и мир в японской культуре. Сборник статей. Ответственный редактор Т. Григорьева. Москва, «Наука», 1985.

Изданный сравнительно большим для научных публикаций тиражом и неброско оформленный внешне сборник статей «Человек и мир в японской культуре» разошелся почти мгновенно. Подобный интерес легко объясним: за последние годы мы видели не так уж много коллективных исследований, в которых с позиций истории, философии, искусствоведения, этнографии анализировались бы фундаментальные проблемы мировоззрения, традиционной эстетики и социальной психологии японцев.

Хронологический принцип композиции сборника позволил составителям выявить диалектику исторического бытия каждого рассматриваемого явления, поместить его в контекст общего развития японской культуры. Шестнадцать авторов сборника, среди которых и востоковеды «с именем», и начинающие ученые, каждый по-своему заставляют звучать диалог природы и человека, в «интерпретации» разных эпох.

Причудливый и своеобразно гармоничный мир синтоистской мифопоэтической

символики в статье Л. М. Ермаковой закономерно сменяется проблемами этической иерархии бытия в раннебуддийской житийной литературе, по-новому выстраивающей в сознании японцев пространство и время (А. Н. Мещеряков). За сложнейшей философской космологией раннесредневекового эзотерического буддизма (статья А. Н. Игнатовича) следует средневековый дзэн-буддийский идеал «растворившегося» в природе человека, восходящий генетически к китайскому даосизму (статья А. М. Кабанова). В свою очередь мы узнаем, что образы средневековых даосских святых закрепились в японской фольклорной традиции нового времени, в легендах и миниатюрах нэцкэ прежде всего благодаря своей прагматической направленности, культу здоровья и долголетия (М. В. Успенский).

В статье, посвященной японской жанровой живописи на рубеже средневековья и нового времени, Н. С. Николаева показывает, как человек становится в живописи самостоятельным объектом изображения, вначале выделившись из природы в виде некоего социума, а затем — индивида. О дальнейшем изменении системы масштабов и смысловых связей в живописи нового времени пишет Е. А. Сердюк, предмет этого исследования — красочный мир гравюр «укиёэ», тесно связанный с сюжетами городской прозы и пьес театра Кабуки.

Сквозная тема сборника — диалог культур — не ограничена рассмотрением традиционных связей с Китаем (статьи А. М. Кабанова и М. В. Успенского), но затрагивает и контакты японцев с «рыжеволосыми варварами южных морей», как в старину именовали европейцев. События, описанные в статье Е. Л. Скворцовой, происходят в бурный и драматичный «христианский век», начавшийся в 1542 году с появлением первых португальских судов на острове Танэгасима и закончившийся в середине XVII века запрещением христианства и закрытием страны для любых внешних контактов. Сложный клубок религиозно-философских и политико-экономических противоречий определил неоднозначное отношение японцев к «южным варварам» и их учению о Небесном Отце. Особенно наглядно это демонстрирует судьба дзэн-буддиста, принявшего в крещении имя Фабиан. Неоднократно побеждавший на теоретических диспутах видных буддистов своего времени и даже самого Хаяси Радзана, столпа японского конфуцианства, он впоследствии пишет антихристианский трактат и возвращается в лоно традиционной религии.

Хотя официальная токугавская идеология отвергла западные учения, они не могли не оставить глубокого следа в мировоззрении японцев, что подтвердилось в последующие эпохи. Особенно активно процесс европеизации начался с середины XIX века. Важную роль в усвоении западного образа мысли сыграли тогда художественная литература и, в частности, европейская драматургия. Рождение «новой драмы» в Японии (статья Т. А. Завырылиной) знаменовало собой не просто появление нового театрального жанра: возникал принципиально новый взгляд на человека, его место в природе и обществе, а вместе с новой драмой рождался новый зритель.

Процесс культурного диалога с Западом не теряет для Японии своей актуальности в наши дни. Одно из доказательств тому — эссе Сёдзабуро Кимура «Люди зрения» и «Люди голоса» — о специфике японского языкового восприятия (статья М. С. Федоришина). Здесь также речь идет о своеобразии японского взгляда на природу, человека и сущность взаимоотношений между ними, что отражается в эмоциональных реакциях японцев, их особой языковой экспрессии.

Центральное место в сборнике занимает статья доктора филологических наук Т. П. Григорьевой, чьи монографии «Японская художественная традиция» и «Японская литература XX века» хорошо известны всем, кто занимается вопросами японской эстетики. Широкий круг проблем, поставленных в статье, заинтересует специалистов по философии и искусству Востока. Исторические модели личностного сознания, взаимодействие синтоистского пантеизма с буддийской концепцией недуальности, воздействие китайской диалектики «инь-ян» на мировоззрение японцев, место конфуцианской этики в японских представлениях о государстве, психология творчества в искусстве Японии — вот далеко не полный список тем, затронутых автором.

После подобного обобщающего взгляда по-иному читаются статьи о дзэнских садах камней (И. Ф. Муриан) и поэзии трехстиший (Е. М. Дьяконова). В первой из них мы вместе с автором совершаем неспешное путешествие по молчаливым символистским пейзажам монастырского комплекса Дайтокудзи, погружаемся в атмосферу чайной церемонии и углубленной медитации на галерее храма Дайсэн-ин, вслушиваемся в звуки бамбуковой флейты, подчеркивающие бесконечную тишину, учимся разгадывать художественные криптограммы из песка и камней.

Сложно для неподготовленного читателя восприятие традиционных японских трехстиший хайку в интерпретации талантливого поэта и литературоведа конца XIX века Сики Масаока. Простота хайку обманчива, ибо идеал этой поэзии — в полном преодолении субъективного мировосприятия, в «объективной красоте» бытия, в умении перевоплощаться в предмет стихотворения, сливаться с ним. Трехстишие есть по сути лишь название некоего бессловесного стихотворения, которое должно родиться в душе читателя в процессе активной творческой медитации. Для европейского читателя подобная роль не совсем привычна, но для многих она становится своеобразным мостом, соединяющим культуры Востока и Запада.

В откровенно полемическом, «экспериментальном» ключе написаны статьи К. И. Шилина — об экологическом аспекте японской поэзии и Е. Н. Шелестовой — о религиозно-эстетических моделях преодоления психологии кризиса, о родстве категорий «саби» и «катарсис». Они, несомненно, вызовут споры среди востоковедов и специалистов по теории эстетики и, будем надеяться, станут предметом плодотворных научных дискуссий.

Завершает сборник статья А. Л. Луцкого, в которой содержится интересный крити-

ческий анализ взглядов видного представителя современного буддизма секты Нитирэн почетного доктора МГУ Дайсаку Икэда. Отдавая должное гуманистическим и экологическим тенденциям философии Икэда, автор вместе с тем убедительно доказывает ее внутреннюю противоречивость, невозможность последовательного согласования даже самой гибкой религиозной догматики с реальными задачами, стоящими перед современным обществом. Именно осознание этого факта, делает заключение автор, стимулирует активные поиски современными буддийскими теологами более совершенного философского обоснования вероучения.

Книга «Человек и мир в японской культуре» стала весомым вкладом в советское японоведение, ее можно рекомендовать всем, кто интересуется проблемами самобытной и древней цивилизации Японии.

В. МАЗУРИК

Издано за рубежом

ИЗ ПОЭТИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ ДЖОНА РИДА

John Reed. Collected poems. Edited and with a Foreword by Corliss Lamont. Westport, Connecticut, Lawrence Hill and Company, 1985.

Джон Рид. Сборник стихов. 1985.

Имя Джона Рида (22 октября 1887 г.— 17 октября 1920 г.), пламенного журналиста-революционера, деятеля американского и мирового коммунистического движения, хорошо известно в нашей стране. Он вошел в историю и как родоначальник американской революционной литературы. Свой литературный талант выходец из зажиточной среды, питомец ведущего в США аристократического Гарвардского университета поставил на службу великому делу пролетариата, против захватнических, грабительских войн, за жизненные права американских трудящихся.

25-тысячная забастовка рабочих шелкоткацких предприятий в Патерсоне (штат Нью-Джерси), принадлежащих Рокфеллеру, в 1913 году была жестоко подавлена полицией; сотни рабочих были арестованы и среди них — репортер Джон Рид. В своей статье «Война в Патерсоне», опубликованной в левосоциалистическом журнале «Мэссиз» (июнь 1913 года), он увлеченно писал о мужестве и стойкости рабочих.

В том же году Джон Рид едет корреспондентом от журнала «Метрополитен» в Мексику, чтобы запечатлеть Мексиканскую революцию в блестящих очерках, статьях и книге «Восставшая Мексика».

В августе 1914 года разразилась империалистическая война в Европе. Рид освещает на страницах американской печати ход войны в очерках, репортажах и книге «Война в Восточной Европе». Для Рида она была «войной торговцев», «антинародной войной».

Революционные события в России 1917 года — падение царизма, усиление позиций пролетариата и партии большевиков — возбуждали интерес Джона Рида, и осенью 1917 года он прибывает в Петроград корреспондентом от американской социалистической печати.

Октябрьская революция застала Джона Рида в Петрограде. Он принял ее всей душой и сердцем. Уже в самые первые дни революции Рид писал: «Истинная революция началась...» Для Рида социалистическая революция была настоящим революционным университетом, народным университетом во главе с В. И. Лениным, человеком «с проницательным, гибким и дерзновенно-смелым умом». Книга «Десять дней, которые потрясли мир», брошюра «Красная Россия — триумф большевиков» и статьи, деятельность по созданию Коммунистической партии США и в Исполкоме Коминтерна, его жизнь, отданная за дело социализма,— доказательство тому.

Но Джон Рид был еще и поэтом-романтиком.

Советский читатель хорошо знаком с крупными произведениями Рида, более или менее — с его статьями, не вошедшими в антологии, и очень мало знает его ранние публикации, в частности стихи. Поэтому отрадно отметить, что в 1985 году в США вышел «Сборник стихотворений Джона Рида». Его редактор и автор «Введения» — Корлисс Ламонт, прогрессивный общественный деятель, писатель и философ, мужественный и последовательный борец за мир, за развитие дружественных американо-советских отношений. Жизненный путь Корлисса Ламонта во многом напоминает судьбу Рида. Он тоже выпускник Гарвардского университета, борец за правду, за достоинство человека. Как и Рид, он подвергался преследованиям властей. Идеалы Рида близки К. Ламонту. «Прочтя «Десять дней, которые потрясли мир»,— пишет во «Введении» к сборнику К. Ламонт,— я стал все больше интересоваться его жизнью, исполненной героических и смелых поступков».

Просматривая старые рукописи и материалы в Библиотеке редких книг и рукописей Колумбийского университета в Нью-Йорке, К. Ламонт обратил внимание на потрепанную тетрадь, а когда открыл ее, с изумлением и радостью прочел: «Стихотворения Джона Рида». Они были собраны Лео Стеллером как материал для соискания степени магистра искусств.

Поскольку поэзия Джона Рида в США не издавалась отдельным сборником, а интерес к его литературному творчеству значителен, К. Ламонт решил опубликовать материалы и тем самым «завершить драматическую историю Джона Рида».

В опубликованный им сборник вошло 68 стихотворений, охватывающих период с 1905 по 1919 год. Из них 35 стихотворений, то есть половина, приходится на 1905—1910 годы, когда Рид учился в университете, то есть на промежуток между семнадцатью и двадцатью тремя годами.

В 1906—1910 годы — годы учебы в колледже — любимым его профессором был Коупленд, преподаватель английской литературы, который учил студентов видеть и понимать многообразие и красоту мира. Поэтическому таланту Дж. Рида свойственны углубленная медитативность и проникновенный лиризм, демократичность. Любовь, благородство, радость жизни, любовь к музыке, уважение к преданиям античности — все это характерно для его ранних стихов. Таково его стихотворение «Фермопилы»:

Я стою под древним небом,
Глядя вниз с горы отвесной.
Там застыла тень густая —
Тень гробницы Леонида.
Вновь волна идет на приступ,
Чтоб обрушиться на скалы,
Вновь, как прежде, войско персов,
В бой гонимое кнутами.
Катится могучим валом,
Чтобы, налетев, разбиться
О железный строй спартанцев.
Как волна, скалы не сдвинув,
Отползает вспять со злобой,
Так и персы, павши духом,
С уязвленною гордыней
Отступают в беспорядке
И зализывают раны.
Вновь храбрейших из спартанцев
Леонид ведет на битву,
Сдерживая грозный натиск —
Натиск сотни сотен персов.
Вновь напев пеана гордый,
И мечей тяжелый грохот,
И сражающихся крики
В гимн сливаются Арею.
Вдруг враги заходят в спину,
Но не дрогнули спартанцы
И меж двух рядов убийства
Мужественно смерть встречают.
И смолкает гром сраженья
И лишь солнце в час заката
Проведет лучом кровавым
По глазам остекленелым.

Больше не бушует море,
Не бросается о скалы.
Больше бешеная битва
Воду кровью не окрасит.
Но пока закат пылает,
Берега хранят молчанье,
Словно в память о героях,
Здесь погибших за отчизну.

(Перевод А. Казарновского)

Стихотворения Рида, написанные в 1911—1919 годы, отличаются большей социальной заостренностью и поэтической завершенностью. Здесь он — поэт-революционер. В поэме «Америка. 1918» Рид пишет:

Опоясанная сталью, бряцающая оружием,
Выкликающая громким голосом
Высокие слова: «За свободу... За
демократию...»
Глубоко во мне что-то дрогнуло,
откликается

(Моя страна, моя Америка!) —
Как будто высокой и пустой ночью
Она зовет меня — моя потерянная, моя
первая,
Моя разлюбленная, разлюбленная,
разлюбленная...
Облачная тень былой нежности,
Призрак прекрасного безумия — много
смертей
И доступное бессмертие.

(Перевод И. Кашкина)

Стихотворения зрелого возраста Рид публиковал в «Американ мэгэзин», «Поэтри», «Сентчури», «Кольерс», однако лучшие стихи помещал в левосоциалистических журналах «Мэссиз», «Либерейтор» и других.

Самым последним стихотворением Джона Рида было «Письмо к Луизе» (весна, Осло, Норвегия, 1919) — верной и любимой подруге:

Водопады света
В дом влетевший шмель
Первое цветенье ивы
Майских яблонь нежный снег
Долгие разливы рек
Ветра влажные порывы
И дождя пастель
Слиты в песне этой

Вспоминаю часто
Ясный смелый взгляд
Чистый как озер глубины
Если б свет весны угас
Все равно в заветный час
В час свидания с любимой
Трепетом объят
Был бы я от счастья

Дел пчелиный танец
Дней тяжелый бег
Мотыльком лечу во сне я
Как к цветку к ее груди
Знаю — радость впереди
Наяву я встречусь с нею
Встречусь — и вовек
Больше не расстанусь...

(Перевод А. Казарновского)

Сборник, изданный К. Ламонтом, включает отнюдь не все богатое поэтическое наследие Рида; многие из его стихотворений еще ждут своего исследователя. Почти совсем неизвестна читающей публике и переписка Рида.

Хочется верить, что наши литературоведы и издательства в связи со столетием со дня рождения Джона Рида в 1987 году выпустят в свет новые сборники произведений того, кто еще при жизни стал олицетворением мужества, гражданственности и таланта.

И. КРАСНОВ

БУРЯ В ТИХОЙ ЗАВОДИ

Martin Walser. Brandung. Frankfurt am Main, Suhrkamp Verlag, 1985.

Мартин Вальзер. Прибой. 1985.

Ну, ныряй же! — сказал себе самому Хельмут Хальм при виде очередной волны океанского прибоя, накатывавшейся на калифорнийский берег.

Эта очередная волна, под которую Хельмут Хальм, по примеру местных купальщиков, решил поднырнуть, доказывает ему, что шутить с Тихим океаном надо осторожно: отнюдь не спортивного склада мужчина средних лет очутился в «ревущем и рушащемся хрустальном дворце», где неумелого пловца крутит и вертит и откуда его, совсем обессиленного, выбрасывает на песок.

Новый роман западногерманского писателя Мартина Вальзера «Прибой» нарочито неторопливый и внешне безмятежен, словно пикник на морском берегу возле шумного, но не очень опасного прибоя. И все же неприятное приключение главного героя Хельмута Хальма с купанием — своего рода предупреждение, что в этом чудовищном морском приливе может погибнуть даже опытный пловец... Так что же происходит в романе?

Преподаватель немецкого языка и литературы из Штутгарта Хельмут Хальм (ежедневная рутина в средней школе соседнего местечка Зилленбух, нудные придирки начальства, нервная жена, у которой умирает мать, неурядицы в личной жизни обеих до-

черей) получает неожиданное приглашение от своего старого товарища и однокашника по Тюбингенскому университету — Райнера Мерсйохана, обосновавшегося в США,— приехать к нему в Окленд, штат Калифорния, для ведения занятий по немецкому языку и чтения лекций о творчестве Генриха Гейне.

В перспективе — несколько месяцев за границей, приятное занятие, хороший заработок, и Хельмут Хальм буквально срывается с привычного места и вместе с женой Сабиной и дочерью Леной летит в Америку. Надо представить себе «зашнурованного» немецким «орднунгом» школьного учителя Хальма, надо учесть, что Штуттарт — это Швабия со всей ее скучной добропорядочностью и улиточной замкнутостью по отношению к чужестранцам, и надо теперь вообразить себе Хельмута Хальма, оказавшегося в солнечной Калифорнии, у пылающих закатных облаков над Сан-Франциско, близ искрящегося голубого залива, перечеркнутого изящным контуром моста «Золотые ворота», среди экзотических фруктов и звона цикад, в непривычно раскованном студенческом мире оклендского университета имени Джорджа Вашингтона. Все нравится тут Хельмуту Хальму — и коллеги-преподаватели, и дом, предоставленный ему профессором, тоже уехавшим для чтения лекций за границу, и студенты его семинара — не только любознательные, но и равнодушные, и в том числе эта странная девушка Фрэн Уэбб...

Странность ее, впрочем, вполне объяснима. Догадывается, в чем тут дело, и сам Хальм, который, однако, в силу эгоцентричности своей натуры более всего опасается, как бы ему не оказаться смешным в глазах окружающих, и оттого становится все более и более смешным. Литературный критик гамбургского еженедельника «Шпигель» Хельмут Каразек по этой причине сравнивает Хальма с шекспировским Мальволио, героем комедии «Двенадцатая ночь», который по ошибке оказывается в ситуации комической, затем — постыдной, а в конечном счете почти одержим безумием. Разница здесь лишь в том, что все эти превращения швабского Мальволио совершаются не столько наяву сколько в его собственной голове: Хальм немолод, учен, добропорядочен — и в силу этого привык наблюдать себя со стороны и терзаться тем, что́ это стороннее наблюдение приносит ему. Он страдает той же болезнью, что и Франц Хорн из романа «По ту сторону любви», что и другие герои вальзеровских книг, болезнью, порожденной крайним индивидуализмом и названной опять-таки по имени одного из героев писателя «болезнью Галлистля».

«Его порою так соблазняло оставлять все в состоянии прекрасной неопределенности»,— говорит Вальзер о Хальме. Именно так, нарочито притупляя чувства, оглядываясь по сторонам в поисках насмешливых глаз или же зеркала, ведет себя Хельмут Хальм в общении с коллегами и студентами. «Две неприязни, столь схожие между собой, встречаются друг с другом, выступают друг против друга, пока не превращаются в одну приязнь, в одно блаженство.— читает преподаватель Хальм сочинение студентки Уэбб на тему о комедии Шекспира «Много шума из ничего».— То, что является ирреальным и что особенно поражает в дуэте Бенедикта и Беатриче, это их абсолютное совпадение в неприязни. Это, должно быть, просто замечательно. Такое можно только пожелать самому себе. Ты раскрываешь рот и говоришь «а», другой говорит «я», ты говоришь «б», он говорит «ю», ты — «в», он — «э», ты «г», он — «ш»... На «м» и «н» — встреча, узнавание, соединение. МНМН. Нет больше никакого шума. Нет больше шума. Нет шума. Нет ничего. Хальм взглянул назад, на то место, где встреча «м» и «н». Она имеет в виду — ХальМ и ФрэН?» Быть может, это просто приличествующая деликатной ситуации сдержанность?

Но ничего не происходит, а уже дома, в Швабии, получено письмо из Калифорнии, от секретаря факультета Кэрол: «Я вновь погрузилась в свои будничные дела. Другим, как вы увидите, не так повезло», а к письму приложена газетная вырезка, которая не оставляет сомнений в том, что... от которой бы закричать в ужасе... Но вместо своего этого (инстинкт самосохранения?) зачитывается жене письмо дочери. И только потом: «Ах, сказал Хальм, печальные вести. Одна студентка — ну, она была у меня в разговорном семинаре — вместе с приятелем утонула в море. Ты же помнишь, как там плотно ставят машины на побережье, совсем у края обрывистого берега... Они рухнули вниз, вместе с машиной, и пролетели, ударяясь о скалы, около ста метров, пока машина не упала на пляж, у самого прибоя. Ну и? — спросила Сабина.— Приятеля этой студентки, пока они летели, выбросило из машины, и он остался лежать на одном из утесов, его спасли с помощью вертолета, серьезные ушибы, но остался жив. А студентка? — спросила Сабина.— Она не выбралась из машины. У нее были костыли после несчастного случая, который произошел незадолго до того. Костыли, видимо, и помешали ей выбраться. Когда подоспела помощь, было уже поздно. Девушка захлебнулась. Прибой. Эти зимние штормы...»

Собственно говоря, такой Хельмут Хальм уже знаком читателю — по повести Вальзера «На полном скаку», где герой, проводя отпуск на Боденском озере, чуть было не стал причиной гибели одного из своих друзей. Чуть было. Теперь же, в «Прибое», он становится свидетелем катастроф, происходящих с другими людьми, причем предвидеть эти катастрофы он не способен, поскольку слишком занят собственной персоной. Однако, несмотря на это занятие, жизнь Хальма, как и других вальзеровских героев, представляет собою цепочку поражений, к которым нередко ведет даже полное бездействие.

Роман начинается и кончается совершенно одинаково: «Хальм стоял перед зеркалом в ванной комнате, уже побрившись, и все никак не мог перестать разглядывать свое лицо с неизменным смешанным выражением недоброжелательства и наслаждения»... «Его второй день отпуска начался тем, что он стоял перед зеркалом в ванной комнате, уже побрившись, и все никак не мог перестать разглядывать свое лицо с неизменным смешанным выражением недоброжелательства и наслаждения». Снова — будни в собственном доме под Штут-

гартом, привычная размеренность жизни, разговоры о домашних тапочках и о работе, которая уже не кажется Хельмуту Хальму такой нудной, как раньше, до Калифорнии, ибо она — буднична, привычна, размеренна, не требует неожиданных решений и смелых поступков. Оклендский университет словно скрыт в памяти дымкой океанского залива. Было ли в самом деле в его жизни то, что случилось? Был ли прибой?

Хальм не гонит беспокойные воспоминания от себя. Он просто закрывает глаза и ждет, когда неприятное минует или забудется. Так он вел себя, когда видел, что гибнет от алкоголя его старый друг Райнер Мерсйохан, и когда узнал, что тот покончил с собой в гостиничном номере. Так он вел себя, когда — правда, трагикомически — стал причиной того, что Фрэн, танцуя с ним на одной вечеринке, повредила ногу и ей пришлось взять костыли, злосчастные костыли. Так он ведет себя и сейчас, когда узнает о гибели Фрэн.

Нет, он совсем не злой человек. Но и не добрый. Он — никакой. Он из тихой заводи, и, оказавшись в ревущем прибое — Тихого ли океана или чужой жизни,— он не обязательно погибнет сам, его скорее всего выбросит, как щепку, но он почти наверняка станет невольным орудием в руках зла по отношению к другим.

История такого человека, увлекающая писателя в последнее время, написана в привычной для Вальзера манере слияния внутренних монологов героя с авторской речью. Разумеется, никакого отождествления автора с героем здесь нет и быть не может, хотя писатель кончил в свое время Тюбингенский университет и имел гостевую профессуру в Соединенных Штатах.

И в манере письма (усталая ирония, пристрастие к подробностям, шаржированный портрет), и в круге своих тем и героев Мартин Вальзер ушел в последнее время от Мартина Вальзера рубежа шестидесятых — семидесятых годов, от таких крупных эпических произведений, как «Единорог», «Болезнь Галлистля», «Падение». Впрочем, изменилась сама жизнь Федеративной Республики. Не мог не измениться и художник, который интересен сегодня тонким психологизмом, брехтовским принципом «остранения», когда те или иные человеческие типы показываются не в их обычном и примелькавшемся виде, а с какой-либо неожиданной стороны.

Новый роман Мартина Вальзера ставит вопросы, которые накатывают, как волны, на человеческие сердца и вновь отступают, не оставляя времени для ответа. Такие, как Хельмут Хальм, предпочитают не слышать этих вопросов, поглядывая на бушующий прибой жизни с безопасного расстояния.

АЛЕКСЕЙ ГРИГОРЬЕВ

ШУМ И ЯРОСТЬ НА ЮГЕ ФРАНЦИИ

René-Victor Pilhes. La Pompéi. Paris, Albin Michel, 1985.
Рене-Виктор Пий. Помпеи. 1985.

Незадолго до сорокалетия Победы над фашизмом во Франции незаметно оживился общественный интерес к событиям второй мировой войны, немецкой оккупации, Сопротивления. Этот интерес отразился в повествовательной прозе. Популярная романистка Франсуаза Саган, чье творчество безраздельно посвящено тематике «частной жизни», в 1985 году выпустила роман «Терпение истощилось», где есть мотивы антифашистской борьбы. Еще раньше, в 1983 году, были отмечены литературными премиями романы Фредерика Тристана «Заблудшие» и Жана-Мари Руара «Перед войной»[1]: оба они привлекли читателей не только занимательностью сюжета, но и тем, что в них недвусмысленно осуждаются милитаризм, фашизм, расовое изуверство. Новейшим литературным бестселлером стал романтрилогия Режины Дефорж «Синий велосипед», последняя часть которого, «Дьявол еще смеется», вышла в 1985 году: тираж трилогии, где автор, явно подражая Маргарет Митчелл, изобразил перипетии личной жизни молодой красавицы на фоне событий войны, достиг трех миллионов экземпляров.

Книги эти читаются со смешанным чувством. Они находятся как бы на пограничье между серьезной реалистической прозой и массовой беллетристикой. Понимание минувших событий в них явно неглубоко, замкнуто в границы ходячих представлений, подчас затемнено авантюрно-адюльтерными мотивами и обывательскими антикоммунистическими предрассудками. И все-таки эти книги в той мере, в какой они отвечают исторической истине, идут навстречу закономерной любознательности новых поколений читателей, их стихийным антивоенным, антифашистским настроениям и представляют знамение времени, которое нельзя не отметить.

Опытный романист Рене-Виктор Пий опубликовал в год сорокалетия Победы обширное повествование «Помпеи». Действие романа развертывается не до и не во время войны, а десятилетия спустя, осенью 1971 года. Несколько раз вымышленный повествователь-хроникер напоминает, что рассказывает о событиях прошедших. Мы вправе даже предположить, что повествование ведется «из будущего»,— в нем настойчиво, неоднократно упоминается, что век двадцатый идет к концу.

В романе «Обличитель» Р.-В. Пий проницательно и зло, с налетом художественной условности, обнажил противоречия капитализма в его наиновейших формах, антигуманистическую, обезличивающую людей силу буржуазной технократии, которая превращает погоню за сверхприбылями в самоцель: об этом писал в свое время социолог Е. Амбарцумов в послесловии к журнальной публикации романа («ИЛ», 1978, № 12).

Роман «Помпеи» написан о другом и в другой манере. Общее лишь в ощущении непрочности, катастрофичности современного буржуазного уклада, отсюда и название романа, заставляющее вспомнить о древнем городе, уничтоженном извержением вулкана. Место действия — сельский район на юге Франции; его пейзажи, типы, черты крестьянского быта описаны очень конкретно. Персонажей много, среди них лю-

[1] См. о них: Т. Балашова. Маски на лице войны. «Литературная учеба», 1985, № 3.

ди разных классов, но в центре событий — старинный род графов де Тономбр и его ближайшее окружение.

В разговорах и спорах персонажей затрагиваются (чаще — мимоходом) многие социально-политические проблемы дня: нелегкие судьбы эмигрантов-испанцев, вымирание старых деревень, из которых молодежь уходит в город, напряженное положение на Ближнем Востоке и еще многое другое. Но главное, что занимает автора и его героев,— это политическая борьба в самой Франции, отголоски студенческих волнений, отзвуки внутринациональных политических конфликтов военного времени. Давние распри патриотов, сторонников де Голля, и коллаборационистов, сторонников Петена, далеко не утихли и приобретают особую остроту потому, что разгораются внутри одной и той же аристократической семьи.

...Умирает престарелая графиня де Тономбр, «мадам Ирен». Ходят слухи, что в подземелье ее родового замка гестаповцы пытали патриотов. Ее сын Рауль, в прошлом офицер «Лиги французских добровольцев против большевизма», сражавшийся в гитлеровской армии, вернулся с войны калекой и пребывает в тяжелом маразме. Жена Рауля, «мадам Марта», давно разошлась с мужем и живет в отцовском замке; во время войны она была горячей голлисткой, давала приют преследуемым испанским республиканцам, евреям, антифашистам и укрывала нелегальную радиостанцию. Несмотря на многолетнюю ее вражду со свекровью, она, повинуясь семейным традициям, является на похороны, присутствует на заупокойной мессе, даже принимает причастие,— и немедленно умирает по непонятной причине.

Итак, перед нами — острый семейный конфликт политического характера. И вместе с тем тайна, которую стараются выяснить и родственники обеих покойниц, и полиция. Все это отчасти придает роману Пийя характер политического детектива, тем более что в нем непрерывно идут разговоры на самые злободневные темы. Пий дает свободу высказывания всем: и самым яростным левым экстремистам, и, к сожалению, яростным антисоветчикам.

Хроникер-повествователь Анри Руке тоже любопытная фигура. Благодаря своему покладистому нраву, а отчасти — случайности он скоропалительно делает карьеру, становится одним из доверенных лиц могущественного Санариса — газетно-журнального магната. Руке — своего рода связующее звено между разными лагерями. В силу служебного положения он близок лицам из правых кругов, но и для местной молодежи ультралевого толка он тоже «свой» — недавний школьный товарищ.

Социально-критическая позиция автора наглядно обнаруживается там, где речь идет об «империи» Санариса. Анри Руке с удивлением узнает, что его боссу подвластны органы печати разных направлений, в том числе либеральный еженедельник, «левый, некоммунистический» еженедельник, ежедневная газета для верующих, два женских журнала: один для феминисток, другой для домохозяек, а заодно детские журналы, спортивная газета и несколько радиостанций. Сам Санарис, хозяин громадного аппарата, манипулирующего общественным мнением, в молодости сотрудничал с оккупантами,— а ныне он в фаворе у правящих кругов, награжден орденами, окружен почетом. В политических высказываниях он очень осторожен, но его личный секретарь Рейдель способен заявить и такое: «Если бы нашлось кому поддержать Гитлера под Сталинградом, Советы исчезли бы с лица земли»...

В изображении Санариса, «суперкапиталиста» новейшей формации, и окружающей его пестрой компании чиновников и дельцов, подчиненных и прихлебателей оживают сатирические мотивы, знакомые нам по роману «Обличитель». Однако на этот раз под обстрелом Пия не столько необуржуазные методы управления, сколько подозрительная активность былых профашистов, которые хотели бы предать забвению свое прошлое. Такие люди во Франции есть. Об этом откровенно говорят не только односельчане молодого Руке, но и его отец-крестьянин. «Сказывают, что Тономбры не унялись... Что мадам Ирен и ее внук Анри сильно замараны и замешаны в делах какого-то неонацистского Интернационала, иначе его называют Черный интернационал... И что в тайниках замка спрятаны сокровища Геринга, Гиммлера, Геббельса и кто его знает чьи еще». Нечто подобное молодой Руке слышит и от графини Марты незадолго до ее таинственной кончины: «Выиграли мы войну против Гитлера, да или нет?.. Неонацисты, Черный интернационал — это не выдумка, не кино, что бы об этом ни говорили! Это я знаю, и другие знают и могут это доказать! Иные принцы, которые активно сотрудничали с Гитлером, а потом на время притихли, теперь вышли в короли! И во Франции они есть, и в Германии, и в других местах! Их больше, чем вы можете вообразить, и они находятся даже на очень важных постах, и в политическом мире, и в деловом!»

Но кто противостоит неонацизму, кто противостоял Гитлеру? Те старые патриоты деголлевского толка, которые представлены в романе, теперь не у дел и сами чувствуют себя оттесненными на задний план. А народные массы? В крестьянах, обитающих вблизи замка де Тономбр, живет неприязнь к былым предателям, профашистам, но — неприязнь глухая и пассивная. Им не до политики, у них свои заботы.

Роман «Помпеи» носит подзаголовок: «Судорожный и темный эпизод мировой истории перед концом XX века». Однако эта заявка на широкое обобщение, на некую глобальность не оправдана действием романа. Антифашистские силы современности — коммунисты как активная составная часть французского Сопротивления и как авангард трудящихся на обширном полотне Пия начисто отсутствуют. Видение мировой истории у автора явно суженное, и темный эпизод, о котором он повествует, все-таки замыкается в рамки частного и сверхредкостного казуса.

Перед похоронами престарелой графини вся провинция приходит в движение, страсти накаляются. Разносится слух, что ультралевые готовят какую-то демонстративную акцию. Из Парижа на всякий случай приезжают крупные полицейские чи-

ны. Но все сводится к единичным полухулиганским выходкам местных гошистов. Действительно драматичным событием в день похорон становится загадочная смерть «мадам Марты». Что же это — вылазка ультраправых, политическое убийство?

Оказывается, молодой аббат, который исчез сразу после похорон престарелой графини, был незаконным сыном «мадам Марты» и вместе с тем ее тайным любовником. Страдая от сознания своего великого греха, он, совершая обряд причастия, дал матери отравленную облатку, приготовил такую же для себя, но оказался не в силах покончить с собой и скрылся, прислав полицейским властям признание в совершенном преступлении. Так былая героиня-патриотка единым махом дегероизируется — и повествование в целом приобретает неприятный привкус дешевой мелодрамы.

Герой-рассказчик Анри Руке несколько раз ссылается на роман У. Фолкнера и сам хочет передать «шум и ярость» переживаемой им эпохи. По некоторым намекам можно предположить, что за романом последует продолжение. Поживем — увидим, но пока Рене-Виктор Пий, прикоснувшись к реальным проблемам прошлого и настоящего, в конечном счете дал несравненно меньше, чем обещал, и под конец скатился от социально-политического повествования к откровенной бульварщине.

Все же и такие книги представляют интерес и своими сильными, и слабыми сторонами, и прежде всего — как показатель настроений французской творческой интеллигенции, находящейся в орбите противоположных идеологических влияний.

Т. МОТЫЛЕВА

◆

Редакцию посетили...

Писатели из Таиланда

Небольшую группу гостей из Таиланда, писателей разных поколений, разных творческих стилей и взглядов, возглавлял Суват Ворадилок — писатель общенациональной известности, по праву считающийся одним из «мэтров» таиландской прозы. Суват Ворадилок писал повести, романы, рассказы. Основные жанры сегодняшней его работы — пьесы для телевидения, киносценарии. Как и многие прогрессивные деятели культуры, в годы военной диктатуры Ворадилок провел несколько лет в тюрьме, где продолжал писать. Суват Ворадилок выступил застрельщиком создания «Товарищества писателей» (позже оно было преобразовано в Ассоциацию писателей Таиланда). Он рассказал, что сравнительно недавно созданная Ассоциация объединяет 430 профессиональных писателей и занимается вопросами защиты интересов литераторов. Существуя на взносы, она всегда испытывает нехватку средств, поэтому для проведения, например, Дня книги, которым отмечается дата создания Ассоциации, она обращается за пожертвованиями к крупному капиталу, который не прочь заработать себе популярность культуртрегера. Писателей, живущих своим пером, наберется сейчас не более полутора десятков, остальные, чтобы нормально существовать, должны еще где-нибудь работать. И это при том, что поэзия в Таиланде имеет глубочайшие исторические корни: сами таиландцы называют себя рифмолюбами, и в древней истории был период, когда говорить нерифмованной прозой при дворе считалось неприличным, поэты, изъяснявшиеся стихами-экспромтами, пользовались благоволением властителей. Сегодня тайцы все меньше интересуются поэзией — слишком задавлены они прозой жизни, хотя любопытно, что многие крупные современные прозаики начинали как поэты.

Нашими гостями были и две писательницы: Суканья Чонласык (ее литературный псевдоним — Крисана Асоксин. Псевдоним — вообще характерная черта литературной жизни в Таиланде, здесь часто стирает данное при рождении имя) — ее повести и романы сейчас, пожалуй, бьют рекорды популярности; однако, хоть начала она литературную деятельность в 1951 году, службу смогла оставить только в 1960 году. С тех пор Крисана Асоксин написала множество рассказов, 90 повестей и новелл, 54 из них были экранизированы на телевидении. Она обладательница семи литературных премий, ее повесть «Не все то золото...» недавно получила литературную премию «Сирайт» Ассоциации стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

С семнадцати лет начала свою литературную деятельность Амара Чанёнг — дочь признанного мастера таиландского рассказа Маната Чанёнга. Она написала около ста рассказов и эссе в жанре политической сатиры, но, поступив на государственную службу, вынуждена была «укротить» свой темперамент сатирика, обратившись к юмористическим рассказам — о любви, бедности, житейских мелочах. Позже были написаны три романа: «В силках любви», «Ароматная пудра» и «Запасная невеста». Амара Чанёнг поддержала мысль Ворадилока о ненадежности писательского ремесла в Таиланде.

В. ЧУРМАНТЕЕВ

Из месяца в месяц

АВСТРИЯ

«ИЗДАТЕЛЬСТВО КРИТИКИ ОБЩЕСТВА»

Пять лет назад группа молодых австрийских ученых-социологов решила основать «Издательство Критики общества». Название говорит само за себя: социологи собирались публиковать материалы, посвященные острым проблемам современности, от которых обычно отказываются респектабельные буржуазные издательства.

Успех начинания оказался значительным. «Несомненно, причина успеха — в прогрессивной ориентации издательства»,— отмечает орган Коммунистической партии Австрии газета «Фольксштимме».

Особой популярностью пользуются книги серий «Биографические тексты по истории культуры и современности» (здесь стоит упомянуть «Историю жизни одной работницы», которую написала Ханна Штурм), «Тексты по социальной и экономической истории», «Ежегодники культуры». Среди удач издательства газета «Фольксштимме» называет книгу Петера Пильца «Фабрикант танков», путеводитель «Вена как она есть», исследование Вальтера Зауэра и Терезы Цешин об апартеиде. «Издательство Критики общества» выпускает также журнал «Наброски».

«За пять лет существования издательства его публикации стали неотъемлемой частью прогрессивной австрийской культуры»,— подчеркивает «Фольксштимме».

БАНГЛАДЕШ

СБОРНИК АНТИВОЕННЫХ СТИХОВ

В издательстве «Ношаш» вышел в свет сборник стихов прогрессивного бенгальского поэта Милона Махмуда «Возможность любить», в который вошли стихотворения, написанные им в 80-е годы.

«Новый сборник стихов поэта — страстный призыв к человечеству объединить свои усилия в борьбе за мир, за предотвращение угрозы ядерной войны,— пишет критик Мостак Хошен в журнале «Бичитра». Поэт призывает положить конец созданию новых видов оружия, направить средства и силы науки на решение острейших экономических проблем, которые стоят перед многими народами и перед народом Бангладеш.

В стихотворении «Его мечта, его слово» М. Махмуд, обращаясь к судьбам палестинских детей, создает потрясающую картину порожденных войной человеческих страданий,— отмечает критик.— Поэт предостерегает нас: кровопролитие на Ближнем Востоке может явиться прологом мировой катастрофы».

ВЕНГРИЯ

НАГРАДА СОВЕТСКОМУ УЧЕНОМУ

Советский литературовед, критик, переводчик, доктор филологических наук Олег Россиянов награжден медалью «Pro Cultura Hungarica». Этой медалью, учрежденной недавно Министерством культуры ВНР, отмечается труд тех, кто внес большой вклад в пропаганду достижений венгерского искусства и литературы за рубежами страны.

О. К. Россиянов перевел на русский язык произведения М. Йокаи, К. Миксата, М. Каффки, Ж. Морица Д. Костолани, А. Кертеса. Он известен советскому читателю и как автор книг «Реализм в венгерской литературе на рубеже XIX—XX веков», «Реализм в новой венгерской прозе 60—70-х годов XX века», и как автор монографий об Э. Ади, М. Залке, А. Гидаше и многих исследований о творчестве венгерских классиков и современных поэтов и прозаиков.

Вручение медали «Pro Cultura Hungarica» состоялось в Москве, в посольстве ВНР.

ГДР

ПРАВДА И ПОЭЗИЯ ЖИЗНИ

Издательство «Ауфбау» выпустило новую повесть Эрвина Штриттматтера «Зеленый июнь». Читатель вновь встретится с Эсау Маттом, знакомым ему по роману «Лавка» (см. «ИЛ», 1984, № 2). В июне 1945-го года, через месяц после того, как кончилась война, Матт возвращается в родные места, находит себе работу в плодоовощном хозяйстве. Это дает ему возможность жить относительно безбедно, содержать двух сыновей, которых он растит один после разрыва с женой.

Повествование ведется от первого лица. Матт —прекрасный рассказчик, он мечтает стать писателем и чувствует, что это его истинное призвание. В сущности, Матт — второе «я» Штриттматтера.

В повести несколько сюжетных линий: в ней рассказаны истории о самых разных людях, с которыми сводит Матта жизнь. Скупо, немногословно описаны судьбы бывшей жены Матта, учителя, владельца небольшого поместья, друга, с которым у Матта разошлись пути.

Большое место в повести автор отводит воспоминаниям героя о предвоенной жизни, переживаниям, связанным с фашизмом, с войной, размышлениям о новой, послевоенной жизни.

«Эрвин Штриттматтер говорит о прошлом с позиций сегодняшнего дня», — отмечает газета «Нойес Дойчланд».

«Новая повесть Эрвина Штриттматтера—книга очень правдивая и вместе с тем поэтичная, — пишет в еженедельнике «Зонntаг» критик Руно Мельхерт. —

Она тематически связана с автобиографическим циклом рассказов «Синий соловей», но в ней можно проследить и мотивы всей прозы писателя».

ИТАЛИЯ

ПАМЯТИ ПАЗОЛИНИ

Материалы, опубликованные в журнале итальянских коммунистов «Ринашита», легли в основу книги «Диалог с Пазолини. Статьи 1957—1984 годов». Предисловие к ней написал известный критик-марксист Джан Карло Ферретти. Этот сборник — своего рода дань памяти выдающегося писателя и режиссера, со дня гибели которого минуло десять лет.

Первый раздел книги — «Проблемы языка» — открывается знаменитым эссе Пазолини «Новые языковые проблемы», которое появилось в «Ринашите» в 1964 году и вызвало тогда на страницах газеты «Контемпоранео» оживленную дискуссию; в ней приняли участие крупнейшие писатели и критики Италии — И. Кальвино, Э. Витторини, Ф. Фортини, М. Раго, М. Спинелла (их выступления также приводятся в сборнике). Во втором разделе собраны статьи Пазолини, опубликованные в «Ринашите» за четверть века, с 1949 по 1974 год. Третий — «Литература, кино, политика» — антология статей о Пазолини, появившихся там же в 1957—1984 годах.

На пресс-конференции, состоявшейся по случаю выхода книги, Альберто Моравиа сказал: «Сборник как бы заново открывает нам Пазолини-эссеиста, ведь это одна из наименее исследованных сторон его литературной деятельности. В его эссе всегда сталкиваются диаметрально противоположные точки зрения, мысль Пазолини всегда развивается не по прямой, а «по спирали». Он слишком бурно переживал вытеснение крестьянской культуры в эпоху индустриальной революции наднациональной культурой — драматически, всем сердцем, как истинный поэт».

«Сближая противоположности, исследуя противоречия, — пишет Альберто Креспи в газете «Унита», — Пазолини стремился разрушить представление о культуре как о «здании из несообщающихся отсеков». Бóльшая часть опубликованного в «Ринашите» связана с проблемами языка, но для Пазолини говорить о языке значило говорить о людях из плоти и крови, о классовом расслоении, о социальных вопросах. Так, в фундаментальном эссе «Новые языковые проблемы» автор приходит к выводу, что преодолению разрыва между разговорным и литературным языками, созданию настоящего национального языка препятствует классовый антагонизм. Пазолини заново открыл литературу на диалекте, сам писал стихи на фриулийском наречии; для его неореалистических романов характерно сочетание литературной авторской речи с диалектальной или жаргонной речью персонажей.

Размышления Пазолини о языке социально обездоленных слоев неизбежно приводили его к горькой теме — теме неизбежного «истребления народной культуры индустриальным, капиталистическим обществом». «Свой «подрывной» потенциал творчество Пазолини сохраняет и по сей день, — пишет в газете «Унита» Альберто Креспи. — Иначе почему именно об этом авторе «забыло» итальянское телевидение, столь пунктуально отмечающее все даты?»

Кадр из фильма «Окраинный городок».

(Буклет Пекинской киностудии)

КИТАЙ

ЭКРАНИЗАЦИЯ ЛИРИЧЕСКОЙ ПОВЕСТИ ШЭНЬ ЦУНВЭНЯ

На пекинской киностудии старейший режиссер Линь Цзыфэн экранизировал лирическую повесть писателя Шэнь Цунвэня (р. 1902) «Окраинный городок», написанную им в 1934 году.

Фильм рассказывает о событиях в небольшой горной деревушке в начале века. В горах западной Хунани с незапамятных времен обитает народность мяо. Автор повести Шэнь Цунвэнь сам происходит из народности мяо. Когда-то, еще мальчиком, он покинул родные края и ушел в город, но сохранил память о тех местах, где родился и вырос.

Старый паромщик (роль старика с удивительной достоверностью исполняет известный актер пекинского молодежного художественного театра Фэн Ханьюань) остался один с юной внучкой (в главной роли снялась 14-летняя школьница Дай На). Девочка очень привлекательна, в нее влюблены братья Шуньшунь, сыновья самого богатого и влиятельного человека в деревне, владельца торговых речных лодок. Но богач отец не разрешает ни одному из своих сыновей жениться на внучке нищего паромщика.

С большим мастерством, как считают китайские кинокритики, сняты пейзажи горного края, бытовые сцены сельской жизни, красочные народные обряды и празднества. Но фильм, начавшийся как пейзажно-красочный и сентиментально-лирический, оборачивается глубокой социальной трагедией. Сначала старший сын Шуньшунь, которого отвергла красавица, в отчаянии покидает родную деревню и уплывает на лодке в далекую Сычуань. Он тонет в пути, и никто не знает, самоубийство это или несчастный случай. Потом младший брат, которого отец насильно женит на нелюбимой, уходит неведомо куда — прочь из родного дома. Старый паромщик, измученный тревогой за судьбу единственной внучки, умирает, и девочка остается в одиночестве.

По мнению пекинской печати, картина подкупает своей правдивостью, безыскусностью, очарованием грусти, она особенно полюбилась городскому зрителю, испытывающему ностальгию по природе, не тронутой цивилизацией, и старому деревенскому быту.

Фильм Линь Цзыфэна «Окраинный городок» был отмечен премией Золотого Петуха, которой награждается в Китае лучший фильм года.

МАРОККО

ИЛЛЮЗИЯ ЖИЗНИ

В центре нового романа известного марокканского прозаика Тахара Бенджеллуна «Дитя-иллюзия», опубликованного парижским издательством «Сёй», — не теряющий актуальности в мусульманских странах вопрос о положении женщины в обществе. «Быть женщиной — значит быть от рождения неполноценной, и к этому каждая женщина вынуждена приспосабливаться. Быть мужчиной — значит иметь право на произвол, подкрепляемое самим жизненным укладом», — пишет в своем романе Бенджеллун.

Судьбу главного персонажа определяет абсурдная воля отца: желая во что бы то ни стало иметь наследника, он, подлинный владыка в своем семействе, повелевает считать младшую, восьмую, дочь мальчиком. Ее называют Ахмедом, одевают в мужское платье, воспитывают как мужчину. Проходят долгие годы. Ахмед послушно исполняет навязанную ему роль и только страницам дневника доверяет свою тайну. Но наступает время, когда герой, или, вернее, героиня, уже не хочет и не может продолжать навязанную ей противоестественную жизнь, оставляет родные места и, назвавшись Захрой, пускается странствовать по свету.

«История Ахмеда — Захры не просто плод богатого воображения писателя, осуждающего социальную несправедливость, — отмечает французский романист Ж.-М.-Г. Леклезио в рецензии на книгу Бенджеллуна, опубликованной в газете «Монд»,— это еще и притча о трагическом поиске утраченного естества».

Критик журнала «Магазин литтерер» Патрик Ренодо отмечает «необычайно искусное построение этого произведения, в котором писатель по-новому использует весь арсенал арабской сказки и басни», а также «мастерское владение словом, делающее Тахара Бенджеллуна одним из лучших писателей франкоязычных стран и всего мира».

Тахар Бенджеллун.

(Журнал «Нувель обсерватёр»)

ПОЛЬША

МИРУ НА ЗЕМЛЕ НЕТ АЛЬТЕРНАТИВЫ

Прошедший в Варшаве Конгресс деятелей науки и культуры в защиту мирного будущего планеты (январь 1986 года) стал первым крупным событием объявленного ООН Международного года мира. Около 200 представителей из 47 стран и 15 международных организаций всех континентов приехали в Варшаву, чтобы обсудить глобальные проблемы мира и безопасности. Конгресс собрал деятелей науки и культуры разных политических убеждений, различных вероисповеданий, объединенных заботой о будущем планеты.

Председатель Организационного комитета варшавского Конгресса профессор Богдан Суходольский, открывая встречу, сказал: «Воля и надежда жителей планеты выражаются в простых словах — война не должна повториться. Долг всех деятелей науки и культуры — формулировать и распространять программу гуманизма, рожденную в историческом диалоге цивилизаций... Расходы на вооружение, — продолжал Б. Суходольский, — оплачиваются смертью, голодом, болезнями, отсталостью миллионов людей... Поэтому ограничение вооружений не только позволит нам надеяться на будущее, но и определит условия возврата к традициям всемирного гуманизма, призывающего людей к содружеству...»

Участники конгресса вспоминали слова А. Эйнштейна, который сказал, что освобождение атомной энергии изменило на нашей земле все, кроме человеческого мышления. Именно поиск нового образа мышления определил работу всех комиссий форума и стал лейтмотивом всех дискуссий.

Конгресс обратился с посланием ко всем деятелям науки и культуры в мире, призывая отказаться от использования сил в разрешении международных конфликтов, прекратить гонку вооружений и милитаризацию космоса, ликвидировать еще в этом столетии ядерное оружие, чтобы Международный год мира стал началом мирной эры на земле.

США

РОМАН-ВОСПОМИНАНИЕ

Именно так определяет жанр своего нового романа «Всемирная выставка» американский прозаик Э. Л. Доктороу (советским читателям известен его роман «Рэгтайм»; см. «ИЛ», 1978, № 9, 10). В интервью журналу «ЮС ньюс энд Уорлд рипорт», которое писатель дал сразу же после выхода книги в свет, он поделился своими мыслями об этом произведении, о писательском труде. «Когда я сел писать новый роман, — сказал Доктороу, — то знал, что собираюсь рассказать о жизни ребенка, но не имел ни малейшего понятия, что с ним произойдет, каков будет финал повествования. И вот однажды утром мне на ум пришли слова: «Всемирная выставка». В самом деле, мой герой родился в 1931 году, и, значит, в детстве он должен был непременно увидеть нью-йоркскую Всемирную выставку 1939—1940 годов».

Как и в других произведениях Доктороу, в новой книге свободно соединены художественный вымысел и историческая достоверность, а действуют в ней как вымышленные люди, так и реальные лица. Сюжет внешне прост: взрослый человек, наш современник, возвращается к поре своего детства, воссоздавая ретроспективную картину жизни Нью-Йорка во время Всемирной выставки.

Мир детства, подчеркнул в интервью Доктороу, — сложнейший духовный мир, с серьезными нравственными коллизиями. Жизнь маленького ньюйоркца показана в этой книге на фоне больших исторических событий, определивших духовное и социальное бытие американской нации в канун второй мировой войны.

Говоря о своих эстетических пристрастиях, Доктороу отметил, что старается следовать примеру классиков реализма — Стендаля и Флобера, Марка Твена и Драйзера, Толстого и Достоевского. Особое значение для Доктороу имеет наследие Чехова — «проницательнейшего, умнейшего писателя всех времен, величайшего гения в литературном мире».

Давая по просьбе интервьюера оценку творчества современных американских прозаиков, Доктороу посетовал, что для многих из них характерно «ослабление зоркости»: «Сегодняшние романы становятся все «тоньше» по проблематике — они мастерски написаны, но, кажется, их авторы не стремятся к овладению большими политическими и социальными проблемами нашего времени».

«Наши романисты, — продолжал Доктороу, — затаились в собственном доме, оградив себя четырьмя стенами, наглухо заперли двери, задернули шторы. А снаружи остались войны, мятежи, вой полицейских сирен, крики людей. Наши писатели предпочитают слушать «шепоток» жизни...»

ФРАНЦИЯ

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПРЕМИИ

В стране состоялось присуждение четырех крупнейших литературных премий.

Наиболее почетной из них — Гонкуровской премии — удостоен Янн Кеффелек за роман «Варварская свадьба». Эта книга о трагической участи отвергнутого обществом ребенка, пишет газета «Монд», продолжает гуманистическую традицию таких произведений, как «Рыжик» Ж. Ренара, «Обезьянка» Ф. Мориака. Время действия романа Кеффелека — 1944 год. Деревенскую девушку насилуют американские солдаты, и появление на свет ни в чем не повинного маленького Людо не приносит ни матери, ни ее семье ничего, кроме горя и позора. Мальчика травят, обращаются с ним как с животным, отсылают в школу для неполноценных детей. По отзыву критика журнала «Пуэн», при всей мелодраматичности романа, особенно его финала, книга Янна Кеффелека производит сильное впечатление.

Премии «Фемина» удостоен роман Гектора Бианчиотти «Без милости божьей». Г. Бианчиотти — итальянец, родившийся в Аргентине, но вот уже четверть века он живет в Париже. Бианчиотти — автор нескольких книг, написанных на испанском языке. На французский он решился перейти не без некоторого колебания. «Когда меняешь язык, на котором пишешь, меняется и твое видение мира», — признается писатель корреспонденту «Кензен литтерер». «Без милости божьей» — первый роман, написанный Бианчиотти на французском,— сразу принес автору широкую известность. Он был доброжелательно принят критиками и читателями. «Аргентинский писатель показал себя великолепным стилистом, тонко чувствующим французский язык», — отмечал критик газеты «Монд». Героиня Бианчиотти — его соотечественница, аргентинка, очутившаяся, как и автор, вдали от родины: она нанялась гувернанткой в дом дипломата и уехала в Париж. Когда-то в монастыре девушку учили безропотно принимать жизнь такой, как она есть, и уповать на «милость божью». Но действительность по-своему «воспитывает» героиню. Девушка страдает от одиночества, жестокости, но постепенно обретает в себе силу противостоять несправедливости.

Если произведения Кеффелека и Бианчиотти практически единодушно приветствовались критикой, то присуждение премии Ренодо книге Рафаэллы Бийеду вызвало разноречивые отклики. Критик газеты «Юманите» считает, что любовная повесть «Мои ночи прекраснее ваших дней» небезынтересна, но «принадлежит к разряду книг, о которых быстро забывают».

Премия «Медичи» по традиции присуждается произведению, отличающемуся новизной и оригинальностью. На этот раз жюри остановило свой выбор на «Истории одной страсти». Ее автор — Мишель Бродо, лауреат «Гран-при» по фантастической литературе. Необычность его новой книги уже в том, что автор начинает рассказ о себе с пребывания... в материнской утробе. «История одной страсти», по мнению «Юманите», подтверждает репутацию М. Бродо как «блестящего и изобретательного писателя».

ДНЕВНИКИ ЖАНА КОКТО

Имя Жана Кокто (1889—1963) тесно связано с историей французской литературы, театра, музыки, живописи, кино. На протяжении более чем полувека он был свидетелем и участником самых крупных событий в искусстве Франции. Кокто близко знал Марселя Пруста и Гийома Аполлинера, Роже Мартен дю Гара и Поля Элюара, видел зарождение, расцвет и упадок школ дадаизма, сюрреализма, кубизма, был вдохновителем знаменитой «Шестерки» композиторов, сыгравшей значительную роль в развитии музыки XX века, стоял у истоков кинематографа, наконец сам был талантливым поэтом, прозаиком, драматургом, художником и музыкантом.

Литературное наследство Кокто огромно, и неудивительно, что и теперь каждый год появляются прежде неизвестные произведения, извлеченные из его архива. Издано уже десять выпусков посвященных Кокто «Тетрадей», в которых собраны мемуары и статьи о нем и его собственные неопубликованные работы разных лет.

А недавно издательство «Галлимар» приступило к публикации дневников Кокто последних лет жизни. Первый том «Неоконченного прошедшего» — так озаглавлены эти записи, — охватывающий период 1951—1952 годов, вышел в 1983 году — к двадцатилетию со дня смерти писателя. Парижская пресса оценила издание этой книги как крупное событие литературной жизни Франции. В начале нынешнего года появился второй том, объединивший дневниковые записи 1953 года.

В свое время Кокто назвал себя «самым неизвестным из всех известных людей». Его дневники, опубликованные сегодня, подтверждают справедливость этого высказывания, казавшегося лишь изящным каламбуром. «Потребовалось много времени, — пишет критик парижского журнала «Магазин литтерер», — чтобы проявилось подлинное лицо Кокто и рухнули шаблонные представления о нем как о трюкаче, кудеснике и удачливом дилетанте». Дневники показывают, насколько глубоко и серьезно было его отношение к искусству. Читатели найдут здесь суждения писателя о творчестве Жюльена Грина, Поля Клоделя, Жана Жироду; на страницах дневника постоянно присутствует лучший друг и единомышленник Кокто — художник Пабло Пикассо.

Не был Кокто и так далек от политики, как это принято считать. 1953 год памятен казнью супругов Розенберг, расцветом маккартизма, волной забастовок во Франции. Кокто не только не остается «безучастным», но деятельно проявляет свое негативное отношение к духу «холодной войны». Он использует весь свой авторитет, чтобы защитить на Каннском кинофестивале фильм «Плата за страх» французского режиссера А.-Ж. Клузо, которого упрекали в «коммунистических симпатиях». Записи свидетельствуют о том, как страдал 64-летний Кокто от утверждавшихся в частной и общественной жизни пошлости, расчетливости, мелочности.

В предисловии к первому тому дневников сказано, что будут опубликованы все записи Кокто, вплоть до заметок 1963 года — последнего года его жизни. Возможно, завершение издания совпадет с приближающимся столетним юбилеем Жана Кокто — выдающегося деятеля французской и европейской культуры.

УРУГВАЙ

«Я ВИЖУ ВСЕ, О ЧЕМ ПИШУ...»

Французский журналист Жан-Франсуа Фожель посетил в Мадриде выдающегося уругвайского писателя Хуана Карлоса Онетти (см. о нем «ИЛ», 1984, № 12), который покинул родину в 1974 году, во времена господства реакционной диктатуры, отсидев около года в тюрьме и проведя три месяца в психиатрической клинике. «Последние произведения Х. К.

Хуан Карлюс Онетти

(Журнал «Магазин литтерер»)

Онетти вышли в Испании,— пишет Ж.-Ф. Фожель во французском журнале «Магазин литтерер», — но этот семидесятишестилетний человек по-прежнему не менее, чем Фолкнер к округу Йокнапатофа, привязан к вымышленному городку Санта-Мария — небольшому клочку земли где-то на крайнем юге его страны, созданному писательским воображением».

«Я мог бы без труда начертить карту Санта-Марии, — говорит Х. К. Онетти, — я даже сделал это несколько лет тому назад. Впрочем, мне не нужна карта, так как я знаю этот городок наизусть: аптека, железная дорога, колония швейцарских поселенцев, дом с голубыми балконами, где живет доктор Диас Грей, в некотором роде — мое второе «я». События нового, еще неоконченного романа тоже развиваются в Санта-Марии. Книга посвящена одной женщине (историю ее мне рассказали), которая покончила с собой при странных обстоятельствах. Роман будет называться «Когда-то давно». Доктор Диас Грей здесь снова выходит на первый план.

Нужно сказать, что со своими персонажами, часто переходящими из книги в книгу, я обхожусь довольно бесцеремонно, — продолжает писатель, — если требуется, могу воскресить своего героя. Взять хотя бы моего друга Ларсена — я убил его в романе «Верфь», однако в моей последней книге «Дадим слово ветру» он вновь появляется. Священники в Санта-Марии вопреки своему сану проживают не одну жизнь. Я воскресил, например, отца Бернара, и меня не заботит, что подумает об этом его господь бог.

Назвать то, что я делаю, творчеством будет некоторым преувеличением,— замечает Онетти.— Я написал за свою жизнь примерно дюжину книг, которые никогда не перечитывал, даже в корректуре. То, что я пишу, рождается где-то внутри моего «я» ...Когда я делаю попытку изобразить реальное событие или реального человека, мне это плохо удается. В счастливые моменты работы я не размышляю, а вижу — вижу все, о чем пишу».

В 1980 году творчество Онетти увенчала одна из самых почетных международных премий в мире испаноязычных литератур — премия Сервантеса. Однако, по мнению Ж.-Ф. Фожеля, еще гораздо раньше, задолго до так называемого «бума» в латиноамериканской литературе, книга Хуана Карлоса Онетти «Краткая жизнь» (1950), так же как «Сеньор Президент» Мигеля Анхеля Астуриаса, «Вымыслы» Хорхе Луиса Борхеса, «Царство земное» Алехо Карпентьера и «Педро Парамо» Хуана Рульфо, доказала миру, что «новаторство в литературе не является монополией западноевропейского авангардизма».

ЧИЛИ ПАТРИОТИЧЕСКИЕ СИЛЫ

ВЫЗОВ ХУНТЕ

Известный кинорежиссер Мигель Литтин, в 1973 году приговоренный хунтой к смерти (ему тогда исполнился 31 год), нелегально приехал в страну, чтобы сделать свой новый фильм «События в Чили». Режиссер взглянул на современную действительность Чили глазами человека, увидевшего родную землю после двенадцати лет изгнания.

Литтин был вынужден соблюдать строгую конспирацию. В интервью корреспонденту итальянской газеты «Унита» Марии Джованне Малье он рассказал, что не мог открыться даже матери, которую встретил неподалеку от родного дома.

«Группы, осуществлявшие съемки фрагментов фильма, прибыли в Чили в разное время и различными путями. Они ничего не знали друг о друге, не знали, кто я такой. Одни полагали, что участвуют в создании документальной ленты, посвященной проблемам экологии, другие — что поставляют материал для рекламных роликов, третьи думали, что снимают политическую хронику для иностранного телевидения. Меня принимали за уполномоченного фирмы-заказчицы, который просто координирует их действия. С середины марта по начало июня 1985 года я несколько раз под чужим именем въезжал в страну. Предварительно была продумана только канва фильма, намечены эпизоды, которые надо было снять в разных районах страны, и интервью, которые предполагалось взять у многих представителей политических группировок и социальных слоев, включая высшие армейские чины хунты — вплоть до Пиночета».

При правительстве Народного единства Литтин был директором киностудии «Чили-фильм», весьма заметной фигурой в культурной жизни страны. «В русле широких демократических преобразований мы старались тогда активизировать творческий потенциал народных масс,— говорит Литтин, вспоминая то время.— Годы диктатуры безусловно сказались на уровне культурной жизни страны. Удручающее впечатление производят радио- и телепрограммы, нелепые до гротескности, рассчитанные на дешевый эффект. Но нельзя не почувствовать, сколь ревностно хранят люди память о том, что было. А новое поколение — и это обнадеживает — хранит верность реалистическому направлению, стремится отразить в интересных театральных постановках, видеофильмах, документальных киноленте политическую и социальную действительность страны.

«Мыслями я и теперь там, в Чили,— признается режиссер.— Увиденное на родине запечатлено в многостраничных дневниковых записях, которые, быть может, выльются еще в один фильм».

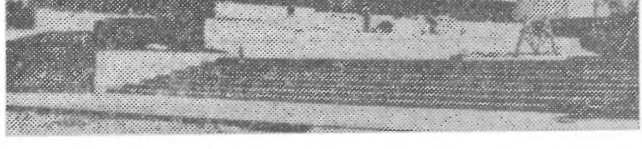
ЧЕХОСЛОВАКИЯ

НОВЫЙ ТЕАТР В МОСТЕ

В небольшом северочешском городе Мосте выросло одно из самых красивых современных театральных зданий в ЧССР, пишет газета «Руде право». Беломраморный многоугольник высится в центре площади, вписанной в массив парка. Это — новый «дом» Театра трудящихся.

Новое здание театра в г. Мосте.

(Газета «Руде право»)



Проект этого замечательного здания создал архитектор Иво Климеш. «Но судьба проекта — в руках строителей, и они не подвели»,— с благодарностью отозвался он о мастерах, приехавших на стройку в Мост. За шесть лет строительства коллектив театра сдружился с членами рабочих бригад, заинтересованно следил за ходом стройки.

Стройка носила поистине интернациональный характер, подчеркивает «Руде право»: оборудование для сцены было изготовлено в Гданьске, системы вентиляции и кондиционирования — в Загребе, в отделке здания принимали участие мастера со всех концов Чехословакии. Теперь зрителей ожидает уютный зал на 500 мест. Пространство сценической площадки декораторам легко варьировать с помощью драпировок, сцена оборудована двумя поворотными кругами.

Театр сможет принимать как небольшие, так и крупные коллективы, которые начнут приезжать на гастроли в Мост. Современным требованиям отвечают и производственные мастерские театра, где будут создаваться костюмы, декорации, всевозможный реквизит.

«В Мосте построено здание театра, которое послужит многим поколениям зрителей; создатели его продемонстрировали высокий уровень нашей социалистической архитектуры и строительного мастерства»,— отмечает критик Вл. Гроуда в газете «Руде право».

ШВЕЙЦАРИЯ

РОМАН-ЛАБИРИНТ

Роман «Правосудие» Фридрих Дюрренматт начал писать еще в 1957 году, но вскоре оставил эту работу. Весной 1985 года цюрихское издательство «Диогенес» попросило у писателя для публикации какой-нибудь незавершенный фрагмент. Дюрренматт вспомнил о «Правосудии», дописал роман — и недавно книга вышла в свет.

По жанру это детектив, но детектив типично «дюрренматтовский». Герой его Феликс Шпет — адвокат, берущийся за самые «безнадежные» дела. Повествование вначале ведется от его лица, затем историю излагает сам автор. Шпет занимается делом кантонального советника Исаака Колера, которого обвиняют в убийстве некоего профессора Винтера. Убийство совершено в ресторане, завсегдатаем которого был Винтер. Все подозрения падают на Колера, он задержан и осужден.

Шпету, однако, открывается другая, совершенно неожиданная перспектива расследования. В поле его зрения попадает некий доктор Бенно. Он — чемпион Швейцарии по стрельбе из пистолета, во время совершения убийства тоже находился в ресторане. В ходе расследования вскрывается множество странных обстоятельств. У Бенно роман с Моникой Штайерман, наследницей миллионного состояния. Но вскоре оказывается, что возлюбленная Бенно — вовсе не Моника Штайерман, а проститутка Дафна Мюллер. Настоящая Моника — калека, она прячется от людей, а красавицу Дафну наняла исполнять свою «роль». Когда Бенно узнает правду, его надежды на богатство и счастье рушатся. Винтера же он считал отцом Дафны — значит, были и основания его ненавидеть...

Подозрения вокруг доктора сгущаются. Стараниями Шпета начат новый процесс. Но Бенно, не дождавшись суда, вешается в бюро Шпета на люстре. Казалось бы, он сам «осуществил правосудие» над собой...

«Роман Дюрренматта,— пишет в западногерманском журнале «Шпигель» критик Юрг Ледерах,— похож на гидру, у которой на месте отрубленной головы все время вырастают новые». Несколько раз писатель почти приводит читателя к разгадке, но тут же «с сатанинской изобретательностью» запутывает дело опять. В одной из последних глав Шпет, переодевшись, подстерегает в аэропорту оправданного Исаака Колера, который возвращается из путешествия, и стреляет в него: он уверен, что убийца — Колер, и позже убеждается в справедливости своей догадки.

«Дюрренматт может претендовать на место в книге рекордов Гиннеса — он придумал и написал один из самых запутанных романов всех времен»,— заканчивает статью Ю. Ледерах.

◆

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Н. Т. ФЕДОРЕНКО

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:
О. С. ВАСИЛЬЕВ (зам. главного редактора), **Л. А. ГВИШИАНИ-КОСЫГИНА**, **Ю. В. ДАШКЕВИЧ**, **Е. А. ДОЛМАТОВСКИЙ**, **Г. П. ЗЛОБИН**, **И. Ф. ЗОРИНА**, **Т. П. КАРПОВА**, **Е. Ф. КНИПОВИЧ**, **А. А. КОСОРУКОВ**, **Т. Л. МОТЫЛЕВА**, **П. В. ПАЛИЕВСКИЙ**, **А. Н. СЛОВЕСНЫЙ** (отв. секретарь), **Е. В. СТОЯНОВСКАЯ**, **К. А. ЧУГУНОВ** (зам. главного редактора).

Художественный редактор **Е. Н. Черняев.** Технический редактор **Е. П. Поляков.**

Адрес редакции: 109017. Москва, Пятницкая ул., д. 41, телефон 233-51-47.

Издательство «Известия Советов народных депутатов СССР»
Москва, Пушкинская пл., 5.

Журнал выходит один раз в месяц.

Сдано в набор 26.02.86. Подписано в печать 04.04.86. А 05213. Формат 70×108 1/16
Печать высокая 22,4 усл. п. л., уч-изд. л. 28,98

Тираж 490 000 экз. (1-й завод: 1—440 000 экз.) Зак. 806.

Ордена Трудового Красного Знамени типография «Известий Советов народных депутатов СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова. Москва, Пушкинская пл., 5.

ЙОЗЕФ ВАГНЕР. Грустная весна

Цена 1 руб. 80 коп.

ИНДЕКС 700394